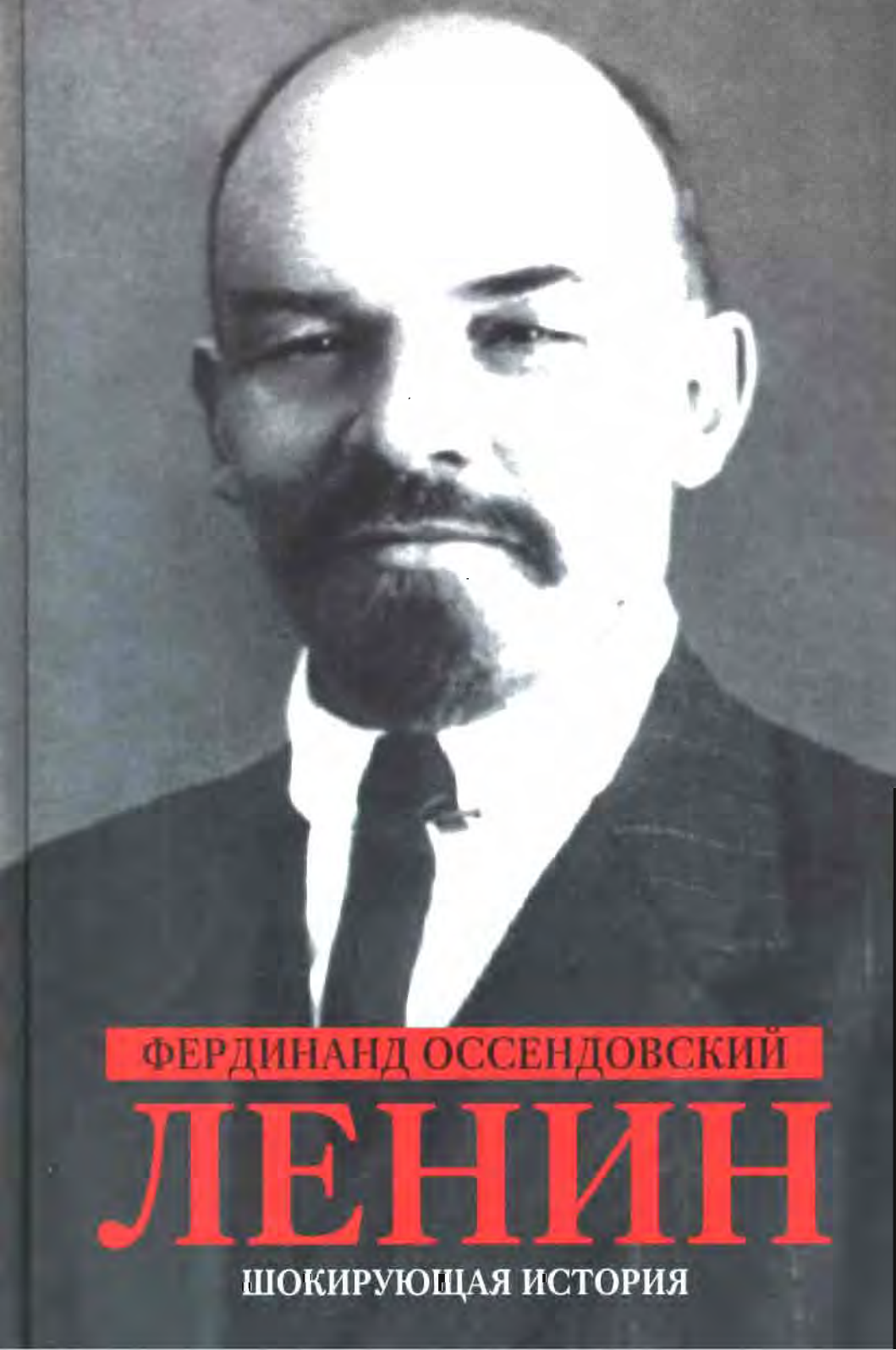


ФЕРДИНАНД ОССЕНДОВСКИЙ

ЛЕНИН

ШОКИРУЮЩАЯ ИСТОРИЯ

Ф. ОССЕНДОВСКИЙ

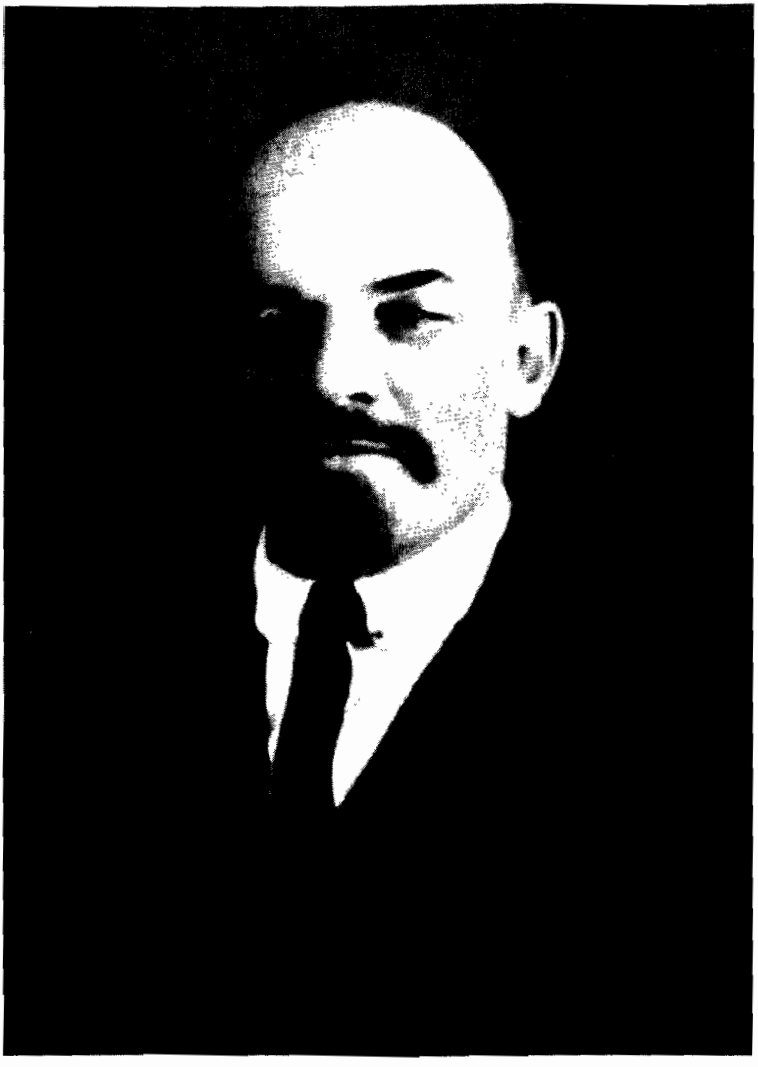
ЛЕНИН

ФЕРДИНАНД ОССЕНДОВСКИЙ

ЛЕНИН

ШОКИРУЮЩАЯ ИСТОРИЯ

МОСКВА 2006
ПАРТИЗАН



В. Ульянов (Ленин)

ISBN 5-91114-002-0

Рисунки перепечатаны с первого оригинального издания книги «Ленин» на польском языке в 1930 году.

Книга Фердинанда Оссендовского «Ленин» на русском языке публикуется впервые. Польский революционер и писатель, который лично хорошо знал вождя мирового пролетариата, написал еще в 1928 году подробное исследование о жизни, поступках и человеческой сути Владимира Ленина. Это уникальное исследование и одно из первых свидетельств активного участника российского революционного движения. Книга «Ленин» в свое время вызвала шок у читателей.

Перевод – Анджей Писальник

Издательство «Партизан»

ГЛАВА I

Маленький Владимир Ульянов сидел молча и внимательно из-под нахмуренных бровей наблюдал за каждым движением матери.

Мария Александровна, чуть бледная и грустная, помогала служанке Анне накрывать на стол.

Была суббота — день, когда к Ульяновым приходили знакомые отца. Мария Александровна не любила этих встреч, старший брат, заслышав о них, убегал из дому, бормоча:

— К черту, к черту с этими пещерными людьми!

Сестры прибирали в гостиной и тихонько смеялись, а Володя с нетерпением ждал гостей.

Наконец в гостиной появился отец.

Седой, широкоплечий, с темными раскосыми глазами, такими же, как у младшего сына, он с гордостью носил темно-синий сюртук с золотыми пуговицами и крестом святого Станислава на бело-красной тесьме, что придавало ему вид торжественный и серьезный.

Он сел в кресло, подвинул маленький стол и расставил шахматы, готовясь разыграть партийку с доктором Титовым.

Доктор всегда вызывал в маленьком Владимире восхищение.

Мальчик хотел бы видеть его плавающим. Он не сомневался, что доктор мог бы торчать, как поплавок его удочки, даже в самом глубоком месте реки. Таким толстым и круглым был доктор Титов.

Отец не разговаривал с Марией Александровной, зная, что она не любит его гостей; ему не хотелось портить настроение ссорой с женой.

Однако госпожа Ульянова сама завела разговор.

— Любимый мой — сказала она, — когда ты уже освободишь себя и меня от этих гостей! Что тебе с того, что появится старый

пьяница, настоятель, отец Макарий в зеленой камлотовой сутане, доктор Типов и инспектор народных школ Петр Петрович Шустов. Ни богу свечка, ни дьяволу – кочерга!

Отец нервно пошевелился и стал вытирать красным платком вспотевший лоб, бормоча:

– Мы издавна в дружбе живем... собственно говоря, все они имеют широкие связи и могут пригодиться в жизни, помочь, кому-нибудь из сильных мира сего шепнуть за меня доброе слово...

– Ох! – вздохнула жена. – С этим добрым словом ты напоминаешь мне Тяпкина-Ляпкина из гоголевского «Ревизора». Тот тоже очень об этом беспокоился и просил, чтобы ревизор по возвращении в Петербург сказал министру, что в таком-то городе находится Тяпкин-Ляпкин!

Она глухо и недоброжелательно рассмеялась.

– Маша, ну что за сравнение... – ответил с укором супруг.

– Совершенно то же самое! – воскликнула госпожа Ульянова. – Какой ты смешной! Почему ты не приглашаешь к себе людей образованных, молодых, думающих, – например, врача Дохтурова, учителя Нилова или этого странного монаха – проповедника, брата Алексея? Я встретила их у госпожи Власовой, это очень умные, порядочные люди!

– Сбереги Господи! – испуганным голосом, замахав руками, прошипел господин Ульянов. – Это опасные типы, какие-то там... деятели.

– Деятели? – спросила Мария Александровна. – Что это значит?

– Что-то плохое! – ответил он шепотом. – Меня предостерегал насчет их начальник полиции... Но я забыл тебе сказать, Маша, что и он сегодня нас навестит...

– Этого еще не хватало! – хлопнув в ладоши, воскликнула она с возмущением. – Значит, сегодня живого словечка не услышим. Присутствие полицейского, да еще такого служаки, всем закроет рты.

Муж молчал и вытирал вспотевший лоб, тяжело при этом вздыхая.

– Такой маленький человек, как я, должен иметь могущественных друзей, – сказал он очень тихо.

Мария Александровна махнула рукой и вышла в столовую.

В восемь вечера очень пунктуально один за другим приходили гости. Вскоре все они расселись в гостиной и завели оживленную беседу.

Володя не спускал глаз с двоих персонажей.

Украдкой улыбаясь и толкая сестру Машу, он показывал взглядом на доктора.

Круглая, лысая и красная голова с чрезмерно выпуклыми, бледными, почти белыми глазами снизу заканчивалась тремя подбородками, расползающимися, как густая замазка, по белой, волнообразной манишке; шарообразная голова размещалась на круглой, похожей на огромный мяч фигуре так странно, с таким вызывающим опасение отсутствием равновесия, что, казалось, скатится по ней после более-менее сильного кивка. Коротенькие, толстенькие ножки свисали с достаточно высокого дивана, едва касаясь пола.

— Яблоко на арбузе... — шепнул Володя сестре, закрывая глаза. Маша легонько ущипнула его в плечо и тихонько прыснула, затыкая рот ладонью.

Мальчик перенес взгляд на нового гостя.

Это был комиссар полиции коллежский советник Богатов.

Об этом человеке по всему городу ходили легенды.

Он был грозой преступников всех мастей. Плечистый, худой, с лицом окаймленным красивыми бакенбардами; длинные, лихо подкрученные вверх усы своими кончиками доставали до прищуренных хитрых глаз. Он сидел, развалясь в кресле и ежеминутно поправляя саблю и висящий на шее орден.

Его длинные лакированные сапоги блестели, а на них тихонько позвякивали шпоры.

Володя не мог на него насмотреться. Ему нравилась сила, ощущавшаяся в мускулистой фигуре Богатова, и его уверенность в себе, заметная в каждом слове и в каждом отблеске бессовестных глаз.

В то же время на дне маленького сердца мальчика закипала необъяснимая вражда, почти ненависть, желание причинить неприятности, боль, стыд этому сильному, уверенному в себе человеку.

Комиссар, переминая пальцами толстую сигарету, рассказывал.

Все, наклонившись, с улыбкой услужливого восхищения на лицах слушали.

Господин Ульянов сидел прямо, весь внимание, старался не пропустить ни единого слова. Он умел слушать — старая учительская привычка. От него этому искусству научился младший сын — обычно неразговорчивый, сосредоточенный, внимательно смотрящий и слушающий.

Доктор Титов, наклонив голову набок, тщетно пробовал повернуть свое тяжелое тело в сторону рассказчика.

Инспектор Шустов тихо вскрикивал и подпрыгивал на стуле.

Отец Макарий возносил глаза к небу, одной рукой — белой, пухлой — гладил длинную бороду, а другой — прижимал к груди висящий на золотой цепи тяжелый серебряный крест с голубой глазурью и светящимися камушками в венце над головой Христа.

— Господа, только посудите!.. — говорил солидным басом комиссар Богатов. — Крестьяне, которым уважаемый, ценимый во всей губернии господин Аксаков из старейшего дворянского рода не одолжил древесины на восстановление сгоревшей деревни, совершили нападение на усадьбу. Там их встретили огнем. Двое крестьян погибли, трое ранены, остальные разбежались, ничего не добившись. За мной послали конного гонца. Я прибыл немедленно. Разнюхал тут и там, в течение часа обнаружил раненых и приказал привести ко мне. Расспрашиваю участников нападения о подробностях. Молчат... Ах, значит вы так, братцы?! Как заехал одному, второму, третьему в ухо, по зубам, в нос; залились мужики кровью, ну и выложили всю правду! Наш губернатор не любит шума, беспокойных донесений в Петербург, ведь это сразу долгая переписка, расследование, скандал! Позвал он меня и говорит: «Семен Семенович, накажи бунтарей, чтобы раз и навсегда расхотелось им нападать на старое дворянство!» Тогда я взял нескольких полицейских и восстановил справедливость по совести. Те, что участвовали в нападении, получили по сто розог, а чтоб неповадно было — вся деревня, даже бабы, по двадцать пять. Теперь тишина и покой, будто маком засеял! Порка для нашего доброго мужичка — первая вещь и наилучшее лекарство. Ха-ха-ха!

— Очень правильно, очень правильно! — согласился доктор. — Средство типа банок. Оттягивает кровь от головы и сердца...

— Мягкое отеческое наказание! — певучим голосом вторил ему отец Макарий, обеими руками лаская крест. — Народ наш — это дети, потому как детей и следует наказывать...

— Гм... Это лучше, чем суд, тюрьма, Сибирь... — добавил инспектор, глядя на Ульянова.

Мария Александровна строго взглянула на мужа и сжала руки.

Растерявшийся, он беспомощно оглянулся и, кашлянув, обратился к дочери.

— Маша, — сказал он. — Подгони-ка кухарку. Дорогие гости наверняка проголодались.

Мария Александровна, кивнув детям, вышла из гостиной.

Господа продолжали болтать, рассказывая друг другу городские сплетни и чиновничьи новости. Наконец хозяин предложил сыграть в карты и шахматы.

Богатов, отец Макарий и инспектор стали играть в карты, а Ульянов с доктором азартно передвигали шахматные фигуры.

По приглашению Марии Александровны все перешли в столовую. Гости обильно выпивали, опрокидывая в рот огромные рюмки водки и закусывая селедкой, солеными огурцами и маринованными грибами.

— Умеете вы пить, отец Макарий! — смеялся инспектор, глядя с восхищением на настоятеля, наливающего себе большую рюмку водки.

— С божьей помощью могу и еще, — смеялся тенорком отец Макарий. — Невелико искусство! Лишь бы только хозяева пригласили за стол, дали водки, а горло всегда со мной... на всякий случай!

— А как это ваше святейшество до сих пор не перешел на бас и сохраняет тенор? — удивлялся доктор.

— Эх! — махнул рукой настоятель. — Я ведь не дьякон...

— А какая разница? — спросил уже немного захмелевший Ульянов.

— Очень простая! — рассмеялся поп. — Дьякон, когда выпьет, крякает и кричит: а-а-а! А я, после того как выпью, пищу на самой высокой ноте: и-и!

Все начали смеяться, а отец Макарий налил себе еще один стакан, выпил, высоко задрал голову и пискнул:

– И-и-и! Вот так!

Снова разнесся задорный смех развеселившейся компании.

Госпожа Ульянова, накормив детей, отправила их спать.

Она сидела молчаливая и угрюмая, делая любезное выражение лица только тогда, когда на нее обращали внимание. Однако вскоре разогревшаяся компания поглощена была только собой. Заметив это, Мария Александровна выскользнула из комнаты.

Володя не пошел во флигель, где жил вместе с братом. Он незаметно вернулся и притаился в гостиной, издалека наблюдая за пирующими.

– А много ли можете выпить, отец Макарий? – спрашивал попа Ульянов, хлопая его по плечу.

– Бесконечное количество раз плюс еще одна рюмка! – парировал тот, вознося глаза, как в молитве.

– Ваше святейшество, согласно выражению Козьмы Пруткова, может объять необъятное... – заметил со смехом инспектор.

– Воистину, Петр Петрович! – тут же ответил отец Макарий. – Как сказано у Екклесиаста, сына Давидова, царя Иерусалимского: «Ешь с весельем хлеб твой и пей в радости вино твое, ибо Бог благоволит к делам твоим!»

Володя задумался над этими словами. Мама учила его молитвам и водила в церковь. Люди молились перед красивыми, позолоченными иконами; у одних лица были просветленные и радостные, другие – плакали и вздыхали.

Бог... Великое слово, страшное, любимое, непонятное слово.

Существо, носящее такое возвышенное, трогательное имя – Бог, должно быть прекрасно, совершенно, могуче, лучезарно; оно не может быть похоже ни на отца, доктора, коллежского советника с орденом на шее, ни на настоятеля в зеленой сутане, с красивым крестом на груди, ни даже на маму, ведь она иногда злится и кричит на сестер и служанку совсем так же, как это делает сам Володя во время ссоры с сестрами и братом... Великое Существо не может поступать таким образом, а тем временем сам отец Макарий сказал, что Богу нравится веселье во время

еды и винных возлияний, на что так часто жалуется мама, с горечью или гневом глядя на отца.

Это расстроило мальчика. Бог показался ему менее устрашающим и менее любимым, совсем обычным, лишенным таинственности.

– Может, Бог похож на отца Макария или епископа Леонтия? – спросил он сам себя.

От этой мысли его лицо исказилось, и он вновь прислушался к беседе гостей.

Опершись локтями о стол и кивая головой, говорил инспектор Шустов:

– Я часто объезжаю далекие деревни, где мы открываем народные школы. И там, по просьбе моего коллеги из семинарии, я собираю интересные и очень забавные материалы. Может, господа помнят горбуна Сурова? Он закончил академию и теперь работает профессором в Московском университете. Ого! Большой ученый – без шуток! Лично знаком с министром просвещения! Книжки издает. Я не мог ему отказать, сами понимаете – протекция, как говорится! Так вот, выискал я для него материалы – пальчики оближешь! Знаете, что в двух деревнях я разыскал язычников? Да, да – язычников! Официально-то они православные; когда власти распорядятся, едут в церковь за 50 верст, поклоны бьют, аж звон стоит, зато дома хранят «старых богов», перед которыми ставят тарелочки с пожертвованиями – молоком, солью, мукой. Ха-ха-ха!

– А где вы это видели, Петр Петрович? – спросили одновременно отец Макарий и комиссар полиции.

– Это деревни Бейзык и Луговая, – ответил инспектор.

– Я должен завтра же доложить об этом епископу, – сказал поп. – Туда необходимо направить миссионеров, научить, предостеречь, обратить, утвердить в истинной вере православной!

– Пока вы это сделаете, я пошлю туда своих конных полицейских, они там и обратят, и наново нагайками окрестят идолопоклонников! – выкрикнул со смехом Богатов. – Дикий еще наш народ, ой дикий, господа!

– Вот мы и открываем народные школы, – отозвался Ульянов, попивая пиво. – Просвещение распространяется широко.

Уже не найти такой деревни, в которой нет хотя бы одного человека, который умел бы читать и писать.

– Это хорошо! – похвалил отец Макарий. – Можно будет дать им хорошие книжки о пользе церкви, о почитании духовных особ, о сыновних обязанностях по отношению к батюшке-царю и благополучно нам господствующему царскому дому...

– О том, как живут цивилизованные народы на Западе, – встрял Ульянов.

– Это лишнее! – перепугался Богатов. – Не поймут, впрочем, для них это бесполезно и даже опасно, потому что разбудило бы преждевременные мечты, дух недовольства, протеста, бунта... Не забывайте, господа, что революционеры – преступники покусились на драгоценную жизнь столь святого, доброго в отношении крестьян монарха, каким был царь Александр II. Я был тогда в Петербурге и видел, как вздернули на виселице Желябова, Перовскую и других убийц. Душа радовалась, что настигла их длань Божья.

– *Длань Божья? – прошептал Володя.* – Так Бог вешает людей?

Бог снова отдалился.

Он уже не был близким, понятным и приземленным. Но и не вернулся на небеса, в таинственную голубизну, пронизанную золотом солнца, серебром луны и бриллиантами звезд, как рассказывала детям старая нянька Марта. Он отдалился, но уже в какой-то иной мир, мрачный, враждебный, ненавистный.

Бог... вино... виселица – все перемешалось в голове мальчика. На глаза наворачивались слезы. Сердце колотилось в груди. Он чувствовал грусть, грызущую тоску по чему-то внезапно утраченному. Комиссар Богатов, Бог были ему ненавистны.

Один до крови бил по ушам крестьян, другой – собственной рукой вздергивал их на виселице.

Комиссар бил крестьян за то, что они хотели наказать безжалостного богача; революционеры убили царя... За что? Наверняка он тоже был плохой...

Тем временем отец, перепугавшись нравоучений Богатова, оправдывался:

— Я хотел сказать, что мы можем дать крестьянам описание применяемых на Западе методов возделывания земли, скотоводства...

— А-а! Это можно! — согласился комиссар полиции. — Однако мы в первую очередь должны, используя силу власти, церковь, школу, удерживать наш народ в рамках дисциплины, верноподданности царю, в покое и покорности... Иначе нельзя!

— Конечно, в противном случае появятся новые Разин, Пугачев — самозванные вожди народа, ведущие на бунт! — со смехом воскликнул доктор. — А если наш темный муравейник расшевелить, то-то был бы танец! Изо всех нор стали бы выползать черти, ведьмы, бесы, оборотни и понеслись бы перед нашими иванами, степанами, василиями! А эти спокойные, добрые, богобоязненные мужички побрели бы с грозным урчанием, размахивая ножами, топорами и жердями, пуская кровь всем, кто повстречался бы им на пути, без разбору! Ради удовольствия посмотреть на горячую юшку, чтобы убедиться наконец: красные или голубые внутренности, например, у отца Макария? Ха! Поднялся бы огромный грохот и шумиха, а зарево бы занялось по всей святой Руси! Знаю я наш народец! Не сильно изменился он со времен татарского ига. Татары резвились — только земля дрожала, но это ерунда по сравнению с тем, как порезвились бы наши православные иваны, алексеи и кондраты. Уф! Аж мурашки по коже от одной только мысли!

Все задумались, беспокойно глядя друг на друга, хотя на столе уже стояла батарея опорожненных бутылок.

— Ой, ваша правда, доктор, святая правда! — прервал молчание комиссар полиции. — Это был бы такой танец, что клубы пыли заслонили бы небо! Я вам кое-что об этом расскажу...

Все уселись удобнее и закурили сигареты. Ульянов подлил пива.

— Над Волгой, близ Самары, в минувшем году кочевал цыганский табор. Это хищное и неисправимое племя! Известно, что где цыгане, там воровство. Пропадает невинность деревенских девок, пропадают кони, ха-ха-ха!

— Одной пропажи не вернешь, а за другую можно побороться! — заметил, лаская свой прекрасный крест, отец Макарий.

— Вот именно! — кивнул головой Богатов. — Так и случилось. Какой-то цыганский молодец, наведываясь в ближайшую деревню, высмотрел себе красавицу, ну и спал с ней осенними ночами на мягком сенце. Но тратил время не только на амуры! Высматривал он, где и у кого из мужиков чего можно взять. Увели цыгане трех лучших коней, переправились на другой берег, продали добычу татарам и сгинули в степи, как стая волков. Долго искали мужики украденных коней, пока не узнали, что они у татар. Пошептались мужики между собой, посоветовались со своим попом и однажды ночью совершили налет. Затолкли жердями и зарубили топорами восемь татар, а потом отобрали коней. Авантюра, жалобы, шум, суд! Пятеро пошли на каторгу... На следующий год табор вновь кочевал поблизости, и молодой цыган проведал брошенную любовницу. Тут-то его и поймали... Началось представление, настоящий театр! Ой, что это было! Девку обвинили в том, что она ведьма, так как одна из старушек видела ее собственными глазами, летающую на метле! Привязали дивчине к шее старый мельничный жернов и сбросили с берега в водоворот Волги... Пошла ко дну, как щенок... С цыганом позабавились иначе. Связали ему ремнем руки, намазали медом и повесили в лесу над муравейником так, чтобы доставал его стопами. Вся деревня три дня и ночи ходила понаблюдать, как конокрада живьем пожирали муравьи! Двоих мужиков приговорили потом к трем годам строгой тюрьмы...

— Суровое, слишком суровое наказание! — воскликнул отец Макарий. — За что? За какого-то цыгана-язычника и нескольких татар? Наверняка сам Бог радовался тому, что идолопоклонников отправили в ад!

— Бог, снова Бог... — простонал Володя.

Имя это, как лезвие, пронзило мозг и сердце мальчика.

Он с плачем выскользнул из гостиной. Вернувшись во флигель, упал лицом на кровать и долго, тяжело, безнадежно рыдал.

Его разбудил брат, вернувшийся домой за полночь.

Брат был поражен, заметив заплаканное лицо мальчишки.

— Что с тобой случилось? — спросил он. — Ты плакал? Уснул в одежде...

Слезы хлынули из глаз Владимира.

Срывающимся голосом, постанывая и рыдая, он рассказал брату обо всем и, сжимая кулаки, прошептал:

– Бог злой... злой!

Старший брат взглянул на него внимательно, задумался и сказал тихо, но твердо:

– Бога нет...

Мальчик покачнулся, как пьяный, пронзительно вскрикнул и упал без сознания.

ГЛАВА II

Весна близилась к концу.

Волга сбросила с себя ледяные оковы. По ней уже прошли первые пассажирские суда. На реке все чаще появлялись спускающиеся по течению плоты. Пролетели, держа курс на север, последние стаи диких гусей и уток.

Володя принес из гимназии табель с годовыми оценками; в нем были одни пятерки и резолюция педсовета, согласно которой он признавался первым учеником в классе.

Отец погладил его по лицу, мама поцеловала в лоб и сказала:

– Ты моя радость и гордость!

Он со спокойствием и безразличием принимал похвалы.

Даже не понимал, за что его хвалят. Учился он старательно, потому что хотел как можно быстрее поглотить знания. Учеба давалась ему легко. Особенно он любил латынь и по собственной инициативе пробовал читать Цицерона, листая при этом толстый словарь Шульца или обращаясь за помощью к брату Александру. Несмотря на все эти занятия у него оставалось немало свободного времени. Он много читал, увлекаясь Пушкиным, Лермонтовым, Некрасовым; два раза прочел «Войну и мир» Толстого и проглотил неисчислимое количество книжек.

Обычно он делил книги на две категории: бабские, то есть сентиментальные, бессмысленные, после которых ничего, кроме красивого звучания слов, не оставалось, и настоящие – в которых находил мысли, глубоко западавшие ему в сердце и мозг.

Зачитываться книгами он начал недавно. До сих пор ему мешало в этом увлечение коньками.

Он любил скорость и постоянный контроль над своими мышцами, необходимый для сохранения равновесия.

Сделав уроки, он бежал кататься на замерзшую речку. Возвращался оттуда уставший и сонный. О чтении не могло быть и речи. Ложился в кровать и засыпал как убитый.

Только минувшей зимой он понял, что коньки отнимают у него много драгоценного времени и лишают возможности проводить его с пользой.

Сомнения были недолгими.

Стиснув зубы, он пошел к приятелю Крылову, чтобы обменять свои американские коньки на четыре томика Тургенева в хорошем переплете.

Володя был первым учеником; самым усердным, способным и дисциплинированным. И все же это не мешало ему радоваться наступающим каникулам.

Семья Ульяновых проводила лето в маленькой, лежавшей недалеко от реки и окруженной лесами деревеньке Кукушкино.

Для маленького Владимира это был рай. Сельчане относились к Ульяновым по-дружески, а особенно любили Марию Александровну, которая лечила их совершенно бесплатно, иногда заглядывая в медицинский справочник и раздавая лечебные травы, а также привезенные из города микстуры. Среди местного населения у нее была устоявшаяся репутация отличной врачевательницы.

Мальчишка тоже имел в деревне много друзей.

Подвижный, жаждущий приключений, смелый, он собирал вокруг себя ребят, которые поражались его изобретательности и силе. Они обожали его, не видя в нем снисходительности господского сынка; он никогда не пытался их поучать или высмеивать. Обычно недоверчивый, а иногда и резкий в отношениях с приятелями из гимназии, здесь Володя чувствовал себя в своей стихии. Был равным среди равных.

Иногда он возвращался домой с подбитым глазом. Когда Мария Александровна с досадой выговаривала ему за это, Володя, глядя в любимое лицо матери, отвечал с легкой улыбкой:

– Это ничего, мамочка! Мы играли в казаков-разбойников. Рыжий Ванька мне заехал кулаком в глаз, но я тоже набил ему неплохой синяк. Мне не хотелось сдаваться, и я сражался один против пятерых, пока не прибежали мои разбойники...

Теперь, после получения табеля с годовыми оценками и окончания учебного года, Володя пребывал в предвкушении всех этих удовольствий.

Старший брат оставался в городе, сестры Мария и Ольга были приглашены к тетке, поэтому он ехал с родителями один.

Прибыв в деревню, Володя сразу же умыкнул из дому и побежал в лес, пока родители распаковывали чемоданы и корзины.

Солнце клонилось к закату.

Деревья, усыпанные свежей, пахнущей листвой, роняли последние цветы и семена. Яркая, зеленая трава, белые, желтые и голубые весенние цветы источали аромат. Воздух был наполнен запахом еще сырой земли. В воздухе летали бабочки и блестящие мухи, с жужжанием проносились жуки. По верхушкам сосен прыгали белки. Вокруг порхали птицы, щебетали, свистели и ловили насекомых.

Мальчик замер в восхищении, приветствуя лес, траву, насекомых и птиц.

Все вокруг казалось ему прекрасным, безмерно счастливым, бессмертным.

Володя невольно сорвал с головы шапку и окунул взгляд в бескрайнюю голубизну неба.

— Бог! Великий, добрый Бог!.. — воскликнул он с благодарностью и умилением.

Звучание этого слова напомнило мальчику отца Макария и коллежского советника Богатова. Он болезненно поморщился, сердито сощурил глаза и опять натянул шапку на голову.

Затем он пересек лес, путаясь в пересекавших тропинку корнях деревьев, и вышел на высокий берег реки.

Заросший кустарником дикой малины и калины, он обрывался почти вертикально.

Ниже, невидимые за густой растительностью, звенели и шипели выползающие на узкую песчаную полоску волны.

Река, широко разлившаяся, доходящая до квадратов полей, которые раскинулись от низкого песчаного берега и желтых, хорошо знакомых мальчику пляжей, скрытых теперь под водой, — плыла спокойно и величественно.

Лента реки, играя бледно-голубыми, розовыми, золотистыми и зеленоватыми оттенками, напоминала одеяния ангелов и архангелов, нарисованных под куполом кафедрального собора.

Ему хотелось броситься в эти разноцветные, ласковые струи и плыть, плыть далеко, к солнцу, разбрасывавшему пурпур и золото, зовущему и влекущему.

Маленький Владимир вновь обнажил голову и стоял в неописуемом восхищении — неподвижный, засмотревшийся, бессознательно всей силой легких вдыхая прилетавшие с Волги дуновения свежего воздуха.

Из-за выступающей скалы, где пенились и кружились юркие струи, выплыл большой плот.

Люди, упершись плечами в длинные багры, вбивали их окованные железом концы в дно, проталкивая сотни толстых стволов, связанных между собой лыком.

Посреди плота стоял шалаш из древесной коры и зеленых ветвей, а перед ним на каменной плите горел небольшой костер.

Толстый, бородатый купец сидел возле огня и пил чай, подливая его в блюдце из чашки.

Время от времени он поощрительно покрикивал:

— Эй-эй! Мощнее, быстрее, усерднее! Спойте-ка, парни, работа будет лучше спориться! Ну!

Склонившиеся над баграми работники угрюмыми голосами начали урчать:

Эй, дубинушка, ухнем!
Эй, зеленая, сама пойдет!
Эй, ухнем! Эй, ухнем!

Неохотные, урчащие голоса оживали медленно, становились все громче, смелее и ритмичнее.

Стоящий на длинном рулевом весле молодой работник неожиданно звонким тенором затянул разбойничью песню:

Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны
Выплывают расписные
Стеньки Разина челны...

Хор сгорбленных силуэтов, топающих босыми ногами по движущимся, мокрым балкам, дружно подхватил:

Выплывают расписные
Стеньки Разина челны!

Слова песни отражались от крутого обрыва берега; неслись над рекой, растекались по долине, рассеченной квадратами полей и зеленью лугов до самого горизонта.

Внезапно плот зацепился за подводный камень и начал быстро вращаться в водовороте, затягивавшем его на глубину.

Песню прервал пронзительный крик, топот ног становился все более громким и частым, багры все сильнее впивались в измученные плечи работающих людей, плескалась вода, скрипел руль, трещали соединения бревен.

Еще не умерло далекое эхо песни, еще вибрировали в воздухе последние слова, когда сидевший перед шалашом купец вскочил и подбежал к рулевому.

Широко замахнувшись, купец ударил по лицу борющегося с бурным течением человека, крича при этом бешеным, хрипящим голосом:

– Сукин сын! Чтобы мать твою суку... К чертям рогатым! Ах, вы – убожества, подлые попрошайки, отбросы, отребье тюремное! Чтоб вас холера задушила! Чтоб...

Он бегал, метал проклятия, бил, толкался, грозил, выкрикивал плохие, гнилые, отвратительные слова...

Высокий берег повторял все, слова отскакивали от него, как мячи; летели над рекой и падали там же, где еще совсем недавно умирали куплеты песни о предводителе разбойников и защитнике угнетенного народа Разине.

Река внезапно стала бесцветной, серой и сморщенной, как лицо старца; ангелы, одетые в перламутровые, розовые, голубые и зеленые наряды, улетели, а небо стало таким же бледным, как вода.

Володя снова со всей силы натянул на голову шапку и, засунув руки в карманы брюк, задумчивый и грустный отправился домой.

Радость умерла в его сердце.

Он уже ни в чем не замечал безбрежной, бессмертной радости.

Все унеслось, улетело без следа, без эха. Мальчик оглядывался вокруг и шептал:

– Мама и священник в гимназии учат, что Бог милосерден и вечен... Почему же тогда умирают люди, собаки, птицы? Поче-

му же проходит наполненная светом и радостью тишина? Почему прерывается несущаяся над рекой песня? Почему этот толстый купец бьет рулевого и во все горло выкрикивает отвратительные слова? Нет! Бог не милосерден, ведь он не сделал вечными радость и красоту! А может, Он сам не вечен? Может, Он жил когда-то и был милосерден? А потом Он умер — и милосердия на земле не стало?

— Бога нет... — вспомнил он слова брата Александра.

— Лучше об этом не думать — прошептал мальчик.

Болезненная гримаса исказила его круглое лицо и затаилась в уголках дрожащих век.

Дни в деревне проходили полные незабываемых впечатлений.

Володя вместе с деревенскими мальчишками ходил в лес, на поля, на берег реки, где дети купались или ловили на удочку рыбу.

В лесу молодой Ульянов охотился. Он смастерил себе настоящий лук и стрелял из него в птиц. Делать это приходилось в тайне от матери, которая ругала его за это.

— Помни, сынок, — говорила она, глядя на сына строгим взглядом, — что самым дорогим сокровищем, которое есть у людей, является жизнь. Бог в своей доброте наградил ею живые существа. Никто не должен обижать Бога, убивая человека или даже самое маленькое насекомое.

— Даже комара, который кусается? — спросил мальчик.

— Ну... комар это — вредное насекомое... — ответила несколько растерявшаяся мать.

— А волк? Медведь? — спрашивал он дальше.

— Это опять же — хищники... — объясняла она неуверенным голосом.

— А что — вредных и хищных людей не бывает? — настаивал мальчик. — Я слышал, что отец Макарий называл революционеров вредителями, а комиссар полиции, господин Богатов, рассказывал, что цыгане — хищники... Скажи, мама!

Мария Александровна внимательно посмотрела в пытливые глаза сына. Хотела что-то ответить, но стиснула губы и после долгого молчания прошептала:

— Сейчас ты этого не поймешь. Ты еще мал. Узнаешь все со временем...

Он больше не задавал ей вопросов, а по птицам стрелял только тайком.

Еще Володя любил играть в кости. Он знал, что родителям это не нравится и постоянно вынужден был выслушивать от них нравоучения. Однако справиться с тягой к азарту не мог.

Кости он привез с собой и играл с ребятами, выигрывая маленьких белочек, зайчат, выкраденных из гнезда или пойманных дроздов и щеглов, трости с рукоятками из причудливо изогнутых корней.

Он никогда не проигрывал.

Наконец его разоблачили.

Он бросал кость, наполненную оловом, на которой всегда выпадало максимальное число.

Сначала его побили, однако никто и не думал его презирать. Наоборот, его небывалое изобретение вызвало в товарищах чувство уважения. Сам же он пожал плечами и спокойно сказал:

— За что вы меня побили? Я ведь хотел выиграть, поэтому и приготовил себе беспроигрышную кость.

— Ну, ты молодец! — покачал головой веснушчатый и ловкий, как кот, подросток, рыжий Сережка Халтурин. — Не любишь, брат, проигрывать?

— Я играю, чтобы выигрывать! — ответил Володя, щуря глаза.

Он ожидал услышать обвинение в нечестности. Это слово он часто слышал в гимназии: малейшее несоблюдение правил игры вызывало взрыв возмущения и крик о нечестности.

Володя почти никогда не играл на переменках.

Обычно он ходил в класс рисования и смотрел на гипсовые модели, бюсты Венеры, большую фигуру опиравшегося на дубину Геракла, он листал альбомы с картинами из Эрмитажа, галереи Строганова и Лувра.

Его удивляли многие несуразности.

На контрольных занятиях ученики списывали друг у друга, на уроках глухого капеллана подсказывали и не говорили, что это подло или нечестно, хотя охотно делали это во время игр.

Были в этом некие фальшь и непорядочность, которых он объяснить не мог, а потому — с презрением улыбался.

Деревенские мальчишки побили его за кость с оловом.

Это было понятно. Они злились за то, что он их обыграл. Однако назвали его «молодцом», похвалили и, причмокивая губами, восхищались беспроигрышной костью и ее изобретателем.

Молодой Ульянов часто думал об этом, когда ходил с друзьями на берег глубокого речного залива ловить рыбу.

Мальчишки садились рядом в нескольких шагах друг от друга и забрасывали удочки в черную от глубины воду. Сначала — молчали, наблюдая за движением сделанных из пробок и гусиных перьев поплавков. Время от времени слышны были лишь громкие хлопки ладонью по лбу или шее, предназначенные надоедливым и ненасытным комарам.

Через некоторое время, устав от молчания, заводили разговор.

Ульянов внимательно слушал друзей, не пропуская ни единого слова.

Особенно он любил рассказы рыжего Сережки.

От него он впервые узнал, кем был прославленный разбойник Разин, свирепствовавший некогда на Волге.

Раньше он знал, что Разин был могущественным вожаком, похищавшим плывущих с товаром со стороны Каспийского моря богатых персов. Здесь на берегу Волги, которая помнила расписные разбойничьи челны, он услышал, что свою добычу Разин отдавал бедным мужикам, выкупал их из неволи, защищал от царских воевод бегущих от несносного ярма бедняков.

Рыжий подросток рассказывал еще о Пугачеве и других бунтарских вождях, встававших на защиту угнетаемых крестьян и лишавших сна царицу Екатерину.

— Эх! — вздыхал и потягивался мечтательно Сережка. — Если бы теперь такой Разин или Пугачев пришли! Пошли бы мы за ними да позабавились бы с чиновниками, полицией! Они уже вот тут, тут сидят!

С этими словами он бил себя ребром ладони по шее, повторяя безошибочно жест отца или брата, который работал на фабрике.

От своих друзей молодой Ульянов узнал о крестьянской нищете и угнетении.

Многие вещи были ему непонятны.

Выражения: «одну ночь Ванька спит с Машкой, другую — с Веркой», «у Дуняшки был выкидыш, потому что она ходила

к знахарке, старой Анне, которая живет на окраине деревни и водится с чертями», «бабские настроения из ребра выбил», «пошел с сумой за неуплату налогов», «барщина», «красный петух, которого пустил за обиды своему хозяину» некий Иван Грязнов – все это было для него непонятным, пугающим, удивительным.

Он расспрашивал об этом друзей и иногда краснел, слыша их простые, наглядные объяснения, но сомнения и иллюзии у него все-таки оставались. Он решил проверить все самостоятельно, увидеть собственными глазами, потрогать руками страшные раны, которые уже ощущал своим детским сердцем.

В памяти всплывали стенания и слезы, содержащиеся в стихотворениях Некрасова или в тургеневских «Записках охотника». Мысли начали сопоставляться с догадками, укладываться в единое целое. Перед ним возникала угрюмая картина жизни в деревне, отличная от мещанского быта, таинственная, вызывающая ужас. Достаточно было оказаться внутри этой жизни, чтобы охватить ее одним взглядом.

Он думал об этом, сменяя наживку на рыболовном крючке, и уже знал, что до сих пор самые интересные вещи обходили его стороной. Мальчик решил, что все поймет, когда увидит собственными глазами.

Он предчувствовал, что его ждут новые, неизвестные впечатления, стократно более сильные, нежели ночные походы в темный, нахмуренный лес, костры на одиноких полянах и рассказы о волках, медведях, дьявольских призраках и ведьмах, пьющих человеческую кровь.

Волк повстречался ему только раз, но убежал от него, как трусливый побитый пес. С той поры волков он не боялся.

В поисках ведьм и таинственных призраков он в полночь углублялся в лес или заходил на старое кладбище, часть которого уже обвалилась с крутого берега в реку. Страх он почувствовал только однажды, когда что-то ухнуло у него над головой, а в лесу появился непонятный блеск. Однако, хорошенько присмотревшись, он понял, что это филин.

С того момента он уже не верил в существование чертей и ведьм, а потому с неохотой слушал рассказываемые мальчишками «страшилки для старых баб».

Его мысли перебил монотонный, надрывный стон:

— О-о-о-ей! О-о-о-ей!

По узкой ленте песчаного берега шли, волоча за трос загруженную баржу, бурлаки. Он знал, что это бездомные нищие, бродяги, которых нанимали за гроши, чтобы они грузили и тащили корабли против течения — от Астрахани до Нижнего Новгорода.

Грязные, босые, оборванные, заросшие, как дикие звери, сгибаясь под врезавшимся в плечи тросом, бурлаки тянули тяжелую баржу, на которой у руля стоял хозяин — купец.

Покрытые ранами и мозолями черные ступни грязли в мокром песке, все ниже сгибались, укрываясь от солнца, потные шеи, а из тяжело вздымавшихся грудей вырывался только один звук:

— О-о-о-ей! О-о-о-ей!

Это была бурлацкая песнь, песнь нищеты, рабской немощи и отчаяния.

— О-о-о-ей! О-о-о-ей!

— Бог в помощь, бурлаки! — крикнул один из мальчишек, уступая дорогу.

— К черту! — буркнул идущий впереди высокий, с мощной обнаженной и усыпанной красными язвами грудью верзила. — Над нами только дьявол имеет власть, щенок...

Они миновали мальчишек, и уже издалека, из-за врезающегося в реку небольшого мыса, донесся затихающий стон:

— О-о-о-ей! О-о-о-ей!

У Ульянова защемило сердце. Он нигде не встречал дьявола, а ведь тот имел власть над бурлаками. Где же находится резиденция дьявола? Хочется его увидеть и померяться силами, даже если после этого всю жизнь пришлось бы стонать, как эти тянущие баржу люди.

Вечером Володя принес в условленное место карамельки и кусок шоколада. Он упрашивал Сережку, чтобы тот показал ему все, что требовало бы вмешательства Пугачева и Разина.

— Вы, городские, не знаете деревню и нашу жизнь, ведь у вас все по-другому, — сказал рыжий подросток, глядя на друга с презрением.

Недалеко проходил мужик.

На нем были белые штаны и сшитая из грубого домотканого полотна рубашка навыпуск. Он шел, мощно ступая черными босыми ногами и постукивая толстой палкой. Что-то бормотал себе под нос, потряхивая густой гривой спутанных волос.

— Павел Халин возвращается из усадьбы. Идет злой, значит, ничего не добился, — прошептал Сережка.

— Зачем он туда ходил? — спросил Ульянов.

— Уже два месяца каждый день ходит! — рассмеялся подросток. — Приключилась такая вещь, что младший сын господина Милютина поймал в лесу дочь Халина Настьку. Так-сяк... лаской, угрозами и подарками уговорил он ее, чтобы ходила к нему...

— Что же в этом плохого, что она ходила к Милютину? — спросил Володя.

— Ну и глупый же ты! — воскликнул Сережка и очень красочно и доступно все другу объяснил. — Ну и забеременела Настька... Халин требует теперь от господина пятьдесят рублей компенсации, а не то — грозит свести в могилу эту распутницу!

— И что Милютин? — спросил дрожащим голосом молодой Ульянов.

Говорит: «Не дам ни гроша, потому что она сама бегала к моему сыну, он ее не неволил. А если убьешь девку — пойдешь на каторгу!» Однако Халин все еще торгуется. Он думал, что выцыганит деньги и купит на ярмарке вторую корову...

— Что же теперь будет? — спросил, глядя в ужасе на Сережку, маленький Владимир.

— А ничего, будет бить бабу свою, а потом и Настьку. Потом напьется и завалится храпеть. Назавтра снова потопает к Милютину, будет клянчить, просить и отбивать поклоны до самой земли... — ответил рыжий подросток, небрежно сплевывая на землю.

— Я хочу посмотреть, как он будет бить... — шепнул Володя.

— Идем! Спрячемся за оградой, а оттуда все увидим и услышим, — согласился, хрустя конфетой и громко причмокивая, парнишка.

Они обежали деревню со стороны реки и затаились рядом с хатой Халина.

Из нее доносился возмущенный голос мужика:

— Этот наш кровопийца, палач, обидчик не хочет ничего слушать!.. Говорит, что эта сучка сама искала кобеля, пока не нашла...

— Ой нет! Матерь Пречистая, нет! — крикнула девушка. — Я влюбилась в него, а он обещал, что в церковь к алтарю меня поведет. Я не...

На ее грудь обрушился тяжелый удар.

— Ах ты, сука, ничтожество, подстилка ты подлая! — приговаривал мужик, бил куда попало, пинал ногами и ругался отвратительными словами.

— Что ж ты делаешь, животное! — бросилась на него с криком жена. — Убьешь девку...

Мужик схватил бабу за волосы, выволок из хаты и, подхватив кусок полена, стал охаживать ее по спине, по бокам и по голове.

Поднялся ужасный вой:

— Люди добрые! Спасайте! Убьет! У-у-бьет!..

Из соседних хат выбегали бабы, а за ними медленно выходили мужики.

Они встали вокруг и внимательно, спокойно смотрели.

На темных загоревших лицах крестьян маленький Ульянов не заметил даже тени волнения и сочувствия. Мужчины смотрели скорее с интересом и злобой, женщины вздыхали и с притворным ужасом закрывали глаза руками.

Сережка тихо рассмеялся.

— Люби жену, как душу, а тряси, как грушу, — прошептал он слова поговорки. — Этот трясет что надо!

— Спасайте соседку, а то забьет ее Павел насмерть! — воскликнула одна старуха.

— Не наше дело! — отрезал серьезным голосом деревенский староста. — Жена бывает самой дорогой два раза в жизни: когда приводишь ее в дом и когда провожаешь на кладбище. Ничего страшного! Поучит Павел — бабу и будет порядок!

Однако мужик впадал в еще большее бешенство. Не переставая ругаться, он отбросил полено, которым избивал жену, и нагнулся за тяжелой жердью.

В этот момент к нему подошел староста и примирительным голосом сказал:

— Ну хватит, хватит уже, сосед, Павел Иванович! Вы свое дело сделали, смотрите: баба вся в крови и уже не может встать. Хватит!

Халин поднял на него угрюмые, взбешенные глаза, внезапно успокоился и начал жаловаться, почти плача:

— Не уберегла девку, убожество! Что я теперь делать буду? Выродка буду кормить? Старый ворюга Милютин пятьдесят рублей заплатить не хочет... Вот я ему осенью, когда амбары будут полны зерна, подпущу в его берлогу «красного петуха», посвечу горячим заревом перед его высокородными, благородными глазами, видит Бог! Он меня никогда не забудет!

— Плохо говоришь, сосед! — упрекнул его один из мужиков. — Не дай, Господи, дойдут твои слова до полиции! Сгниешь тогда в тюрьме, точно тебе говорю.

Халин еще некоторое время плакал и огрызался. Лежащая на земле окровавленная баба воспользовалась этим, со стоном встала и пошла в хату.

Соседи, обсуждая девичье несчастье и слушая жалобы мужика, увели его с собой.

— Побегу я домой, надо скотину напоить, — сказал Сережка и побежал домой.

Володя не двигался с места. Он вслушивался в доносящиеся из избы звуки.

Обе женщины рыдали и жалобно завывали.

Потом смолкли и начали шептаться, как заговорщицы.

Вскоре из избы вышла девушка. Под мышкой она несла толстый сверток ткани и желтый в голубые цветы платок.

Мальчик, хотя был уже очень голоден, не покидал своего укрытия.

Он видел, как вернулся домой Павел. Шел, шатаясь, разговаривая сам с собой, размахивая руками. Даже пытался петь и танцевать, однако ноги у него подкосились, и он едва не рухнул на землю.

В хату он ввалился почти без сознания. Там избитая, покалеченная жена быстро уложила его в постель и стянула сапоги.

Володя слышал, как пьяный мужик храпел и даже во сне выкрикивал проклятия.

Крестьянка вышла за калитку и кого-то нетерпеливо стала высматривать.

Услышав доносившиеся со стороны сада шаги, она собрала во дворе несколько камней и положила их возле дома, подальше от окошка.

К ней приблизились две женщины.

Одна из них была Настька, заплаканная, перепуганная, с выступающим из-под фартука животом; вторая — маленькая, сгорбленная старушка — была деревенской знахаркой. Ее желтое перепаханное черными глубокими морщинами лицо было сосредоточенно. А черные и круглые, как у птицы, глаза беспокойно бегали по сторонам.

— Избавь, тетка, девку от ребенка! — прошептала крестьянка. — После жатвы принесу тебе серебряный рубль! Вот те крест, клянусь!

— Спешите, спешите! — бормотала, закатывая рукава, знахарка.

Мать помогла Настьке лечь на камни. В таком положении, живот ее выгнулся, как раздутое туловище коня, который три дня назад сдох в лесу, а собаки грызлись между собой за его гниющие останки.

Старушка, поковырявшись возле одежды девушки, пробормотала:

— Дай-ка, соседка, доску...

Крестьянка принесла тяжелую, широкую доску для стирки белья.

Знахарка, прокричав непонятные заклинания, подняла ее и со всей силы ударила по животу лежавшую Настьку. Раздался удушливый стон и тихий плач, после чего последовали новые удары.

Продолжалось это долго. Стоны, скрежет стиснутых зубов и глухие звуки ударов...

Девушка пронзительно крикнула и замолкла.

— Все... — буркнула старуха. — Принеси теперь воду и церковную свечку!

Бормоча заклинания, она брызгала на неподвижную Настьку водой и ходила вокруг нее со свечкой в руке, неустанно повторяя:

— Господи, помилуй! Господи, помилуй!

Мать наклонилась к лежащей девушке и вдруг отскочила, протерла испуганные глаза, схватила себя за волосы и прошептала:

— Тетка Анна, Настька мертва... Настька мерт-ва!

Затем она опустилась на землю и стала биться головой о стену.

Откуда-то издалека донеслись звуки гармошки.

Веселые, высокие ноты игриво переливались.

Молодой беззаботный голос пел:

Три деревни, два села
Восемь девок, один я!
Ух — Ах!

ГЛАВА III

Вся деревня собралась перед домом Халина.

Белый гроб, сбитый наспех из оструганных досок, стоял на двух табуретках в правом углу хаты. На полке с черными, закопченными иконами горела восковая свеча.

Молодой маленький худой поп в выцветшей, посеревшей сутане и старой из черного бархата накидке читал молитвы. Потом пел сухим голосом, сдерживая возмущение всей силой воли. Его голубые глаза то и дело наливались слезами, а бледные руки сильно сжимали крест, когда он, тяжело вздыхая, пел обрывистые слова молитв.

Поп не глядел на толпившихся вокруг сельчан, пряча глаза за опущенными веками.

Время от времени бросал он взгляд на мертвую Настьку.

Видел ее заострившийся нос, образовавшиеся от нестерпимой боли возле губ морщины и один мутный незакрытый глаз.

В такие моменты пение прерывалось, поп со свистом втягивал воздух и еще сильнее впивался худыми пальцами в металл креста.

Богослужение подошло к концу.

Затихли ужасные, жалобные слова:

— Упокой ее, Господи, в пристанище святых Твоих!

Мужики вынесли Настьку и быстрым шагом направились к кладбищу, где паслись оставленные без присмотра коровы, а среди сорняков, помятых зарослей ракитника и вьюнка бегали собаки.

Над могилой девушки быстро вырос маленький курган из желтой глины, а над ним — белый, деревянный, без надписи крест.

Господин Ульянов пригласил попа к себе на чай:

— Издалека прибыли, святой отец, устали, наверное. Милости просим к нам!

Халин не удерживал священника; и даже был рад, что избавился от незнакомого попа из далекой приходской церкви. Чужой и «ученый» человек испортил бы, стесняя всех, поминальное пиршество.

Мария Александровна поддержала просьбу мужа.

Молодой поп, смущенно и по-доброму улыбнувшись, молча кивнул головой и снял траурную накидку, а крест, кропило и бутылку со святой водой завернул в красный платок. Затем, вытряхнув угли из кадила, взглянул на крестьян.

Они брали пальцами из маленькой миски щепотки пшенной каши и нетерпеливо смотрели на осиротевших родителей, которые лопатами ровняли могилу.

Господин Ульянов, пригласив попа к столу, покровительственным тоном расспрашивал его о доме, семье, церковных делах.

Поп, скромно опуская глаза, рассказывал осторожно, с недоверием.

— Какую вы, отец, семинарию закончили? — спросила госпожа Ульянова.

— Киевскую семинарию, а затем духовную академию в Петербурге, фамилия моя — Чернявин, Виссарион Чернявин... — ответил поп тихим голосом.

— Духовную академию! — воскликнул господин Ульянов. — Так ведь это же самое высокое научное заведение, а вы, отец Виссарион, зарылись в деревенскую глушь! Как такое возможно?

Поп поднял встревоженные глаза и прошептал:

— Я не знаю, могу ли говорить открыто... Опасаюсь, что кто-нибудь может подслушать...

— Нам можете говорить смело... — заявила Мария Александровна.

— Хорошо... — прошептал поп. — Я знаком с вашим сыном — Александром Ильичом...

— Да-а? — удивилась госпожа Ульянова. — И где же вы с ним встретились?

— В Казани... У нас есть общие знакомые... — прозвучал уклончивый ответ.

— Отец, расскажите же, наконец, как могло случиться, что ученого священника направили в такой глухой приход?

Отец Виссарион подозрительно оглянулся и, наклонившись над столом, прошептал:

– Я гоним епархиальным епископом и святейшим Синодом...

– За что?

– За то, что восстал против церковной политики и отказался быть церковным чиновником. Призвание мое – несение истинной веры во Христа и ее укрепление...

Внезапно оживившись, он стал говорить смелее, громче:

– Россия пока еще дикая, почти языческая страна, мои дорогие! Священники наши должны быть миссионерами! Ведь наш темный, необразованный народ ничего не перенял из христианства. Ничего! Раньше бил поклоны у ног деревянного идола Перуна, а теперь, спустя тысячу лет, бьет челом перед нарисованными на дереве иконами. Для него Бог – это икона, а о Духе он так ничего и не знает. Не знает, не думает и не может понять! Любви, света, надежды и веры нет у нашего народа, но, что ужаснее, народ наш способен отрекаться даже от самых мелких признаков веры – молитвы и впадать в угрюмое богохульство!

Он замолчал, задумавшись.

– Наш мужик молится за урожай, за увеличение пашни и за то, чтобы ее отобрали у тех, чьи владения больше... – продолжал отец Виссарион. – Только это у него в голове. За обещание земли он пойдет и в рай, и в ад! Царь Александр II раскрепостил мужиков, привязав к небольшим наделам земли, которые ничего, кроме нищенского существования и постоянной борьбы с голодом, не могут им дать... Его назвали «Освободителем»! Кто-то мудрый посоветовал ему направить мысли народа на постоянную тягу к земле и обманчивыми обещаниями парализовать его жизненные силы. Это дьявольский план!.. За это царь и погиб от рук революционеров...

Все молчали. Володя всматривался в бледное, уставшее лицо отца Виссариона.

– Как же я могу привлечь этот народ к учению Христа, если мне приказывают обманывать его, склонять к покорности, к обоготворению царя и уступчивости злым властям? Не могу! Не могу!...

Он вздохнул и добавил шепотом:

— Я написал об этом трактат. И вот я гоним, за мной следит полиция, меня сослали в деревню... Священник!... Великое слово! Ужасная ответственность! Вы были на похоронах этой девушки... Мне известно, что происходит в деревне... Известно, потому что на исповеди я слышу об ужасных вещах! Это не преступления, ведь это слово неприменимо к нападению волка на ягненка? Мы живем в беспросветной тьме. Мужья насмерть забивают своих жен, когда почувствуют тягу к другой женщине. Жены подсыпают мужьям в водку яд, чтобы от них избавиться. Девушки ведут распутный образ жизни, а затем бегут к знахаркам, чтобы те избавили их от неизбежных последствий; пьянство, первобытные обычаи; человеческая жизнь не имеет никакой ценности: убить человека, убить с изощренной азиатской изобретательностью, чтобы он чувствовал наступление смерти, — таков наш народ! Никто не знает и не предчувствует, какие могут быть последствия всего этого...

— Революция, бунт? — спросил шепотом господин Ульянов.

— Нет! — воскликнул молодой поп. — Народ, как дикое хищное животное, вырвется из клетки и утопит все в преступном урагане, в кровавом половодье, в огне... Это время уже приближается!

Он поднял руку и, тяжело дыша, потряс ею над головой.

— Это ужасно! — промолвила Мария Александровна.

— Быть может, наши школы станут спасением от этого бедствия? — спросил господин Ульянов.

— Это слишком долгий путь! А с учетом настроений нашего народа — даже опасный. Книжка не накормит голодных. С пользой можно учить только сытых и спокойных людей. А у нас — голод и ненависть... Не надо себя обманывать!

Сказав это, отец Виссарион встал из-за стола, трижды перекрестился и прошептал просящим голосом:

— Только, дорогие мои, не пересказывайте никому нашу беседу! Я не боюсь, но мне хотелось бы побыть в этих местах подольше...

Они вышли во двор, где стояла повозка.

Кучера не было.

— Володя, сбегай-ка к Халину! Наверняка работник ваш, отец Виссарион, пирует с остальными на поминках, — сказал господин Ульянов.

Только мальчик захотел исполнить приказ отца, как на крыльцо хаты Халина стали выходить мужики с бабами. Они размашисто троекратно крестились и, шатаясь и спотыкаясь, спускались по ступенькам.

Выйдя на улицу, затянули нестройным хором какую-то задорную песню.

Пьяный и шатающийся кучер побежал к своей повозке.

– Почетные, торжественные похороны устроили дочке... Ха! Приюти, Господи, душу рабы твоей Настасьи... – бормотал он, вскарабкиваясь на козлы.

Повозка покатилась по улице, вздымая за собой облака пыли.

Пьяный мужик хлестал клячу бичом и кричал злым голосом:

– Я с тебя, стерва, шкуру спущу, кости переломаю!..

Родители Володи вернулись домой.

Мальчик остался и смотрел на исчезавшую за поворотом, подпрыгивавшую на камнях и лязгавшую окованными колесами повозку маленького, бледного попа.

Он еще явственно стоял у него перед глазами с рукой, угрожающе вознесенной над головой, а рядом проявлялся образ толстого попа Макария, ласкающего мягкую бороду и серебряный крест с золотым венцом, голубой глазурью и дорогими камушками над головой распятого Христа.

– Два священника... – думал он. – Какие же они оба разные и удивительные!... Кто из них лучше, кто настоящий, а кто – хуже?

Ответа не было. Он чувствовал, что запутался в понятиях...

Мальчик закрыл черные глаза и сильно стиснул губы.

Припомнилось, что он хотел еще посмотреть на нищего, который заночевал у старосты. Стряхнув мучительные сомнения, он побежал в хату, где находился пришелец. Нищий сидел в окружении баб и детей, которые прижимались к нему.

Это был «Ксенофонт в железе», старый, худой мужик с черным лицом и мученическими, бесчувственными глазами. И зимой и летом он ходил босиком, одетый в одну и ту же дырявую, потрепанную дерюгу. На истощенном теле он носил тяжелую цепь и терзавшую рубаху из конского волоса. На груди его висела большая, тяжелая икона Христа в терновом венце.

Старец говорил без перерыва. Это была смесь молитв, притчей, сплетен и новостей, собранных по всей России, которую он, гонимый жаждой бродяжничества, пересекал бесцельно вдоль и поперек уже долгие годы.

Он рассказывал о монастырях, реликвиях святых мучеников, об их житиях; о тюрьмах, куда беспросветная, безнадежная жизнь загоняла мужиков тысячами; о бунтах; о каком-то ожидаемом «белом письме», которое должно было дать крестьянам землю, настоящую свободу и счастье; о холере, которую «разносили» по деревням врачи и учителя; показывал талисманы от всех несчастий: щепоть Святой земли, осколок кости святой Анны, бутылочку с водой из колодца святого Николая Чудотворца; смеясь, подпевая и звеня цепями, он пророчествовал пришествие Антихриста — врага Бога и людей, говорил, что 666 дней его правления переживут только те, кто тяжелым бременем страданий и несправедливости прижат к земле, то есть — крестьяне. Это им будет дано право судить своих обидчиков; потом снова придет Христос и установит на тысячу лет господство людей от сохи, чтобы перед концом света познали они радости земной жизни.

Этот невменяемый, черный, как земля, старый нищий пел, кричал, молился, плакал и смеялся.

Маленький Володя внимательно присматривался к нему. Странные рассказы старца вызывали у него разные мысли.

Вдруг к избе старосты подъехала, звеня колокольчиками, повозка, за которой верхом на конях ехали двое полицейских.

В комнату вошел чиновник. Высокомерно поздоровался со старостой и спросил:

— В твоей деревне живет Дарья Угарова, вдова солдата, погибшего на Турецкой войне?

— Живет... — ответил перепуганный мужик, надевая дрожащими руками на сюртук латунную бляху с надписью «староста» — символ его власти. — Возле Кривого ущелья стоит хата Угаровой...

— Покажи мне дорогу к вдове! — приказал чиновник и вышел из дома.

Они шли в сопровождении толпы баб, поющего Ксенофонта и сбегавшихся отовсюду мужиков.

ВЛАДИМИР УЛЬЯНОВ
(в первом классе гимназии)

Возле маленькой хаты с дырявой, крытой черной гнилой соломой крышей и выбитыми, завешенными грязными тряпками окнами доила корову немолодая женщина; две девочки деревянными вилами выбрасывали из хлева навоз.

– Именем закона отбираю у Дарьи Угаровой дом, пашню и все имущество за неуплаченные после смерти мужа налоги, – объявил чиновник строгим голосом. – Исполняйте свои обязанности!

Он кивнул в сторону сидящих верхом полицейских. Те вывели корову и стали опечатывать избу и хлев.

– Люди добрые, соседи! – завопила, вздымая руки, баба. – Спасайте, сбросьтесь, заплатите! Сами знаете, какая у меня в доме нищета! Мужика у меня нет... пропал на войне... Что же я, несчастная, одинокая, сделать-то могла? Ни плуга у меня, ни работника... Сама выхожу в поле с деревянной сохой, в которую корову и девчонок моих малолетних запрягаю... Если бы не корова-кормилица единственная, мы бы давно уже с голоду померли... Спасайте!... Заплатите!

Мужики опускали глаза и угрюмо смотрели в землю. Никто не пошевелился, никто не проронил ни слова.

– Ну вот! – сказал чиновник. – Еще сегодня Дарья Угарова должна покинуть жилище. Староста проследит, чтобы ни одна печать не была нарушена до завершения дела.

После этого он раскланялся и сел в повозку. За ним, держа корову на веревке, поскакали конные полицейские.

Толпа не расходилась. Все стояли молча и слушали мольбы, жалобы и рыдания Дарьи. Она терзала на себе полотняную, подпоясанную веревкой рубаху; рвала на голове волосы и пронзительно кричала, как раненая птица.

Раздвигая толпу, к ней подошел Ксенофонт.

Бряцая цепями, встал на колени перед плачущей, отчаявшейся бабой. Прижимая пальцы ко лбу, плечам и груди, шептал молитву и смотрел на нее неимоверно горящими глазами.

Наконец, он коснулся челом земли и торжественно произнес:

– Раба божья, Дарья! Есть ли кто, кто защитил бы тебя и этих возлюбленных во Христе детишек? Есть ли кто, кто позаботится о вас?

— Никого нет, никого!.. Сироты мы несчастные, одинокие... — отозвалась Дарья, рыдая, почти теряя сознание; ноги от отчаяния подкосились, она бессильно оперлась о стену избы.

— Во имя Отца, Сына и Святого Духа, аминь! — воскликнул нищий. — Значит я, негодный слуга Христа, беру вас с собой... Пойдем вместе нищенствовать и скитаться... в зной, мороз, засуху, в бурю и метель... от деревни к деревне, от города к городу, от монастыря к монастырю... по всему безмерному лику святой Руси!... Будем как птицы, которые не пашут, не сеют, а Бог дает им пропитание, идущее от сердец добрых людей... Не горюйте... не плачьте!.. Христос Мученик и Матерь Его Пречистая сошлет вам помощь с небес... Собирайтесь... В путь далекий, знойный... Во имя Христово... и аж до дня, когда придет возмездие и награда в слезах и боли тонущим угнетенным... В путь!

Он взял за руки девочек и пошел, звеня железом. Дети не упирались, шли спокойно, тихонько плача.

Дарья взглянула на уходивших, отчаянным взглядом окинула убогую хату, разваливающийся хлев, сломанную изгородь и ковшик с остатками молока на дне.

Потом крикнула пронзительно, угрожающе, как кружащий над лугом ястреб, и побежала вдогонку за Ксенофонтом, который, постукивая посохом, шагал за идущими впереди, босыми, в грязных полотняных рубахах и с растрепанными льняными волосами девочками.

Бабы разбежались по избам и через минуту стали окружать уходивших на нищенские скитания, принося им хлеб, яйца, куски мяса, медяки. Они давали Ксенофонту и Дарье милостыню, приговаривая:

— Ради Бога...

— Христос воздаст... — отвечал нищий, пряча дары в мешок.

Недавних соседей, оставляющих родимое гнездо, провожали всей деревней до самого распутья.

Дальше нищие пошли уже сами.

Только Володя, прячась за кустами, продолжал их сопровождать.

Ксенофонт шепотом молился, Дарья тихонько плакала, а уже спокойные и обрадованные переменами в жизни девчонки бежали впереди и собирали полевые цветы.

На полях работали крестьяне.

Маленькие, худые лошадки тащили сохи с одним, выкованным деревенским кузнецом, лемехом. А те, кто не мог себе этого позволить, пахали острым дубовым корнем.

Огромное усилие чувствовалось в склонившихся головах слабеньких лошадей, напряженных фигурах идущих вдоль борозды людей.

Лошадки тяжело сопели, а мужики покрикивали на них запыхавшимися голосами:

– О-о-о-ей! О-о-о-ей!

Это тоже бурлаки, подумал Володя, тянущие за трос тяжелую баржу, загруженную нуждой и трудом, без продыха и надежды.

Идущие тем временем вдоль края дороги девчонки остановились и замерли, глядя в глубину растянувшегося вдоль шоссе оврага.

Оттуда выскочили двое подростков. Они кричали и отвратительно ругались, со смехом поправляя на себе штаны и рубахи.

Подростки побежали в поле, где стояла белая, косматая кляча, впряженная в деревянную соху.

За ними выползла босая девушка с растрепанными волосами. На ней была грязная, высоко подкатанная юбка.

Она шла лениво, натягивая на голые плечи и большие, буйные груди полотняную, разорванную на спине и изваляннную в грязи рубаху. Ульянов знал ее. Это была глухонемая пастушка.

Она приостановилась. Голубыми, безразличными и бездумными глазами посмотрела, почесывая за пазухой, на идущих по дороге нищих.

Подростки добежали до сохи и уже шли, нагнувшись над ней, отваливая тонкий пласт почвы и зло покрикивая на коня:

– О-о-о-о-ей! О-о-о-о-ей!

Маленький Ульянов дальше уже не пошел.

Он сел в кустах возле дороги и плакал тяжелыми, горючими слезами. Ничто его не радовало.

Сапфировое и глубокое небо, золотистая пыль на шоссе, полевые цветы, зеленеющие поля, горячее, яркое солнце – все казалось ему серым, безнадежным, больным и убогим. Только одна нота слышалась ему в голосах птиц – надрывная, жалобная.

Плач прекратился. Вместо этого его обуяла могучая ненависть.

Перед ним кружили образы, исчезая в мутных, серых сумерках.

Бог, отец с орденом на груди, староста, рыжий Сережка, высокий комиссар полиции Богатов, доктор Титов, старая, сморщенная знахарка, бледный деревенский поп, за которым гнался толстый отец Макарий, упругие и похотливые груди безумной девки.

С полей, от плугов и сох, доносилось до него злое, страстное стенание:

– О-о-о-о-ей! О-о-о-о-ей!

ГЛАВА IV

Ульянов никогда не отличался искренностью и избыточной веселостью, однако после возвращения из деревни даже приятели заметили перемены в выражении его лица, голосе, повадках.

Он избегал сверстников и никогда не вдавался в беседы с ними. Так им, по крайней мере, казалось. В действительности все обстояло иначе.

Вернувшись с каникул, Володя внимательно присмотрелся к приятелям. Он изучал их так, будто бы видел впервые в жизни.

Изучая приятелей, он задал им мимолетом несколько неожиданных вопросов.

О, теперь он отлично знал этих мальчишек!

Этот – сын командира полка, говорил только о значительности своего отца, о его карьере, орденах, строгости, с которой он покарал своевольных солдат, отдав их под полевой суд на верную смерть.

Другой – сын купца, хвастался богатством родителей; рассказывал о выручке фирмы во время ежегодной ярмарки в Нижнем Новгороде, о ловкой афере с поставкой в армию партии прогнившего сукна для солдатских шинелей.

Еще один – сын директора тюрьмы, жестоко смеясь, подробно описывал методы издевательств над заключенными. Говорил, как их, лишив воды, кормят селедкой и чесноком, как их постоянно будят по ночам, как тюремный следователь внезапно устраивает с измученными, страдающими людьми следственные эксперименты. Он описывал сцены казни, которые наблюдал из окна своей квартиры.

Маленький, добродушный Розанов хвастался тем, что его отец, губернский советник, отовсюду получает красивые и дорогие сувениры и что сам он носит мундир из настоящего

английского драпа, подаренного ему на именины одним купцом, у которого было к его отцу срочное дело.

Толстый, бесцветный Колька Шилов высмеивал своего отца, кафедрального настоятеля и обвинителя в консисторском суде, вспоминая о том, как много платят нуждающиеся в разводе богатые господа и как серьезный, уважаемый в городе священник закрывается с клиентами в своей канцелярии и разрабатывает вместе с ними план получения искусственных доказательств измен и разврата, а также других «подлых свинств», как выражался о них циничный сыночек.

Угрюмый Володя прощупал, потрогал, изучил почти каждого и только после этого начал рассказывать о страшной, безнадежной и мрачной жизни крестьян. Он рассказал о Дарье Угаровой, о зловещем пророчестве молодого попа, о смерти Настьки, о нищем Ксенофонте, об убогих смешных крестьянских сохах, из которых вместо металлического лемеха торчал изогнутый дубовый корень; он рассказал о господствующем в деревне разврате, о практике знахарок, о невежестве людей и их невыразительных, туманных надеждах.

— Это ужасная жизнь! — шептал мальчишка. — Только и жди, когда крестьяне восстанут, пусть только найдется какой-нибудь новый Пугачев или Разин. Вот тогда они разгуляются!

— Э-э, не такой дьявол страшный, как его малюют! — воскликнул, махнув рукой, сын полковника. — Мой отец пошлет своих солдат. Как дадут они залп, трррах! И — порядок. С этими животными только так и надо!

Остальные рассмеялись, поддерживая приятеля.

С этого дня Ульянов перестал разговаривать с одноклассниками.

Он весь погрузился в учебу и чтение. Делал какие-то выписки в толстой тетради, записывал собственные соображения. Случайно в тетрадь Володи заглянул брат Александр и, ничего не сказав, стал подбрасывать ему разные книги.

Володя учился хорошо и по-прежнему зачитывался римскими классиками. В четвертом классе он уже практически не пользовался словарем.

Учителей он не любил, да и не за что было.

Глухой и шепелявый капеллан «валил» по книге, не отрывая от нее глаз. От учеников же требовал, чтобы они все учили наизусть, слово в слово, как в одобренном и рекомендованном Святейшим синодом учебнике «господина профессора, доктора святой теологии, преподобного протоиерея Соколова».

На все, иногда казуистические, вопросы учеников он неизменно отвечал:

– То, что вам необходимо знать, я уже рассказал, можете прочитать об этом в замечательной книге доктора святой теологии Дмитрия Соколова на странице 76-й...

Володя после заявления брата о том, что Бога нет, имел множество сомнений и опасался вступать с ним в разговор на религиозные темы. Ему хотелось расспросить об этом капеллана, но, когда тот отослал его на 101-ю страницу учебника Соколова, мальчик махнул рукой и больше к нему не обращался. На уроках он обширно и безошибочно цитировал слова «господина профессора и доктора святой теологии», получал пятерку и садился отчаявшийся, угрюмый.

Учитель математики, Евграф Орнаментов, вечно пьяный, огромный, лохматый верзила в темных очках на красном носу в приступе гнева забывал, где находится, и изрыгал отвратительные, народные проклятия. Злился он часто, потому что ученики, решая из года в год одни и те же задачки, ничему в математике не научились и стояли у доски, «как олухи Царя Небесного», согласно определению темпераментного Орнаментова.

Единственной отдушиной был маленький Ульянов.

Когда школьные власти приезжали в гимназию с инспекцией, перепуганный и растерянный Орнаментов вызывал к доске Владимира и тот решал мудреное уравнение, продиктованное чиновником из министерства.

Профессором латыни и греческого уже два года был замечательный, говорящий переходящим в звонкий тенор басом молодой мужчина. Он носил длинную как смоль бороду, у него было красивое бледное лицо и насмешливо блестевшие за стеклами пенсне голубые глаза. Звали его Арсений Кириллович Ильин.

Среди учащихся старших классов витали сведения, что замечательный Арсений Кириллович был ловеласом и любите-

лем любовных приключений, за что его и выгнали из Москвы в провинцию.

Так оно и было в действительности. Володя даже слышал об этом дома.

Господин Ульянов со смехом рассказывал Марии Александровне о романе профессора Ильина с женой инспектора гимназии.

Больной, потрепанный жизнью и постоянной игрой в карты, инспектор женился недавно на молодой девушке, почти безграмотной швее, которая стала изменять ему на следующий же день после свадьбы, сначала с учениками 8-го класса, пока на горизонте не появился величественный, интересный Арсений Кириллович.

Латинист прекрасно знал, что «молодым волкам», как называл он своих воспитанников, было в подробностях известно о его романтических авантюрах, поэтому, входя в класс, он делал таинственное, слегка ироничное выражение лица, а его голубые глаза говорили без слов: все, что вам обо мне известно, оставьте только для себя!

Ильин сразу же стал для Ульянова божеством. Профессор отменно знал римских и греческих классиков, был влюблен в историю древнего мира, помнил название каждой античной вещи, прекрасно декламировал «Энеиду», а гомеровские гекзаметры лились из его уст, как чудесная, ни с чем не сравнимая музыка.

Между профессором и учеником на этой почве завязалась дружба.

Однажды Ильин встретил Владимира на улице и остановил его.

— Что, молодой волк, любишь древний мир? Может, хочешь посвятить себя филологии? — спросил Арсений Кириллович, доброжелательно глядя на мальчишку.

— Еще не знаю, господин профессор, — ответил Ульянов.

— Пора уже определиться со своими пристрастиями и выбрать настоящий путь в жизни, — заметил латинист.

— Да... Я и сам так думаю... но... но...

Мальчик внезапно замолчал.

— Но — что? — спросил Ильин.

— Мне все еще кажется... кажется, что теперешняя жизнь какая-то ненастоящая, искусственная... что должно что-то случиться — и все внезапно прервется... — прошептал Владимир.

— Гм, — буркнул профессор, с восхищением глядя в серьезные глаза ученика. — Гм! Такие значит у тебя мысли?

— Да!

— Ну, тогда выбора нет. Иди, парень на филологию! — воскликнул Ильин. — Я, видишь ли, с такими же мыслями хожу по этой глупой земле уже более тридцати лет и говорю себе: «Зачем тебе, Арсений Кириллович, оставаться в обществе различных свиней, подонков, взяточников, идиотов, если ты всегда можешь провести несколько роскошных часов с великими людьми, и с какими! С Гомером, Вергилием, Овидием, Ксенофонтом, Демосфеном, Цицероном, Платоном!»

К сожалению, когда Володя перешел в шестой класс, Арсения Ильина перевели в Москву, куда он забрал и жену инспектора.

Этого Ульянов понять не мог.

Прекрасный античный мир, вырубленный в мраморе статуй, граните величественных святынь, и вдруг в этот чудесный мир гениев, великих вождей и мыслителей впорхнула глупая, похотливая, развратная жена инспектора, неинтеллигентная швея.

Он пожал плечами и сразу же перестал тосковать по профессору.

Он почувствовал неправду, неискренность в его жизни и фальшь в словах.

На его место прислали тупого кретина, формалиста и невежу.

Профессор русской литературы, семинарист Блаховидов, доводил Ульянова до отчаяния. Мальчик прочитал почти всю русскую литературу и имел по этому поводу собственное мнение. Он знал классиков и злился на них за то, что они писали преимущественно о дворянах, царях и генералах. Он любил Чернышевского, Некрасова, Толстого, Кольцова, потому что они говорили о народе. В Аксакове его смешило стремление к воссоединению России с западными славянами. В Казани ему встречались ссыльные поляки, и он понял, какая пропасть отделяет их от русских.

Профессор же немногим отличался от глухого капеллана. Он заставлял учеников штудировать неинтересные, тенденциозные страницы официального учебника, ничего не добавляя от себя.

Хотя у него были идеи... Он организовал воскресные литературные чтения. На них восхвалялись только те отечественные

писатели, которые укрепляли любовь к господствующей династии, остальных же он называл бунтарями и предателями.

Он был настолько туп, упрям и так хотел получить очередной орден и ранг за свои лояльные убеждения, что Ульянов, захотев вступить с ним в полемику, плюнул и отказался от этого намерения.

Он дал ему прозвище «скотина с орденом», которое приросло к семинаристу на весь период его педагогической карьеры.

В седьмом классе произошли серьезные события, оказавшие влияние на жизнь Владимира Ульянова.

Он провел лето с братом Александром, который к тому времени был уже студентом факультета математики и естественных наук.

На прогулках Александр начал разговаривать с младшим братом всерьез, удивляясь его начитанности, глубине мысли и ясности логических доводов.

Он рассказал Володе о революционной партии «Народная воля» и признался, что состоит в ней.

— Мы хотим, — говорил Александр, — чтобы весь наш народ, а значит и наиболее многочисленная его часть — крестьянство, принял участие в деле управления Россией. Мы должны заставить династию собрать Учредительное собрание, которое и примет решение о форме управления страной. Только тогда исчезнут в нашем угнетаемом страдальце народе невежество и нищета!

Владимир слушал.

А когда брат закончил, спросил его:

— Как вы собираетесь заставить царя сделать это? Нашим народом управляют, как если бы он был безмозглым стадом. Сам он ничего сделать не может из-за подозрительности и неумения идти плечом к плечу; в деревне я видел это на каждом шагу.

— Партия ищет сочувствующих в кругах либерального дворянства, — ответил Александр. — Она обладает влиянием и сможет дойти до царя...

— Меня это удивляет! — воскликнул мальчик. — Ведь если позволить говорить народу, благосостояние дворянства уменьшится! Оно вас не поддержит!

— Тогда мы применим террор! — крикнул Александр.

— Чего вы добились бомбами Желябова и Перовской? Царя Александра III и прежнее, николаевское, солдатское правительство? — пожал плечами Владимир.

— Откуда тебе все это известно?

— Нам рассказывал об этом учитель истории, — ответил Владимир. — Тот, которого в середине года прислали в гимназию, Семен Александрович Остапов... Но у меня к тебе еще один вопрос. Скажи, вы отстаиваете интересы всей России или только крестьянства?

— Что за вопрос? — удивился брат. — Ясное дело: нас заботит вся Россия, снизу доверху!

Владимир презрительно усмехнулся и, небрежно пожимая плечами, сказал:

— Если так — то вы забавляетесь грезами!

— Почему?!

— Потому что все будут недовольны и возникнет постоянная внутренняя борьба. Предположим хотя бы на миг, что у крестьян будет большинство в правительстве. А они мечтают только об одном: получить как можно больше земли. Остапов доказывает, что именно поэтому так долго держится плохое царское правительство. Его идеалом стала экспансия, а это соответствует устремлениям, аппетитам и мечтам всего народа. Но оставим эту тему. Меня другое интересует. Мужики, преданные своей извечной жажде земли, получив влияние на правительство, сразу произведут новых помещиков. К ним воспылают ненавистью как прежние привилегированные владельцы земли, так и деревенская беднота. Какой же в этом смысл, если мы говорим обо всей России, сверху донизу?

Закрыв глаза, он взорвался сухим смехом.

Братья еще не раз возвращались к этому спору, и Александр всегда вынужден был признавать, что младший брат вызывает в нем серьезные сомнения о спасительности программы «Народной воли».

Однажды Владимир сказал брату:

— Я охотно бросил бы бомбу в царя и его придворных, но в партию твою не вступлю никогда!

— Почему!?

– Это сборище «святых сумасшедших»! Зачем вы думаете, требуете и добиваетесь за народ? В свое время он и сам способен будет возопить, заглушая взрывы ваших бомб, а террор продумает так, что покраснел бы и сам Желябов.

– Это тебе тоже Остапов сказал? – спросил Александр.

– Нет, это я тебе говорю! – парировал серьезным голосом мальчишка. – Я знаю, что так и будет, ведь народ наш дикий, кровожадный, безжалостный ко всем и вся; к прошлому, которое, подобно настоящему, является для него мачехой, – не привязан; ему не знакомы никакие принципы и не страшны никакие препятствия, кроме жестокой силы, – только она способна его согнуть.

О «Народной воле» они больше не разговаривали.

Вскоре Александр предложил брату совместное чтение трудов Карла Маркса.

Книги эти захватили Володю сразу же.

Из-за них он бросил любимых римских классиков и больше не листал для удовольствия замечательный «Реальный словарь классических древностей» Любкера. Выучив наспех необходимые уроки, он принимался за Маркса, делая пометки и исписывая целые страницы собственными мыслями.

Когда старший брат смотрел на него в изумлении, он говорил возбужденным, восхищенным голосом:

– Вот это вам нужно и – ничего больше! Здесь – тактика, стратегия и несомненная победа!

– Это подходит для индустриальных стран, а не для нашей святой Руси с ее деревянными сохами, курными избами и знахарями! – возражал брат.

– Это подходит для борьбы одного класса против всего общества! – отвечал Владимир.

В гимназии все было по-старому. Ульянов по-прежнему оставался первым учеником. Ему удалось бы сохранить это звание, даже если бы у него не было такого усердия и способностей.

Гимназисты значительно отставали от него.

Некоторые из них не вышли за рамки безнадежного мещанства. Шестнадцати- или семнадцатилетние парни погружались в пьянство и азартные игры в карты; предавались разврату, со-

вершая ночные вылазки на окраины, где среди темных улочек, угрожающе, нагло горели красные фонари публичных домов; нагло крутили романы с горничными, швеями и приезжавшими в город на заработки деревенскими девушками.

Никто ничего не читал, ничем не интересовался и не увлекался. Единственная мысль двигала ими. Правдами и неправдами окончить гимназию, затем университет или другое учебное заведение, стать чиновником и вести спокойную беспечную жизнь, озаряемую иногда большой взяткой, новым рангом, орденом или продвижением по службе.

Это был период душевной смерти, подлости характеров, рабского молчания и безграничного лизоблюдства — тоскливое, прогнившее жизненное болото, на которое ступила тяжелая стопа Александра III; период, в котором церковь, наука, таланты согнулись перед мощью династии. Это была тишина перед ужасной бурей, терзающее, вызывающее тревогу молчание, от которого убегали в безвольную покорность, бестолковый быт, существование, руководимое с высоты трона помазанника Божьего.

Поняв это, Владимир простил «Народной воле» беспочвенную и отчаянную мечтательность. Он чувствовал, что это был стихийный протест. Дело было не в народе и не в России. Надо было встряхнуть всю страну, заставить ее выйти из состояния апатии хотя бы ценой взрыва адской машины.

Однако нить дружбы и духовной близости между ним и братом без видимой причины прервалась. Владимир был для Александра слишком трезвомыслящим, смело смотрящим правде в глаза, строгим. Кроме того, он не скрывал, что не считает брата прирожденным революционером.

Александр писал научный трактат. Целыми днями сидел, согнувшись над микроскопом, изучал каких-то червей.

«Настоящий революционер не может столько времени тратить на каких-то червей! — думал Владимир с возмущением. — В деревне, попав в руки диких отцов и невежественных знахарок, умирают настьки; дарьи и их дочери отправляются нищенствовать; городские дети больше всего любят топить собак и кошек; свирепствует коллежский советник Богатов; пьянствует и говорит о покорности отец Макарий; все молчат

и ходят с плотоядными лицами, а тут – червяки! Кому нужно знать – есть у них сердце и мозг, или нет? Тут надо думать о ста двадцати миллионах людей, а не о червях!»

Владимир почувствовал себя очень одиноким.

У него не было никого, с кем он мог бы поделиться волнующими его мыслями.

Оставался только Карл Маркс. Дерзкий, холодный мыслитель открывал мальчишке новые и все более захватывающие истины.

Владимир очень обрадовался, получив в одно из воскресений приглашение от профессора Остапова, которого очень любил. Молодой, с бледным, почти прозрачным лицом и карими глазами, учитель встретил его с сердечной фамильярностью.

Пожимая руку, он сказал:

– Я давно хотел пригласить вас к себе, чтобы извиниться за глупости, которыми чаще всего угощаю в классе. Впрочем, для всех остальных они очень даже удобоваримы, кроме вас, который, насколько я понял из ваших ответов, не только много читал, но и смог понять, чем является наша прекрасная действительность, – я всегда чувствую конфуз!

Растерянный Владимир что-то бормотал.

– Нет, прошу не возражать! Я ведь и сам отдаю себе отчет в том, что делаю, – перебил его профессор. – Но что же вы хотите? «Рада бы душа в рай, да грехи не пускают»! Я не герой! Боюсь собственной тени, не говоря уже об окружном кураторе или губернаторе. Да вообще слабый я человек, очень слабый!

Он проводил гостя в гостиную, в которой сидели еще несколько, видимо, приезжих гостей. В городе Володя их никогда не встречал.

Один из них, одетый в студенческий мундир, рассказывал о жизни в столицах.

Образ, описываемый им с воодушевлением, ораторским талантом и иронией, еще сильнее утвердил Ульянова в мысли о целесообразности существования хотя бы партии мечтателей «Народная воля».

– Господа! – закончил студент свой рассказ. – Я был, как известно, сослан в Сибирь и скажу вам, что там во сто крат луч-

ше, чем в Петербурге, под заботливым крылом его цесарской милости, светлейшего государя Александра Александровича всея Руси! Там есть ненависть и ожидание чего-то нового, неизбежного. В столице – тьма египетская и клейстер; в мозгах – семь тощих коров фараоновых!

– Безнадежная ситуация! – буркнул один из гостей.

– И да, и нет! – воскликнул студент. – Все стараются ни о чем не думать, но все-таки чувствуют, что это не продлится долго. Что-то должно случиться!

– Но что? – спросил Остапов.

– Не знаю! Только одно не вызывает сомнений – все больше людей проходит отлично организованный университет – тюрьму! Выходят оттуда людишки, готовые на все! – сказал он смеясь. – Это не будут наши доморощенные якобинцы с лояльными душонками, несмотря на спрятанные за пазухой театральные бомбы!

– Ага! – подумал Владимир и резво пошевелился на стуле.

Студент взглянул на него с подозрением.

– Гм... – пробурчал он. – Молодых гостей приглашаете, господин профессор.

Остапов усмехнулся.

– Это брат Александра Ульянова, – прошептал он и громко добавил: – Владимир Ильич, хотя и молод, очень рассудительный человек.

– Ну ладно, раз так! – сказал студент. – Тогда едем дальше! Говорю вам, господа, виделся я с Михайловским, Лепешинским и другими, которые попробовали и железные решетки, и чистый сибирский воздух. Они говорят уже по-другому, хотя и не так, как те, что уже понюхали Маркса.

– Какие же сейчас течения? – спросили его.

– Течение очевидное – никаких переговоров, только всеобщая, всероссийская против всероссийского царя революция, вот как! – воскликнул студент, смелым взглядом озирая слушателей. – Все-рос-сий-ская ре-во-лю-ци-я!

Повисло долгое молчание. Никто не знал, как отреагировать на такую серьезную новость.

Внезапно отозвался ученик гимназии.

Лицо его было бледно, но угрюмый взгляд был тверд, голос не выдавал ни малейшего волнения. Можно было в нем почувствовать даже некоторую издевку:

— Эти господа со свежего сибирского воздуха ничему не научились или же не поняли Маркса. На дне их души дрожит, как овечий хвост, та самая лояльность, которой здесь попрекали «Народную Волю». И это справедливо! У этой партии лояльная душа... Всероссийская революция не получится — это смешной план! Теперь мужики не поднимут бунта против церкви; против полиции и врачей — возможно, но, вырезав этих ненавистных и чужих им людей, на коленях поползут к подножию трона, чтобы вручить царю взятку в виде голов полицейских и эскулапов! Революция должна быть направлена не против царя, а против всего, чтобы камня на камне не осталось, чтобы десять лет трава не смела расти на поле битвы! Такую революцию может совершить не глупый, темный народ, а одна организованная и влекомая призывом партия!

Все с изумлением слушали парня с выступающими монгольскими скулами и раскосыми глазами.

После долгого молчания студент хлопнул в ладони и воскликнул:

— Об этом пареньке, скажу я вам, услышит весь мир! Запишите то, что я сейчас сказал. Этот парень головаст, вот те крест!

С того времени между учеником и профессором было заключено негласное соглашение.

Профессор преподавал историю только для него. Говорил смело и открыто. Особенно пылко рассказывал об обожаемых им декабристах. Рылеев, Пестель, Волконский вызывали в нем настоящее восхищение. Однако Ульянов слушал его с холодным безразличием. Лекцию он закончил уже с меньшим пафосом, после чего разыскал Владимира в коридоре гимназии.

— Что вы думаете о декабристах? — спросил учитель, касаясь его плеча.

— Думаю, что они были романтиками, — ответил ученик. — Революция, организованная самым слабым и ненавистным классом, — это авантюра, мелкий, ничего не значащий эпизод!

Вскоре Остапову пришлось изменить тон своих лекций.

Сын губернского советника рассказал о них отцу, который донес на неблагонадежного профессора куратору. Историк получил первое предупреждение и суровый выговор от директора гимназии, бывшего действительным статским советником и кавалером нескольких орденов.

Начались официальные, монотонные уроки по бессовестно фальшивой и нахально глупой книжке прославленного в истории просвещения Иловайского.

Остапов преподавал монотонным голосом, вперив взгляд в черную столешницу и не глядя на класс. Он чувствовал себя маленьким, никчемным, почти подлым. Он горел от стыда и угрызений совести.

Владимир слушал его угрюмо и с презрением.

Однажды к нему прибежала служанка Остапова и попросила немедленно прийти к профессору по важному делу.

Володя нехотя оделся и пошел.

Остапов сидел в халате, небритый, в расстегнутой на груди рубахе. Его волосы беспорядочно ниспадали на потный лоб.

Недвижимые и горящие глаза смотрели прямо отсутствующим взглядом.

Профессор даже не услышал, как вошел Владимир.

Он сидел за столом. Перед ним стоял большой графин с водкой и наполовину наполненная рюмка. Рядом было зеркало, в которое упорно смотрел уже пьяный Остапов, бормоча тихо и таинственно:

– Ха! Ты снова прилетел? Ну и что? Ничего нового и более страшного так и не скажешь! Я все слышал... Ты дал мне расписку, а я подписал ее. Слышишь? Подписал, вешатель!

Он оскалил зубы и со всей силы ударил по зеркалу. Оно со звоном и грохотом упало на пол, а за ним полетели графин, рюмка и учебник Иловайского.

Протрезвев от резкого движения, он поднял глаза и заметил Ульянова.

– А-а! – протянул он. – Вы пришли, несмотря на то, что... Но об этом позже! Садись, господин! Может, водочки?.. Хорошей такой, крепкой, с анисом... Петр Великий такую любил... Наш российский Антихрист!.. Петр Великий, плотник Амстер-

дамский, новатор, покоритель загнившего Запада... Сперва его обокрал, а потом побил... Хитрый был, бестия — Петр Великий, царь с толстой дубиной!.. Вырубил в курной избе окно в Европу... постриг лохматым боярам бороды и распорядился, чтобы их считали за денди... Весельчак! Сынка своего за любовь к святорусской патриархальности, за привязанность к курным хатам, предрассудкам, лохматым, вшивым бородам в тюрьме гноил и палкой забил...

Владимир сидел не шевелясь. Он не понимал, что случилось с Остаповым.

— Я пьян! — во весь голос рассмеялся профессор. — Пьян! Русский человек счастливее остальных. У него есть убежище от боли, отчаяния, угрызений совести... Западный человек в таких случаях пускает себе пулю в лоб, бросается в реку или вешается на подтяжках, и — капут! А мы — ныряем в нирвану, мать-водку! Ха-ха-ха! Да, молодой человек, и вы с этим столкнетесь, слишком много у вас в голове и сердце... Авдотья, давай водку и две рюмки! И шевелись, как самая ловкая грация Бахуса!

Испуганная служанка принесла новый графин. Остапов налил в рюмки и, подняв свою, произнес:

— *In vino veritas! Ave, amice, morituri te salutant! Bibamus!*

— Я не буду пить! — резко, с отвращением ответил Ульянов.

— Не достоин я быть в такой благородной компании... — начал издевательским шепотом Остапов и вдруг весь поморщился, побледнел, задрожал и, глядя по сторонам, забормотал: — Видишь? Видишь! Там! Снова — там! Как искорки... Загорятся... погаснут и вновь загорятся... Это они!... Идут... ругаться будут... материться...

Владимир невольно взглянул, куда Остапов показывал рукой.

В полутемных углах таился мрак, по стенам ползли едва заметные тени, отбрасываемые дрожащим пламенем лампы и горящими на письменном столе свечами.

— Нет никого, — сказал он спокойным голосом, глядя на профессора.

— Никого? Это пока... но они придут... О! Они никогда не простят и придут... — шептал Остапов.

Замолк и через мгновение начал говорить, не глядя на сидящего перед ним Ульянова:

– Иуда предал Христа, любя, но утратив веру в него как в настоящего Мессию... Взял за его голову 30 серебряников, чтобы показать всему миру, что большего, как обычный смертный, он и не стоит... Он даже вернул синедриону эти серебряники... А потом пришли к нему маленькие, проворные, злобные бесы... Смеялись, царапались, издевались... Он их отгонял, а они шептали: «Иди на гору, где над оврагом растет сухое дерево!» Повторяли ему это весь день и всю ночь, и еще один день. Он пошел и сел под деревом, глядя на желтую равнину и на мутную далекую ленту Иордана. Тогда-то и всплыл перед ним живой лик Христа; посиневшие, напоенные желчью и уксусом уста зашевелились и прошептали: «Предатель, продал ты Бога своего!» Иуда задернул из веревки петлю и повис над оврагом... как жертва совести... Совести!

Он протер глаза и выпил рюмку водки.

Окинул отсутствующими глазами темные углы и зашептал дальше:

– Теперь эти... ловкие... бесы прилетают ко мне, блестят огоньками там и тут... За ними вырастают в тумане пять виселиц... а на них повешенные Пестель, Рылеев, Бестужев, Каховский, Муравьев... все, кто хотел исправить антихристово бешенство Петра... Спасти Россию... просветить... поднять... Смотрят на меня страшным, ненавидящим взором и кричат обвислыми губами: «Предатель! Предатель!» Ведь это я испугался куратора, покорно выслушал упреки и молчу за серебряники о святых мучениках... Молчу, как предатель, как трус... О-о! Они уже идут, идут! Видишь?

Владимир с трудом успокоил профессора, помог ему переодеться и вывел из дому. Они долго ходили по улицам, а когда Остапов окончательно протрезвел, пошли к Ульяновым.

Мальчик шепнул матери об инциденте и передал профессора под ее опеку. Остапов провел ночь во флигеле вместе с молодыми Ульяновыми, а назавтра Мария Александровна написала письмо семье профессора, советуя, чтобы кто-нибудь приехал и позаботился о больном.

Через два дня в квартире Остапова появилась сестра профессора – шестнадцатилетняя девушка Елена. Через месяц приехал отец, старый военный врач.

Профессор потихоньку выздоравливал и становился уравновешенным. Вот только никогда не вернулись к нему ни прежнее спокойствие, ни свобода. Он жил монотонной, серой жизнью учителя, ото дня ко дню, от ранга к рангу, от ордена до ордена. Все это его не радовало и не вызывало никаких воспоминаний. Он стал безразличен ко всему, подобно многим другим в этом смертельном, отравленном тишиной царствовании Александра III – царя, влюбленного в покой... кладбищенский покой.

ГЛАВА V

Перед Рождеством господин Ульянов пошел на повышение, став директором над всеми народными школами. Исполнение новых обязанностей он начал с объезда учебных заведений губернии. Володю, у которого были рождественские каникулы, он взял с собой.

Они путешествовали на почтовых санях, иногда попадая в очень редко навещаемые места, где среди лесов притаились поселения без церквей, школ, врачей и властей.

Из лекций Остапова Владимир помнил, что вся Казанская губерния была когда-то могущественным, высокоцивилизованным болгарским государством, от которого не осталось ничего, кроме названия реки Волги. В XIII веке в эти края наведались татары, гнавшие перед собой несчетные племена, поднятые идущей из глубин Азии монгольской волной. Остатки той орды и встречались теперь на пути Володи; рядом с татарами и русскими крестьянами жили вотяки, мещеряки, черемисы, чуваши и мордва.

Погрязший в невежестве муравейник людей, отличавшихся друг от друга одеждой, языком, верой, обычаями и первобытными, иногда мрачными и кровавыми предрассудками.

Между поселениями туземцев, принадлежащих к различным племенам, царила постоянная вражда.

Русские с презрением смотрели на бывших захватчиков, называя их «татарвой» или «белоглазой чудью»; те, со своей стороны, платили им холодной ненавистью. Одинокий татарин или вотяк не могли без опаски пройти по русской деревне; мужик-великоросс не отважился бы без товарищей проехать через деревню чувашей или черемисов.

Скандалы и драки возникали даже на выходе из церкви по окончании богослужения или в школе между детьми.

Владимир стал свидетелем очень интересного и поучительного зрелища.

Они остановились на привал в маленькой деревеньке, чтобы перекусить и сменить коней.

Мальчик пошел к реке, где толпились люди. Они сбегались на середину реки из двух лежавших на противоположных берегах деревень.

Над обрывом стояла толпа баб и детей. Женщины рассказали Володе, что две разделенные рекой деревни издавна не могут поделить лужайку на острове и теперь решили поставить точку в этом споре всеобщим побоищем.

Вначале звучали отвратительные оскорбления и проклятия. После этого в бой вступили маленькие мальчишки, за ними — подростки; однако продолжалось это недолго, так как медлюзгу разогнали толпы бросившихся в круговорот битвы молодых и старых мужиков.

Бойцы были вооружены камнями и толстыми ремнями, намотанными на кулаки, как у древних гладиаторов. Самые здоровые мужики, от которых зависела окончательная победа, размахивали длинными и тяжелыми жердями и даже снятыми с телег оглоблями. Драка продолжалась недолго, так как жители вотяцкой деревни отступили перед молодецким натиском татар с противоположного берега. На снегу осталось несколько раненых, а может, и убитых; на льду расцвели, словно пурпурные маки, пятна крови.

Ульянов задумался над тем, как повести всех этих, ненавидевших друг друга и принадлежавших к финской и монгольской расам туземцев к общей цели. Он понимал, что это грезы, которыми безотчетно обманывала партия «Народная воля».

— Тут надо придумать столько же призывов, сколько существует племен! — шептал он с издевательской улыбкой на разрумяненном от мороза лице.

В больших деревнях уже функционировали открытые недавно народные школы. Владимир с интересом присматривался к учителям и учительницам.

Часть из них приветствовала нового директора спокойно. Этим людям нечего было скрывать. Те же, что и в гимназии, рекомендованные церковью и правительством учебники, та же оболванивавшая и мошенническая программа.

Однако у подавляющей части учителей, как сразу заметил наблюдательный мальчик, совесть не была чиста и благонадежна. В беседе с директором они были недоверчивы, осторожны, воздержанны. В их глазах легко можно было прочитать неприветливость по отношению к представителю власти.

Однако господин Ульянов этого не замечал. Внешне все было в порядке. Он безразлично выслушивал жалобы на скверное оснащение, на нищету, на недоброжелательное отношение жителей к школе и даже вражду к учебе и учительству; это находилось за рамками его компетенции, об этом должна думать центральная власть. Он отвечал за то, чтобы все было в соответствии с инструкциями.

Он выезжал из деревни спокойный и удовлетворенный, даже не подозревая, что в сундуках народных учителей лежали старательно замаскированные брошюрки авторов «Народной воли», которые намного отважнее, нежели официальные, оплачиваемые «ученые», расправлялись с историей святой Руси.

С тяжелым сердцем возвращался молодой Ульянов домой.

Он понимал, что народ не монолитен, что он поделен на враждующие племена, предан местечковому патриотизму и не знает общих стремлений и принципов.

Для него была очевидна бездонная пропасть между деревней и городом, между крестьянством и интеллигенцией, которую мужики не понимали и не любили, так как была она для них воплощением правительства или чем-то дьявольским со всеми ее знаниями, наукой и чуждыми обычаями.

— Справиться с ними мог только Чингисхан или иной великий захватчик! — думал Владимир. — Кровавой рукой гнал он их за собой к покорению мира, вел к самим собой обозначенной цели. С той поры ничего не изменилось, поэтому и теперь нужен был новый хан или наш русский — дерзкий, жестокий Антихрист, новатор-мечтатель с толстой дубиной в крепкой руке — Петр Великий!

Своими впечатлениями мальчик подробно делился в доме Остаповых.

Все там любили его и называли ласково — Воля.

Впервые он услышал это имя от хрупкой, златовласой Елены и, сам не зная почему, покраснел по самые уши.

Старый доктор Остапов с изумлением слушал рассказы серьезного Воли, который говорил, как взрослый человек со сформировавшимися взглядами.

Логика, понятная без преувеличений и эмоциональных порывов мысль; простая, но жесткая диалектика занимали старого доктора. Не один раз думая об этом, он формулировал свои впечатления следующим образом:

— Ни мое поколение, ни сверстники моего сына не демонстрировали таких строгих, ясных и смелых мыслей. Ха! В жизнь вступает новое поколение, абсолютно непохожее на нас. Быть может, они не только смогут строить блестящие здания на глиняном фундаменте, но возведут что-то действительно великое и вечное, например — пирамиду русского Хеопса!

С Владимиром старый доктор вел беседы часами. Мальчик предпочитал их безразличному, полному сомнений профессору.

Однажды, когда Владимир с глубокой уверенностью утверждал, что можно изменить взгляды, будучи законопослушным и нравственным, молодой Остапов произнес горькие, безнадежные слова:

— Ничего не получится! Россия обречена на уничтожение...

От этих горьких, унизительных мыслей повеяло холодом.

Только Ульянов, внимательно взглянув на профессора, сразу ответил:

— В России живет 130 или 150 миллионов людей, на всем земном шаре, наверное, два миллиарда, которые страдают и чувствуют одинаково. Так пускай гибнет Россия во имя торжества правды... общечеловеческой.

— Ну нет — это уже перебор! — воскликнул врач.

— Мы не можем устанавливать исключительно русскую правду, — ответил Владимир. — Не имеет она ни цели, ни средств.

— А общечеловеческая правда?

— Над ней будут работать все вместе: мы, англичане, негры и индусы. Вместе получится лучше и быстрее!

— Какая же это правда? — спросил профессор.

— Я еще не знаю, но чувствую ее... здесь, здесь...

Говоря это, Володя пальцем дотронулся до своего лба.

В уголке, наклонившись над вышивкой, тихонько сидела Елена.

Когда Владимир произнес последние слова, она подняла на него глаза. Увидев его, указывающего на свой лоб, опустила веки и тихо вздохнула.

После ухода отца и брата, не отрываясь от вышивки, спросила:

— Воля убежден, что правда находится в мозгу?

— Да! — ответил он. — Только в мозгу.

— Я думаю иначе! — возразила девушка, покачивая светлой головкой. — Великие идеи только тогда могут овладеть людьми, когда переходят в чувства. Это значит, что в деле созидания, укрепления и принятия правды должно участвовать сердце...

— Нет! Как только в игру вступает сердце, начинаются компромиссы, а их я не выношу и не признаю! — резко воскликнул Володя.

— Значит, Воля никогда не пойдет за голосом сердца?

— Нет, никогда! Сердце — враг разума.

Она вздохнула и замолкла, еще ниже склонившись над столом.

— Почему Лена вздохнула? — спросил Владимир.

Ответа не было долго. Владимир терпеливо ждал, глядя, как свет лампы ложится золотыми пятнами на гладко причесанные волосы и ласкает длинные, толстые девичьи косы.

— Мне грустно... — прошептала она.

Ульянов промолчал.

— Мне грустно, — повторила девушка и вдруг подняла на него большие голубые глаза, наполненные горячим блеском. — Воля плохой!

Владимир не отзывался.

— А что, Воля ничего в жизни не любит?

Он подумал и ответил:

— Я желаю добра и правды всем людям во всем мире...

— То есть — любит?

— Нет! Для этого достаточно разума, — сказал он спокойно.

Спустя мгновение Елена, не отводя от его глаз удивительного, игривого взгляда, шепнула:

— И никого... не любит?

Он хотел ответить, но внезапно смутился и, покраснев, стал разглядывать лежащее на столе иллюстрированное издание Пушкина.

— Например, меня... Воля любит? — услышал он тихий шепот.

Ульянов вздрогнул и стиснул зубы.

— Потому что я люблю Волю... люблю, как отца, как когда-то любила маму... о, нет! Люблю еще больше — как Бога!

Он ответил сквозь стиснутые зубы:

— Не слишком убедительное сравнение!... Бога, Лена, нет! Это устаревшая идея, случайно остающаяся в обороте.

Глаз на нее он, однако, не поднял, опасаясь посмотреть в ее полные сердечного блеска зрачки.

— Для меня Бог существует! Я Его люблю так же, как люблю Волю, — прошептала девушка.

— Лена! — бросил он удушливым, как будто зовущим на помощь голосом.

Он не видел, но догадывался, что она протягивает ему изящную, с ямками над каждым пальчиком ручку.

Схватив, он рванул ее почти жестоко, почувствовал возле своей груди бьющееся сердце Лены, притянул ее к себе, щуря темные раскосые глаза, и впился губами в ее холодные, дрожащие губы.

— Твоя, твоя на всю жизнь, до последнего вздоха!.. — шепнула она с воодушевлением.

— На всю жизнь! — повторил он, и сразу какой-то холод проник в его грудь.

Он не знал, фальшь этих горячих слов или плохое предчувствие послужили этому причиной.

Елена как настоящая женщина уже планировала всю их жизнь.

— Воля окончит университет и станет адвокатом, чтобы защищать только самых несчастных, самых обиженных, как, например, Дарья, отправившаяся нищенствовать; я научусь медицине и буду лечить самых бедных и униженных...

Дальнейший разговор прервал профессор Остапов. Он стал у порога и позвал:

– Пойдемте, друзья, ужинать!

После того разговора с Леной Ульянов каждую свободную минутку старался провести у Остаповых. Даже Маркса забросил. Сейчас, в период первой любви, он казался ему слишком холодным и беспощадным.

Мария Александровна догадывалась, в чем дело, и была довольна тем, как все складывалось.

– Очень порядочная и милая девочка! – откровенничала она с мужем. – Серьезная, честная, из хорошей семьи. Может, даст Бог, будет из этого толк. Я была бы довольна!

– Естественно! – соглашался Ульянов. – Отец – генерал, лучший врач в городе. Это – партия!

– Самое главное, что она очень стоящая девушка, рассудительная, с добрым сердцем! – поправила мужа госпожа Ульянова.

– Ну и слава Богу! – воскликнул, потирая руки, отец.

Никто не знал, что в это же время Владимир переживал муки сомнений.

Он чувствовал, что изменяет чему-то более важному, чем его личная жизнь. Ему припомнился пьяный Остапов, рассказывающий об угрызениях совести Иуды. Теперь он понимал Иуду... Понимал, что эта подсознательная, неуловимая измена связана с Леной.

А если поступить, как с коньками и латынью? Бросить Лену и снова взяться за Маркса, за свои записки и книжки?

Однако он не мог себя побороть и шел к Остаповым, смотрел жадным взглядом в глаза Елены, улыбался блеску ее золотых кос и ощущал приятную дрожь возбуждения, когда она слушала его, хмуря брови.

Он был молод и не мог понять, что, раз уж он сравнивал свое чувство к этой девушке со своим увлечением коньками, которые он отверг ради дела, значит, это не была любовь на всю жизнь до последнего вздоха.

Не зная этого, он боролся с первой любовью, которая поглощала его. Боролся... Отдавался ее сладким чарам и стряхивал их с себя, чтобы в момент слабости вновь протянуть к ней руки. Он чувствовал то, что переживали святые во время искушения, сводившего их с пути Божьего. Они поддавались соблазну, уже

касались жаждущими устами чародейской чаши с ядом и отталкивали ее, чтобы пребывать в муках, пока вновь не начинали мечтать о чем-то прекрасном, соблазнительном, искушающем.

Они презирали себя, восставали против слабости духа, истязали себя и — побеждали во имя Господа, продолжая путь по усыпанной камнями и шипами дороге.

— Во имя какого Бога я должен бороться? — спрашивал себя Владимир. — Кто требует от меня жертвы?

Ответа не было, только где-то в лабиринте мозга, как ловкая змея, извивалась удивительная, беспокойная, пробуждающая мысль:

— Ты должен быть одиноким, избавленным от жизненных забот, ничем не связанным! Отдай все силы свои, всю мощь разума, весь жар никого не любящего сердца!..

— Чему или кому отдать? — шептал он, чувствуя охватывавшую его дрожь.

Снова молчание. Новая борьба, сомнения, угрызения совести, слабость, голубые глаза и золотые волосы Лены — муки, невыносимые муки!..

Александр Ульянов, закончив с червями и микроскопом, приглашал к себе коллег и знакомых. Во флигеле почти ежедневно стоял шум, а комната была наполнена дымом и голосами спорившей молодежи.

Когда появлялся старый Ульянов, неописуемо гордый полученным недавно крестом Святого Владимира, который давал ему наследуемый дворянский титул, молодежь сразу смолкала и завязывала обрывочные, банальные беседы. Однако до ушей отца долетали отдельные выражения. Это были ужасные слова: революция, Народная воля, подвиг Желябова...

Потом он горько упрекал сына, говоря, что эта «банда безбожников» всю семью погубит.

В конце концов слухи о собраниях, проводимых в доме статского советника и кавалера ордена Святого Владимира, дошли до полицмейстера.

Он пригласил к себе Ульянова и по-дружески предупредил, что держит под наблюдением дом, а особенно Александра Ильича, которого охарактеризовал как «человека молодого, неза-

урядной гениальности ученого, зараженного, к сожалению, преступными мечтами масонов и революционеров из партии убийц святого государя Александра Освободителя».

Старик устроил сыну такой скандал и так возмущался, что потерял сознание. Он тяжело две недели болел под надзором доктора Остапова.

Александр перенес свои собрания на какую-то конспиративную квартиру. В доме наступили покой и согласие.

Зная о любви отца к шахматам, Александр часто играл с ним, а старик больше никогда не заводил разговоров о неуместном для сына кавалера высокого ордена и таком опасном поведении.

У него не было уже никаких подозрений.

Мысли Владимира были такие же.

Изменились они неожиданно, после того как однажды, вернувшись домой, он обнаружил торчавшую из-под подушки брата книжку. Взяв ее, он сильно удивился.

Книга была очень тяжелой. Воспользовавшись отсутствием брата, он внимательно разглядел ее. Это был кусок высверленного изнутри железа, имеющего вид книги.

В голове мальчика блеснула страшная мысль. Ему показалось, что он все понял.

— Ты очень не осторожен, Саша! — сказал он, когда старший брат вернулся домой. — Такие вещи надо прятать старательней.

Брат смутился и ничего не ответил.

— Да-а! — подумал Владимир. — Все-таки черви не помешали Александру стать революционером, а Лена отнимает у меня много времени и уводит мысли на эгоистичный, мещанский путь. С этим надо кончать!

Но он не мог...

Его мучили мысли, связанные с открытием, происшедшим в комнате брата. Он сомневался и боролся с собой. Стоял на распутье и не находил выхода.

Он страшно похудел и стал бледным. Однако молчал и с отчаянным упорством держал язык за зубами, чувствуя себя человеком, впервые подписавшим смертный приговор.

Так продолжалось в течение всего лета.

Осенью 1886 года внезапно умер отец.

Это было тяжелое время. Тогда он еще больше полюбил Лену. Она была единственной, кто умел утешить огорченную мать и утихомирить ее боль и грусть. Госпожа Ульянова никогда не уважала мужа, однако, прожив столько лет вместе, грустила о нем. Мария Александровна любила мужа любовью матери. Она понимала, что этот наполовину калмык – недалекий, безвольный, подобострастный – прошел свой жизненный путь благодаря ей. Это она пробуждала в нем человеческое достоинство и придавала его работе настоящее содержание.

Дочки Марии Александровны, смелые и интеллигентные, обожали Лену и открыто называли ее невесткой.

Только Владимир не строил уже никаких планов и отрекся от мечтаний. Со дня на день он ожидал нового удара, который должен был обрушиться на его семью и все изменить, а может, даже разрушить. Ему единственному было известно об этом лучше, чем даже тому, по которому удар должен быть нанесен. У него не было ни надежд, ни иллюзий.

В марте следующего года, когда Владимир ходил уже в 8-й класс, город потрясла весть, что в годовщину смерти Александра II от руки Желябова, в Петербурге было раскрыто покушение на жизнь царствующего монарха.

Среди арестованных заговорщиков был Александр Ильич Ульянов, а среди подозреваемых – его сестра Анна.

Мария Александровна, огорченная и прибитая масштабом несчастья до самой земли, решила ехать в Петербург. Дети не могли отпустить ее одну. Обратившись к старым добрым знакомым, они убедились, что никто не желал иметь проблем с властями и демонстрировать близкие отношения с семьей преступника, поднявшего руку на царя. Некоторые даже не пускали молодых Ульяновых на порог. Старый приятель отца Шилов избегал встреч с ними и больше не приходил сыграть в шахматы.

– Интеллигентное общество дегенерировало окончательно! – бросил Владимир и плюнул с отвращением, возвращаясь вместе с сестрой от старых друзей, не впустивших их к себе домой.

В дальний путь, под предлогом получения информации о поступлении на медицинский институт, отправилась с Марией Александровной Лена Остапова.

Несчастная мать ничем не могла помочь сыну. «Обожающий покой» царь Александр умел мстить врагам помазанника Божьего.

Просьба матери о замене смертного наказания на пожизненное заключение была отклонена.

Александр Ульянов был повешен в угрюмом дворе Шлиссельбургской крепости, которая со времен Петра видела непрерывную цепь зверств, применяемых к врагам деспотизма.

Мария Александровна вернулась домой.

Внешне она казалась абсолютно спокойной, только сразу поседела, глаза потухли, а голова стала трястись; ее как будто иссохшее и изможденное тело постоянно содрогалось.

На следующий день после возвращения Елена Остапова пригласила к себе Владимира.

Ульянов заметил в любимой девушки большие перемены.

Это не была уже лучезарная, безмятежная Лена.

На нее упала какая-то тень. Голубые глаза были полны ледяного спокойствия, свежие, горячие губы были сильно сжаты, с лица исчез румянец, а голос стал твердый, металлический. Их встреча не сопровождалась, как прежде, взрывом радости и счастливым смехом Елены.

Она долго молчала, всматриваясь в уставшее строгое лицо Владимира.

— Хорошо!.. — сказала она.

Он поднял на нее удивленный взгляд.

— Ты уже отстрадал и нашел выход для печали и гнева!

Он молчал.

— Я знаю, что сейчас не время думать о себе, обо мне, о любви, о счастливой жизни... знаю! Пришло время мстить за смерть Александра.

— О да! — вырвалось у Владимира.

— Мне рассказывали о процессе заговорщиков... Их было несколько... Те, которые все придумали, все свалили на Александра и его товарищей... Напуганная и деморализованная партия скрылась, распалась... Трусы! Убожества!..

Ульянов молчал, нахмурив брови.

— Обязательно надо показать правительству, что протест не угас! Надо бросить новые бомбы! Надо поддержать народ-

ный гнев! Я не сомневаюсь, что ты думал об этом и решил пойти по стопам брата. Воля, ответь!

Владимир еще ниже опустил голову и не отвечал.

— Говори! — шепнула она страстно. — Твои сестры присягали быть врагами Романовых, а ты молчишь? Боишься? — спрашивала она.

Ульянов поднял голову.

Его строгое, ожесточенное лицо было спокойно. Темные глаза смотрели холодно.

— Я не боюсь! — ответил он сухим, хриплым голосом.

— Тогда что же ты решил?

Он подпер голову руками и, не глядя на Лену, заговорил, как будто исповедовался перед самим собой:

— Я давно знал, что брат готовится совершить покушение. Я нашел у него часть адской машины... Меня это ужасало... Я ни секунды не сомневался, что это закончится смертью брата... В случае неудачи его повесит Александр III; если бы покушение удалось — то же сделал бы его наследник... Другого выхода не было, быть не могло! Я мог предотвратить несчастье, уговорить брата, рассказать обо всем матери... Но я не сделал этого... Только мне известно, какие мучения я пережил! Я позволил Александру уехать с бомбами... на погибель. Я не мог поступить иначе! Человек должен жить для идеи и цели, забыв о себе... Его нельзя останавливать!

Он прервался и неподвижно смотрел перед собой.

— А теперь? Что ты будешь делать теперь? Молчать? Страдать? — спросила Лена и потрогала рукой лоб Владимира.

Он взглянул на нее прищуренными глазами и сказал, делая акцент на каждое слово:

— Я следующую бомбу не брошу! Это игра в героизм. Глупая, убогая игра! Бессмысленное кровопролитие... Я клянусь отомстить Романовым, но время для этого еще не пришло... Скоро придет... Тогда польется кровь! Море крови!

— А если это время не придет?

— Придет... Я его подгоню! — ответил он, ударяя по столу кулаком.

Лена посмотрела на него с недоумением.

АЛЕКСАНДР УЛЬЯНОВ
(старший брат первого диктатора России, повешенный за покушение на царя Александра III)

Ей казалось, что этот парень бросается пустыми, громкими фразами, чтобы обмануть ее и себя, оправдать свою трусость и безделье. Вдруг она заметила его острый, направленный на нее взгляд. В этот момент он был похож на хищную птицу. Он жег ее, проникая в самые тайные уголки ее мозга.

Она почувствовала, что он все видит и понимает каждое движение ее мысли.

Он опустил глаза и сказал:

– Ничего я не боюсь и никого не собираюсь обманывать! Сердце приказывает мне бросить бомбу немедленно, но разум подсказывает, что время для мести придет тогда, когда будут сводиться счеты за века минувшие и когда будет написан план на века, которые грядут. Я это совершу, Лена!

В голосе Владимира звучали великая сила и горячий порыв.

Она на одно, но только на одно мгновение поддалась этому впечатлению. Затем вернулось сомнение и болезненное подозрение о неискренности, о попытке направить ее внимание в другую сторону.

Она молчала, глядя на него с упреком.

Владимир снова впился в нее острым взглядом раскосых глаз, и бледная улыбка пробежала по его губам.

Он встал. На его лице появилось сомнение.

Шипящим, почти злым голосом он сказал:

– Лена, я мог бы сейчас же молча уйти. Знаю, что ты обо мне думаешь, и не буду оправдываться. Я делаю так, как хочу! Скажу только, что ты единственный и последний человек, которого я любил. Я к тебе вернусь, когда исполню то, о чем только что сказал!

Она сильно сжала руки и прошептала:

– Я никогда тебя не забуду...

Ей хотелось, чтобы он подошел, как делал это всегда, и молча прижал к себе.

Владимир не сделал этого. Только охватил ее еще раз загадочным, неуловимым взглядом и подумал с неприязнью и презрением: «Не поверила! Думает, что я трус!»

Она сразу же стала для него чужой, ненужной; еще мгновение, еще одно слово – и могла бы показаться врагом, для которого у него не было бы иного чувства, кроме ненависти.

Он вышел, не оглядываясь больше.

Его не мучали страдания, и он не испытывал грусти из-за разлуки с Леной.

Возвращаясь из гимназии, он все время проводил с матерью, страстно учился и читал.

Он стал еще более спокойный и молчаливый.

Мать спросила, почему он прервал знакомство с Остаповыми.

Он солгал, будто ему намекнули, что очень рискуют, поддерживая отношения с семьей заговорщика.

— Пускай профессор Остапов спокойно получит орден, которого так жаждет! — закончил он, рассмеявшись.

Оставшись один в своей комнате, он подумал, что поступил никчемно, дискредитируя в глазах матери старого приятеля, златовласую Лену и безликого, безразличного ко всему профессора.

— Эх! — махнул он презрительно рукой. — Все хорошо, для того чтобы проще и быстрее достичь цели! По крайней мере, теперь меня никто не будет беспокоить!

Он очень быстро обо всем забыл. Учился как сумасшедший, готовясь к выпускным экзаменам, которые сдал отлично.

Владимира Ульянова отметили золотой медалью, и он поступил в Казанский университет на юридический факультет.

Каникулы вместе с сестрами и мамой он провел у тетки, а вернувшись осенью, узнал от приятелей, что доктор Остапов с дочерью уехали в Петербург, а профессор был направлен на должность инспектора гимназии в Уфу.

Владимир вздохнул.

Все время бдительный, контролирующий себя, он установил, что это не был вздох грусти, а скорее — облегчения, осознания окончательной ничем не ограниченной свободы.

— Я потерял то, что было мне дорого, но то, что я нашел — велико, как неописуемое сокровище! Свобода! — прошептал он сам себе.

Он чувствовал себя могучим.

ГЛАВА VI

Университетская жизнь в Казани была более бурной, чем в столицах под неустанным надзором жандармов и политической полиции, в которой тайно служили некоторые профессора и студенты.

Кроме карьеристов, которых было очевидное большинство, в Казани существовали многочисленные студенческие кружки, мечтающие о переменах в России. Однако всеми ими руководила «Народная воля», то есть социалисты-революционеры.

Владимир Ульянов сразу же вошел в эти кружки, ходил на их конспиративные собрания, даже начал писать брошюры и листовки для народа. Но его работы были с возмущением отторгнуты. Они не соответствовали идеям предводителей и были признаны ересью, предательством партийных идеалов.

Ульянов покинул круг партийных приятелей и притаился, ожидая возможности начать атаку на всю партию «Народная воля», которую познал очень хорошо.

Ждать пришлось недолго. В Москве и Петербурге из-за жестокости полиции студенты объявили забастовку и перестали ходить на занятия в вузы.

Казанский университет последовал их примеру.

На митинге в актовом зале предводитель социалистов-революционеров выступил с длинной речью, требуя решительного протеста против господствующего режима и манифестации за созыв Учредительного собрания.

После оратора на кафедру взошел невысокий, плечистый студент с ярко выраженными монгольскими чертами лица.

По залу прошел шепот:

– Это брат повешенного Александра Ульянова...

Владимир слышал это и смотрел на собравшихся злыми прищуренными глазами.

– Коллеги! – выкрикнул он. – Речь моя будет короткой. Я вам скажу только, что вы стадо баранов, ведомых козлами...

По толпе студентов прошел шепот удивления и гневный рокот.

– Долой его! Долой! – воскликнуло несколько голосов.

– Послушаем! Послушаем! – кричали другие студенты.

– Ваши предводители мечтают, чтобы царь и его правительство прислушались к глупым призывам о созыве Учредительного собрания. Они хотят ложью и личным террором заставить сильных мира сего на это согласиться. Коллеги, это путь, достойный глупцов...

– Долой! Долой! – раздались возмущенные возгласы.

–... достойный глупцов, запомните это хорошо! – продолжал Ульянов. – Царь является помазанником Божьим и таковым себя считает...

– Браво, коллега Ульянов! Браво! – рявкнула благонадежная часть студентов.

– Только без фамилий! Среди нас есть шпики! – раздались предупреждающие голоса.

– Царь, помазанник Божий, считает, что его власть не от мира сего, что она божественная. Он воспитан в этом убеждении, поэтому ход его мыслей отличается от нашего. Ему не знакома мещанская мораль и трусость. О, цари очень отважны! Они с легкостью прерывают жизни других и охотно отдают свою! Их невозможно запугать террором, не говоря уже о глупых, беспомощных студенческих протестах и смешных формулировках «Народной воли» о Учредительном собрании! Почему бы социалистам-революционерам не потребовать выделения земляных наделов на Луне?!

– Браво! Ну и врезал он этим якобинцам! – донеслись веселые окрики.

– Долой! Долой провокатора! Он срывает забастовку! – кричали, размахивая руками, отъявленные народники.

– Дадите мне закончить или нет? – хриплым голосом воскликнул Ульянов. – Правды боитесь?

– Пускай говорит! Пускай говорит! – поддержали его.

В зале повисла нехорошая тишина.

– Учредительное собрание будет означать отторжение от трона царских лакеев. Прикормленные и щедро оплачиваемые, они

не захотят терять теплый угол. Ха, не так они глупы, дорогие мои! Так кто же прислушается к голословным требованиям наших якобинцев в чиновничьих шапках, имеющих души тех же лакеев, быть может, несколько возмущенных, но мечтающих о теплом месте возле царского пирога. Кто?

– Предатель! Клеветник! Правительственный агент! – кричали взбешенные партийцы «Народной воли».

– Молодец! Вот это посадил их на кол! – смеялись благонадежные и беспартийные.

Тем не менее слушали дальше, потому что отважный оратор поднял руку и смотрел угрожающе.

– Не туда идете, коллеги! Хотите протестовать? Хорошо! Пойду с вами, но пойдемте в казармы, к солдатам – крестьянским сынам, в деревню, давайте соберем силы и с оружием в руках покажем, что мы умеем требовать и готовы погибнуть за выполнение нашей воли! Пойдемте сейчас же, не раздумывая, потому что через час всех нас поймают шпики, благонадежные и беспартийные помогут им, а партия «Народная воля» спрячется в кусты, оставляя кого-то на съедение, ведь предводители нужны для написания листовок с глупостями и детскими сказками!

Разразилась настоящая буря криков, ругательств, оскорблений.

– Долой провокатора! Выдворить клеветника за двери! Кто дал ему право выступать в таком тоне? Он срывает митинг! Предатель!

Митинг действительно был сорван, так как между студентами завязался спор и даже драка.

Ульянов стоял на кафедре и внимательно с презрением слушал. Когда шум на мгновение утих, он издевательским голосом сказал:

– Мне кажется, что участвую в Учредительном собрании, ведь в действительности оно может быть только таким... Но я разгоню его на все четыре стороны!

Он спокойно сошел с кафедры. Глядя твердым взглядом, шел через ряды студентов, расступавшихся перед ним, бросающих в его адрес проклятия, и покинул зал.

В коридоре его ожидали приятели Зегжда и Ладынин.

Ульянов взглянул на них и прошептал:

– Теперь убегаем, сейчас они опомнятся и захотят меня побить!

Они побежали во весь опор. Владимир угадал. Студенты толпой вывалили из зала и бросились за ними вдогонку. В этот момент появилась полиция и дворники. Начались аресты. Среди задержанных оказался и студент Владимир Ульянов.

Университетский совет совместно с чиновниками из городской администрации долго думали, следует ли отдать Ульянова под суд или же наказать иначе. Наконец было решено навсегда исключить его из университета и отправить под надзор полиции в Кукушкино. Все признавали, что он замечательно высмеял партию «Народная воля» и парализовал ее намерения спровоцировать студенческие волнения.

– Я охотно принял бы этого парня на хорошую зарплату в тайную полицию! – заметил жандармский полковник.

– Не пойдет! – буркнул инспектор университета.

– Знаю! – улыбнулся жандарм. – Собственно говоря, я и сам не был бы уверен в таком агенте; он мог бы играть в двойную игру. Бывали уже такие случаи.

В этот же день Владимир в сопровождении усатого жандармского смотрителя уезжал из города.

По дороге он думал о том, что если бы Елена Остапова жила в Казани, то, узнав о его выступлении на митинге, считала бы его никчемным предателем и провокатором.

От этой мысли он злобно улыбнулся и, глядя на смотрителя, обратился к нему со смехом:

– Жизнь забавна, господин жандарм!

– Э-э! – ответил тот неохотно. – Ничего забавного... Жалованье маленькое, работы много...

– Ой! – воскликнул весело Ульянов. – Боюсь, что вы вступите в «Народную волю», она всех обиженных защищает, значит и вам пообещает повышение зарплаты.

– Шутить изволите, господин студент, а мне ведь и вправду не до смеха! Через месяц должна рожать жена, а прибавки к жалованью как не было, так и нет! – буркнул смотритель.

Владимир чувствовал себя превосходно. Какая-то великая радость снизошла на него. Все вокруг было усыпано снегом, креп-

чал мороз, а ему казалось, что уже пришла солнечная, переполненная жизненными силами буйная весна.

Его охватило ощущение окончательной свободы.

Он порвал со всем, что связывало его с нормальной, серой, мещанской жизнью.

Теперь он мог идти по пути, который так детально, вплоть до каждого шага, себе представлял. Судьба была предопределена, а он верил, что суждено было ему использовать ее до конца, воплотить все идеи, которые уже несколько лет формировались у него в голове и приобретали отлитые, стальные формы.

— Вот сейчас я действительно буду учиться! Учиться! Учиться!

Теперь ничего не могло отвлечь его от учебы. Он знал, что не впутается ни в какие политические авантюры. Отношения с «Народной волей» были сорваны настолько серьезно, что на всем Поволжье никто из этой партии не заглянул бы к нему. С другой стороны, на него были обращены взоры полиции, жандармов, шпиков. Каждый его шаг, каждый возглас были бы немедленно известны властям.

Он улыбался этим мыслям, как будто они приносили ему неслыханное счастье, о котором он мечтал.

В своей комнате в Кукушкино он сразу же погружался в учебу.

В течение двух лет он прошел весь курс предметов юридического факультета и был готов к получению диплома. Он подал заявление с просьбой допустить его к экзаменам в Казани или Петербурге, но получил решительный отказ. Тогда он несколько раз предпринимал попытки получить разрешение на выезд за границу. Они также оказались безрезультатными.

Единственное, чего ему удалось добиться, — узнать, что его изгнание продлится три года. Вскоре ему выхлопотали разрешение на возвращение в Казань. Но Володю уже ничего не тянуло в этот город, где университет был для него закрыт. Он решил переехать в Самару.

За это время он провел большую работу. Ознакомился с трудами всех социологов и особенно старательно, всесторонне изучил Маркса.

Критически и трезво смотрящий на жизнь молодой человек должен был признать, что в самарском изгнании стал серьезным теоретиком марксизма.

Он не выносил теории, пренебрегал ею и людьми, приверженных сухой, формальной доктрине.

Успокаивая себя, он рассуждал:

«В начале любой врач теоретик. Практиком он становится только после того, как с более или менее позитивным результатом примет несколько родов или зарежет несчастного пациента. С этого момента врач начинает помогать человечеству в борьбе со страданиями. Безусловно, точно так же будет и со мной. Я охотно сделаю не одно, а тысячу вскрытий, чтобы стать крепким специалистом!»

У него неоднократно возникало желание обратиться ко всем.

К кому? К пьяной, играющей в карты, тупой и ко всему безразличной деревенской интеллигенции? К слепым сторонникам идеек «Народной воли»? К крестьянам?

Нет! – думал он. – Это не тот материал, на который можно повлиять с помощью печатного слова. Тут нужен кулак, палка или еще более эффективное средство насилия.

Совершенно случайно он обнаружил более восприимчивый класс.

В доме, где жил, он часто встречался с вечно пьяным и иногда ужасным в своем бешенстве сторожем, который бил свою жену и детей, гонял собак, грозя им метлой, и на всех бросался.

– Что с вами случилось, Григорий? – спросил Ульянов однажды, подойдя к сторожу.

– Да ну их всех к чертям! – рявкнул тот бешено. – Земли мало, а пашня, которая у нас осталась, неурожайная! В городе зимой заработка нет. Безработный брат сидит на шее, а я вынужден его кормить... Откуда я возьму?!

В то же вечер Владимир сел и написал две листовки – каждую в пяти экземплярах. Одна была о пролетаризации крестьянства, вторая – о безработице. Спрятав их в ящике с картошкой, пошел к Григорию. Там он долго выслушивал жалобы, расспрашивал о жизни в деревне и о тяжелой судьбе безработного, рассказывал, объяснял, советовал.

Результат оказался неожиданный и скорый. Братья стали его помощниками и старательно разносили листовки по окрестным деревням и фабрикам.

На втором году изгнания Владимир познакомился с живущей в этом же доме девушкой.

Маленькая, смуглая, с черными глазами и выдающимися губами, она улыбалась ему бессовестно и завлекательно.

От Григория он узнал, что она зарабатывала шитьем платьев, не брезгуя, однако, другим, более легким заработком, принимая у себя мужчин.

Встретив ее на лестнице, Ульянов спросил:

– Вас зовут Груша?

– Откуда вы знаете? – ответила она вопросом и вызывающе рассмеялась.

– Мне губернатор сказал! – шутя ответил он.

– Этот ко мне не приходит... – парировала девушка. – Мои гости – не такие большие господа! Может, и вы заглянете ко мне?

– Загляну! – согласился он. – А когда?

– Хотя бы сегодня вечером... – шепнула соседка.

Он пришел. Осмотрел комнату. Обычное пристанище бедной проститутки.

Широкая кровать, столик, два стульчика, умывальник, на стене две репродукции, представляющие обнаженных женщин, и несколько порнографических фотографий.

Необычным приложением была швейная машина и висящая в углу икона Христа, перед которой горела масляная лампада.

– Ха! – весело воскликнул Ульянов. – А что здесь делает Сын Божий? Насмотрелся бедный на разные выкрутасы, происходящие на этом ложе!

Уже расстегивавшая на себе блузку девушка внезапно посерьезнела. В ее глазах засверкали искры мрачного гнева.

– Пусть смотрит, пусть! – прошипела она. – Пускай знает, что спас мир, а бедных людей из нищеты вырвать не смог! Сами должны справляться, кто как может: один с ножом в руках, а я на этой кровати. Пускай смотрит!

Ульянов задумался. Представил себе проститутку, полную ненависти и осознания собственной нужды, в тот момент, когда ей дали в руки нож и сказали:

– Иди и мсти безнаказанно!

Вот бы потешилась!

Он невольно улыбнулся и сочувствующе взглянул на девушку.

Сама того не ведая, она научила ему большой вещи – возможности использования мощи ненависти.

Заметив его улыбку, она с подозрением спросила:

– Почему ты смеешься?

Чтобы не раскрывать перед ней своих мыслей, он ответил:

– Христос был к вам безжалостен, а перед ним тем временем горит лампада. С этого и смеюсь...

Беззаботно пожав плечами, она произнесла:

– Пускай знает, что и в моем сердце есть доброта...

Потом взглянула на гостя и сказала уже серьезно:

– Так что? Мне раздеваться? Э-э, ты какой-то странный, необыкновенный!

– Давай поговорим без раздевания, – ответил он весело. – Не бойся, девчонка, заплачу!

– Глупый ты! Я только за работу деньги беру! – воскликнула она. – Я не нищая, которая с протянутой рукой стоит перед церковью...

Ульянов быстро подружился с Грушей.

Он бывал у нее как клиент, регулярно рассчитываясь, и тогда она фамильярно обращалась к нему на «ты» и обращалась с ним достаточно жестоко. Но чаще он приходил как знакомый и сосед. Тогда она угощала его чаем с бубликами, говорила серьезно, сосредоточенно и сконфуженно. Перед его визитом она убирала постель и выносила умывальник в прихожую. Обращаясь к нему, говорила с уважением «Владимир Ильич» и не позволяла себе никакой фамильярности и даже шуток.

Когда на фабрике Злоказовых вспыхнула забастовка, Ульянов написал листовку о тактике рабочих и саботаже, а листовки эти раздавала Груша, у которой на фабрике было много знакомых. Ее арестовали, направили в следственный отдел, морили голодом, требуя рассказать, в какой состоит организации.

Она ничего не сказала и не выдала Владимира.

Ее осудили на два года тюрьмы.

Вскоре Ульянов забыл о ней. Она была для него малюсенькой, едва заметной вехой на пути, устремленном в неизвестность, в которой только он отчетливо видел свою, ничем не замутненную цель.

О девушке ему напомнил, вернувшись из тюрьмы, в которой навещал какого-то односельчанина, брат сторожа.

– Груша передавала вам привет и просила сказать, что ей все равно где сгнить – в больнице или в тюрьме...

Ульянов пожал плечами, как будто говоря:

– Ну и хорошо!

У него не было времени, чтобы забивать голову такими мелочами, осколками жизни.

В этот период он, обложенный словарями и самоучителями, изучал иностранные языки.

Ему ли думать о смешной проститутке, которая зажигала жертвенную лампадку перед святым образом, смотрящим на ложе разврата?

В нем не было и тени сентиментальности. Он не способен был сравнить эту падшую девушку с жертвенной лампадкой. Она была для него щепкой, отлетевшей во время рубки леса жизни.

Ему ли думать о судьбе каждой щепки, когда он думал о дебрях – густой, мрачной, нехоженой пуще?

ГЛАВА VII

Хорошее настроение и радостное ощущение свободы не покидало Владимира Ульянова. Ничего не могло убить или хотя бы на время испортить этого настроения. Полученная им весть о смерти сестры Ольги, о переживаемом матерью горе и болезни скользили по нему как сиюминутные, исчезающие без следа тени.

Он чувствовал себя как вождь на поле битвы.

Все было уже детально изучено, обдумано, приготовлено. Со временем враг, окруженный со всех четырех сторон, получит уничтожающий удар. Победа ощущалась настолько выразительно, что от самой мысли о битве какая-то роскошная дрожь пробегала по телу вождя.

Он с нетерпением ждал окончания пребывания в Самаре.

Долгожданный день наконец наступил. Ульянов немедленно уехал в Петербург; месяц назад он подал прошение в университет о допуске к дипломному экзамену.

Ни с кем в столице не поддерживая отношений, он сдал экзамен и записался в адвокатуру.

Читая бумагу, подтверждающую это, он загадочно улыбнулся, вспомнив голубые глаза и златовласую, склонившуюся над столом головку. Мелькнула мысль:

— Елена живет в Петербурге. Можно было бы пойти к ней и сказать, что один мелкий этап мною пройден и остальные тоже пройду, потому что так решил!

Однако, с презрением искривив губы, шепнул:

— Зачем?

Он вернулся в Самару, где поселилась Мария Александровна, и начал адвокатскую карьеру.

Первым порученным ему делом, была защита рабочего, которого обвиняли в краже.

Ульянов навестил своего клиента в тюрьме. Маленький человек со злыми, бегающими глазами, увидев адвоката, начал ручаться всеми святыми, что ничего не трогал и был обвинен в воровстве из-за ненависти, которую к нему испытывает купец.

«Когда-то на митинге, господин адвокат, я сказал, что он сдирает с нас шкуру и пьет кровь. Теперь он мне отомстил...» — утверждал рабочий.

Молодому защитнику этого было достаточно.

Выступая в суде, он пытался доказать, что при определенных обстоятельствах за кражу наказывать нельзя, что рабочий мог тайно забрать какую-то дорогостоящую часть машины и продать ее, если бы у него имелись преступные инстинкты с точки зрения принятых законов. Но он этого не сделал, доказывая соответствие общепринятой морали; только сейчас, из-за недружеского отношения со стороны торговца, ему предъявлено тяжелое обвинение.

Старый, серьезный прокурор, снисходительно улыбаясь, указывал на неопровержимые улики и доказательства, свидетельствующие против подсудимого.

Ульянов оспаривал это своими аргументами. Прокурор, в свою очередь, разбивал утверждения защитника. Мелкое и обычное дело растянулось до вечера. Наконец обвинитель и защитник исчерпали свои доводы и замолкли.

Уставший от ожидания окончания растянувшейся процедуры, председатель суда строгим голосом обратился к обвиняемому:

— Подсудимый! Вам предоставляется последнее слово!

Уставший, голодный и зевающий рабочий лениво встал и пробубнил:

— Не понимаю, зачем было столько болтовни! Украл ну и украл, что же в этом особенного? Не я первый, не я последний...

Владимир Ульянов проиграл дело. Взглянув на клиента, прокурора и суд, он прыснул беззаботным смехом.

В зале стало небывало весело.

Это анекдотическое выступление молодого адвоката стало решающим для его карьеры. Несколько следующих дел Ульянов тоже проиграл, поэтому забросил практику.

Он понял, что не имел способностей передвигаться в рамках строгих статей Уголовного кодекса, не умел использовать факты

в четко ограниченной правовой плоскости. Ему скорее хотелось в зависимости от конкретного случая применять закон избирательно, неоднократно игнорируя его компетенцию в области определенных явлений более широкого значения. Он доказывал, что справедливость отличается для определенных классовых слоев.

То, что хорошо и справедливо для взяточника чиновника с университетским образованием, не может быть применено в отношении невежественного крестьянина или всегда голодного пролетария. Он не раз становился обвинителем, защитником и судьей в одном лице. Эта логика Ульянова вызывала у квалифицированных судей насмешки и презрительные улыбки.

Во время одного процесса прокурор ехидно заметил:

Защитник, очевидно, намерен стать законодателем, вносящим в кодекс совершенно новые идеи!

– Да, у меня есть такое намерение! – тут же отрезал Ульянов таким тоном и с таким выражением лица, что никто не мог понять, серьезно говорит этот бездарный адвокатишка или насмехается.

Отрекаясь от юридической карьеры, Владимир принялся изучать новый фабричный закон и углублять свои знания в области социологии. Он работал над брошюрой о рынках, об экономических ошибках народной партии и начал писать большой трактат под названием «Друзья народа», точно обозначая в нем пути и цели борьбы, в которую должна вступить социал-демократическая партия, пока только возникающая на территории России под воздействием теории Маркса и Энгельса.

Не закончив этой работы, он отправился в Петербург на поиски людей, мыслящих с ним одинаково.

Однако таковые ему не попадались. В марксистских кружках доминировала либеральная интеллигенция, смотревшая на социализм теоретически, видевшая в нем историческую фазу экономического развития, в которой народным массам отводилась пассивная роль.

Люди не выходили за границы господствующей идеологии, мечтали об изменениях действующего законодательства и государственного устройства, которые должна была принести грядущая фаза исторического развития общества.

Они беспомощно метались, не видя выхода из лабиринта противоречий и усыпляя стремление к действию скромной работой над распространением среди рабочего класса массы брошюрок «комитета просвещения».

Но даже настолько невинная деятельность вынуждена была скрываться под плащом конспирации, так как ее неумолимо преследовало и истребляло строгое царское правительство.

Ульянов несколько раз встречался с руководителями комитета просвещения и кружков, несущих знания в среду рабочего класса.

Встречи закончились внезапным разрывом.

Ульянов смотрел на петербургских марксистов с настолько плохо скрываемым презрением, что вызывал в них возмущение, хотя не один из последователей Маркса, попав под изучающий взгляд приехавшего с Волги «товарища», чувствовал себя растерянным, убитым и спрашивал себя:

– Какие же из нас революционеры?!

– Является ли целью вашей партии революционная борьба за социалистические настроения в России? – спрашивал их низким хрипящим голосом Ульянов.

– Безусловно! – отвечали ему марксисты. – Мы знаем, что должна начаться классовая борьба.

– И в то же время занимаетесь раздачей глупых брошюрок несчастного комитета просвещения, руководимого безвольной, трусливой либеральной интеллигенцией, до мозга костей, до последней мозговой клетки отравленной буржуазной идеологией. Что же? Мы вам этого не запрещаем! Идите своим путем к собственной гибели!

Такое утверждение оскорбило всех.

– От чьего имени, каких «мы» обращается к нам товарищ Ульянов? – кричали со всех сторон.

Владимир щурил глаза и злыми шипящими словами отвечал:

– Я обращаюсь к вам от имени тех, которые уже начинают порывать всяческие отношения с так называемым обществом и вскоре схватят настоящего врага – буржуазию, с которой не имеют и не хотят иметь ничего общего.

– Кто же это? Где находятся эти общественные слои?

— Вы узнаете об этом очень скоро! — ответил Ульянов, и его не видели больше на собраниях кружков петербургских социал-демократов.

Его поведение возмущало их, ведь они слышали, что он называет их «жаворонками буржуазного либерализма». Они могли бы забыть о дерзком приволжском марксисте, если бы не ряд произведений этого загадочного человека.

Это были так называемые «желтые тетради», выполненные на гектографе, но становившиеся все более известными и популярными.

Написанные простым, даже простецким, живым, отлично подчеркивающим основную мысль стилем, они не могли быть причислены к литературным или научным произведениям. Они были подобны строгим и гневным произведениям фанатичных отцов церкви, папской булле, преисполненные уверенности в собственной безошибочности, подкупали смелостью революционного подхода.

Одновременно автор «желтых тетрадей» язвил, высмеивал либералов и социалистов «в мундирах», бросал на них тень подозрений, лишал привлекательности, которой они пользовались в среде неграмотных и не имеющих собственного суждения о людях рабочих.

Социал-демократы, как некогда народники, почувствовали в Ульянове сильного противника, хищного и хитрого тигра, который умеет нападать с разных сторон, всегда неожиданно и со всей силой.

Владимир тем временем путешествовал по России, останавливаясь в фабричных городах. Там он знакомился с рабочими, в компании которых не столько говорил, сколько внимательно, спокойно слушал. Однако, уезжая, он услышал от рабочих сакраментальную фразу:

— Мы не признаем государства, общества, закона, церкви и нравственности, нам не нужна ничья помощь! Мы являемся силой и в кровавой борьбе по собственному желанию, совместными силами добудем свободу и справедливость, как мы ее понимаем!

В этот период Владимир познакомился с двумя достаточно неглупыми рабочими — Бабушкиным и Шалдуновым, вмес-

те с которыми втягивал в организацию других рабочих, писал листовки и брошюры, внедрял их в среду трудового пролетариата, сея тем самым первые зерна беспощадной борьбы со всем обществом.

В Петербурге, преподавая в рабочих кружках социологию, читая и комментируя Маркса и знаменитый «коммунистический манифест», он еще больше расспрашивал, слушал и думал о пробуждающейся к действию душе людей бездомных, неуверенных в завтрашнем дне, никем не защищаемых и безнаказанно эксплуатируемых.

В одном из кружков, организованном в фабричном районе Петербурга — Охте, он познакомился с работницей из фабрики Торнтона.

Красивую, рослую девушку с выгоревшими прядями, большой грудью и смелыми глазами звали Настя.

Ульянов, сжимая ее маленькую, но твердую ладонь, вспомнил про Настьку из Кукушкино, избиваемую пьяным отцом, обманутую господским сынком и убитую деревенской знахаркой.

— Эту-то лишь бы кто не обидит! — подумал он, глядя с улыбкой на работницу. — Решительная и отважная девушка. Не позволит обвести себя вокруг пальца!

В тот вечер он обсудил с Эрфутскую программу. Рабочие слушали сосредоточенно, а он, акцентируя, как всегда, слова, повторял наиболее важные пункты и пытался пробудить в слушателях стремление к проявлению воли и действия.

Он не чувствовал себя спокойно. Его раздражало присутствие пышущей молодостью, естественной силой и горячей кровью красавицы Насти. Он невольно и все чаще задерживал на ней свой взгляд, искал ее зрачки, а в них — ответ на невысказанный вопрос.

В ее смелых, гордых, почти дерзких глазах он тоже прочитал непроизнесенный устами вопрос. Большая высокая грудь вздымалась внезапно и изящно, сильное тело напрягалось моментами соблазнительно и лениво.

Взгляды, бросаемые Ульяновым на девушку, поймал Бабушкин. В перерыве, когда подали чай, он подошел к Владимиру и прошептал на ухо:

— Настя Козырева — грамотная девушка, рабочая и член партии, но хочу вас предостеречь, полной уверенности в ней нет...

— Что вы подозреваете?

— Ничего! Не хочу сказать о ней ничего плохого. Знаю только, что она любит веселую жизнь и соблазняет молодого инженера с фабрики. Он сохнет по ней, а она — то принадлежит ему, то месяцами его избегает...

— Вы ей не говорили, что не следует водиться с буржуазией?

— Нет. Нам это на руку. Через нее мы узнаем, что планирует против рабочих дирекция фабрики.

— А-а — протянул Ульянов. — Не следует ей этот флирт запрещать.

Сказав это, он почувствовал большую досаду, осознавая, что ревнует Настю.

— Я проведу вас домой, товарищ! — шепнул, подойдя к ней.

Строго взглянув на него и блеснув глазами, она спокойно ответила:

— Спасибо...

Они долго ходили по темным улицам предместья, дошли до леса в Полюстрове и уже перед рассветом остановились перед маленьким деревянным домиком.

— Здесь я живу... — сказала она, потягиваясь. — Завтра воскресенье, спать можно, сколько влезет...

— А, точно! — воскликнул он. — Завтра воскресенье.

Настя ничего не ответила. Постучала в окно. Сонная, непричесанная женщина с ребенком в руках отворила двери и проворчала:

— Черт побери! Ты меня напугала. Я думала, что опять полиция...

Девушка, не прощаясь с Ульяновым, вошла в темные в сени и уже оттуда призывно кивнула ему.

Он вошел. Услышал, как заскрежетал в замке ключ, его окружил мрак, но вскоре он почувствовал, как сильное и горячее плечо обняло его и подтолкнуло к дверям.

Он быстро обернулся, на ощупь нашел проворное тело Насти, прижал к себе, стал целовать губы, щеки, шею и мягкие волосы, тяжело дыша и путано шепча слова, неизвестно откуда приходящие ему в голову.

Ничего друг другу не говоря, они вошли в небольшую комнатку...

Ульянов ушел из хаты только около двух пополудни.

Он чувствовал усталость, какую-то безвкусицу, сожаление и презрение к самому себе.

Как всегда, он принялся анализировать свое настроение.

– Тьфу, к дьяволу! – проворчал он. – Красивая самка, нечего сказать! Мало таких по земле ходит... Смелая, ни о чем не спрашивает и ничего не требует... Только зачем я влип в такую историю? Теперь при ней я не смогу говорить спокойно и уверенно. Она будет думать, что я ничем не отличаюсь от этого инженера...

Ему припомнились брошенные случайно слова Насти:

«Хочу убедиться, способны ли эти социалы сделать что-то настоящее. Если нет, то нечего болтать и рисковать. Надо по-другому справляться».

Он не успел спросить, что она имела в виду, потому что она внезапно обняла его горячо, прижала к себе и стала ластиться как кошка.

Настю он не видел два дня, а когда встретил, возвращаясь с собрания, пошел за ней и провел ночь в темной комнатке работницы.

Несколько дней спустя к нему пришел Бабушкин и рассказал, что Настя устроила скандал на фабрике, ударила по лицу ухаживающего за ней инженера и побежала жаловаться дирекции.

– Что же случилось? – спросил Ульянов. – Почему она это сделала?

– Не знаю! – ответил рабочий. – Сумасшедшая девка! Ее хорошо знают во всем районе. Что-то ей должно было стрельнуть в голову... Кто бабу поймет?!

Рассмеявшись, он принялся рассказывать о приобретении нового гектографа для печатания нелегальных листовок.

В этот же вечер Настя пришла на собрание кружка, а после чтения и дискуссии они покинули помещение вместе с Владимиром.

– Я прогнала инженеришку! – воскликнула она со смехом. – Теперь у меня есть ты. Никого больше не хочу! Пойдем

сегодня погуляем в какой-нибудь ресторан, где играет музыка и много света.

Он взглянул на нее с угрюмым недоумением.

— Ты ходила туда со своим инженером?

— Ходила! Я ведь не скотина, которая всю жизнь может провести в хлеву, в темноте, не зная радостного мгновения, — отрезала она. — Я хочу жить!

— У меня нет времени, моя дорогая! — неохотно буркнул он. — Я не создан для таких вещей.

— А для каких? — спросила она, прищурив один глаз.

— Для борьбы... — хотел сказать он, но передумал, припомнив, что вовсе не боролся, чтобы заполучить эту девушку, а она, он был в этом уверен, думала именно об этом.

— Скажи! — настаивала она.

— У меня нет времени на музыку и свет в ресторане, — проворчал он. — Мне это не нужно.

— Зато мне нужно! — воскликнула она.

— С этим ты справишься и без меня, — жестоко отрезал он.

— Справлюсь! — согласилась она без злости и лениво потянулась, глядя на Ульянова из-под опущенных век.

Не зная, что с собой поделать, он чувствовал растерянность и молчал.

— Пойдем ко мне! — прошептала она, прижавшись к нему.

Это ему казалось самым простым и легким выходом из возникшей ситуации. По дороге он купил с уличного лотка несколько апельсинов и коробочку карамели.

Утром выходили вместе. Она — на фабрику, он — в конспиративную квартиру на Васильевском острове.

Он проводил ее к воротам прядильного цеха Торнтона.

Настя посмотрела на него хитрым, искрящимся иронией взглядом и сказала загадочным голосом:

— Я всю жизнь буду гордиться, что у меня был такой любовник. Владимир Ильич Ульянов! Ого-го — не шутки!

— Невелика гордость! — заставил он себя улыбнуться.

— Не говори, о чем не думаешь! — возразила Настя. — Я знаю, что скоро вся Россия услышит о тебе.

— Пророчествуешь? — спросил он издевательски.

– Может... – ответила она и быстро пошла через ворота, услышав резкий рев сирены.

С этого момента Ульянов избегал встреч с девушкой. Теперь он работал в отдаленном районе, в кружках Путиловского завода, и завязывал контакты с военно-морскими доками в Кронштадте; это мероприятие было очень опасным. Военные власти держали матросов и докеров в строгой дисциплине.

Он как раз вернулся из кронштадтской крепости, когда к нему ворвался Бабушкин.

– Плохо, Ильич! – начал он с порога. – Знаешь, что случилось? Настя Козырева нашла себе любовника!

– Думаю, не первого? – спросил безразличным голосом Ульянов.

– Товарищ, не шутите с этим! – осадил его рабочий. – Теперь может быть разбита вся наша организация. Эта девка связалась со старшим жандармским смотрителем! Понимаете?

– Чего ж не понять? – пожал он плечами. – Я уверен, что нам ничего не грозит. На всякий случай перенесите гектографы в другое помещение. Лучше всего, если перевезете их в столовую Технологического института и отдадите моему приятелю Герману Красину. Хотя я не вижу опасности...

– Жандарм вытащит из нее секреты, для этого наверняка он с ней и связался, – говорил очень возбужденный и неспокойный Бабушкин.

– Ай! – махнул рукой Владимир. – Есть у нее, дорогой товарищ, другие прелести, помимо секретов наших кружков! Все будет хорошо!

Действительно, хотя Настю и видели проводившей целые вечера в ресторанах и театрах в обществе симпатичного смотрителя, организация долгое время не имела неприятностей.

Бабушкин встретил девушку на улице и хотел пройти, сделав вид, что не заметил, но она окликнула его и сказала:

– Скажите Владимиру Ильичу, чтобы был спокоен насчет своих дел, а про меня скажите, что я хочу жить и не создана для того, чтобы быть монашкой или книжной молью. Во мне много ненависти, но еще больше радости. Я хочу пожить, чтобы эта радость не умерла преждевременно, а то что останется?

Утопиться, повеситься или яду принять? Пока еще погуляю, посмеюсь, повеселюсь досыта, а потом – посмотрим. Может, вернусь к вам и погибну на баррикадах. А пока я хочу жить... Скажите ему об этом и будьте здоровы!

Бабушкин рассказал об этом разговоре Ульянову. Владимир только пожал плечами и сказал:

– Ну, видите, товарищ, что нам ничего не угрожает?

О ней вскоре забыли, как вдруг Ульянов получил через незнакомого ему рабочего письмо. Оно было от Настя, которая предупреждала, что тайная полиция следит за Ильичем, Бабушкиным, Шаповаловой, Катанской и учительницей Книпович, так как установлено, что брошюра «Кто чем живет» и «Король Голод», тайно изданные народной типографией и подписанные фамилией Тулин, написаны Ульяновым.

Владимир не прервал работу, но скрывался настолько умело, что никакой полицейский агент не мог его выследить. Несколько раз его чуть не поймали на улице, однако всегда спокойный и отважный революционер знал специальные планы города – сеть проходных домов, конспиративных квартир, тайников в подвалах, складах угля и в садовых домиках в околицах Петербурга.

Таким образом, ему удавалось ускользать из рук шпиков, и он пускал в оборот все новые, более сильные, решительные, беспокоящие правительство и привлекающие рабочих листовки и брошюры. Из всей группы преследуемых в тюрьму попала только учительница Книпович и несколько ее не состоящих в партии, но хранящих у себя нелегальные брошюры знакомых, которых выдал секретный агент, работавший наборщиком в народной типографии.

Ульянов не раз скрывался в расположенном в самом центре города Калмыковом книжном магазине, где власти меньше всего ожидали встретить отважного революционера.

Во время своего пребывания в столице Ульянов завязал широкие, хорошо замаскированные, конспиративные контакты. У него был даже один приятель – Морсин, служивший кочегаром в Аннинском дворце. В период наиболее интенсивных поисков в предместьях Ульянов провел у него два дня. В рабочей рубахе, испачканный углем, он помогал возле печей, думая,

что с легкостью мог бы совершить покушение на царя. Однако он этого не сделал, потому что не видел никакой пользы в романтично-революционных поступках сумасшедших.

В конце концов полиция настолько сильно прижала его, окружив со всех сторон, что у него оставался один выход — за границу. Этого требовал основанный Ульяновым и быстро разрастающийся «Союз борцов за освобождение рабочего класса», этого же требовали приятели, видевшие в молодом, всегда веселом, искреннем, смело смотревшем правде в глаза революционере выдающегося вождя.

Ему выхлопотали заграничный паспорт, и Ульянов исчез с глаз преследовавших его правительственных агентов. Для заграничных властей у него имелся запасной паспорт, выданный на вымышленную фамилию.

В Берлине Владимир остановился в небольшом отеле недалеко от Моабита, он гулял по городу и ходил на собрания немецких социалистов. Здесь он познакомился со знаменитыми вождями партии, но не нашел прямых нитей, которые могли бы его с ними связать.

Он понял, что все здесь думали категориями парламентской работы, борясь на выборах за как можно большее число мандатов в рейхстаг. Этой буржуазной идеологией, в чем Владимир вскоре убедился, был заражен даже самый энергичный из них — Карл Либкнехт.

Ульянов увидел его на собрании в Шарлоттенбурге и подошел к нему.

— Мне о вас рассказывали, товарищ, — заявил Либкнехт, услышав фамилию российского социалиста. — Говорили, что вы портите кровь Струве и Патресову.

— По-разному бывает, — ответил Владимир с улыбкой. — Я хотел вас спросить, товарищ, как долго еще немецкая социал-демократия будет так безнадежно топтаться на месте, словно курица перед начерченной мелом на столе, перед самым ее клювом, линией.

— О какой линии вы говорите? — спросил Либкнехт.

— Этой линией является парламентаризм — буржуазная ловушка для легковерных, — спокойно ответил он.

Немецкий социалист пожал плечами.

— Чего же вы хотите? — буркнул он. — У нас нет иных методов.

— У вас в Германии, такой промышленной стране, имеющей целую армию рабочих, безработных и раскрепощенных крестьян, нет других методов?! — воскликнул Ульянов с язвительным смехом. — Но ведь это полная капитуляция? Тогда идите на довольствие к кайзеру...

Либкнехт внимательно посмотрел на говорившего.

— Наша партия недостаточно энергична для революционных выступлений и занята борьбой в области практических экономических вопросов, — сказал он.

— Я тоже имел в виду практические экономические вопросы, поэтому считаю, что лучше сразу овладеть всем домом, нежели ждать десять лет, пока хозяин за высокую плату позволит снять одну из подвальных комнат! — сказал Ульянов.

— Как это сделать, если это не утопия, конечно? — спросил Либкнехт.

— Не знаю, как это должны сделать вы, — ответил Владимир. — Скажу лишь, как это будет сделано в России, стране, лишенной значительных фабричных центров, в которой общее число рабочих сравнимо с показателями любого промышленного округа Германии. Не говоря уже об интеллектуальной разнице, товарищ!

— Очень занятно, — отозвался немец.

— Я спрошу: не думаете ли вы, что хорошо организованная, карательная и на все готовая группа, бросив тщательно продуманные и принципиально разделяемые рабочими массами лозунги, способна совершить революцию? Не думаете ли вы, что она способна разбить существующее общество, вызывая в нем ужас беспощадным террором и с помощью этого же средства взять в свои руки бразды правления над пассивной и сомневающейся частью подразумеваемого класса? — спросил Ульянов.

— Думаю, что это могло бы случиться, — буркнул Либкнехт.

— Это произойдет в России! — воскликнул русский. — И только путем конспирации и преданности идеологов можно достичь цели. Германия, рано или поздно, тоже пойдет этим путем, товарищ, потому что иного пути нет! Поверьте!

– Где бы мы нашли большую группу преданных идейных людей? – вздохнул Либкнехт, меряя взглядом небольшую, но плечистую фигуру стоящего перед ним человека с прищуренными проницательными глазами.

– «*Est modus in rebus...*» – ответил Ульянов и перевел разговор с Либкнехтом на тему о возможности получения из кассы немецких социалистов субсидии на популяризацию учения Маркса в России, чтобы укрепить единый фронт борцов за будущее трудящихся.

После трехнедельного пребывания в Германии Ульянов переехал в Париж. У него было несколько адресов российских студентов, учившихся во французской столице.

Его имя было им хорошо известно. Они показали ему Париж, в котором он особенно заинтересовался музеем «*des Arts et Métiers*» и библиотеками, откуда новые знакомые вытаскивали его почти силком.

– Эх! – вздыхал он. – Если бы можно было перевезти все это в Россию!

Однажды к нему заглянул молодой студент Аринкин и радостно воскликнул:

– Товарищ, Поль Лафарж, вождь французских социалистов, согласился вас принять на короткую беседу. Давайте поспешим!

Ульянов рассмеялся.

– Принять? Короткая беседа? Что это за буржуазные слова?! Лафорже будет говорить со мной так долго, сколько захочу я!

Они поехали к Лафорже.

Француз острым и презрительным взглядом окинул фигуру и монгольское лицо гостя.

– Товарищ, вы – русский? – спросил он с вежливой улыбкой.

– Да! – рассмеялся Ульянов. – Мастера наверняка смутили татарские черты моей персоны?

– Признаюсь, да! – ответил тот.

– У нас осталось мало чистых русских типов! – ответил Владимир. – Прошу не забывать, что мы 300 лет были под татарским игом. Азиаты оставили нам достаточно непривлекательную внешность, но зато – очень ценные черты характера. Мы способны на осознанную жестокость и фанатизм!

Лафорже с любезной улыбкой склонил голову и, сменяя тему разговора, спросил:

– Могли бы вы охарактеризовать интеллектуальный уровень российских социалистов?

– Самые неглупые изучают и комментируют Маркса, – спокойно ответил гость.

– Изучают Маркса! – воскликнул француз. – Но понимают ли?

– Да!

– Уф-ф! – выкрикнул Лафорже. – Они его не понимают! Даже во Франции никто не может его понять, а наша партия существует уже двадцать лет и все еще развивается!

– Но ведь Маркса понимает Лафорже и другие вожди? – заметил Ульянов. – Этого достаточно! Массы любят руководствоваться чужим разумом и подчиняться твердой руке.

– Товарищ так думает? Это звучит странно из уст социалиста! Где же свобода и уважение к коллективу? – спрашивал француз, со все большим интересом слушая хриплую, с дразнящим парижанина акцентом речь русского.

– Свобода – это буржуазный предрассудок. Коллектив пользуется разумом выдающихся руководителей, и этого ему должно хватать! Собственно говоря, в интересах самого коллектива – быть удерживаемым твердой рукой, – спокойно и с убежденностью говорил Ульянов.

– Тогда царь является для вас, товарищ, идеальным типом властителя!

– Для меня – нет! Для коллектива, из которого вышел царь, – да! Царь не думает о всероссийском коллективе, а только о дворянстве и буржуазии... – ответил Владимир.

Они разговаривали еще долго. Провожая гостя, Лафорже шепнул ему:

– Хотел бы я дождаться того времени, когда вы, товарищ, начнете реализовывать свой план!

– Думаю, что это время уже приближается, мастер! – ответил Ульянов.

Несколько дней спустя он сидел в небольшом кафе в Женеве и смотрел на бирюзовую поверхность Женевского озера.

За столик подсели испытанные российские революционеры, давно пребывающие в изгнании. Это были отец российского социализма Плеханов, его организатор — Аксельрод и его знамя — Вера Засулич.

Ульянов с уважением смотрел на строгое лицо и кустистые брови Плеханова. Читая книги и статьи старого революционера в нелегальных зарубежных изданиях, он научился многим полезным вещам. С восхищением и трогательной любовью всматривался он в эти упрямо сжатые губы, которые произнесли незабываемые, высеченные огненными буквами в сердце Ульянова слова:

— Интересы революции — вот главнейший закон! Лишение жизни тиранов не является преступлением!

Замечательные, мощные слова великого вождя и учителя! Такие понятные, дорогие сердцу Ульянова, которые он шептал, будучи еще мальчишкой в ученическом мундире.

Трогательным взглядом смотрел он на Аксельрод — человека-машину, пишущего с утра до ночи, переезжающего из города в город, контролирующего, советующего, приводящего в движение весь партийный механизм, в пламенном бурном порыве совершенно забывающего о себе.

Владимир на всех произвел сильное впечатление. Они почувствовали в нем неисчерпаемые силы, несгибаемую волю и необычную революционную оборотливость, основанную на понимании души общественных слоев и обстоятельств, в которых ему приходилось действовать.

Почувствовав холод, которым веяло от личности Плеханова, Ульянов мало говорил о партийных делах. Старый лев гневался на этого мальчишку, осмеливавшегося нарушать программные начинания рядовых социал-демократии.

Владимир рассказывал о своих заграничных впечатлениях, не скрывая своего восхищения западной цивилизацией.

— Что мы могли бы сделать, имея такие материальные и технические средства! — воскликнул он. — Тем временем у нас, честно говоря, кроме царя даже некого грабить. Бедняк погоняет бедняком! Здесь есть красивые вещи. Настолько красивые, что рука поднялась бы на них с трудом и болью в сердце!

— Неужели в России вы, товарищ, ничего бы не пощадили? — спросил Аксельрод.

— В России — ничего! — не сомневаясь, ответил Ульянов. — Чего мне жалеть? В России бить и разрушать легко! Нас уже тысячу лет бьет, кто хочет, со всех сторон. Варяги, печенеги, татары, поляки, самозванцы, шведы, наши цари, полиция. Ежегодно тысячами горят, словно стога соломы, деревни. Тысячи людей умирают от болезней и голода. Чего нам жалеть на нашей безграничной территории, покрытой лесами, глиной и болотами тундры? Наших курных изб с воняющими стрехами из гнилой соломы? Этих удушливых берлог, где люди влекут убогое существование рядом с коровами и телятами, деля с ними миску и постель, на которой плодятся, родятся и умирают дети? Нашей каторжной жизни, лишенной идеи и полной предрассудков: от жертв домашней нечисти до восхищения западным парламентаризмом? Вокруг нас пустыня, где либо били нас, либо убивали мы. А в центре всего — первобытный, темный, как нетронутый лес, русский мужик — раб божий, раб царя и раб дьявола...

— Однако наши города, наше искусство, литература... — запротестовала Засулич.

— Города? — повторил Ульянов. — Они где-то далеко и являются чаще всего большими деревнями. Центр часто замечательный, но рядом — нужда! Искусство, литература? Они, безусловно, прекрасны! Но Пушкин — метис и дворянин; Щедрин — губернатор, Толстой — граф, Некрасов, Тургенев, Лермонтов, Державин, Жуковский — дворяне и буржуа! Все искусство вышло из дворцов и поместий либо было вдохновлено врагами трудящегося класса. Ненависть к этим творцам более сильна, нежели чувство восхищения их произведениями!

— А на западе, товарищ, на гнилом западе? — спросил со строгим блеском в глазах Плеханов.

— Как же можно сравнивать?! — воскликнул Ульянов. — Здесь на каждом шагу могучее, гениальное воплощение в реальные формы организованной Народной воли, стремящейся к тому, чтобы с гордостью сказать: «Нам удалось направить первобытные силы природы в русло разумных потребностей человека! Мы — хозяева земли!»

— Что за восхищение! — рассмеялась Засулич. — Вы не знакомы с этим раем хозяев земли!

— Возможно, — спокойно согласился он. — Я восхищаюсь тем, что уже сделано. Но замечаю также и слабые стороны. Западный человек слишком верит в ценность человеческой личности, чувствует избыточное уважение к своему труду и ощущает собственное достоинство. Словом — индивидуалист. Это породило безграничный эгоизм. Тем временем великие, небывало великие дела будут совершены механическими массами, движимыми властным, жестким интеллектом руководства, понимающего общечеловеческие, общие цели!

— Вы видите далекие горизонты! — заметил Плеханов.

— Я вижу их отчетливо, поэтому они близки! — возразил Ульянов. — Запад должен погибнуть от парламентаризма, который разъедает его как проказа. Наша задача — уберечь Россию от этой неизлечимой болезни!

— Смелая мысль! — шепнул Аксельрод.

— Здоровая и понятная! — поправил его Ульянов, вставая и прощаясь с новыми знакомыми.

ГЛАВА VIII

Осенью Ульянов вернулся в Петербург.

Он долго не мог упорядочить и конкретизировать свои заграничные впечатления. Однако должен был признать, что Запад ему понравился.

– Только там можно понять слова Максима Горького, вложенные в уста одного из его героев: «Человек – это звучит гордо!» Столько труда, усилия мысли, замечательного и смелого творчества! Это народы, из которых выходят «сверхчеловеки», – думал Владимир.

Внезапно последнее слово – «сверхчеловеки» – вызвало у него сомнения.

Он задумался.

– Творец, создавший прекрасное сооружение из «Тысячи и одной ночи»; скульптор, вырубающий из мрамора прекрасную фигуру; художник, дающий гениальную по форме и расцветке картину; поэт, пишущий для звонко звучащих строф; литератор, охватывающий одним эпосом целый мир, – они сверхчеловеки? Хм! Хм! А не слепцы ли они или, может быть, никчемные обманщики, вводящие человечество в заблуждение? Можно ли спокойно творить, когда вокруг царят угнетение, нищета и извечная формула «*homo homini lupus est*»? Каким правом используют они свой гений, удовлетворяя запросы тысяч, когда миллионы несчастных не имеют сил, чтобы доползти до этих вдохновенных произведений и поднять на них глаза? Как можно заглушать стоны, плач и проклятия обездоленных толп звучными стихами и гениальной музыкой? Кто добросовестно осмелится отвлекать внимание человечества от ежедневных, волнующих его проблем на великие явления в истории этого мира, истории, которой руководят богатые и сильные, а нищие и слабые имеют право только молчаливо умирать, за что получают братские мо-

гилы с надписью, что в таком и таком месте погибло их столько или больше тысяч? Эпос, великие литературные произведения! Никто до сих пор не сказал прямо и без обиняков, смело и честно: «Долой гнилое общество, в котором может существовать Лувр, картины и скульптуры великих мастеров, всемогущая наука, а рядом – тюрьма, заполненная под самую крышу людьми, нарушающими общепринятые общественные нормы, и дальше, на востоке – крытая гнилой соломой хата, а возле ее стены – старая знахарка, бьющая доской по торчащему животу беременную деревенскую девушку! Все обманывают сами себя: и угнетатели, и угнетенные! Пытаются прийти к согласию в охраняемых армией и полицией парламентах... Нет! Никогда самый великий гений не справится со злом! Здесь необходима коллективная, не знающая жалости воля, нужен гнев обвинителя и судьи в одном лице, не ставящем перед собой иной цели, кроме полной победы».

Эти мысли шаг за шагом привели его к решительным выводам. Он был убежден, что не может рассчитывать на помощь заграничных товарищей, ожидая от них скорее сопротивления и удара в спину. Почти весело рассмеявшись и заметив входящего в комнату товарища, он воскликнул, пожимая ему руку:

– Товарищ, Петр Великий прорубил окно с запада и впустил в затхлую Россию порыв свежего воздуха, теперь мы откроем в Европу окно с востока, а из него вырвется уничтожающий ураган!

Рабочий посмотрел на Ульянова с недоумением. Тот похлопал его по плечу и сказал с улыбкой:

– Ничего! Я просто вслух ответил собственным мыслям!

Они сели и начали совещаться по поводу печати новых листовок, которые, в связи с ожидаемой забастовкой, должны были быть разбросаны по фабрикам.

Снова началась тайная агитационная работа.

Полиция вскоре узнала о возвращении опасного революционера, который умел выскальзывать из рук преследовавших его шпиков.

Ульянов был, как всегда, спокоен и делал свое дело с педантичной точностью. Его статья всегда к назначенному сроку

была готова в печать, он вовремя приходил на партийные собрания, без опозданий печатал на гектографе листовки и раздавал их приходившим в условленное место распространителям.

Он работал как холодная, исправная, точная машина. Питался лишь бы чем, спал всего несколько часов, постоянно прячась в разных только ему хорошо известных и безопасных местах.

Однажды ночью, идя через Васильевский остров, он заметил человека, который не отступал от него ни на шаг.

Ульянов остановился, притворившись, что читает наклеенное на стене объявление правительства о наборе в армию, и спокойно ждал.

Идущий за ним незнакомец, поравнявшись, буркнул:

— Товарищ, квартал оцеплен полицией. Спасайтесь!

Владимир присмотрелся к незнакомцу. Он был ему незнаком.

— Может, какой-нибудь шпик? — подумал он и пошел дальше, бдительный и готовый в любой момент скрыться во дворе ближайшего дома, выходившем на три улицы.

Вскоре он убедился, что на всех углах стояли загадочные фигуры в штатском и полицейские патрули.

— Облава... — догадался он. — Ждут, пока не наступит ночь.

Владимир взглянул на часы. Было без нескольких минут семь. Он вошел в ближайшие ворота и скрылся в подъезде. Посидел, демонстративно читая архиконсервативного «Гражданина» аж до девяти часов. Выглянул через ворота. Шпики и полицейские оставались на своих местах.

Ульянов перешел на другую сторону улицы и нырнул в темную челюсть узкого переулка. Здесь он увидел желтое, ободранное здание с горящим фонарем, освещавшим черную, наполовину стертую надпись: «Ночной приют».

Он вошел в сени и протянул смотрителю пять копеек, попросив место.

Одноглазый человек, сидевший за столом, с подозрением осмотрел его. Светлый, беспокойно бегающий глаз ощупывал фигуру клиента.

Ничего подозрительного. Обычный рабочий в выцветшем пальто, стоптанных сапогах с голенищами и засаленной кепке.

— Безработный? — спросил он.

Ульянов молча кивнул головой.

– Паспорт! – потребовал смотритель и протянул покрытую большими веснушками руку.

Прочитав поданную ему бумагу, которая была выписана на имя крестьянина из Харьковской губернии, наборщика Василия Остапенко, занеся сведения в книгу, он спрятал деньги в коробочку и со звоном бросил на стол латунную бляху с номером.

– Второй этаж, третья комната, – буркнул смотритель и, достав из-под стола чайник, налил в давно немытый засаленный стакан чаю.

Ульянов нашел свое место в темной, закопченной комнате, в которой царила духота от облаков табачного дыма и тридцати воняющих потом, водкой и грязной одеждой фигур, лежавших на нарах в непринужденных и живописных позах. Некоторые клиенты приюта лежали совершенно нагие, с гниющими язвами на теле и с ранами на утомленных стопах. Они ловили на себе вшей, матерились, всем угрожали и отвратительно ругались.

Никто еще не спал. Шум голосов долетал также из соседних комнат, вытянувшихся вдоль узкого коридора.

Увидев нового клиента, какой-то бородатый, полунагой верзила крикнул:

– Граф соизволил явиться! Тихо, хамье, заткните рты перед неизвестным, благородным господином. Привет, господин граф!

– Привет вам, генерал! – ответил Ульянов, весело смеясь.

– Почему вы думаете, что я генерал? – спросил недоуменно верзила.

– Потому что все они скоро будут так выглядеть. Я думал, что с вас началось! – ответил он, снимая пальто.

Все рассмеялись.

– Так ты думаешь, что так будет? – задал вопрос старый нищий, окутанный лохмотьями.

– Скажи!.. – поддержали его остальные.

– Как же может быть иначе? – ответил он. – Думаете, нам на века хватит терпения, чтобы умирать с голоду и скитаться по этим грязным берлогам? Нет, братишки! Хватит! Только гля-

ди, как мы загоним этих генералов, графов и прочих господ в эти дыры, а сами будем жить в их дворцах.

— Ну и лихой пассажир! — восхитились соседи. — Говорит как по книжке, и что ни слово, то — золото! Пора браться за работу и покончить с этими собаками! Слишком долго пьют они нашу кровь!

— Надо молчать и терпеть! — отозвался внезапно тихий голос с тонущих в темноте нар. — Терпеть и молчать, чтобы быть достойными замученного Христа-Спасителя...

Сказав это, какой-то немолодой, угрюмый мужик начал громко чесать грудь. Сел, стал рассматривать вычесанных насекомых и душить их на кривом, толстом, как копыто, ногте.

Ульянов презрительно рассмеялся и спросил:

— Вошь?

— Вошь! Это уже пятая; все нары заражены, — проворчал тот.

— Терпеть и молчать надо! — подражая ему, сказал Владимир. — Не можешь стерпеть укуса вши, милый брат, а рассуждаешь о терпении! Или нас обмануть хочешь, или самого себя, христианин!

Слушатели взорвались смехом. «Христианин» больше не возникал.

— Эх! — воскликнул голый верзила. Если бы меня сделали судьей, я бы там долго не говорил! Ножом по горлу и — в канаву. Столько во мне этой ненависти собралось, как вшей и клопов в нарах. Эх!

— Может, дождетесь, товарищ! — утешил его Владимир.

— Ой! Хотя бы один-единственный такой денек прожить, потом уже и умирать не жалко! За все обиды, за нищету!

— Может, дождетесь! — повторил Ульянов, ложась и накрываясь пальто.

Больше ни о чем не говорили.

Ночующие в приюте бедняки тихими голосами рассказывали друг другу о своих страданиях, нищете и жизненных трагедиях, один за другим замолкая и засыпая.

Ульянов не мог заснуть. Он ждал полицейского обыска и внимательно прислушивался.

Где-то далеко часы отбили полночь.

В приюте царила тишина. Раздавленные колесом жизни люди, которые сползлись сюда отовсюду, как раненые букашки, впадали в тяжелый, неспокойный сон.

Вдруг Ульянов услышал отчетливый шорох и тихий шепот:

– Пойдем, Ванька! Уже можно...

Два человека выскользнули из освещаемой подвешенной под потолком и страшно коптящей керосиновой лампой полутемной комнаты.

Вскоре раздались осторожные, крадущиеся шаги, и в комнату со спящими фигурами мятущихся и бормочущих во сне бедняков вошли двое мужчин и две женщины.

Через мгновение все они уже лежали на грязных нарах среди остальных, перешептываясь еле слышно, как стрекочущие где-то за печкой сверчки.

В следующее мгновение раздались звуки поцелуев...

Внезапно из коридора послышались тяжелые шаги более десятка людей и громкие окрики:

Обыск во всех комнатах одновременно! Поспешите!

На пороге выросли фигуры плечистых полицейских и смотрителей с фонариками.

Они вошли в комнату, будили уснувших людей, срывали укрывавшее их тряпье, обыскивали одежду и проверяли паспорта, светя в щурящиеся от света и испуга глаза.

Ульянов, не вставая с нар и стеная, протянул свой паспорт. Полицейский осмотрел его, записал фамилию в книжку и вернул документ. Обыск продолжался среди вздохов, испуганных голосов ночных жителей приюта, угроз полицейских, унизительных ругательств.

Вдруг один из смотрителей пронзительно закричал:

– Ах, проститутка, ведьма развратная, дьяволица! В приюте такое бесстыдство?!

Владимир осторожно приподнял голову. Увидел стоящую в свете фонарей уже немолодую женщину с потасканным, пропитым лицом. Ее распущенные волосы падали на худые, обнаженные плечи и истощенную грудь. Стояла, широко открывая выпученные губы и скаля гнилые, поломанные зубы.

Ее взгляд был издевательский, злой и твердый.

— Вон отсюда в женскую комнату! — крикнул, топая ногами и блестя одним глазом, смотритель. — Такая паршивая овца все стадо портит!

Женщина бессовестно смеялась.

— Э-э! У вас тут, как вижу, не одна паршивая овца! — рассмеялся полицейский и стащил с нар маленькую, может пятнадцатилетнюю девушку, с еще детским личиком. Совершенно нагое, худое, гибкое тело извивалось в руках крепкого мужчины как змея.

Ульянов с интересом наблюдал за инцидентом.

Смотритель колотил кулаками огромного верзилу, рядом с которым обнаружили девушку, и кричал:

— Забирай свои тряпки и вон из приюта, немедленно, а не то прикажу выкинуть тебя мордой об землю!

— За что? — притворно недоумевающим голосом спрашивал верзила, делая вид, что он ни при чем. — Если бы у меня из кармана копейка выпала, смотритель бы на меня не гневался, а надо было на несчастье выпасть девушке — сразу же крик! Удивительный характер у господина смотрителя!

Девушка тем временем, грязно ругаясь отвратительными словами, вырывалась и пыталась найти среди разбросанных лохмотьев свою рубашку и юбку, глядя вокруг бешенными, злыми и бесстыдными глазами. Это были глаза ребенка. Однако их выражение вызывало тревогу. Казалось, что ядовитая змея вонзает неподвижные, мстительные, не мигающие и не знающие страха зрачки.

Девушка нашла, наконец, свои грязные тряпки, быстро оделась и встала, упершись кулаками в бока.

Ее голос звенел остро и пронзительно, как разбитое стекло.

Она кричала, теряя сознание:

— Грязные псы, палачи, падлы вонючие! Загнали меня в темную яму и не разрешаете защищаться, как умею, от голодной смерти! Чтоб вас петля не миновала! Чтоб на вас болезни напали! Ой, горе вам! Придет ваше время, когда вы за все перед народом ответите! Тогда я встану перед ним и скажу то, что знаю о вас, псы, бандиты, опричники, мучители! Тьфу! Тьфу!

Она плевала на полицейских, смотрителей и бросала им в глаза все более страшные и отвратительные слова.

Ее вытолкнули из комнаты.

Обыск закончился удачно. Документы у всех оказались в порядке. Только один «христианин» вызвал подозрение какими-то неточностями в паспорте. Его забрали в полицию.

Владимир злобно улыбнулся и подумал:

– Так ему и надо! Пускай теперь молчит и терпит... Пророк, мать его так, рабская, гнилая душа!

Остаток ночи прошел спокойно.

С рассветом смотрители принесли кружки, большой чайник с чаем и хлеб. После завтрака всех ночующих выгнали из приюта. Ульянов вышел, скрываясь среди них.

Он шел, думая о девушке-ребенке с пугающими глазами змеи.

Хотелось бы встретить ее! Дал бы ей разбрасывать листовки, такая уже ничего не испугается. Ей нечего терять...

Но он не встретил ее. Идя лабиринтом пустынных улочек и узких переулков, он приближался к Невской заставе. Там у него были друзья. Ему сказали, однако, что не могут его приютить, так как квартиры поставлены под полицейское наблюдение. Зато ему подсказали, в какой школе он может обмануть шпиков, выдавая себя за рабочего, который белит потолок и стены.

Учительницей школы была уже несколько лет известная Ульянову – член социал-демократической партии Надежда Константиновна Крупская. У нее были очень широкие связи, а сама она, несмотря на молчаливость и стеснительность, была решительной и смелой.

Он встречал ее у социалистов, «Жаворонков либеральной буржуазии», у Калмыковой, у Книпович.

Она вовсе не была красива, скорее даже наоборот, однако оставляла после себя теплые и радостные воспоминания. Причиной тому было ее хорошее настроение, спокойствие, никогда не исчезавший оптимизм и глубокая вера в идеи, которым она служила.

Тихая, скромная, молчаливая учительница умела слушать и понимала каждое движение мыслей и настроения встречавшихся ей людей.

Ульянов знал, что она была одним из немногих его друзей из среды революционной интеллигенции; он даже слышал,

что она горячо спорила о нем со Струве и другими петербургскими социалистами.

Он провел в ее школе несколько дней.

Они много разговаривали между собой.

Владимир, который всегда помнил о своей цели и никогда не позволял себе в беседах запальчивости, фразеологии, мечтаний, оставаясь внешне совершенно искренним, с госпожой Крупской забывал о строгой дисциплине и делился самыми потаенными мыслями.

Увидев в ее спокойных, умных глазах по отношению к себе глубокое сочувствие и немое восхищение, он неожиданно задумался.

Ему показалось, что она создана, чтобы быть его женой. Так же как и он, она ничего не желала для себя от жизни. В любой момент она готова была все посвятить делу. Она много читала и владела даром критики и анализа, знала иностранные языки и ничего не боялась.

Она могла стать лучшей помощницей, просто идеальным, самым верным другом.

Он посмотрел на нее внимательно и спросил, щуря глаза:

— А что бы вы сказали, товарищ, если бы узнали, что я совершил нечто такое, что общество называет подлостью или преступлением?

Подняв на него спокойный, веселый взгляд, она ответила сразу же, без аффектации:

— Я бы не сомневалась, что вы сделали это во имя идеи.

Ульянов тихонько рассмеялся и потер руками.

— А если бы я вдруг воскликнул с пафосом, как Чернов*): «Надежда Константиновна, я буду диктатором всей России?!» — спросил он со смехом.

— Поверила бы, не сомневаясь! — ответила она, глядя на него снисходительно и искренне.

— Гм, гм! — буркнул он. — В таком случае я думаю, что мы поступили бы правильно, Надежда Константиновна, связав нашу жизнь и идя по ней вместе до самого конца... до виселицы, или... до диктатуры!

*) Известный русский деятель из партии социалистов-революционеров.

Она на мгновение опустила глаза и спокойно, совершенно не волнуясь, произнесла:

– Я бы сказала – да, если это вам необходимо, товарищ!

– Необходимо!

Больше они об этом не разговаривали. Собственно говоря, они и не могли бы этого делать, так как ночью примчался в школу посланный Бабушкиным рабочий и сообщил, что возле школы уже крутятся шпики.

Ульянов ускользнул в направлении царской фарфоровой фабрики; несколько дней спустя он переехал в центр города, где, в случае серьезной погони, чувствовал себя наиболее безопасно.

Однако полиция уже взяла его след.

В декабре была проведена облава почти во всем городе. Проведены обыски в квартирах всех подозрительных особ, не исключая даже либералов.

Ульянова поймали и посадили в тюрьму.

Крупская доставляла ему книги и сообщила об аресте сына Марии Александровне. Старушка приехала в Петербург и навещала Владимира. Он успокоил ее, сказав, что ничего серьезного ему не грозит, так как у жандармов были только подозрения и не было никаких доказательств его вины.

Это было правдой. Ульянова даже не отдали под суд и распоряжением полицейских властей сослали на три года в Сибирь.

– Поеду в отпуск на отдых и поохочусь! – сообщил он Крупской из тюрьмы, передавая одолженную книжку с письмом, которое было написано молоком между печатными строками.

ГЛАВА IX

Подходил к концу третий год изгнания.

Эти годы прошли в почти совершенном спокойствии. Сибирские власти были значительно либеральнее и не старались особенно угнетать политических ссыльных.

Владимир Ульянов жил в деревне Шушенское, недалеко от города Минусинска, лежащего на живописных берегах Енисея.

Вскоре после освобождения из тюрьмы сюда со своей матерью приехала Надежда Константиновна Крупская.

Спустя несколько недель после ее приезда Крупская с Ульяновым поженились. Оба они не чувствовали ни большого воодушевления, ни радости и счастья, которое для любящих сердец превращает землю в солнечный рай, а шелест леса и порывы ветра – в волшебную, неизвестную, божественную музыку. Они не чувствовали этого и даже об этом не думали.

Просто подали друг другу руки, как двое друзей, связанных узами не менее сильными, чем любовь и взаимная преданность, – верностью единственной идее, которая была дороже собственной жизни. Она была для них пищей, солнцем и воздухом. С момента ее исчезновения наступила бы гибель ее последователей и распространителей.

Ульянов полностью доверял Надежде Крупской, а она – без сомнений и фанатично верила в его силы.

Время сибирского изгнания в красивом, плодородном Минусинском крае они проводили с пользой. Здесь Владимир окончательно выкристаллизовал свои идеи и создал план деятельности на будущую жизнь.

Он прочитал несметное число книг. Их доставляли из Петербурга друзья его и Крупской, а также живший в деревне Каратуз поляк, горный инженер Евгений Ружицкий, который, не-

смотря на занимаемую им государственную должность, помогал всем ссыльным.

В ссылке Владимир закончил свой трактат о развитии капитализма. Он начал его в тюрьме, где писал тайно молоком на обратной сторон. Листы были заполнены невинными цитатами из произведений российских и зарубежных авторов. Только такую рукопись можно было вынести за тюремные ворота. Молоко он наливал в маленькие чернильницы, сделанные из размятого пальцами хлеба.

Однажды в мою камеру шесть раз врывались смотрители, и я шесть раз вынужден был глотать чернильницы! – со смехом рассказывал Ульянов жене и в шутку, вздыхая, добавлял:

– Жаль, что меня так быстро выпустили из тюрьмы! Надо было поработать над этой книжкой подольше, здесь не так легко добыть необходимый материал!

В Сибири он разогревал листы над керосиновой лампой, и написанные молоком слова темнели и проступали на белом фоне.

Не отрываясь от работы, Ульянов читал и писал; по распоряжению Струве, чтобы дополнительно заработать, они с Крупской переводили Энгельса и Вебба. Это было необходимо, потому что на его содержание правительство выделило только восемь рублей в месяц, а Мария Александровна и сестра Владимира – Елизарова присылали ежемесячно совершенно незначительные суммы.

Единственным развлечением Ульянова были далекие прогулки и охота. Он азартно стрелял по зайцам и тетеревам, но, так как очень спешил, – добыча не была богатой. Однако он страстно это любил и не пропускал возможности провести время в лесу или в поле.

Во время охотничьих походов он познакомился с вольным сибирским мужиком, верившим в свои силы и почти не признающим представителей чужих для него центральных властей. Владимир, понимающий душу приволжского крестьянина, заметил разницу и сходство между русскими и сибирскими жителями.

Разница заключалась в том, что у сибирского крестьянина отсутствовала жадность к земле. Он мог ее иметь столько, сколько душа пожелает.

Там не было территорий, принадлежащих дворянам или переданных царским декретом за верную государственную службу чиновникам и военным.

Совершенно иначе чувствовал себя русский мужик. Он точно помнил и никогда не забывал о том, что когда-то, то ли при монгольских ханах, то ли при московских царях, вся земля принадлежала властителю, а обрабатывали и использовали ее люди от сохи. Только начиная с Петра Великого, а особенно со времен цариц Екатерины II и Елизаветы, которые одаривали своих любовников земельными состояниями, у крестьян начали отбирать землю.

Сельские жители никогда этого не признали и по-прежнему ждали «белого письма». Этот загадочный, мистический акт, существовавший только в мрачных глубинах крестьянского мозга, должен был вернуть незаконно отобранную землю ее настоящим хозяевам.

Несколько раз в истории России наступали дни, когда крестьяне пытались отобрать ее самовольно, организовывали мужицкие бунты, потрясавшие Россию со времен Екатерины аж до 1861 года, когда был издан манифест Александра II об отмене крепостного права.

Бунты случались и позже, но в результате милитаризации государства и расширения административной сети носили локальный характер и были подавляемы в зародыше.

Сибирский мужик — потомок криминальных преступников, ссылаемых в азиатские провинции империи, или метис с монголами разных племен — мечтал об отделении от России, которую не любил и боялся из-за навязываемой чуждой ему системы, сложной и требующей больших затрат.

Однако сходство обоих типов крестьян было поразительным.

Оба они были в основе своей анархичны и пассивны. Привычные, согласно старым традициям, управляться собственным умом крестьянской коммуны в границах своего округа, они жили поддерживаемые в этом навыке правительством.

Центральные власти были вынуждены делегировать коммунам часть своих компетенций, не имея возможности контролировать каждого отдельно взятого гражданина на такой большой территории.

Оба типа отличались крайней пассивностью. Слабо образованные, они не стремились ни к какому прогрессу, только государственная власть навязывала крестьянам смену уклада жизни и системы хозяйствования.

Ульянов понял все это и хорошо запомнил.

У него не было ни малейшего сомнения, что крестьянство подчиняется правительственным распоряжениям исключительно под силовым давлением, признавая лучшими правителями тех, кто отличался решимостью и способностью проявлять суровую волю.

Думая об этом, он улыбался, потирал руки и шептал:

– О, Карл Маркс, ты был великим знатоком души человеческого скота! Ты как никто почувствовал, что он любит ходить стадом, а стаду нужен пастух с бичом и пес с острыми зубами!

Он возвращался со своих охотничьих походов веселый и возбужденный, говоря жене:

– Дорогая моя! Кроме своей приволжской, я мало знал русскую деревню, а здесь прохожу ничем незаменимый университет.

Он рассказывал о своих наблюдениях и впечатлениях, спрашивая со смехом:

– Скажи мне только одно: кто и каким образом поведет за собой крестьянство? Нормальным образом – никто! Русского мужика надо гнать палкой Петра Великого, пулеметами или штыками современных губернаторов, а что остается нам? Еще более эффективный кнут, который мы должны изобрести! Это однако должен быть такой кнут, чтобы его щелчок потряс небо и землю! Надо над этим серьезно подумать!

Ульянов задумывался над этим, бесцельно блуждая по степи. Откровенничал он только с женой, а когда говорил, понижал голос, сжимал зубы и щурил глаза, как будто видел перед собой врага. Видимо, страшными были эти слова и мысли, потому что лицо Надежды Константиновны было бледным, и она в ужасе прижимала руки к груди. Но не возражала, потому что пылала непоколебимой верой в этого настолько откровенного, но твердого, как камень, человека.

Других ссыльных, разбросанных по соседству, они навещали изредка, но им Владимир никогда не рассказывал о своих

наиболее потаенных мыслях. Он знал, что его намерение было бы для них неприемлемым. Они недалеко ушли от лояльного социализма немецких товарищей, и никто из них не мог бы сравниться смелостью с Плехановым, хотя в собственном кумире, после личного знакомства, Ульянов уже не был уверен.

Владимир не любил, когда их часто навещали товарищи по ссылке. Из-за этого усиливалось внимание, более частыми были обыски, расспросы, шпионаж, что нарушало покой, необходимый для нормальной работы и глубокого раздумья. Кроме того, слишком близкие отношения приводили к конфликтам и недоразумениям на фоне личной жизни: сплетни, мелкие ссоры и даже суды чести, достаточно частые в кругах нервных людей, уставших от долгой ссылки.

Для серьезных, почти аскетических размышлений Ульянову нужны были тишина и одиночество.

В такие минуты с ружьем на плечах он отправлялся в степь. Садился в тени берез и наслаждался картиной безбрежных лугов и пастбищ, покрытых густой травой, восхитительных, ярких и дурманящих запахами цветов: ночных фиалок, белых, желтых и красных лилий, глотов и множества других с неизвестными ему названиями. Стада скота, овец и табуны лошадей паслись без присмотра. На юге едва заметной, синей полоской маячили далекие горы — подножья Саян.

Редкие, богатые деревни широко раскинулись среди полей пшеницы и березовых рощ. В глубоких оврагах и долинах извивались, устремившись в русло Енисея, ручейки и реки.

Прячась в траве, перемещались стайки степных тетеревов, перепелок и жаворонков. Высоко, будто черное пятно на голубом куполе ясного неба, завис, выискивая добычу и хищно постанывая, будто жаловался, что ему не даны силы все убить и разодрать, беркут.

Тут и там над травой и кустами вздымались столбы и плиты из красного песчаника. Это были дольмены, древние могилы несметных племен, на протяжении веков пересекавших эти плодородные равнины в поисках неведомой цели.

Ульянов знал, что здесь лежал путь на запад великих вождей монголов, оставлявших за собой трупы своих и чужих воинов, усопших на века под красными монолитами.

— Далеким был путь и туманна цель внуков Чингисхана, — думал Владимир, — а все-таки дошли они до польской и венгерской равнин и, если бы не споры и зависть, кто знает: может, увидели бы их стены Рима и Парижа? Они и так зашли далеко, на Шленск, под Будапешт и Вену! Этим же путем захватчиков идут и мои мысли, путем, который уже протоптан могучими несметными ордами...

По правой стороне Енисея растянулись большие деревни богатых казаков, когда-то поселенных здесь царями для охраны южных границ Сибири. Казаки остались здесь навсегда, хотя никто уже и не думал о нападении на могущественную империю, которая, словно огромный паук, расположилась в широкой сети, брошенной на пятую часть планеты.

Среди них, в местах менее плодородных, правительство поселило безземельных крестьян, бездомных нищих, лишенных в России собственного угла. И тут в этом прекрасном крае они — темные, ленивые, завистливые и злые — вели нищую жизнь. Крали у казаков лошадей и скот, косили их луга, вырубали лес, вынимали из сетей рыбу, поджигали дома, а богатых соседей убивали в драках.

За рекой, подальше от прибрежных скал, кочевали татары, охраняя табуны лошадей и стада овец. Отгоняли стаи волков и банды злых людей, безнаказанно совершавших нападения на строгих последователей воинственного пророка из Мекки.

Никогда не прекращающаяся вражда царила между обоими берегами Енисея, зажатого между красными обрывами Кизил-Кая, текущего с ворчанием и плеском, с водоворотами, пенящегося между подводными камнями, стремящегося к океану, где царил белый дух, бушующий в искрящихся ледяных дворцах и говорящий грозным рыком северных вихрей, морозным дыханием смерти.

Здесь рождались и формировались мысли Ульянова, смелые до дерзости, почти до сумасшествия; здесь они дозревали и превращались в горячие и суровые клятвы, как аскетические порывы фанатичного пророка, как угрюмые молитвы сектантов, скрывавшихся в лесных часовнях и берлогах отшельников, смотревших в загробный мир.

Тем временем он, преследуемый ссыльный, думал спокойно, холодно, без воодушевления и мечтаний о простых вещах, выросших из земли и слез ее, родящихся и оплодотворяемых в момент рождения глухой, немой и слепой ненавистью; он перебрасывал над пропастями мосты; минировал грозные крепости, обманывал и сбивал с толку тысячи врагов.

Здесь, слушая плеск быстрого течения Енисея, чувствуя каждое дрожание могучих сил первобытной природы, шепот теней, выступающих из-под красных камней старых могильников, он понял, что среди борцов за судьбы угнетенных, призванных построить новую жизнь, он был единственным, который имел силу, волю и способности вождя.

Так неужели он должен погибнуть за решеткой, на виселице, от пули или в новой далекой ссылке? Это было бы бессмысленным разбрасыванием сил, необходимых для достижения великой цели!

Он пришел к убеждению, что не может остаться в России — рабской, темной, царской, неподвижной, как гниющий, заросший илом, водорослями и камышом пруд.

Ему была необходима свобода, свежий воздух, возможность передвижения, глубокое дыхание и ничем не ограниченные действия.

Он знал, что после его ссылки в Сибирь и арестов воспитываемых им учеников — партия стремительно катилась к упадку. В ней ничего не происходило; с великим трудом поддерживались связи с остальными членами. Мелкая, кропотливая работа над воспитанием сознания приносила убогие плоды. Он чувствовал, что призван заниматься великим делом.

— Я крушу скалы при помощи домашнего молотка, — думал он с огорчением, — в то время, когда мне нужен тяжелый, мощный и сокрушающий молот. Им могла бы стать большая российская ежедневная газета, издаваемая за границей и регулярно распространяемая через невидимые каналы по всей России. Она станет разрушающим и созидающим молотом, а я чувствую в себе силы взять его и нанести безошибочные удары!

С этого момента ссылка тяготила его.

Он перестал есть, спать, ходил молчаливый и беспокойный, отравляемый нетерпением взяться за работу и выполнить намеченный план.

С этим тайным намерением по окончании вынужденной ссылки в Сибири он вернулся в Петербург, оставив жену в Уфе.

Осмотревшись в столице, он тщательно изучил состояние партии и настроения в революционных кругах, советовался с выдающимися вождями социалистического движения и, поняв все, написал жене короткое письмо:

«Все, о чем я думал, глядя на минусинские степи и могучее течение Енисея, свершилось или вскоре свершится. Я уезжаю за границу. Жди письма, после которого приезжай немедленно».

Ульянов уже видел перед собой молот своей мечты, который был похож на молот Тора, кующий острые копья, щиты, доспехи и мечи, разбивающий им горы и головы врагов, бросаемых в мрачную Вальхаллу, из которой нет возвращения на веки веков.

Этот молот крушил и разваливал возвышающиеся скалы противоречий, однако строить, будучи орудием уничтожения, не мог.

«Сначала надо разрушить, уничтожить, стереть с лица земли старое, а затем создавать новое!» – думал Ульянов, стиснув зубы и щуря раскосые глаза.

ГЛАВА X

В маленькой пивной, которых в предместьях Мюнхена были сотни, за столиком у окна, с серьезным, сосредоточенным лицом сидела скромно одетая женщина.

Перед ней стоял бокал пива. Однако был он нетронутым. Она нетерпеливо посматривала на часы. Видимо, кого-то ждала.

Часы над стойкой пробили одиннадцать.

В этот момент двери открылись и в полутемное заведение вошел маленький, плечистый мужчина в сером пальто и помятой, мягкой шляпе. Он внимательно осмотрелся. В это время в пивной, где обычно собирались рабочие, никого не было.

Вошедший гость направил раскосые глаза в сторону одинокой женской фигуры в черном плаще и подошел к столику.

– Бахарев? – буркнул он.

Она согласно кивнула головой.

Мужчина сел и вопросительно осматривал незнакомку.

К столику приблизился хозяин пивной.

– Светлое? Темное? – задал обычный вопрос.

– Чашку кофе, пожалуйста, – ответил гость.

Немец, попыхивая трубкой, пошел на кухню.

– Доктор Иорданов? – спросила женщина.

– Иорданов...

– Вы издаете эту призывающую к борьбе за справедливость газету «Искра»?

Он на мгновение задумался, но потом склонил голову и прошептал:

– Предположим, что да, а в чем дело?

Ответ последовал немедленно:

– Я хочу дать значительную сумму на издательство. Мне известно, что редакция постоянно сталкивается с финансовыми проблемами, которые, в общем, обычны для нелегальных, издаваемых за границей газет, поэтому...

Она замолчала, увидев приближающегося официанта, несущего большую чашку кофе.

Когда он ушел, продолжила:

— Сейчас все объясню! Я сестра Бахарева, повешенного за организацию покушения на Николая II... Я хочу мстить... Но не царю, потому что это ничего не даст... все зло не только в царе. Не этот, так другой будет... Виноват весь строй...

Человек с раскосыми глазами легко улыбнулся и слушал:

— В «Искре» вы ведете борьбу с социалистами-революционерами, называя их трусами, романтиками, мелкими буржуа. Так оно и есть! Я их хорошо знаю! «Искра» разрушает теорию легальных социалистов, неумолимо стремящихся к оппортунизму и подчинению идеалам буржуазии. Тем временем ваша газета сто раз права, доказывая, что мы не можем терять ни мгновения в создании настоящей социалистической и революционной партии, которая даже в самый трудный период должна начать борьбу против царизма, буржуазии и помощников ее из числа социалистов-революционеров, демократов и либералов!

— Гм, гм, — буркнул доктор Иорданов. — Вы действительно внимательно читаете статьи «Искры», но я не понимаю, какое имеет это отношение к намерению отомстить за смерть террориста Бахарева?

— Я хочу разбить, уничтожить социалистов-революционеров, отправляющих на смерть горячие головы, в то время как сами прячутся и продолжают обманывать людей! — взорвалась женщина.

— Да-а? — протянул он, внимательно присматриваясь к незнакомке и следя за выражением ее лица. — Гм... предложение требует обсуждения... мы должны посоветоваться в нашей группе...

— Мартов, Потресов, Засулич, думаю, не будут против... — начала она.

— Вы, как я вижу, хорошо знакомы с составом руководителей «Искры», — заметил он с иронией.

— О да! — живо отреагировала она. — Я давно ношусь с намерением сотрудничать с вами...

— На каких условиях? — прервал он вопросом.

— Пока я располагаю суммой 3000 марок... но требую взять меня постоянной сотрудницей... У меня хороший стиль, я обра-

зованна... окончила высшие курсы профессора Петра Лесгафта в Петербурге.

– Как ваша фамилия? – спросил он спокойно, бросая на нее добрый взгляд.

– Рощина; Вера Ивановна Рощина... мой муж работает на Кубани ветеринаром...

Человек с раскосыми глазами задумался. Выражение его лица было радостным и добрым. Однако из-под опущенных век взгляд его незаметно скользил по лицу сидящей перед ним женщины. От его внимания не ускользнул блеск триумфа в ее бледных глазах и нервные движения пальцев.

Он поднял голову и тихо сказал:

– Я должен посоветоваться с коллегами, Вера Ивановна! Ответ будет завтра. Встретимся здесь в это же время за этим же столиком...

Он кивнул официанту, заплатил и, с искренней улыбкой на лице, пожав руку новой знакомой, вышел.

После долгого блуждания по городу он, наконец, осмотрелся вокруг, быстро направился в район Швабинг и исчез во дворе старого, достаточно грязного дома.

Ворвавшись в маленькую квартиру, он крикнул прибиравшейся в кухне женщине:

– Дорогая! Брось ко всем чертям эти глупости и беги сейчас же к Паврусу, Боброву и Розе Люксембург. Она должна быть у Павруса. Пускай придут сюда немедленно. После зайди к нашему наборщику Блюменфельду и позови его сюда. Только поспеши, поспеши! *Periculum in mora*!

Он говорил весело, ходил по комнате, потирал руки и напевал что-то низким голосом. У него было прекрасное настроение.

Час спустя, все еще кружа по комнате, он рассказывал собравшимся товарищам о встрече в пивной и закончил словами:

– Хитрые эти жандармы – почтенные Лопухин, Семякин, фон Коттен, Климович, Хартинг, но и Владимир Ульянов, хотя известен здесь как скромный болгарский врач Иорданов, не лыком шит! Ха-ха-ха! Они хотят внедриться в нашу организацию, откупившись 3000 марок. Отлично! Я возьму деньги, ведь тогда мы немного раздуем нашу «Искру». Нелегко поддерживать

ее теми грошами, которые собирают нищие товарищи и пересылают нам с Бабушкиным, Лепешинским, Скубиком и Голдманом... 3000 марок — это огромная сумма! Я возьму ее, а жандармов обведу вокруг пальца! Ого, обведу!

Он громко смеялся и потирал руки.

Но товарищи запротестовали. Только Надежда Константиновна, смотревшая на мужа, словно на радугу, как обычно, молчала.

Атаку начал Паврус. Чрезвычайно болтливый, загоравшийся, как куча сухой соломы, он топал ногами, махал руками и почти терял сознание:

— Брать деньги у жандармов и шпионов?! Это же преступление, предательство! Плеханов, группа «Свободы труда», наша и другие союзнические партии никогда нам этого не простят. Следует помнить, что...

Он говорил целый час и мог бы еще, но вдруг к нему подскочил Ульянов и, щуря глаза, холодным, страшно спокойным голосом заявил:

— Хватит! Я возьму деньги у жандармов! Мне плевать на то, что будут гавкать глупцы и что подумают «союзнические» партии! Существует прежде всего цель, а каким путем ее достичь, мне безразлично!

Бобров нервным движением поднял плечи и скривился.

Ульянов заметил это и, внимательно глядя на него, повторил:

— Я возьму эти деньги!.. Вас волнует буржуазная «порядочность»? Почему же вы тогда аплодировали мне, когда я организовал нападение на почту в Туле и добыл несколько тысяч рублей? Ведь тогда пропали не только деньги буржуев, но и бедных крестьян, нищих рабочих, а вы кричали: «Браво, браво!» Отбросьте предрассудки, товарищи! Не бойтесь! Всю ответственность я беру на себя. Ха! Ха! Всю! Всю! Как сказано в литургии: «И теперь, и всегда, и на веки веков!»

Спор прекратился. Ульянов улыбнулся и сказал:

— Товарищ Блюменфельд, вы знаете всех русских в Лейпциге, Дрездене и Мюнхене...

— И в Берлине! — добавил гордо наборщик.

— И в Берлине! — воскликнул Ульянов со смехом. — Завтра перед 11-ю часами загляните в пивную и скажите, кого это нам

подослали жандармы? Она сказала мне, что ее зовут Рощина... Я буду ждать на углу и только тогда пойду за деньгами.

Товарищи еще долго разговаривали между собой. Владимир Ульянов с такой обезоруживающей простотой и убедительной силой успокаивал их партийную совесть, что вскоре они смеялись, представляя себе глупые выражения лиц агентов царской охранки, попавшихся на такую примитивную провокацию.

После их ухода Ульянов, хитро улыбаясь, надиктовал Крупской несколько писем близким друзьям, описывая всю ситуацию, свой план и решение не обращаться к зараженным буржуазными предрассудками Мартову, Аксельроду и Потресову, которые встали бы у него на пути. Подписывая эти письма, он дописал собственноручно:

«Я вижу, что должен буду изменить мышление этих людей, называющих себя социалистами. Или даже порвать с ними. Нам не по пути с нравственностью и легальными средствами борьбы. Мы несем с собой революцию во всей жизни и во всех человеческих понятиях. Хорошо запомните эти слова!»

Закончив, он потер руки и ходил по комнате, громко смеясь и весело мурлыча:

— Гм... гм... гм...

Назавтра к стоящему недалеко от пивной Ульянову подошел Блюменфельд. Шепелявя и непрестанно плюясь, он прошептал:

— Я знаю эту бабу... Это Шумилова, родственница агентши охранки Зинаиды Генгросс-Жученко, той, которая «завалила» террористов Бахарева, Ивана Распутина, Акимову и Савина, а теперь скрывается от мести социалистов-революционеров в Лейпциге и Гайдельберге. Это шпики, Владимир Ильич, настоящие шпики из шайки прохвоста Хартинга!.. Я слышал, что Жученко использует служебный псевдоним «Михеев».

— Спасибо вам, товарищ! — сказал Ульянов и пошел в пивную.

Он сел за столик, занятый Шумиловой, и, улыбаясь ей, доброжелательно сказал:

— Наша группа считает, что борьба с мелкобуржуазной партией социалистов-революционеров соответствует ее намерениям. Мы согласны на ваше предложение.

— Очень хорошо! — ответила она внешне спокойно. Вот деньги — 3000 марок. Когда я могу прийти в редакцию, чтобы начать работу? У меня есть готовая статья об агитации наших общих врагов против «Искры»...

— Сейчас... сейчас... — прошептал Ульянов, старательно пересчитывая и внимательно осматривая банкноты.

Закончив, он спрятал пачку в карман тужурки, застегнул пальто и поднял на сидящую перед ним женщину насмешливый взгляд. Нагнулся над столом и твердо, тихим шипящим голосом, сказал:

— Уважаемая госпожа Шумилова! Прошу выразить нашу признательность еще более уважаемой Зинаиде Теодоровне Жученко, почтенному господину советнику Хартингу и остальным «охранникам» — за такой щедрый дар! Мы потратим его с пользой, прошу мне верить! Что касается сотрудничества с нами, то можете не торопиться, разве что хотели бы повстречать у нас самых энергичных боевиков партии социалистов-революционеров, с некоторых пор жаждущих познакомиться с Зинаидой Теодоровной? Деньги вернем вскоре с процентами, уважаемая госпожа!

Он встал и, громко смеясь, направился к выходу.

— Чудовище! — прошипела Шумилова, сжимая кулаки.

Он оглянулся и сощурил глаза.

— С этого дня «Искра» набрала новую скорость. Ее атаки на мечтательность мелких буржуев — социалистов-революционеров, на оппортунизм социал-демократов, на Струве и Туган-Барановского с их «легализированным марксизмом» становились более острыми и беспощадными, отрывая от этих партий все большие группы рабочих.

Ульянов только к этому и стремился. Его газета давала горемыкам теоретического социализма готовую программу и план работы, навязывала им революционную волю действия; выводила за границы общественных ограничений; призывала к строительству собственными силами крепости настоящего социализма, объявляющего войну устаревшим богам: государству, обществу, церкви, семье и мещанской нравственности.

Умерли все идеи, законы, симпатии, кроме одной — революции для создания небуржуазной республики, но для возведения

на обломках бывшего мира – государства труда. Это единственная цель, к которой мы должны стремиться, ни на что и ни на кого не оглядываясь, ценой преступлений, крови, трупов, закона! «Наша победа должна быть абсолютной, и действия наши будут беспощадными!» – говорил Ульянов рабочим, прибывавшим для согласования программы второго съезда социал-демократической партии.

Тогда молодая партия русских социалистов была еще объединенной, и никакие раскольнические течения ее не беспокоили. Во главе партии стояли «божки» русского социализма: Плеханов, Дейч, Аксельрод, Мартов, Засулич, Потресов. Смелые статьи «Искры» вызывали в них ужас. Начали долетать первые холодные веяния, буревестники приближающейся вражды.

Однако буря не разыгралась по вине внешних причин.

«Искра» больше не могла печататься в Германии. Хозяева типографии под нажимом полиции, действующей под воздействием тайной царской агентуры, не хотели печатать газету на своем предприятии.

Плеханов настаивал на перенесении «Искры» в Женеву. Он намеревался взять газету под личный контроль и влияние, однако Ульянов решил перебраться в Лондон, чтобы стать еще более независимым от старого учителя и слепо преданных ему социалистов.

Дни и ночи без сна проводил он в глубоком раздумье. Он должен был совершить намеченное, но не имел денег. Переезд в Англию и издание там газеты требовали значительного капитала.

Деньги из России приходили редко, и это были мелкие суммы, по копейке собранные в среде рабочих. Полиция часто перехватывала эти посылки или, выслеживая сборщиков, изымала деньги, сажая людей в тюрьму.

– Тяжелая ситуация! – ворчал Ульянов. – Как из нее выбраться?

Он вышел из дома, сел на велосипед и поехал за город. Для раздумий ему было необходимо одиночество. Уже поздно вечером, на обратном пути, он навестил некоего Валциса, латыша-гравера. В свое время он был сослан в Сибирь за подделку денег, но удрал за границу, где устроился работать в ху-

дожественной мастерской. Он иногда приходил к Ульянову и просился на работу. Владимир отправлял его ни с чем, считая человеком темным и не имеющим твердых революционных убеждений.

Теперь он постучался к нему в комнату в маленьком грязном отеле.

– Я пришел к вам по важному делу, товарищ! – сказал Ульянов. – Могу ли я рассчитывать, что вы сохраните наш разговор в тайне?

– Как может быть иначе? – ответил обрадованный и польщенный Валцис.

– Можете ли вы в своей мастерской втайне от всех изготовить хорошее клише русской банкноты и напечатать хотя бы двести штук? – прошептал Ульянов.

– Мне прежде надо хорошенько подумать, – ответил гравер.

Прошло несколько дней беспокойного ожидания. Ульянов не мог оставаться дома. Закончив работу, он выходил на улицу и блуждал по городу.

Он метался как дикий зверь в клетке. Товарищи в России ждали свежих номеров «Искры», а газета тем временем не выходила, и не хватало денег на переезд в Лондон.

До него дошли вести, что Плеханов тихонько злорадствовал, видя, как потихоньку умирает непокорная его воле «Искра».

В момент окончательного расстройства Ульянова поздно ночью в его квартиру, расположенную в Швабинге, постучали условленным образом.

Вошел Валцис. Его лицо было таинственным.

Прошептал:

– Включите лампу!

Когда зажегся свет, Латыш достал из-под полы пальто большую пачку, туго обтянутую веревкой.

Ульянов посмотрел и вскрикнул:

– Деньги! «Искра» будет жить!

– Пятьсот банкнот по 10 рублей каждая! – хвастался Валцис. – Чистая работа! Здесь никто ничего не заметит! Я уже попробовал. Обменял в банке десять таких бумажек. Пошло как по маслу!

Владимир жал руки гравера и благодарил его, радуясь и смеясь.

– Я никогда не забуду об этой вашей услуге! – говорил он. Дайте-ка мне клише, может, еще пригодится!

Клише лопнуло во время печатания 511-й банкноты – буркнул Валцис, опустив глаза.

Ульянов весело взглянул на него и спокойно сказал:

– Лопнула, говорите? Ну, пускай так и будет! Спасибо вам, товарищ!

Валцис ушел.

Крупская спросила, глядя на мужа:

– Володя, не думаешь ли ты, что этот человек будет теперь печатать фальшивые банкноты?

– Непременно будет! – воскликнул он веселым голосом. – Меня это совершенно не волнует. Пускай печатает, пока его не посадят. А мы тем временем – за работу!

Они разделили большую пачку на маленькие, по сто рублей в каждой. На следующий день их раздали товарищам, чтобы те в разных районах города обменяли их на немецкие деньги.

Около трех пополудни Владимир Ульянов уже покупал английские фунты и билеты до Лондона, а Надежда Константиновна паковала книжки и тощий чемодан, в котором помещался их скромный, даже убогий скарб.

В Лондоне началась оживленная работа.

Прибыл новый сотрудник. Это был молодой социалист Лев Бронштейн, известный под псевдонимом Троцкий. Он недавно сбежал из сибирской тюрьмы и пробрался за границу. Его уже знали в студенческих и рабочих кружках, в которых он с успехом выступал в качестве комментатора марксизма.

Молодой революционер отличался непреодолимым стремлением к журналистике и начал ежедневно печататься в «Искре».

Ульянов внимательно наблюдал за ним. Однажды, когда Троцкий вышел от него, он сказал Крупской:

– У этого молодого человека первоклассные способности агитатора, и он, так как ничто его не стесняет, наверняка далеко пойдет. Как человек своей расы, он импульсивен, предприимчив, но нетерпелив. Ему нужен такой ментор, как я, который

никогда не загорается; мне, в свою очередь, нужен он, потому что иногда только он, как мне кажется, способен до конца думать и действовать согласно моему плану.

Надежда Константиновна тихо ответила:

– У него слишком много апломба, и его стиль слишком крепкий, дерзкий, фельетонный, субъективный, не имеющий убедительной глубины и простоты...

– Молод еще! – рассмеялся Владимир. Скоро всему научится! Я хочу его ввести в нашу с Плехановым группу. Будет седьмым, что хорошо для голосования, и нашим – что необходимо для принятия моих предложений.

Но Плеханов даже слушать не хотел о Троцком, не принял его в группу и не впустил в комитет своей «Зари», а также «Искры».

Троцкий, обидевшись, уехал в Париж.

Направление, приданное Ульяновым «Искре», не нравилось Плеханову. Однако его приезды в Лондон и беседы с Владимиром были тщетны. Тот повторял неизменно:

– Я сторонник революционного, воинствующего марксизма, и таким останусь, даже если все меня покинут!

Однажды он пригласил Плеханова на прогулку.

Отвез его в Хайгет и завел на кладбище.

– Что за фантазии ползать по этой свалке? – спросил Плеханов.

Еще секунду, Георгий Валентинович, и вы не повторите этих слов! – прошептал Ульянов.

Они прошли еще несколько сотен шагов и остановились возле скромного памятника.

– Карл Маркс! – прочитал вслух Плеханов.

– Карл Маркс, – повторил Владимир. – Давайте посидим здесь молча и погрузимся в раздумье. Это место заслуживает того...

Сидели они долго, ничего не говоря друг другу.

Ульянов склонил голову и исподтишка наблюдал за старым революционером. Сжался, чувствуя, как по его спине пробежала холодная дрожь.

– Этот человек думает сейчас о себе... – шепнул беззвучно.

Выпрямившись, он стал говорить, пронзая взглядом бледные глаза Плеханова:

– Я не умею провозглашать блестящие фразы. Скажу прямо то, что думаю в этот момент. Это уже давно укладывалось в моей голове – со дня, когда я впервые вас встретил, Георгий Валентинович; я все изучил до конца, тщательно, потому что признаю только такую мысль. Я повторял вслух то, что хочу сказать сейчас, повторял здесь, вызывая в памяти образ величайшего из пророков – Карла Маркса. Он слышал мою исповедь и укрепил меня в моем намерении...

Плеханов поднял кустистые брови и слушал.

– Если рабочий класс будет ждать, пока его не наделит правами господствующая буржуазия, – все пропадет. Права эти будут даны тогда, когда наши враги будут иметь непобедимое оружие. Техника и химия идут к этому. Мы должны смять буржуазию еще до этого, еще до этого мы должны держать мир в состоянии никогда не прекращающейся революции, мы должны отбросить все, что нам предательски обещает и дает буржуазное государство, мы должны всегда иметь под рукой спрятанный стилет и камень за пазухой, чтобы ударить внезапно, в самый подходящий момент! Иного пути нет, нет, Георгий Валентинович!

Старый социалист нахмурил лоб и неохотно проворчал:

– Тем временем вы подделываете деньги! Порочите святые идеалы революции и социализма?

Ульянов стиснул челюсти и прищурил глаза.

– Подделываю деньги, но в тот момент, когда они начинают служить революции, они становятся настоящими! – взорвался он. – Стыд чувствуют побежденные, победителям это слово неизвестно!

– И все таки... – начал Плеханов.

– Ничего больше! – перебил его Владимир. – Мне очень больно слышать ваши слова, ох как больно! Но я закончу то, о чем неоднократно думал над могилой Маркса. Я должен закончить, особенно после того, что услышал от вас! Знайте, что я не остановлюсь перед расколом партии, перед уходом от вас, перед тем, чтобы бросить вам самое тяжелое и сокрушительное обвинение, не задумаюсь ни на мгновение, чтобы уничтожить вас, которого

люблю и обожаю всем сердцем, растоптать и на века опорочить ваше имя! У меня нет ничего, кроме идеи, а ее я буду защищать зубами, когтями, словом, штыками и виселицами! Идите за мной до конца, и имя ваше останется ясным как солнце. Если вы отречетесь от меня — горе вам!

— Угрожаете? — спросил Плеханов.

— Предостерегаю и горячо умоляю! — страстным шепотом произнес Ульянов.

Больше они ни о чем не говорили и возвращались в Лондон угнетенные, задумчивые.

Плеханов вскоре уехал. Расставание было холодным и неловким для обоих. Оба не знали, что сказать друг другу на прощанье.

Скоро Ульянов на целый месяц уехал в Бретань.

Ему хотелось увидеться с матерью, проводившей там лето, а также увидеть открытое море.

Он оставил в редакции несколько статей для «Искры», подписанных новым псевдонимом — Ленин.

Первый раз он сделал это бессознательно, написав первую пришедшую на ум фамилию.

Ленин?

Вдруг он вспомнил некогда любимое, одухотворенное лицо Елены, ее золотые косы, глаза, полные восхищения и чувственного блеска.

— Слышала ли она обо мне? — подумал он вздохнув. — Может быть, она считает меня чудовищем, как та Шумилова? Эх! Наверняка давно уже забыла! Наверняка она обращается в иных сферах, эта... дочка генерала.

И все же он чувствовал вокруг себя какие-то легкие шорохи, какую-то дрожь в воздухе, как будто маленькие мотыльки ласкали его лицо и касались век.

Он даже удивился, что впал в размышления, охваченный воспоминаниями молодости.

В этот момент Надежда Константиновна спросила у него адрес одного из товарищей в Нью-Йорке. Неуместные мысли тут же развеялись, а неожиданно нахлынувшие воспоминания в страхе разбежались.

— Глупости все это! — прошептал он. — «Ленин» по той же причине, то есть без всякой причины, что и другие псевдонимы: Улин, Ильин, Иванов, Тулин; по той причине, по которой в Германии я был доктором Иордановым, в Праге — Модрачком, а здесь — Рихтером. Больше ничего! Все глупости, мелочь, пустое впечатление по сравнению с целью всей жизни!

Он долго, издевательски и тихо смеялся над самим собой, и никто не смел знать о его мыслях.

Тогда он уже перешел невидимый Рубикон.

На том берегу остались его личные чувства и мечты, на этом стоял он, — а вместе с ним все то, что он намерен был реализовать. Здесь он не видел ничего для себя лично. Он чувствовал себя первосвященником идеи, которую считал самой главной.

Поэтому он смеялся оттого, что, оставаясь на противоположном берегу, выглядело таким убогим, мелким, навсегда далеким.

— А теперь? Ах, да! Где же записан адрес этого товарища из Нью-Йорка, откуда два раза в год «Искра» получала по сто долларов?

В Бретани он встретился с матерью.

Они разговаривали недолго. Мария Александровна поняла душу сына. Все вокруг его не касалось. Он целиком находился в будущем, которое стремился построить. В нем не осталось места для нее — матери! Это огорчило ее, потому что бедное, любящее материнское сердце жаждало любви и теплых чувств; хотело увидеть ребенка, сына.

Однако она быстро успокоилась, так как, чувствительная и полная понимания, увидела, что в сердце Владимира нет даже места для него самого. Он стал человеком-машиной, работающим согласно высшему наказу, который указывал далекую или близкую, ему одному известную цель.

Владимир целые дни, вечера и даже ночи проводил возле моря.

Втискиваясь между выщербленными вихрями и волнами скалами, он впадал в раздумье.

Он наблюдал, как набегающие волны прилива ударялись об обрывистые берега, разбивались в пену и брызги, отступали, чтобы с шипением и бешеным плеском вернуться вновь. Ему ка-

залось, что им не хватало силы, чтобы нанести удар этим черным, твердым вековым скалам. Волны набегали, наталкивались на грудь берега и отступали...

Однако наблюдательные глаза Владимира заметили глубокие расщелины в обрывистых берегах, полные мрака углубления в гранитных доспехах скал, и несметные обломки, упавшие на заливаемую водой прибрежную отмель.

Это была работа волн и их добыча...

– Пройдут века, и от этой скалистой крепости ничего не останется! Седое, вспенившееся море начнет пробиваться туда, где скупой крестьянин бросает сейчас зерно во вспаханную землю. О, если бы море знало, чего оно хочет и к чему стремится! Оно удвоило бы усилия, умножило бы ряды могучих волн и получило бы одним махом то, на что в бессмысленной борьбе тратит целые столетия. Я поступаю иначе! Я пронзаю и раздираю грудь старых понятий и мечтаний, отрываю у них скалу за скалой, слой за слоем, зная, что за этой преградой лежит, распростершись, низина. Я хочу ее заполучить, залить волнами моих мыслей и воздвигнуть новую крепость, могущественный замок, который никто, никто не способен будет покорить!

Волны тем временем отступали. Они уже не достигали скалистых выступов и темных бухт; успокоившиеся, обессилевшие, они лизали прибрежные обрывы, разбивались беспомощно об острые края выщербленных рифов и отступали все дальше и дальше, исчезая в морской дали, в сгустившемся тумане, в бешеном танце пенистых волн, над которыми метались и парили чайки, отчаянно крича:

– Безумие! Безумие! Безумие!

Тогда он напрягал зрение и искал раны на скалах, раны, нанесенные прибоем прилива. Не замечал ничего... Ничего!

Гранитный откос стоял невозмутимый, мощный и гордый, выпятив каменную грудь, глумясь над морем и вихрями.

Сюда долетал порыв бриза, шелестел в сухой, жесткой траве и ворчал в расщелинах и глубоких трещинах:

– Не сила, а время! Время! Время!

Ульянов сжимал руки, ему хотелось грозить, ругаться и метать слова ненависти, но он не мог, стоял как очарованный, онемевший.

Над морем загорались и пылали, растянувшись от горизонта до гранитных берегов, лучи чудесного света.

Розовые, зеленые, золотистые – на рассвете, пурпурные и фиолетовые – в часы вечерней зари, они укрывали, ласкали, успокаивали возмущенное, гневное без причины и отдыха море.

Оно умолкало, покорно плескалось, обессиленное, слегка возбужденное, шуршало тихонько, горячо и трогательно шептало, будто доверяло свои тайны немым, ощетинившимся скалами берегам:

– Все пройдет, а правда останется. Правда, живущая дальше, чем страна, где встает и заходит солнце... Дальше! Дальше!

– Где же? – спрашивал Ульянов. – Где? Забрось меня туда, а я добуду ее и отдам несчастному, потом и кровью залитому человечеству! Где?

Подвижной чередой прилетали чайки и стонали:

– Безумие! Безумие! Безумие!

ГЛАВА XI

Ульянов метался по комнате и, хотя Крупская сидела за столом, говорил сам с собой. Он не обращал на нее никакого внимания, даже не замечал ее присутствия.

Он выкрикивал, сжимая кулаки:

– Хорошо! Замечательно! Комитет проголосовал против меня?.. Мы должны перенести «Искру» в Женеву? Теперь – конец! Я знаю, что будет... Я не сомневаюсь! Плеханов заберет нашу газету! Необходимо будет порвать с Плехановым и остальными, вступить в борьбу. Как это больно... меня это гнетет!

Внезапно он покачнулся и упал без сознания. Страшные судороги встряхнули напряженное тело; он скрежетал зубами, хрипел, постанывая и выкрикивая бессвязные слова.

Надежда Константиновна с трудом привела его в чувство.

Открыв глаза, он, видимо, сразу все вспомнил.

Глядя в окно, за которым возвышалась грязная кирпичная стена, он выругался и прошептал:

– Пиши!

Крупская сразу же села за стол.

– Напиши Троцкому, чтобы спешил в Женеву. Он спровоцирует разрыв отношений с Плехановым и его группой... Я хочу остаться в стороне. На всякий случай... Приготовь также письма молодым студентам Зиновьеву и Каменеву. Это горячие головы и молодецкие сердца. Пускай приезжают... Плохо, что нет со мной рядом крепкого русского, плохо и обидно, но на войне нельзя рассуждать, кто возьмется за оружие. Лишь бы воевал! Напиши быстрей!

Ульянов приехал в Женеву совершенно разбитый, больной, с температурой. Там уже был Троцкий. Они долго совещались с ним и с прибывшим в Швейцарию Луначарским. Ульянов обрадовался, познакомившись с этим замечательным оратором, обладавшим глубоким, благородным, вызывающим доверие

и уважение голосом. Это был настоящий русский, высококультурный и очень эрудированный.

Ульянов не мог нарадоваться.

— Такое приобретение! Такое приобретение! — думал он, потирая руки.

Однако вскоре его радость ослабла.

Узнав Луначарского ближе, он стал хмурить лоб и бормотать себе под нос:

— Ну и что с того, что у меня есть русский?! Он несет на себе клеймо породы — этот ничем не подкрепленный максимализм мысли. Он верит в нашу победу, как в какое-то сверхъестественное чудо, которое внезапно изменит человеческую природу и мышление. Никола Угодник или глупое, рабское, русское «авось» — он находится во власти этих наших «сил». Он пойдет за мной, но начнет плакать и бить себя в грудь, когда увидит, что мы будем устанавливать наш закон кровью, что мы поведем человечество к свободе через рабство!

Вскоре Троцкий начал атаку на Плеханова.

Вся редакция «Искры» собралась в кафе Ландольта. Обсуждался проект третьего съезда российских социалистов. Троцкий защищал программу, разработанную Лениным. Луначарский его поддерживал. Плеханов и Аксельрод разбивали доводы новых членов партии.

Однако прислушивающиеся к дебатам рабочие и студенты поддержали программу Ленина.

Троцкий, обращаясь к Плеханову, воскликнул с издевательской улыбкой:

— Понимаете ли вы, товарищ, почему члены партии поддержали нас? Потому что вы уже не знаете и не чувствуете настроений рабочего класса. Эмиграция уничтожила в вас ощущение российской действительности, ваши слова и мысли хороши не для нас, а для легальных европейских социалистов. Вы уже стали музейными экспонатами!

С этого дня не только в комитете партии, но и в редакции «Искры» отношения с группой Плеханова обострились настолько, что Ульянов, Мартов и Потресов отказались от сотрудничества с ней.

Владимир с Крупской и Мартовым целыми днями и ночами работали, сочиняя письма и инструкции, в которых объясняли ситуацию в партии и требовали денег на новую газету.

Несколько недель спустя появился маленький листок «Вперед».

Когда первый, пробный номер лежал на столе, а Троцкий зачитывал статьи, направленные против Плеханова, обвиняющие старого вождя в трусости и требующие нового съезда партии для обсуждения программной и тактической деятельности, Ульянов, еще слабый и больной, сжимал холодные руки и почти с отчаянием смотрел в лазурное небо, шепча неподвижными губами приходящие невольно слова. Это были слова Христа, вымолвленные в момент смятения духа, тоски и сомнений:

— Господи, отклони от меня эту чашу мучений!

В этот момент, когда должно было разыграться смертельное сражение, Ульянов понимал, что теперь он сам должен повести трудящихся к пылающему вдали костру, над которым развернулось кровавое зарево; он должен был взять в свои руки судьбы миллионов отчаянных нищих, подвигнуть их на борьбу с вражескими полчищами, даже если в их числе были братья и министры, к которым сердца пылали трогательным обожанием.

Небо не ответило на молчаливый призыв Ульянова.

Битва началась.

Посыпались тяжелые обвинения, клевета, пламенные слова возмущения, ненависти; твердые, как камни, уничтожающие и захватывающие мысли.

Маленький, несчастный «Вперед» достиг цели.

Несмотря на интриги и усилия Плеханова, третий съезд Российской социалистической партии состоялся. Он стал первым конгрессом большевиков и зародышем коммунистической партии, к которой примыкало все больше бывших сторонников женевской группы старых «божков» и вождей социализма. Не помогло вмешательство Бебеля, стремившегося склонить Ленина к согласию с меньшевиками Плеханова и предлагавшего примирительный суд.

Ульянову все уже было понятно.

Пути его учителя навсегда разошлись с путями революционного марксизма. Он уже стал для него агентом буржуазии, врагом, который должен быть уничтожен без остатка.

Ульянов впервые открыто провозгласил на весь мир дерзкие лозунги русского коммунизма, призывая трудящихся не останавливаться на создании в России буржуазной республики и не попадать в ловушку загнивающего западного парламентаризма.

— Мы стремимся к созданию в России первой социалистической республики, — говорил он прибывающим к нему товарищам. — Это наш идеал. Я не хочу обманывать вас обещаниями, что мы сразу придем к цели. В слишком тяжелых условиях, существующих в нашей стране и за рубежом, где царит обман, поднимаем мы знамя борьбы. Однако я верю, что мы сможем разжечь революцию, которая сразу же станет перед выбором буржуазного или социалистического переворота. Следующие шаги будут даваться легче! Углубление революции еще больше приблизит нас к достижению идеала. Нам никогда нельзя отступать!

Имя Ульянова-Ленина становилось все более громким, оно привлекало новые массы трудящихся и преданных товарищей, породило отъявленных врагов.

Ему были безразличны дружеские отношения. Заботило его только увеличение числа преданных делу товарищей.

Он не боялся неприятелей и говорил словами поэта:

«Признание для нас не в радостном визжании толпы, а в ненависти и проклятиях поверженных врагов».

Когда после неудачной войны с Японией в России разразилась поддерживаемая социалистами буржуазная революция, Ленин тайно перебрался в Петербург.

Меньшевики, управляемые из Женевы Плехановым, создали Совет рабочих депутатов. В него немедленно вошли также большевики Троцкий, Зиновьев, Каменев, Бадаев и другие, придав энергичный и по-настоящему революционный импульс первому в истории человечества органу, в котором рабочий класс взял власть в свои руки, объявил войну буржуазии и провозгласил лозунги социальной революции.

Сидя на галерке в зале, где заседал Совет рабочих, никому не известный, скрытый в толпе публики, Ленин прислушивал-

ся к речам меньшевиков и подготовленных им партийных товарищей.

Он думал, стиснув зубы:

– Только насилие, произвол, неслыханный террор объединят этих людей и поведут к моей цели. Никакого милосердия и жалости, будь то даже отец или жена! Кто не со мной, тот должен погибнуть!

Он щурил глаза и, глядя на говорящих меньшевиков, рассуждавших о сотрудничестве с правительством, шептал:

– Погибнешь! И ты, и ты... Погибнете все!

Глядя на своих сторонников, он задавал себе мучительный вопрос: достаточно ли они сильны, мужественны и терпеливы, чтобы не позволить разогнать возникающие повсеместно рабочие советы?

Он отправился в Москву, зная, что сначала там разразится вооруженное восстание рабочих, а на улицах вырастут баррикады.

Он советовался и давал указания Шанцеру-Марату, предводителю назревающего восстания.

Волны революции прокатывались от западной границы до Владивостока.

Власти теряли головы и отдавали позиции без сопротивления. Армия, бывшая еще в состоянии войны, переходила на сторону народа.

Никто не знал того, что хитрый Витте дал молчаливое согласие на взрыв возмущения и протеста, чтобы заставить Николая II подписать декрет о новой Конституции, предусматривающей создание Государственной Думы.

Надежный друг Александра III понимал, что парламентаризм ослепит и привлечет все возмущенные слои общества и на долгое время утихомирит их разум.

Ленин тоже понимал это. Он опасался, что Витте сможет перевести революцию в спокойное русло парламентаризма. Поэтому через своих сторонников он придавал Совету рабочих бурный, революционный характер и подогревал стремление к вооруженным восстаниям.

Наконец-то оно разразилось в Москве, но захлебнулось на Пресне собственной кровью.

Тогда враги Витте, чтобы очернить его в глазах монарха, бросили весь свой аппарат на подавление революции. Начали свою работу карательные отряды Ринна, графа Меллера, барона Ренненкампфа, скрипели виселицы, под градом пуль падали сотни приговоренных к смерти революционеров, тюрьмы до самых краев были заполнены политическими противниками царя.

Опасаясь за свою карьеру, Витте разогнал Совет рабочих депутатов, сажая наиболее радикальных ораторов в тюрьму и отдавая их под суд.

Ульянов-Ленин скрылся в Финляндии.

В маленьком финском городке тайно поселился немецкий гражданин, печатник по профессии, Эрвин Вейкофф. Он постоянно курсировал между Куоккалой, Перкиярви, Выборгом и Гельсингфорсом, всюду встречаясь с различными людьми, прибывающими к нему из России.

Однажды ночью в маленький домик, стоящий в окруженном елками дворе, постучали три, а после небольшой паузы — еще два раза.

Это был условный знак.

Маленький плечистый человек с большим лысым черепом открыл двери. На пороге в черном пальто с поднятым воротником стоял молодой рабочий.

— Владимир Ильич, это я — Бадаев! Я привел к вам гостей, — сказал он, протягивая хозяину руку.

— Ах, как я рад, товарищ! — ответил Ленин. — Прошу, входите!

В комнату вошли трое моряков и молодой поп с широко открытыми, мечтательными глазами.

Все присели. Бадаев рассказывал:

— Товарищи Дыбенко, Железняков и Шустов были матросами на корабле, который поднял революционное знамя.

— Приветствую вас, товарищи! — воскликнул Ленин. — Пролетариат никогда не забудет вашего поступка! Потому что он стал началом революции на флоте! Расскажите мне, как все было.

Моряки долго угрюмыми голосами рассказывали. Когда они дошли до момента разоружения их в румынском порту, Дыбенко сказал:

— Мы убежали из Румынии и искали вас по свету, чтобы узнать, что нам делать теперь?

Ленин ответил немедля:

— Езжайте за границу, а оттуда будете руководить отношениями с товарищами, которые служат на военном флоте.

— Мы знаем всех в Севастополе, Одессе, Кронштадте... — вмешался Шустов.

— Я так и думал! — обрадовался Ленин. — Мы будем отправлять на флот наши газеты и брошюры, чтобы товарищи готовились примкнуть к нашим рядам.

— Они примкнут все как один! — закричали матросы. — Только перед этим убьют офицеров, которые над ними издеваются и обижают их.

Ленин поднял голову и долго смотрел на говоривших. Он улыбался почти по-доброму, будто детям, и твердо произнес:

— Мы отдадим офицеров под ваш суд, товарищи!

— Тогда мы посчитаемся с ними по-своему! — буркнули матросы.

— Посчитаетесь! Мы ваш приговор менять не будем, — ответил он мягко и сощурил глаза.

Моряки шепотом посоветовались и, получив от Ленина письмо, вышли.

Бадаев, указывая глазами на попа, сказал:

— Отец Георгий Гапон вел рабочих к Зимнему дворцу, чтобы просить у царя отставки плохих министров и принятия Конституции.

Ленин, сжимая челюсти и щуря глаза, молчал долго, по привычке незаметно рассматривая сидящего перед ним попа.

Наконец он прошептал:

— Когда я услышал о вас впервые, то был убежден, что поп Гапон является агентом охранки, подлым провокатором, ведущим глупую толпу самых невежественных рабочих под залпы царской гвардии!

Гапон вздрогнул и сложил на груди руки, всматриваясь в проницательные зрачки Ленина.

— Теперь, когда смотрю на вас, у меня закрадываются сомнения... Я считаю вас скорее человеком, не понимающим, что творил. Просить царя? Умолять тирана на коленях? О чем? О том,

что можно вырвать у него из горла только силой, вырвать вместе с его сердцем и головой?! Сумасшедшие! Безумцы! Рабские души!

Говоря это, Ленин стал бегать по комнате и щелкать пальцами.

Через минуту он остановился перед молчащим попом и, пронзая его острым взглядом, крикнул:

— Что же вы ничего не говорите?! Слушаю вас!

Поп пошевелился и, прижимая к груди бледные ладони, простонал:

— Слепые люди обвиняют меня в предательстве... А я? А я уже пять лет пробуждаю в рабочих кварталах дух, укрепляю веру в пришествие Господне на земле...

Втянув воздух, он продолжил:

— Имел я пророческое видение и услышал повелевающий голос: «Переменилось сердце тиранов, поэтому веди за собой людей, чтобы это сердце вылило поток доброты!»

— А оно вылило струю свинца из карабинов! — взорвался злым смехом Ленин. — Твой Бог не знает царя и посоветовал тебе действовать преступно, ужасно!.. Что ты намерен делать теперь?

— Не знаю! — прошептал страстно Гапон. — Мысль моя мечется по бездорожью...

— Я укажу вам настоящий путь, — сказал, поразмыслив, Ленин. — Езжайте за границу, войдите в семьи эмигрантов, навестите богатые дома и самых нуждающихся, и везде рассказывайте о том, как поступил царь с умолявшей его толпой, с крестами, с иконами. Повторяйте, как слова Библии, одно и то же: «Руками трудящихся мы должны раздавить царя и его защитников!» Понимаете?

— Понимаю... — тихо ответил поп.

— Теперь идите! Я должен поговорить с товарищем наедине, — сказал Ленин, провожая Гапона до порога.

Когда двери за ним закрылись, потом стукнула калитка, Ленин взглянул на Бадаева и спросил:

— Агент?

— Нет! — решительно возразил тот.

— Ваше дело! — пожал плечами Ленин. — Что вы хотите с ним сделать?

— Он предлагает перевозить через границу все, что мы ему поручим: оружие, гранаты, нелегальные издания... На попа никто не обратит внимания.

Ленин с недоумением посмотрел на рабочего и приподнял плечи.

— Кто поручил вам привести ко мне этого человека? — спросил он вдруг.

— Не бойтесь! — ответил Бадаев. — Хороший партийный товарищ, смелый, испытанный! Его зовут Малиновский.

— Малиновский? Малиновский? — повторил Владимир. — Ага, припоминаю. Мне говорил о нем Леон Троцкий. С вами и с другими кандидатами от нашей партии он должен войти в Думу.

— Владимир Ильич! — воскликнул Бадаев. — Увольте меня! Я ведь не могу рассматривать государственный бюджет, вносить поправки в новые законопроекты! Темный я, необразованный! А тут не шутки: парламентская работа!

Ленин взорвался громким смехом и долго смеялся, потирая руки. Наконец, немного успокоившись, сказал, хлопая рабочего по плечу:

— А зачем вам рассматривать бюджеты, законопроекты? Вы должны использовать каждую возможность, чтобы выходить на трибуну и повторять, что рабочий класс не признает никаких буржуазных законопроектов и бюджетов, что он стремится к свержению трухлявых государственных институтов, что он разгонит на все четыре стороны царя, министров, буржуазию, а если будут сопротивляться, отправит их на фонари! Это все, что вы пока должны уметь, милый братец!

Бадаев с удивлением смотрел на говорившего.

— Как же так? — спрашивал он с сомнением. — В этой Думе соберутся министры, генералы, серьезные господа, богачи, а мы такие слова будем говорить?!

— А вы думаете, что богача и министра виселица не выдержит? — спросил Ленин.

— Выдержит... — буркнул рабочий. — Только они таких речей слушать не захотят.

— Это они вашей глупой болтовни о бюджете не захотят слушать, а о фонаре и петле еще как послушают! — рассмеялся Ленин, шутя глядя на Бадаева.

Вдруг он прекратил смеяться и, низко наклонив голову, взглянул исподлобья и сказал:

– Гапон – купленный правительством, предатель...

– Нет! – воскликнул Бадаев. – Он давно известен в рабочих кругах.

– Гапон – продажный предатель! – повторил с нажимом Ленин. – Скажите об этом Троцкому. Пускай намекнет о нем лидерам меньшевиков и социалистов-революционеров. Уж они-то с ним посчитаются! Сегодня же я сменю жилище и потом сообщу о своем месте пребывания. Теперь идите, у меня еще много работы.

После ухода Бадаева Ленин немедленно переехал в другой дом и затаился. В течение нескольких дней никто из партийных товарищей ничего о нем не знал.

Тем временем перед бывшим жилищем Ленина весь день сидела старуха, продающая из корзины карамельки, яблоки и семечки. Она внимательно присматривалась к прохожим и на третий день заметила молодого попа, который быстрым шагом несколько раз прошелся перед домом, пытаясь незаметно заглянуть через изгородь внутрь двора.

Когда он уже приближался к концу улицы, к нему подошел элегантно одетый мужчина небольшого роста с мясистым, бритым лицом и косящим глазом, исчезавшим периодически под тяжелым, подрагивающим веком.

Старуха подняла свою корзину и побрела по городку, выкрикивая:

– Яблоки, конфеты! Семечки подсолнуха-а-а!

Остановилась она возле небольшой избушки и, осторожно осмотревшись, проскользнула в сени.

На стук вышел Ленин.

– Товарищ, – шепнула она. – Поп Гапон кружит возле вашего дома, а вместе с ним подстерегает Иван Манасевич-Мануйлов, охранник и агент Витте.

– Хорошо! Теперь узнайте, где живет Гапон и сообщите Рутенбергу, о котором мне писал Нахамкес.

С этими словами Ленин закрыл двери.

Прошло несколько недель. Владимир скрывался в Терioках, Перкиярви, Усикирце и Гельсингфорсе, пока, наконец, не вер-

нулся в прежнее жилье в Куоккале. Там он застал товарища Семена.

– Ну, ответьте, как все прошло? – спросил он, тряся руку рабочего.

– Гапон жил в Териоках. Я выследил его и сообщил инженеру Рутенбергу. Он пришел к попу с еще двумя товарищами, вручил ему обвинение и приговор. Связали его и... повесили. Гапона нашла полиция. Он висел уже два дня. На его груди был лист со смертным приговором от социалистов-революционеров.

– Собаке – собачья смерть! – рассмеялся Ленин. – Этот Рутенберг не только инженер, но и палач, какого поискать! Он бы и нам мог пригодиться, если бы перешел к нам!

– Не перейдет! – ответил Семен. – Это друг Савинкова, заученный социалист-революционер!

– Жаль! – вздохнул Ленин. – Я бы послал его убить этого шута революции!

– Кого?

– Бориса Савинкова!.. – ответил Ленин, тихо смеясь.

Товарищ Семен с недоумением заглянул в прищуренные глаза стоящего перед ним Ленина. Тот в молчании по-доброму и одновременно хитро улыбнулся, кивнул головой, а пальцем показал в землю.

– Теперь или позже я его туда отправлю! – шепнул он с нажимом.

– За что?

– Я знаю – за что! – рявкнул Ленин, беря в руки книжку и садясь у окна.

Семен покинул жилье Ленина.

Только тогда, когда все убедились, что объявленный Манифест был лживым, принципиально измененным и почти уничтоженным, партия потребовала от Ленина, чтобы он выехал за границу, так как политическая полиция уже шла по его следу и взяла ненавистного правительством вождя рабочего класса в кольцо.

Он попрощался с провожавшими его товарищами словами:

– Вы убедились, что у нас нет общих путей ни с царизмом, ни с буржуазией вместе с ее прогнившим без остатка парламента-

ризмом. Пускай по этому пути идут те слои трудящихся, которые не имеют мужества и отвращения к несвободе. Мы без их помощи возьмем власть над страной, установим свои законы и свершим свою справедливость в отношении наших врагов! Мы не забудем также о наших товарищах, которые, подчиняясь воле лжепророков и преступных руководителей, становятся на нашем пути, ведущем к победе пролетариата. Не прекращайте организовываться, увеличивать ваши ряды в подготовке к решающей битве!

Эти слова были настолько смелыми, что всем показались хвастовством без значения и содержания.

Реакция уже начала показывать клыки, неистовствовали военные суды, националистические группы открыто высказывались за роспуск и отмену Думы, требовали применения самых строгих методов подавления революционеров, выходивших из своих конспиративных ячеек, и пресечения раз и на всегда преждевременных мечтаний просыпающейся России.

Кто же мог в этот период верить в полные надежды и сил слова уезжающего вождя? Товарищи слушали его с недоверием и шептали, грустно кивая головами:

Еще перед восходом солнца роса выжжет глаза!..

ГЛАВА XII

Уезжающий Ленин никому не показал своего обличия.

Оно было ужасным.

Когда он один сидел в вагоне и смотрел на пробегающие перед окном грустные пейзажи, оно стало трагической маской ненависти.

Он ненавидел теперь все и всех.

Работа нескольких лет казалась ему тщетной, убогой, лишенной размаха и силы.

Он ненавидел Плеханова, Струве, Бебеля, старых друзей — Мартова и Потресова, ненавидел Троцкого.

— Все они хотят, — шептал он сквозь зубы, — чтобы после подавления восстания и усиления реакции я пустил себе в лоб пулю как величайший преступник, почти предатель, подобный Гапону, как чудовище, отправляющее людей на верную смерть!

Тихо и злобно рассмеявшись, он прекрасно осознал, что мысль о самоубийстве ни разу не приходила ему в голову.

Он понимал, что это плохо, что Россия, запуганная «столыпинскими галстуками», как называли виселицы, которыми председатель Совета министров Петр Столыпин покрыл всю страну, погружается в бездну мрака и угнетения.

Перед глазами Ленина промелькнули сотни рабочих, крестьян, солдат и революционной интеллигенции — всех, навещавших его в Куоккале и Териоках.

Он разговаривал с ними и слышал, а еще больше чувствовал невысказанные мысли. Они были мрачными и безнадежными. Все они были убеждены, что революция была подавлена на долгие годы, рабочие организации уничтожены, что следует пересмотреть партийные программы и максимально стремиться к признанию легальной социал-демократической фракции в парламенте.

Ленин кипел гневом. Ненавидел своих падающих духом сторонников. У него никогда не было друзей, потому что он не признавал дружбы, требуя только преданности делу.

Любого из наиболее верных товарищей он мог бы без сомнений отторгнуть, растоптать, отправить на смерть, если бы тот оказался ненужным или вредным. Все чувствовали это и избегали вступать с ним в близкие отношения. Он жил, одержимый идеей. Он перестал быть человеком. Он превращался в машину, то сметавшую пережитые идеи, то изменявшую движение своих колес и узлов, чтобы точно ответить на все наиболее запутанные, непредвиденные внешние изменения.

Внезапно ему вспомнился случай, имевший место в Куоккале и разбудивший старые воспоминания о Волге и Сибири. Тот случай заставил Ленина стиснуть зубы и молчать, хотя он готов был ругаться и разбивать головы собственными руками.

Калинин, один из ближайших его учеников, привел с собой нескольких мужиков, делегатов Партии труда в Государственной Думе. Гости смотрели с недоверием, исподлобья и молчали.

— Приветствую вас, товарищи, — начал Ленин, по-доброму улыбаясь крестьянам. — Надеюсь, что мы вместе пойдем к цели — абсолютной смене государственного строя в России?

Старый мужик, сидевший напротив Ленина, подозрительно взглянул в его сторону и подумал: э-э, нас не обманешь! Знаем мы таких бунтарей в городских тужурках и стоячих воротничках! Пути у нас разные!

Он не сказал этого вслух, а только проворчал:

— Это мы еще посмотрим... Надо к вам, большевикам, хорошенько присмотреться...

Ленин сразу почувствовал недоверие, почти вражду. Осторожно, шаг за шагом принялся объяснять, что цель революции — уничтожение буржуазии.

— Рабочие возьмут в свои руки фабрики и банки и дадут вам землю, плуги, тракторы, косилки... — говорил он.

Крестьянин снова взглянул на него и перебил:

— Мужики и сами смогут взять землю в собственность. Нас — тьма! Когда мы поднимемся — кто нас задержит? Солдаты —

сыны наши, стрелять в нас не будут, ой, не будут! С землей и помещиками мы справимся мигом!

— Отлично! — воскликнул Ленин. — Тогда пролетариат поведет вас, товарищи, к новым победам революции!

— Погодите чуть-чуть, — укорил его мужик, хмуро глядя на чистый воротничок и белые, не знающие тяжелого труда руки Ленина. — Пролетариат — это как бы рабочий народ?

— Да, — ответил Владимир, еще не понимая, к чему ведет старый, твердый, как камень или ствол старого дуба, крестьянин.

— Какая же у вас работа, твоя, например? — спросил он и черным, жестким, как железный крюк, пальцем с потрескавшейся кожей осторожно дотронулся до бледной, мягкой ладони Ленина.

Такой оборот дела был неожиданным.

Пророк и вождь рабочих сощурил глаза и, чуть задумавшись, ответил мягким голосом:

— Я работаю головой, чтобы Россия могла жить счастливо...

— Да-а-а! — буркнул мужик, глядя на своих товарищей, насмешливо улыбавшихся в усы и ласкавших лохматые бороды. — Так и царь сказал бы то же самое, и полицейский, и учитель!

Внезапно оживившись, он начал говорить, размахивая черными корявыми руками:

— Нет, братец! Это мы уже не раз слышали! Ой, не раз! Ты, мил человек, походи за плугом босиком, в жестких полотняных портках, узнай, какой кровью дается наш труд, узнай холод и мороз, заботу о семье, страх перед неурожаем, голодом, болезнями... Эх!..

Ленин ответил уклончиво:

— Мы поведем вас к лучшей доле, товарищи! Мы станем перед вашими шеренгами и поведем.

Мужики обменялись быстрыми взглядами.

Старец, гладя бороду, проворчал:

— Теперь мы это уже знаем... Вы нас поведете? Только не спрашиваете, чего мы хотим?

— Ну, так говорите, хотя мы и сами знаем, — отозвался Ленин, по-доброму глядя на мужиков.

— Чего тут долго говорить?! — протянул старый крестьянин. — Мы не хотим царя, потому что он о войне время от времени ду-

мает, людей у нас забирает, зажимает налогами. Мы не хотим монархии, потому что пока она будет, вы не прекратите поднимать бунты – и никогда покоя не будет! С помещиками и дворянством мы справимся. Иначе зачем топоры, жерди и пожар? Хе? Так-то! Этого хотим и к этому стремимся мы, молодой человек!

Глаза у Ленина на секунду заблестели, но он остановил себя и спросил еще более ласково:

– Вы ничего не говорили о буржуазии, о капиталистах, которые платят вам за хлеб дешево, а за товары своих фабрик требуют высокую цену. Вам с ними хорошо, товарищи? Нужны ли вам ученые, адвокаты и остальная интеллигентная каналья, которая вас обманывает и тянет в объятия буржуазии, чтобы она смогла содрать с вас шкуру?!

Мужики молчали, задумавшись, скользя время от времени загадочным взглядом по прислушивающимся их к беседе рабочим.

Один крестьянин, высокий, плечистый посмотрел смелым взглядом и сказал спокойно, хотя и задумчиво, но твердо:

– Слышали мы уже эти ваши разговоры в Думе! Пустые они, ненужные и глупые. Кукушкины слова!

– Кукушкины? – вырвалось у возмущенного Калинина.

– Так и есть, кукушкины! – рассмеялся мужик. – Ничего у вас нет: ни дома, ни пашни, вас только чужие гнезда интересуют и хозяевами прикидываетесь! Буржуи дают нам плуги, отборные семена для сева, красивый скот, хорошие товары. Что же? Мы за все платим, потому что это нужные вещи. Во всем мире платят – платим и мы. А что же вы нам дадите? Управлять фабриками, вести хозяйство вы не умеете. Кузнец, слесарь, плотник – это, брат мой, не умный человек, который все знает... Как же можно обойтись без адвоката и ученых? Кто тогда посоветует? Не вы ведь?

– Мы поможем вам отобрать землю, захваченную царем и буржуями, – вставил Ленин.

– Спасибо! – хором ответили мужики. – В этом деле будем вместе с вами.

– Ну и ладушки! – воскликнул Владимир.

Крестьяне хитро улыбнулись.

– По правде скажем, – буркнул старый, – скажем, чтобы потом не было меж нами спору! Землю мы отберем, но никому

в наши дела вмешиваться не позволим... Наше будет тогда правительство. Мы не допустим ни бунтов, ни войны...

— А рабочие? — взорвался Калинин. — Что вы себе думаете? Мы с этим никогда не согласимся! Такую вам забастовку организуем, что горячо станет!

Ленин строго, с претензией посмотрел на товарища.

Однако мужики уже подняли головы и, глядя на всех угрюмо, молчали.

— Как-нибудь решим наши дела полюбовно, — примирительно обронил Ленин, хотя глаза его были сощурены, а челюсти сжаты. — Решим...

Старый крестьянин не обратил на эти слова никакого внимания. Он встал и, поправляя на себе сюртук, сказал:

— Сразу скажу, что о вас «земля» думает! Мы знаем, что от рабочих идут бунт и беспокойство. Мы заставим ликвидировать большие фабрики, где вас собираются тысячи. Распорядимся разбросать маленькие фабрички по всей России, далеко одна от другой. Если на каждой фабрике будет по сто рабочих, мы с ними справимся! Будет спокойно, а то теперь невозможно работать...

Присутствующие при беседе рабочие подняли шум. Раздались крики, угрозы, оскорбления:

— Буржуи! Читать не умеют, а уже о притеснении рабочих мечтают! Хорошо вас научили лакеи буржуазии, все это падло интеллигентское, эти либеральные прохвосты! Предатели!

Крестьяне смотрели друг на друга, как будто спрашивали, не пора ли закатать рукава и бить тяжелыми огрубевшими кулаками.

Ленин перехватил их взгляды и мысли.

Он вдруг рассмеялся звонко, искренне и весело.

— Товарищи! — крикнул он сквозь смех. — Забавная история! Из-за чего ссоритесь? Все правы! Товарищи от земли думают о земле, потому что это первое, что хотят они заполучить. Рабочие — о политической власти, так как для них это важнейшая задача. Давайте вместе захватывать позиции наших врагов, а потом придем к согласию и в остальных делах. Неужели будем делить шкуру медведя, которого мы пока еще не застрелили?!

Рабочие ворчали и злобно смотрели на крестьян. Те в свою очередь смотрели с презрением и говорили:

– Почему не договориться?.. Мы готовы. Только сначала земля!

Наконец они покинули жилье Ленина.

Товарищи бросились на своего вождя и завалили его претензиями:

– Вы говорили с ними, а ведь это – предатели революции! Что это значит? Стыдно! Позор!

Ленин сорвался со стула, подскочил к возмущенным рабочим и крикнул, шипящим голосом:

– Хватит! Хватит! Крестьян сто миллионов, вы слышите – глупцы? С ними постоянно приходится договариваться. Борьба с ними будет более долгой, чем с царем и буржуазией! Понимаете?

Товарищи умолкли, глядя на разъяренное лицо Ленина.

Заметив это, он немедленно успокоился и улыбнулся.

– Я вам только одно скажу, а вы запомните хорошенько! – *сказал вождь.* – Когда мы будем делать социальную революцию – деревня, «земля» выдвинет лозунг крестьянской буржуазной революции.

После ухода товарищей Ленин принялся бегать по комнате и радостно потирать руки, выкрикивая:

– Я не ошибся ни на йоту! Я все понял там, на Волге и Енисее. Ничего не изменилось! Я шел правильным путем. Без инициативы и руководящей роли пролетариата, крестьянство является нулем для революции, которую я готовлю. Нулем! Но к этому нулю я добавлю новые, огромные числа!

Он замолк и, щуря глаза, процедил через сжатые зубы:

– Даже если мне придется уничтожить пятьдесят миллионов крестьян! Они жадные рабы, а я согну их кровавым бичом, видением страшной смерти, эксплуатацией, какой они раньше не знали! Я сделаю из них новых рабов пролетариата, пока не опомнятся и не пойдут с нами плечом к плечу!

Он плюнул. Ему в этот момент ненавистен был этот муравейник невежественных людей от сохи, стоявших у него на пути.

Он был совершенно одинок, но мысль о тяжелой борьбе с крестьянством добавляла ему желания жить.

Уезжая, он имел при себе Надежду Константиновну, молчаливую, скромную, строгую – послушное орудие в его руках, и нескольких молодых людей чужой для него породы.

Один из рабочих, провожавших его, спросил:

– Как так случилось, Владимир Ильич, что ваши ближайшие помощники: Троцкий, Свердлов, Иоффе, Зиновьев, Каменев, Стеклов – евреи?

Ленин сощурил глаза и ответил:

– С русскими нельзя замахиваться на такие вещи! Они сейчас же начнут грезить, тосковать по душе вселенной, думать о том, как осчастливить человечество, а когда у них пуговица на рубахе оторвется, они впадут в отчаяние, сядут на берегах «рек вавилонских», станут бить себя в грудь, раскаиваться и поглядывать в небо бараньими глазами. Для нашего дела более всего подошли бы американцы, англичане или немцы. А так как их нет, я, товарищ, беру других, не имеющих в себе русской крови!

Он разразился злым смехом.

– А вы – наш русский человек. Но ведь вы ведете к цели и духом не пали? – задал новый вопрос рабочий.

– Какой же я русский человек? – возразил он, пожимая плечами. – Отец – астраханский калмык, мать – из дома Бланк, фамилия зарубежного происхождения... От калмыков я перенял смелость неповиновения, разрушения и наглость строительства нового мира на обломках и могилах старого!

Он взглянул на изумленного товарища и прервал свой вывод. Доброжелательно улыбнувшись, он мягким голосом добавил:

– Я подшутил над вами, друг мой! Какой же из меня иностранец? Родился я на Волге и с детства слушал рассказы о Стеньке Разине, Емельке Пугачеве и других разбойниках и бунтарях. Ха-ха-ха!

– Ну, успокоили вы меня! – воскликнул рабочий.

– Успокоил? Это хорошо! Сейчас я вам что-то другое скажу, – продолжал Ленин. – Я в отчаяние не впаду никогда и не остановлюсь ни перед чем! Я верю, что то, что мы сегодня проиграли – отберем завтра! В этом я не похож на русского человека! А это потому, что в молодости я выбросил из сер-

дца любовь к себе и заботу о собственной жизни. Я, товарищ, ничего не желаю, кроме победы партии, и приду к ней быстро, не успеешь оглянуться! Не думайте об этих, чужих нам по крови, помощниках наших! Задумываетесь ли вы о том, русский или кто-то другой изготовил вам молоток, пилу, зубило? Нет! Поэтому пускай вас не волнует, кто – русский, еврей, поляк, латыш или негр – даст вам социалистическое государство! Лишь бы только дал!

Рабочий рассмеялся и сказал с уверенностью в голосе:

– Ясное дело!

– Ну, видите, как это просто и понятно?!

– Ясное дело! – повторил рабочий, не задавая больше вопросов.

Ленин пока поселился в Цюрихе. Он работал здесь над созданием двух ежедневных газет, складывая копейку к копейке из присылаемой ему из России от недобитков его партии денежной помощи.

Теперь его главным врагом были меньшевики, и он точил нож для новой битвы с ними.

У него не было также слишком высокого мнения о западных товарищах, попавших в клещи демократической идеологии.

В конце 1907 года в Штутгарте он впервые испытал западноевропейскую социал-демократию, собравшуюся на конгресс II Интернационала.

Ленин предложил всем принять заявление, что в случае развязывания европейской войны все социалистические партии будут стремиться начать войну гражданскую против капитализма, подняв знамя социальной революции. Его поддержала только Роза Люксембург, и предложение было решительно отклонено. Бебель был принципиально согласен с мыслью заявления, но из тактических соображений считал его принятие ненужным.

Ленин с презрительным выражением лица воскликнул тогда:

– Помните, что пройдет несколько лет, и вы либо примете мое заявление, либо перейдете в ряды врагов пролетариата!

Он натянул на голову кепку и намеревался покинуть зал заседаний.

Но не сделал этого.

— Нельзя отступать! Конгресс примет никчемную «гуттаперчевую» формулу, которая их ослабит.

Он остался, и вместе с Зиновьевым и Розой Люксембург они продвинули поправку, обязывающую партийных социалистов к усилиям против войны и капитализма.

На следующий день, просматривая газеты, Ленин долго и зловеще смеялся. На него набросилась вся социалистическая пресса, называя «анархистом», Маратом, преступником и сумасшедшим, страдающим манией величия и личных амбиций.

— Глупцы! Вредные глупцы! — шипел он сквозь смех.

Взяв в руки газеты российских социалистов, руководимых Плехановым, он перестал смеяться. Внезапно успокоился и внимательно читал, останавливаясь на отдельных выражениях и словах.

Закончив, он закрыл глаза и сидел в раздумье.

— Читала? — спросил он Крупскую, кивком головы указывая на стопку разбросанных по столу и полу газет.

— Я просматривала сегодняшнюю прессу, — ответила она. — Атака на тебя по всей линии!

— Атака... — шепнул он. — Атака, которая закончится их поражением! Пока меня ни капли не волнует послушный, хорошо воспитанный и выдрессированный, как цирковая собачка, европейский социализм. Я расправлюсь с ним позже! Придет время, и они об меня поломают себе зубы... Но я не могу оставить без ответа наших полоумных, идущих как стадо баранов за Плехановым. Он знает, что делает, только до сих пор не открыл свои карты! Остальные идут за ним, ни о чем не думая. Я не могу дальше ждать! Необходимо открыть глаза партийным товарищам и выбросить на слом старые социалистические «иконы»... или... или хотя бы испачкать их с ног до головы грязью. Я должен навести в этом порядок!

Он схватил «Зарю» и начал читать вслух.

— Слышишь? — воскликнул Владимир. — Меня называют Нечаевым. Столько лет со мной работают, а до сих пор меня не знают. Я — и Нечаев! Что у меня с ним общего? Классовая ненависть, вера в спасительность революции, энергия борьбы? Но это есть у Плеханова, Каутского, Бебеля, Лафорже, — ба! — даже

у Чернова и Савинкова. Нечаев был бешеным слепцом, бездумно бросавшимся совершать сумасшедшие поступки. О, я не такой! О каждом своем шаге я думал годами и ставлю ногу там, где знаю каждый камень, малейший стебелек травы. Я знаю и могу предвидеть каждое содрогание души российского народа, которого никто не знает и никогда не знал... Лучшее тому доказательство – они меня не понимают!

Крупская тихонько рассмеялась.

– Что тебе пришло в голову? – спросил Ленин.

– Когда-то я читала твою характеристику. Уже не помню, кто писал, что ты самый способный ученик иезуитов, что в тебе совместились пороки и таланты Макиавелли, Талейрана, Наполеона, Бисмарка, Бакунина, Бланки и Нечаева, – сказала она со смехом.

– К такому биографу применимо определение российских попов, которые говорят о глупцах, что они «олухи царя небесного»! – ответил он и принялся весело и громко смеяться.

Это был смех удивительно беззаботный и искренний.

Ленин переехал в Женеву, где открыл газету, и здесь, в пещере «льва» – Плеханова, развязал войну против меньшевиков.

Он назвал их «гнилушками» и «побитыми псами», лающими на собственную тень.

Наконец, написал статью, которая напугала даже Надежду Константиновну.

Ленин доказывал, что меньшевики продались буржуазии.

– Так нельзя писать! – запротестовала Крупская. – Это уже явная клевета! Кто же поверит, что Плеханов, Дейч, Чхеидзе продались?!

Ленин смеялся, глядя на нее, а в глазах его было настолько глубокое презрение к опасениям жены и ее возмущению, что она умолкла и, подавленная, вышла из комнаты.

Социалисты не оставили это обвинение без ответа.

Ленина вызвали на партийный суд.

Он явился спокойный, беззаботный, только в зрачках его запылали насмешливые огоньки.

На вопрос, имел ли он намерение вызвать в широких кругах трудящихся недоверие к партии, он улыбнулся и ответил:

— Я совершенно сознательно использовал такие выражения, чтобы рабочий класс понял мои слова буквально, то есть, что вы куплены буржуазией.

— Но ведь это отвратительная клевета! — воскликнули судьи, вскакивая с мест.

Ленин безразличным взглядом охватил собрание и, пожав плечами, спокойным голосом заявил:

— Борясь с противником, всегда следует использовать слова, вызывающие в толпе самые худшие подозрения. Так я и сделал!

— Где же ваши нравственные принципы? — спросил с возмущением один из судей.

— Кто же это, товарищ, рассказал вам такие бредни, что у меня есть принципы и что я преклоняюсь перед нравственностью? — ответил он вопросом, щуря глаза.

— Существуют незыблемые этические принципы... — начал судья.

Ленин его нетерпеливо перебил:

— Товарищ, не теряйте слов и времени! В моем словаре эти понятия не существуют. Мой принцип — революция; нравственность — революция!.. Вот и все! Для достижения успеха все пути и средства допустимы.

— Даже подделка денег или «одалживание» их у жандармов? — крикнул с места для публики, стуча себя в грудь, какой-то молодой человек. — Что вы на это скажете, товарищ Ульянов?!

Ленин загадочно улыбнулся и произнес мягким, доброжелательным голосом, как будто обращался к ребенку:

— Скажу! Товарищ, нет ли у вас с собой клише банкноты, я бы использовал его для печати во имя партии и революции? А может, у вас есть знакомый жандарм, который хотел бы дать деньги на моего «Пролетария», я охотно возьму?..

Поднялся шум, крики возмущения, проклятия.

Ленин поднял голову и хриплым голосом воскликнул:

— Товарищи! Мне нечего вам больше сказать. Я ухожу и заявляю, что ваш приговор не свяжет мне руки, что я буду поступать так, как этого требует дело революции и партии большевиков, то есть настоящих социалистов, а не лакеев, угождающих либеральным лжецам и демократическим шантажистам!

Однако противники мешали ему в Женеве на каждом шагу. Он даже не мог найти для себя типографию и вынужден был переехать в Париж.

Здесь Ленин и Крупская вели тяжелую жизнь.

В России все спряталось или полегло, удушенное усиливавшейся угрюмой реакцией.

Социалисты или отказывались от своих убеждений и переходили в лагерь легальных либералов, или оплакивали минувшее время надежды, утверждая, что революция умерла на долгие годы, а быть может, навсегда. Никто уже не искал новых путей, и только из далекого Парижа доносился одинокий, но могучий голос:

— Не давайте обмануть себя гробовщикам революции, которую меньшевики и остальные предатели нашего дела называют хаосом. Мы пережили период великой революции не потому, что 17 октября 1905 года был оглашен манифест о Российской конституции, не потому, что буржуазия выступила с протестом против устаревшей формы правления, а потому, исключительно потому, что в Москве вспыхнуло вооруженное восстание рабочих и что перед мировым пролетариатом на один месяц заблистал, как путеводная звезда, Петербургский совет рабочих депутатов. Эхо революции не умрет! Она вскоре возродится, возникнут Советы рабочих, Советы победят!

Эти смелые, озаренные надеждой слова блистали, как далекие молнии. Для одних они были последними отголосками прошедшей бури, для других — зажигаемыми для страха фальшивыми огнями, для остальных же, а таких в России оставалось все меньше, звучали они, словно живые слова Евангелия, которое некогда, в мрачную эпоху преследования христиан, тайком проповедовали апостолы и их ученики, поддерживая и укрепляя веру преследуемых, замученных, охваченных тревогой, не знавших своей судьбы последователей дорогой и единственной для них правды.

Тем временем расколотая и почти уничтоженная партия не могла обеспечивать своего вождя и пророка денежными средствами.

Приходящих из России мелких сумм было недостаточно для содержания Ленина, Крупской, Зиновьева и Каменева, а большая

часть помощи тем временем шла на печатание газеты «Социал-демократ», в которой выдвигались лозунги надежды и призывы к бдительности, чтобы не упустить подходящий для поднятия красного знамени момент.

Это были годы голода и крайней нужды.

Ленин, питаясь черным кофе и хлебом, целые дни проводил в Национальной библиотеке и работал над рядом книг, которые впоследствии должны были стать библией новой секты революционного пролетариата.

Он не обращал уже никакого внимания на нападки социалистов из других лагерей, на их насмешки и оскорбления. Он работал, не павший духом, не сломленный в своей вере в грядущий рассвет новой революции.

Откуда эта вера и уверенность, что придут другие времена, когда слои трудящихся устремятся к своей цели — не раз спрашивал его Каменев.

Такой же вопрос читал Ленин в глазах Крупской и Зиновьева.

Он поднимал голову, прислушивался, внимательный и хищный.

Казалось, что это дикий зверь принюхивается и поджидает, чуя приближающуюся добычу.

Он щурил раскосые глаза, потирал руки и проникновенно шептал:

— Великая война неизбежна... Я ощущаю ее всеми фибрами души. Слышу ее тяжелую поступь, а с каждым днем шаги ее все громче, все ближе и тверже. Наступает наше время. Час окончательной схватки и победы!

Больше он не говорил. Больной, бледный, голодный, в порванной одежде он бежал в библиотеку, читал, писал, как будто опасался, что не успеет вовремя закончить работу, потому что с минуты на минуту надо будет приступать к действиям, к борьбе, для которой он — нищий, убогий эмигрант — скупо собирал, систематизировал и оживлял лозунги, составлял «священную книгу» новой веры, боевое оружие и орудие уничтожения вражеской крепости.

После тяжких лет притеснений начала просыпаться совесть угнетенного российского народа. На далекой сибирской Лене

эксплуатация и издевательства капитала довели до восстания рабочих в золотых рудниках.

Эхо жандармских выстрелов по беззащитным людям понесло угрюмую, дразнящую весть над безбрежными российскими равнинами.

Ответом на нее стало брожение в фабричной среде, в кругах интеллигенции, в Государственной Думе, в российской и заграничной прессе.

Правительство испугалось, и революционная стихия немедленно заняла новые позиции. В Петербурге и Москве появились легальные, хотя и радикальные, издания — «Звезда», «Правда» и «Мысль».

Ленин выплеснул целый поток своих статей.

Он поднимал в товарищах угасающую веру в возможность социальной революции, пробуждал отвращение к парламентаризму, приводил новые обвинения, осуждающие противников, и утверждал, что западный социализм прогнил вместе с легализмом социал-демократов.

Он дерзко бросал в лицо всему миру перчатку, заявляя, что только российский революционный пролетариат обладает силой, чтобы разрушить устаревшее, тонущее в маразме общество и вывести человечество на путь настоящего прогресса, идя во главе трудящихся всех рас и народов.

В этот период оживления партия потребовала от Ленина, чтобы он поселился вблизи российской границы. Ей постоянно нужны были его советы и указания.

Немедленно покинув Париж, он переехал пока что в Прагу.

Сюда ежедневно прибывали товарищи из Петербурга и Москвы. С этого момента его связь с Россией не прерывалась. Ленин вновь объединил и увеличил ряды партии, руководил газетой «Правда», в которой размещал статьи, откликавшиеся на все события, он готовил также речи для наиболее отважного депутата Государственной Думы товарища Малиновского.

Ленин помолодел. Из него выплескивался неисчерпаемый запас сил. Он не ел и не спал, советуясь с гостями, работая за письменным столом, рассылая личные письма, циркуляры и коммюнике.

Он вновь становился вождем.

Товарищи думали, что он руководит партией исходя из настоящих потребностей. Однако Ленин готовил партию для великих свершений, твердо веря и чувствуя, что давно ожидаемый момент приближается стремительно и неумолимо.

В это время Ленин созвал в чешской Праге съезд партии, чтобы обсудить на нем тактику действий на текущий политический момент.

Перед началом заседания он получил зашифрованное письмо. Прочитал его и загадочно улыбнулся.

На съезде к нему подошел незнакомец и, присмотревшись к нему с подозрением, произнес:

– Я счастлив познакомиться с вами, товарищ! Я делегат от социалистических левых в Государственной Думе. Я выступал с написанными вами речами...

– Малиновский? – перебил его Ленин.

– Да! – подтвердил незнакомец.

– Думаю, что мы должны переговорить с вами наедине... – шепнул Ленин.

– Действительно... Я хотел... – начал Малиновский.

– Не здесь! – покачал головой Ленин. – Придите ко мне сегодня же вечером. Мы будем одни... С глазу на глаз беседовать лучше. Правда?

– Конечно, лучше! – согласился тот. – Я приду к вам Владимир Ильич.

Около полуночи он появился в комнате Ленина и неспокойным взглядом шарил по всем углам.

– Вижу, что вы хотите мне сказать что-то важное! – усмехнулся Ленин. – Говорите смело, нас никто не подслушает.

Они сели и наклонили друг к другу головы, как два заговорщика.

– Произошла неприятная вещь... – неуверенным, дрожащим голосом начал Малиновский. – Товарищи утверждают, что у них есть доказательства... доказательства...

– Что вы работаете на два фронта: на революцию и полицию! – закончил вместо него Ленин.

– Так вы уже знаете? – спросил гость, глядя с недоумением и тревогой в пронзающие зрачки Владимира.

Тот молча кивнул головой и ждал, не спуская взгляда с беспокойных, бегающих глаз пришедшего.

– Это клевета! Обидно мне, Владимир Ильич! – воскликнул он, ударяя себя в грудь. – Вы же знаете, что я был меньшевиком, но постепенно, после долгих наблюдений и раздумий, перешел к большевикам и выполню в точности ваши указания, товарищ!

– Хватит! – прошипел Ленин. – Больше ни слова! Мне все известно, «товарищ Роман». Все! Начиная с вашей первой, обычной кражи и последней – со взломом, за что вас приговорили к тюрьме, – до тайных бесед с шефом жандармов Куриловым и с Белецким из департамента полиции!

Малиновский вскочил и полез в карман.

Ленин издевательски засмеялся.

– Оставьте в покое револьвер! Вам ничего не грозит со стороны нашей партии... пока... – прошептал он. – Вы нужны нам, потому что только вы... с позволения департамента полиции можете безнаказанно выступить с тем, что мы вам продиктуем. Партии безразлично, кто провозглашает наши мысли: честный социалист или подлый провокатор. Нам необходимо только, чтобы Россия слышала, о чем мы думаем и к чему стремимся.

«Товарищ Роман» молчал, с недоумением и недоверием глядя на Ленина, который любезно улыбался ему и продолжал:

– Мы будем защищать вас от всех обвинений на протяжении всего периода вашего с нами сотрудничества. Если же вы станете уклоняться...

Владимир встал и подошел к Малиновскому. Коснулся его кармана и произнес:

– Вас, товарищ, не спасет ни револьвер, ни даже весь жандармский корпус. Погибнете в тот же день, в который Центральный комитет партии вынесет вам смертный приговор. А пока будьте спокойны! Абсолютно спокойны!

Они расстались, сильно пожимая друг другу руки и доброжелательно разговаривая.

Едва за провокатором закрылась дверь, из шкафа выскользнул Зиновьев, а из-под кровати выполз старый партийный рабочий Муралов.

Они тихонько смеялись и говорили Ленину:

– Ну и забили вы ему, Ильич, гвоздь в голову! Ха-ха-ха!

Владимир сжал губы и прошептал:

– Это вредитель и последний мерзавец, но для партии он более полезен, чем опасен. Мы должны защищать его всеми средствами. А в свое время он споет все, о чем нам надо будет знать, а затем наступит... ликвидация...

– Смерть? – спросил Зиновьев.

– Такие не должны жить долго, – с мягкой улыбкой ответил Ленин. – Только хорошенько запомните сегодняшний день, быть может, вам придется подтвердить содержание моего разговора с провокатором и с вами.

Они молча кивнули.

– Я хочу ввести Малиновского в Центральный комитет партии; обеспечьте его единогласное принятие на завтрашнем конгрессе! – добавил Владимир.

Кивками они опять подтвердили приказ вождя.

У них не было никаких колебаний и тени сомнения.

Ведь они шли к цели партии.

За нее они готовы были отдать жизнь... свою, чужие, даже если пришлось бы уничтожить полчеловечества.

Для них – светлый идеал, для врагов – страшное преступление.

ГЛАВА XIII

Приближается буря!

Едва прозвучали эти слова, буря разыгралась. Буря в горах – бешеная, огненная, шумная, стоголосая буря.

Родилась она из черной тучи.

Из той, что с рассвета собиралась на востоке.

В начале дня она была подобна испарениям над болотом. В полдень превратилась в жуткую свалку желтоватых облаков, собиравшихся на бледном небе. Перед заходом солнца она превратилась в черное полотнище с пятнами белых, быстро бегущих облаков.

Во время пурпурных сумерек она уже повисла, как черная траурная ткань, придавив собой всю восточную часть неба.

Еще ждала неподвижно, как беременное чудовище, онемевшее от страха перед родами.

Наконец, взвыла от боли родовых схваток.

Издала могучий вздох.

Дыханием своим наклонила ветви деревьев и сморщила серебряные ленты ручьев. Сомкнула раскинутые в бессилье щупальца, напрягла грудь и заревела голосом муки безмерной.

Голос отчаянного ужаса разошелся по горным ущельям Татр, несся буйным потоком, хлестал и трепал скальное русло.

С грохотом катились камни, спускались лавины песка, с плеском выбрасывались на крутые берега поднявшиеся горные потоки и испуганная река, бывшая как кровь в последних лучах солнца.

Разорванное чрево тучи роняло огненные плоды – змеевидные зигзаги молний.

Только что родившиеся, взбешенные, они вонзали свои жала в верхушки гор, падали в долины, били в толстые стволы деревьев, ломали ветви, изрыгали пламя на стрехи горных стоянок.

Горы вторили их рычанию грохотом катящихся камней, треском раскалывавшихся елей и могучим эхом.

Оно разошлось, разбушевалось. Перепрыгивало через долины и бежало в испуге по верхушкам, как сорвавшаяся от страха коза. Оно скатывалось на дно глубоких долин, неслось вслепую, врезалось в свисающие края скал, останавливало на ходу вспенившиеся потоки и пропадало далеко, где-то на опустевших пастбищах.

Туча снова вздохнула и дышала тяжело, от большой боли, в мучительном отчаянии.

Все звуки утонули в шуме, свисте, вое, стонах порывов ветра. Молнии падали, как проворные змеи, без звука, онемело пугливое эхо.

Только грудь, разрываемая воющим стоном, дышала тяжело.

Покатом положило это могучее дыхание черный пласт леса, подтолкнуло в пропасть песчаную лавину, сбросило вниз веками лежавшие, поросшие мхом и горной сосной груды скал, но не облегчило беременное чрево.

Оно выплеснуло из неведомых глубин струи воды; растворилось в слезах, заполнило выше берегов русла ручьев, смыло и понесло среди водоворотов и пены сорванный дерн, кустарники, куски лужаек, остатки оград и беспомощное, в диком ужасе стадо овец.

Задрожала, разбрызгалась, растворилась в слезном рыдании беременная туча и бросила на измученную землю последние струи дождя.

На западе тоненькой красной полоской обозначилась непогасшая вечерняя заря. На сбрасывающем темные объятия небе загорались звезды...

Двое людей, спрятавшихся под нависающей скалой, вышли на тропинку и охватили взглядом далекие, тонущие в мягком сумраке долины и горы.

— Я все понял! — воскликнул один. Он поднял к небу могучее воодушевленное лицо и всей грудью втянул пахнущий горный воздух. — Я все понял! Ты намерен обратить в прах несправедливость поколений, а на обломках и пожарищах построить храм свободного человечества. Я как наяву вижу отчизну мою, руко-

водимую ничем не ограниченным духом. В смятении душевном я предчувствовал это знойное время, говоря братьям:

Горящими искрами полон,
Тлел в моем сердце жар,
Стоило лишь подуть,
И мир охватил пожар...
Пылает мир... пусть погибнет
В буйстве ужасном искр,
Лишь души наши тоскливые
Хотелось бы, чтоб спаслись...

Он поднял руки, вдохновенно охватывая всю землю, и воскликнул:

– Ленин! Ленин! Ты великий пророк, учитель, мессия угнетенных народов!

Тот, кому горячий поэт адресовал слова восхищения, кивнул лысым, круглым черепом, прищурил глаза и хрипло сказал:

– Это правда! Мое пришествие предсказал 140 лет назад другой бунтарь, сражавшийся за счастье угнетенных... Пугачев! С плахи бросил он палачам пророческие слова: «Я не орел, а только птенец орлиный; орел еще парит под облаками, но спустится, спустится!» Вот я и спустился!

Исказилось лицо с выступающими скулами, раскосыми глазами и синими вздутыми губами.

Смеялся он тихо... долго... без звука и без выражения.

Поэт задрожал всем телом, всматриваясь в это явление, проступающее из темноты бледное пятно, словно призрак ужасного, выглядывавшего из мглы небытия обличья.

Раскосые глаза, выступающие скулы, толстые губы, окаймленные редкими усами, желтоватая кожа обнаженного черепа – все расплывалось в мутном круге, убегавшем в безмерную даль, необъятную взором.

Какие-то наездники на маленьких верховых скачут, а земля стонет и пульсирует под тысячами подвижных, жестких копыт. Люди в остроконечных шапках, в бараньих кожухах свистят и воют ужасно. Свистят выстрелы. Блестят поднятые в замахе острия мечей. Рябят высунутые вперед острия копий. Летят как вихрь, а вокруг зарево и буйство пламени над городами

и ржаными полями. Возле костров взрывы скрежещущего смеха, пронизываемые стонами, плачем ужаса и отчаяния. В проблесках и дрожании багровых языков пламени мечутся нагие невольницы. Их белые тела и расплетенные волосы клубятся везде, словно пена гребней волн. Вооруженные люди с раскосыми глазами хватают их с глухим, придушенным похотью смехом и падают на смятую траву.

Среди мерцаний костров они прижимают белые нагие тела, быстро и хищно овладевают ими и здесь же в облаках дыма, в шуме смеха и выкриков перед обличьем смерти безумствуют в страстных утехах. К стоящим в стороне грозным вождям волокут побежденных русских князей и толпы пленников. Смеются обрадованные победой вожди и собственноручно подрезают глотки, вскрывают груди и вынимают сердца врагов. Кровь, причитания, хрипение агонии, крик боли гибнущих, рыдания нагих и охваченных безумием женщин, бросаемых под ноги победителям. Пресыщенные утехами и кровью монгольские вожди покорным князьям, что стоят на коленях вдоль края дороги, дарят своих сестер и дочерей, а русские бояре в страхе за жизнь ведут в палатки захватчиков своих женщин. Из мрака выступают татарские лица потомков победителей и побежденных, угрюмая, хищная голова Ивана Грозного и еще более жуткие призраки жестокости русских царей и их не знающего милосердия могущества, топчущего народы и людей...Вокруг трофеи и трупы убитых; пожарища и руины; виселицы и тюремные темницы; рыдания, стоны, проклятия, ненависть, бунт — и вновь виселицы, кандалы, бесчисленные могилы, окружающие, словно мрачные вехи, исчезающий на востоке, разбитый, залитый кровью и угрюмый, как старое кладбище, путь.

Ленин продолжал смеяться. Тихо... долго... без звука и без выражения...

Поэт протер глаза и очнулся.

Он заглянул глубоко в мрачные раскосые глаза, в широкое лицо с толстыми губами; заметил кости, выступающие на щеках под желтой кожей, редкую растительность над губами и на бороде; взгляд остановился на крепком, круглом, лысом, светящемся в темноте черепе — и весь содрогнулся.

— Вот я и спустился... — шепнули вздутые, синие губы Ленина.

Поэт молчал.

Он посмотрел на восток. Там повисла бездонная, не просматриваемая глазом темнота.

Повернулся на запад. За черным занавесом гасли остатки зари.

Подобно внезапно начинающейся буре пришел безмерный ужас. Поэт поднял руку и произнес вырывающимся из души голосом:

— А если землю во мраке утопишь — погибнешь, и проклинать будут тебя внуки внуков наших...

Ленин смеялся, а с толстых губ его сочилось острое, пронзительное шипение.

Он весь трясся и щурил раскосые глаза...

Где-то далеко-далеко, уже за горами, пробежал глухой рокот прокатывающейся над миром бури.

Слабый рокот... Ему даже не ответило эхо.

Оно не слышало отголосков улетающей бури, а может, не поняло далекой опасности?..

ГЛАВА XIV

Ленин, расставшись с поэтом в горном санатории в Закопане, возвращался один в свою хату в деревне Поронин.

Он переехал сюда вместе с Крупской и Зиновьевым из Кракова, чтобы быть поближе к российской границе. Он ежедневно ходил пешком из деревни Поронин на почту или в Закопане, где у него было несколько друзей – поляков и русских, издавна живущих в этом подгорном городке.

Сюда разными путями, а чаще всего контрабандными тропами – через «зеленую границу», прибывали российские революционеры из партии большевиков, чтобы посоветоваться со своим вождем. Возвращались они с зашитыми в одежде, шапках и сапогах написанными им статьями, брошюрами и листовками, расходящимися по России в тысячах копий.

Теперь, после прогулки в горы, всей грудью вдыхая живительный воздух, свежий и чистый после бури, еще огрызавшейся издалека глухим рокотом, он возвращался домой.

Перед ним было несколько километров пути.

Он подумал, что можно заглянуть к знакомому русскому Вигилову и попросить у него велосипед, но не сделал этого. Постукивая горным посохом, пошел в Поронин.

Припомнил вдохновенные слова польского поэта, благословившего его на великое свершение – показать человечеству путь небывалого в истории прогресса духа.

Хитро улыбнувшись, он пробормотал:

– Обещание освободить угнетаемые народы потрясет весь мир!

Он снова рассмеялся, уже громче.

Однако мысль устремилась дальше. Она, казалось, проводила ревизию сил, контролировала завоеванные позиции, выдвинутые вперед посты, изучала вражеские крепости.

Каждый другой человек на его месте отчаялся бы и засомневался. Потому что вокруг росли мощные вражеские преграды.

Европейская война, которую он предсказывал уже несколько лет назад, разразилась. Он оценивал ситуацию с холодной рассудительностью, не сомневаясь, что европейские державы собирают весь запас внутренних сил, что они постановили довести до конца окончательный расчет.

«Мы будем свидетелями кровавой резни между империалистическими хищниками!» — подумал он и снова рассмеялся, размахивая посохом.

Возрастающий в России патриотизм, искусственно поддерживаемый правительством и прессой, должен был заставить революционные партии молчать или укрыться в мышиных норах.

Ленин видел, что в кругах немецких и французских социалистов его считали сумасшедшим и фанатиком, верившим в социальную революцию; меньшевики во главе с Плехановым, Мартовым, Даном, Аксельродом, пытались выкопать пропасть между *своей партией и большевиками*, развернув отчаянную кампанию против «анархизма» их вождя; Троцкий, Иоффе, Урицкий работали над примирением обоих ответвлений социализма; в самом лагере, созданной Лениным организации, царил раскол и разные тактические подходы: такие способные люди, как Лозовский, Вольский, Богданов, Луначарский и Алексинский, боролись с большевистским центром, руководимым Лениным, Каменевым, Зиновьевым и Крупской.

Все, казалось, перешло в лагерь врагов.

— Кто же остался в моих рядах? — спрашивал Ленин. — Три верных товарища, которых в критический момент тоже может напугать последнее, решительное слово. Маленькие, как окруженные неприятелем острова в бурном море, группы партийных рабочих. Либкнехт, Роза Люксембург, может быть, Клара Цеткин в Германии... Да! Они не предадут, не отступятся от наших лозунгов, но как поступит целая масса тех нескольких миллионов объединенных во II Интернационале рабочих, руководимых старыми вождями Каутским, Бебелем, Плехановым, Вандервельде, Шейдеманном, Ладзари? Прислушаются ли эти сбившиеся с пути отряды к голосу партийной совести и здравого смысла?

Ленин приостановился и на минуту задумался.

— Нет! — прошептал он. — Там, на западе, я не найду союзников...

Он рассмеялся и продолжительно свистнул.

— И что же? — спросил он кого-то в темноте. — И что же? Склонить покорно голову, ждать лучших времен и молчать?

Смех его становился шипящим и язвительным.

Внезапно ожили воспоминания о цепи зеленых и розовых гор, которые он видел в подоблачном ущелье, куда завел его влюбленный в свои горы и долины несгибаемый и твердый, как скала, с ног до головы польский поэт.

За каменной преградой, за завесой из ореола перекрещивающихся солнечных лучей Ленин видел всю землю.

Он увидел ее такой, какой знал ее все годы глубоких раздумий, тяжких забот, палящей ненависти.

Это была страна слез, плача и скрежета зубов...

Испокон веков, с забытых времен могущественных, гордых цесарей четырех сторон света, сидящих на троне Ассирии и Вавилона, со времен таинственных королей-священников, сынов египетского Ра — солнца, со времен божественных властителей Китая и так без конца, через эпохи, столетия, через мечи и скипетры коронованных хищников, мудрецов и святых... Страна вечного, кровавого насилия кучки могущественных, мудрых и вооруженных над муравейником убогих, беззащитных, беспомощных.

— Ха-ха-ха! — раздался громкий, злой смех стоящего на дороге в полинявшей одежде и стоптанной обуви человека.

— Ха-ха-ха! — смеялся Ленин, щуря раскосые глаза, сжимая челюсти, пока возле маленьких, прижатых к черепу ушей не задрожали желваки. — Ха-ха-ха! Это мои отряды! Все те, которым оставлено единственное право — плакать, рыдать, выть от отчаяния, скрежетать зубами от ненависти!.. Они пойдут за мной!.. Самые несчастные, самые невежественные, самые заклейменные, на первый огонь, а за ними те, которые уже умеют терпеть и молчать. Но я вырву из них холодную ненависть, чтобы они заскрипели зубами, как старые телеги, и пошли за мной... И пойдут!..

Он тихо, почти мягко улыбнулся, как всегда, когда знал, что взвесил все точно и был уверен в успехе.

Он шел дальше, скользя безразличным взглядом по усеянному звездами небу. Неуловимое, далекое – оно было для него чужим, неинтересным. Веселыми, проницательными глазами он пронзал землю, горы, черной зубастой стеной выступающие на фоне неба, темные леса, окна хат горцев, светивших по сторонам дороги.

Он чувствовал землю всем своим естеством.

Его пронзали приземленные судороги, с полей, лесов и убогих хат долетали до него шорохи и шепот; он понимал их и отвечал мыслями и тихой радостью, которую ощущал в сердце.

Удивительна судьба неизвестного людям изначального предначертания!

Вот в этот момент, в ночном мраке, на усыпанной песком дороге, вблизи скрытых в горных долинах деревень шел одинокий человек. Под куполом мощного черепа он нес мысль, которой предстоит потрясти весь мир; здесь, под покровом старых придорожных ив, загорались огоньки в дерзких, раскосых глазах, видящих все, что живет, думает и страдает, за этими горами и за далеким горизонтом, намеревающихся своим жаром оплодотворить ненависть, чтобы получить богатый, вечный урожай любви. По расшатанному мостику, переброшенному над юрким ручьем, шел человек с желто-бледным лицом далеких монгольских предков и думал о разрушении всего, что веками кровавой борьбы и орлиного полета гения строили тысячи поколений, стремящихся к счастью, но руководимых подсознательным стремлением к божеству.

В неизвестном маленьком горном уголке шел человек. В этот самый момент в прекрасных дворцах властителей, парламентов, богачей, в храмах веры и науки, в тихих мастерских творцов войны, знаний, мира и спокойствия бежал своим чередом ничем не обеспокоенный поток ежедневных забот и проблем, как будто русло его было вырыто на веки веков. Никто не предчувствовал приближающейся катастрофы, вызванной словом, которое со временем могло бы стать телом; никто не подозревал, что где-то в тишине Татр дышал и ду-

мал человек, имеющий силы, чтобы объявить себя второй Мессией — белым или черным, лучистым или мрачным, Христом или Антихристом...

Загнанное стремительным ходом жизни человечество шло протоптанной веками тропой безымянных героев и мучеников, безразлично глядя на вехи трухлявых, обветшалых идей, не видя перед собой иной цели, кроме черной пасти могилы.

Человечество давно утратило веру и надежду, не мечтало о новых мессиях и не слышало голоса человека с раскосыми ненавидящими глазами, с зажатыми в упорстве губами, с четкими, неизменными принципами.

Ленин приближался к Поронину.

На дороге стояла одинокая фигура. Он разминулся с ней, внимательно присмотревшись.

Это был молодой мужчина. На его красивом одухотворенном лице пылали в бледном свете восходящей луны вдохновенные глаза.

— Извините... — долетел до Ленина тихий голос. — Имею ли я честь видеть товарища Владимира Ильича Ульянова-Ленина?

Владимир приостановился, подозрительно взглянул на незнакомца.

— Да, я Ленин, — ответил и встал в настороженную, готовую к обороне позу.

— Меня направили к вам, товарищ, — сказал парень. — Я сегодня прибыл из России... Я член Центрального комитета социалистов-революционеров, Селянинов, Михаил Павлович Селянинов, партийное имя «Муромец». Видите, я абсолютно откровенен? Прошу того же и с вашей стороны, товарищ!

Ленин внимательно, недоверчиво рассматривал его и молчал.

Незнакомец слегка улыбнулся и прошептал:

— У меня нет при себе оружия... Можете меня обыскать. Я пришел сюда не с целью террористического покушения на вас, а для серьезного... окончательного разговора...

Ленин покачал головой и спросил:

— Мы рядом с домом... Может, хотите заглянуть ко мне?

— Я предпочел бы говорить с вами здесь. Дома вы не один... — возразил Селянинов.

— Как хотите! — пожал плечами Ленин. — Давайте присядем здесь. Я возвращаюсь с гор... Очень устал...

Они сели рядом на куче камней и долго молчали.

Ленин с удивлением поднял на незнакомца глаза.

— Сейчас... — прошептал Селянинов, отвечая на немой вопрос. — Я хочу точнее сформулировать свои вопросы и требования.

— Требования? — повторил Владимир и сощурил глаза.

Внезапно он понял цель прибытия парламентера.

Селянинов задал первый вопрос:

— Вы намерены начать революцию в период войны?

— Да!

— Вы намерены отдать политическую власть рабочим массам?

— Да!

— Вы намерены поставить деклассированный пролетариат во главе крестьянства? — выпытывал Селянинов.

— Да! Вы знаете об этом, потому что я неоднократно писал о нашей партийной программе в период революции, — ответил Ленин.

— Знаем! — подтвердил молодой человек. — Именно по этому поводу партия направила меня, чтобы договориться с вами.

— Так в чем же дело?

— Мы предлагаем сотрудничество по всей революционной линии...

— По всей? Хорошо ли я расслышал? — вырвался у Ленина насмешливый вопрос.

— Да, но... до момента победы революции, — ответил Селянинов.

— Это забавно! — рассмеялся Владимир. — Может, будете так добры и проясните детали столь необычного предложения?

— С этой целью я и прибыл сюда, — ответил серьезным голосом парень. — Центральный комитет социалистов-революционеров будет сотрудничать с вами до момента свержения династии, отмены монархии и экспроприации земли. Он будет помогать вам в урегулировании жизни трудящегося пролетариата, но взамен требует не вмешиваться в политику крестьянства. Потому что у него имеются свои идеалы и традиции...

– Традиции мелких буржуев, худших, чем крупные, потому что крестьяне пассивны и невежественны! – перебил его с воодушевлением Ленин.

Селянинов глубоко заглянул в горящие зрачки Владимира и с нажимом повторил:

– У крестьянства есть свои классовые идеалы и традиции! Наша партия способна превратить эти сто миллионов людей в самую мощную часть общества, которая будет руководить дальнейшими судьбами России.

– Вы хотите крестьянской, мелкобуржуазной революции, а мы должны проливать за нее нашу кровь, чтобы навесить себе новое ярмо, и кто знает, не более ли тяжкое и трудное для свержения?

– Мы поможем вам установить справедливость, – воскликнул Селянинов.

– Нет! Справедливость воцарится тогда, когда ее установим мы – трудящийся пролетариат! – взорвался Ленин.

– Погибнете! – прошептал парень. – Рано или поздно стихийная сила людей от земли сметет вас, как принесенные из чужого края сухие листья!

– Очень поэтичное сравнение, но совсем неубедительное! – рассмеялся Ленин издевательски. – Мы сами справимся с этими ста миллионами невежественных, жадных людей. *Est modus in rebus*, товарищ!

– Трудное задание! – улыбнулся Селянинов. – Вы не закончили латинский текст, Владимир Ильич, а может, вы его не знаете? Римский поэт дальше сказал: «*sunt certi denique fines, quod ultra citraque nequit consistere rectum!*» Неизменная правда всего дела, товарищ, находится в любви к земле, орошенной собственным потом! Мы никому ее не отдадим! Я говорю о русской земле, где на протяжение веков поколения предков переворачивали пласты почвы и вспахивали борозды!

Ленин шипящим голосом сказал:

– Мы эти ваши сто миллионов разделим на три-четыре течения и бросим на борьбу друг с другом! Велик и мудр этот принцип: «*divide et impera!*»

– Погибнете! – повторил с нажимом Селянинов.

– Доведем наш план до конца! В России победит социальная революция.

– Погибнете! – раздался, как эхо, горячий шепот.

– Победим! – ответил шипящий голос.

– Вы не принимаете нашей помощи и наших условий?

– Нет! И еще сто раз нет! – крикнул Ленин и с размаху ударил посохом о камень. Дерево треснуло, а наконечник зарылся в глубоком песке и дорожной пыли.

– Так же произойдет и с вами! – заметил Селянинов. – Ваше оружие рассыплется, и земля накроет его.

– Не играйте предрассудками, товарищ! – возмутился Ленин.

– Запомните хорошенько сегодняшний случай с посохом и мои слова! – произнес парень, вставая и глядя на Владимира.

– Не прикидывайтесь предсказателем или колдуном! – ответил злым голосом Ленин и, наклонив голову, добавил: – Скажите вашим товарищам, что за их попытки отвлечения меня от моей цели наша партия отправит их на виселицу, чего и вам, Чернову и Савинкову от души желаю!

Он развернулся и пошел в направлении дома.

– Погибнете! – долетел до него издалека звонкий, воодушевленный голос. – Погибнете и вы, и партия ваша!

Ленин шел домой и потирал руки.

– Отменно! Они боятся меня и уже присылают искусителей – думал он. – Большой, настоящий успех!

Дома он застал почти всех товарищей и эмиссаров, прибывших из России. Вся комната была наполнена дымом. Раздавались возмущенные голоса спорящих людей.

Заметив вошедшего, они бросились к нему и окружили.

– Ильич, вы не читали сегодняшний «Форвертс»? Поражение! Немецкая социал-демократия решила одобрить кредиты на войну! В рейхстаге будет протестовать только Либкнехт, и никто не сомневается, что он будет одинок! Поражение! Предательство! Немецким товарищам нипочем штутгартская резолюция и ее подтверждение на съезде в Базеле!

Ленин выскочил вперед, раздвинул окружавших его товарищей и, схватив «Форвертс», прочитал отчет с заседания немецкого парламента.

Он страшно побледнел. Тер потный лоб и смотрел на собравшихся отсутствующим взглядом.

Наконец стиснул зубы и выдавил:

— Этого не может быть! Это националисты издали фальшивый номер «Форвертса». Акулы империализма способны на все!

Они долго обсуждали беспокойное известие. Этой ночью никто не думал о сне. Перед полуночью Ленину доставили депешу из Берлина.

Телеграфировала Клара Апфельбаум.

Прочитав короткое донесение, Ленин, тяжело дыша, сел, как будто силы внезапно оставили его.

Сомнений не было. Парламентские фракции немецких, французских и английских социалистов решили одобрить кредиты на войну.

В комнате воцарилось глухое молчание.

Все всматривались в лицо Ленина.

Оно становилось более желтым и угрюмым. Проницательные глаза широко открылись, губы судорожно сжались, веки и вырастающие около ушей желваки подрагивали. Из полумрака выглядывало дикое, окаменевшее от бешенства и ненависти, монгольское лицо, а пальцы, теребящие редкую бородку, сжимались и распрямлялись, подобно когтям хищной птицы.

Ленин молчал долго. Наконец встал и хрипло провозгласил:

— Второй Интернационал мертв!..

Присутствующие опешили, слыша эти кощунственные слова, сказанные о могущественной организации, охватывающей широкой сетью Старый и Новый свет.

Еще большее недоумение, а скорее ужас вызвало следующее заявление вождя и учителя:

— О, наша карта еще не бита! Мы созовем третий Интернационал; он не предаст пролетариат; он не вонзит нож в спину социальной революции! Мы будем его творцами! Прощайте, товарищи! Я должен писать...

Он сел за стол и задумался.

Писал до рассвета. Он бросал страшные оскорбления и обвинения предателям трудящихся масс; призывал рабочих всех на-

родов к протесту против соглашателей, слуг капитала, никчемных трусов и размахивал красным знаменем, на котором горели слова: «Созвать новый Интернационал для последней, победной битвы угнетенных с угнетателями!»

Несколько дней, почти не отрываясь от работы, Ленин писал, редактируя коммунистический манифест о войне, рассылая письма во все уголки мира, убеждая, беспокоя совесть, призывая к борьбе, придавая анафеме еще вчера обожаемых вождей, сегодняшних предателей дела, врагов трудящихся масс.

Однажды вечером в маленьком деревенском домике, в котором жил Ленин, появилась австрийская полиция и военный патруль.

Кто-то донес на таинственного русского, обвиняя в шпионаже в пользу России. После обыска его арестовали и доставили в тюрьму в Новом Сонче.

Ленин не думал о грозящей ему опасности. Другие, более важные мысли поглощали его.

Тем временем с каждым днем все более черные тучи собирались над его головой.

Австрийские военно-полевые суды не создавали себе лишних хлопот с лицами, подозреваемыми в шпионаже. В начале войны совершенно случайно пойманных невинных людей расстреливали почти ежедневно. Поэтому польские социалисты нажали на все пружины, чтобы вызволить Ленина из тюрьмы.

Лидер австрийских социалистов Виктор Адлер, которому они обо всем рассказали, имел долгую беседу с председателем Совета министров графом Штюргком; он горячо, с пафосом доказывал, что заточение такого известного вождя непременно вызовет возмущение российских трудящихся масс, относящихся к войне пассивно или даже враждебно, указывал на неизмеримую пользу пребывания Ленина на свободе, так как тот работает над разжиганием в России революции в период войны.

Объяснения Адлера убедили министра, который тогда впервые услышал о партии и программе большевиков. Он немедленно проинформировал обо всем свой генеральный штаб и правительство.

Из Вены пришел приказ об освобождении Владимира Ульянова-Ленина.

Пока по его делу происходила переписка, Ленин находился в тюрьме.

Он сидел в глубоком раздумье в камере, куда посадили еще одного заключенного.

Он тоже был русским – простой безземельный, темный, неграмотный мужик. Прибыл в Австрию год назад на полевые работы, потому что дома умирал с голоду. Обо всем этом он рассказал Ленину и добавил, что его арестовали во время пересечения границы.

Когда патруль спросил, куда он идет, искренне ответил, что как резервист возвращается на родину, чтобы на время войны пойти в армию.

Во время обыска у него нашли письмо с планами шоссейных дорог и списком австрийских полков, стоящих вблизи российской границы.

– Кто вам дал это письмо? – выкрикнул Ленин, слушая рассказ товарища по несчастью.

– Управляющий имением, в котором я работал, – ответил он. – Дал мне письмо и наказал доставить своему знакомому в Москве. Я не знал, что он писал в этом письме, а теперь говорят, что я шпион.

Он закончил и тяжело вздохнул.

Ленин больше не слушал мужика и не разговаривал с ним. Он думал над делами, несравнимо более важными, чем судьба невежественного, никому не нужного крестьянина.

В мыслях он составлял план безошибочной атаки на второй Интернационал.

Наконец работа была завершена в самых мельчайших подробностях, и он начал прислушиваться к тому, о чем говорит лежащий на нарах мужик. Бедняга, наверное, чувствовал непреодолимую потребность излить волновавшие его мысли. Он говорил без перерыва, перескакивая с предмета на предмет.

Однажды утром к нему пришел патруль и отвел в суд.

Мужик вернулся под вечер. Он был спокойный и удивительно безмятежный. Его глаза горели необычным блеском, а с просветленного лица лучилась радость.

– Ну, как там ваше дело? – спросил его Ленин безразлично.

– Закончено... – ответил тот, легко улыбаясь.

— Вижу, что все прошло хорошо? — сказал Владимир. — Вас отпускают?

— Смертный приговор...

Ленин вздрогнул и поднял на него недоумевающие глаза. Он не заметил ни малейшего волнения и беспокойства на загоревшем, исполосованном глубокими, словно борозды, морщинами лице мужика.

Тот стоял выпрямившись и пальцами расчесывал рыжеватую, падающую на грудь бороду.

Улыбнулся с каким-то удивительным выражением на лице и тихо спросил:

— В Бога и Сына Божьего веришь?

— Бога я не знаю, а Иисуса из Назарета уважаю, за то что напустил страху могущественным и несправедливым, — ответил Ленин с вынужденным смехом.

— Бога знать никто не может, Его надо чувствовать! Глубоко, брат, спрятался Он в человеке... ой, глубоко! А человек — это сильная, мощная вещь... Через его скорлупу даже Богу нелегко пробраться!

Он подумал минутку и добавил:

— Хорошо то, что Христа уважаешь... хвалю!..

— За что? — спросил Ленин, удивляясь самому себе, что поддерживает разговор о совершенно чуждых для себя понятиях.

— За то, что чувствуешь в самом убогом человеке сияющего Бога!.. Сын нищей девственницы, о которой соседи наверняка говорили друг другу отвратительные, пошлые вещи, и вдруг — Сын Божий! Никто не знал, почему он Сын Божий, сам Он тоже не мог этого объяснить, но верил в это и другие поверили, и верят уже сколько веков... Происходит так потому, что каждый человек — Сын Божий, брат Христа...

— И Спаситель, которому невежественные, поддавшиеся уговорам попов люди возносят молитвы! — добавил со злым смехом Ленин.

— Нет, мил человек, нет! Спаситель был один... А знаешь почему?

— Ты говоришь как хорошо начитанный монах... — заметил Владимир.

— Какой я начитанный?! — возразил, пожимая худыми плечами, мужик. — Когда меня лишили пашни, бродяжничал я долгие годы, жил в монастырях, работая за кусок хлеба, любил с учеными монахами поговорить...

— Так это они научили тебя церковным бредням? — встрял с вопросом Ленин.

Мужик отрицательно покачал головой и прошептал:

— Нет! Не они. Правду я узнал от одного отшельника, скрывающегося в лесах при Каме.

— Так ты сектант?

— Нет! — запротестовал крестьянин. — Я искал у них правды, покоя, радости — ничего не нашел. Только обман!..

— Еще бы! — воскликнул Ленин. — Однако ты не сказал, почему считаешь Иисуса настоящим Сыном Божьим?

Мужик сел на нарах и, подпирая голову рукой, сказал:

— Потому, что обладал он смелостью созидания... Божественной смелостью, потому что среди лжи и обмана устанавливал правду, нищих, крестьян, рыбаков назначил апостолами; воскрешал умерших, а потом заповедовал: «Не судите!»

— Не понимаю... — признался Ленин, глядя с интересом на товарища.

— Это же просто! — ответил мужик, коснувшись его плеча. — Послушай! Бог не является Богом только потому, что остается на небе сам по себе, всемогущим, всезнающим, бессмертным Творцом. Нет! Он такой потому, что вместе с ним могуществом, знаниями и даром созидания обладают архангелы, ангелы, злые духи и слабые люди. У каждого из них своя судьба и свое предначертание... что-то вроде срока и заданной для исполнения работы. Христос первый и единственный понял это. Он не думал, что страдает только Он сам, терпит зной, притеснения и муки, радуется и плачет; он знал, что любой человек точно также, а может, будучи слабее, страдает еще больше, а радуется еще глубже. Христос познавал, принимал, любил, уважал и явную грешницу, и Марию, и Марту, и Иуду, и Иоанна-Апостола, и римского цесаря. «Не судите!» — учил он, только не добавил: «загляните в каждое сердце, в каждую душу!..»

— Почему же не добавил? — спросил Ленин.

— Потому что тогда время еще не пришло, — прошептал мужик. — Люди еще грех первородный не искупили... Они должны были пройти крестный путь, который указал им Христос, наш Спаситель.

Слушая странного товарища по камере, Ленин вспомнил деревенского нищего, «Ксенофонта в железе», и радостно улыбнулся. Мужик, заметив это, обрадовался.

Стал говорить громче и смелее:

— Мы должны пройти через господство Антихриста и его соблазны. Божьей волею придет он как второй сын Божий; предшествовать ему будут войны, бунты, мор, болезни и преступления. Тогда люди начнут познавать друг друга, объединяться для борьбы и защиты, как солдаты, ставя над собой вождей, создавая отряды, полки, армии, и — выживут! Те, которые не примут слов Спасителя, как стадо одержимых дьяволом вепрей, бросятся в море и бездна поглотит их. Остальные создадут на земле «святой град», «Небесный Иерусалим»...

— В «святой» России? — спросил Ленин.

— Эх! Что значит в таком деле Россия?! Мелкое зернышко песка, капля в море! — ответил мужик. — Россия может погибнуть, но мы — народ — будем нести правду всем остальным народам! Мы дадим им эту правду!

— Мы! — рассмеялся Ленин. — Русская правда?

— А какая еще? — удивился крестьянин. — Скажи, кто еще способен на это?! Остальные народы живут в достатке и высокомерии, думают, что они ровня могущественным ангелам. Нет! Из наших темных лесов, из наших степей, где вокруг небо соединяется с землей, из наших курных, крытых соломой изб, из наших тюрем, где цепями звенят невинные, темные люди, — оттуда придет она, светлая, могучая Правда! Только мы, люди от сохи, молота и оков, обладаем смелостью созидания. У нас достаточно места, неисчерпаемый запас сил, у себя мы не находим никакого занятия, мы рабочие мира... Только свистни — построим дворец или святыню, которую никто до сих пор не видел!

Он замолчал и смотрел на Ленина неподвижным взглядом.

Владимир спросил уже совершенно серьезно:

— Как же темные люди от сохи и курной избы будут строить и созидать? Ведь они не сумеют?

— Не бойся, мил человек! Ходят по нашей земле убогие, невежественные, но ходят и святые, мудрости исполненные... Они нас научат, не бойся! Бог — не только для червей убогих, но и для орлов с широкими могучими крыльями... Всем светит одно солнце — Божья Правда!

— Я не вижу даже зарева этого солнца, — проворчал Ленин.

— Ты не видишь, милый, а другие уже видят и тут и там... Я увидел ее перед собой в этот, последний день жизни... и рад, что дано было мне увидеть ее — лучезарную, как заря! Счастье это великое!

Мужик задумался и замолчал.

Ленин внимательно присматривался к нему. Постепенно осознавал сущность русской души — максимализм стремлений: или все, или ничего; мистическая вера в возможность основания на земле «Небесного Иерусалима»; таинственная убежденность о мессианстве народа и вечная тоска, ощущение ответственности и страданий за судьбы всего человечества от края до края земли, без самолюбия, без любви к собственной отчизне, приносимой, как жертвенного ягненка, на алтарь Божественной Правды во имя всех-всех, во всем мире, а может и дальше, до границ самых далеких, едва различаемых на небе звезд и светящихся туманностей.

Мужик не притронулся к принесенной еде.

Он стоял на коленях, обратив лицо на восток, размашисто крестился и бил поклоны, ударяя лбом в доски нар.

После полуночи заключенных разбудили. Охранник и солдат со штыком вывели мужика. Он уходил молча, сосредоточенный, радостный.

Ленин долго прислушивался, но товарищ не вернулся.

С утра он узнал, что приговор был приведен в исполнение.

Владимир до скрипа стиснул зубы и громко прохрипел:

Говоришь: «Не судите»! Тебя тем временем осудили и казнили? О, я буду судить без жалости, без сожаления... карать буду всей мощью моей ненависти и боли!

Новый день принес смерть невежественному простаку, верившему в возникновение «святого града» , в котором люди не бу-

дут судить людей, и — свобода — для человека с дерзким, богатым разумом, в котором уже прозвучал приговор без милосердия и пылала жажда наказания, исполненного мстительной рукой.

ГЛАВА XV

Наступило лето 1915 года.

Из маленького домика с висящей над дверями вывеской убогого ресторанчика «*Puits de Jacob*» вышел невысокий, сбитый человек, с желтым лицом и темными раскосыми глазами.

Он посмотрел на лазурное небо и пошел в сторону парка *Belvoir*, улыбаясь голубой, мерцающей ослепительным блеском поверхности Цюрихского озера.

Он встал на берегу и смотрел на проходившую публику злым, угрюмым взглядом, на нарядных женщин, одетых в белые брюки и спортивные рубашки мужчин, группки веселых, счастливых детей.

Дуги его монгольских бровей хмурились, сжатые губы то и дело подрагивали, что-то беззвучно шепча.

Вдруг он радостно и по-дружески улыбнулся.

В светлой одежде и мягкой шляпе шел пружинистым шагом, слегка покачивая сильными бедрами, высокий, атлетически сложенный человек.

– Хелло, мистер Ленин! – крикнул он издалека, и на бритом, загоревшем от солнца и ветра лице расцвела добрая, почти детская улыбка.

Глядя стальными глазами, в которых мигали искорки веселья и легкой иронии, он размашисто потряс руку Ленина и похлопал его по плечу.

– Ну что ж, едем? – спросил он, набивая трубку.

– А как же! – ответил Владимир. – Сегодня у меня исключительно свободный день. Я хочу провести его приятно и с пользой, мистер... Кинг.

– Вы всегда спотыкаетесь на моей фамилии! – рассмеялся американец.

– Должен признаться, что через мое горло оно не проходит слишком легко! – согласился Ленин. – Надо же было каким-то злым духам нашептать вашим предкам такую ужасную фамилию! Кинг? Король! Подумать только!

Американец прыснул со смеху.

– Старики не знали, что у их блудного потомка будет такой радикальный знакомый, – воскликнул он, пуская густые клубы дыма. – Сегодня поедем на Утокульм. Страшная жара, мы наверняка никого там не встретим. Только я опасаюсь, что вам, мистер Ленин, будет жарко в этой темной одежде.

– Вовсе нет! – весело ответил Владимир. – Так как у меня есть только один костюм, то сегодня, надевая его, я приказал, чтобы он был продуваемым и легким, как греческий хитон!

Кинг снова окружил себя дымом и громко рассмеялся.

Зубастая электрическая канатная дорога завезла их на самую вершину. С железной веранды отеля они окинули взглядом развернувшийся внизу пейзаж.

Бело-желтое пятно Цюриха, похожего на холмик крота на берегу голубого озера, зеленая долина Лиммату, горные, искрящиеся ледниками хребты: Альпы-Саентис, Юра, над которыми величественно и грозно возвышали свои одетые в облачные тюрбаны пики Юнгфрау, Стокгорн, а дальше Риги, Пилат, едва вырисовывающиеся в тумане Фельдберг, вулканические конусы Егау и мутное, далекое зеркало озера Тун.

Они молчали, засмотревшись на необъятную для взгляда, великолепную палитру великого мастера – природы.

Мистер Кинг вздохнул и тихо сказал:

– У нас в Соединенных Штатах уже нет таких пейзажей! Земля повсюду рассечена железными дорогами, горизонт заслоняет дым фабрик, шахт, электростанций. Я должен раз в пять лет приезжать сюда, чтобы отдохнуть от бешеной американской жизни. Я привожу сюда своих сыновей, пускай учатся любить природу и понимать, что ее вековой труд и энергия более совершенны, нежели человеческие усилия!

Ленин загадочно усмехнулся.

Когда американец замолчал, он сказал насмешливым голосом:

— А я, глядя на эту такую спокойную, умиротворяющую, счастливую панораму, вижу вдали, вон там — за Туном пустые, голые просторы России, никем не заселенные горы, вьющиеся болотистые дороги, протоптанные миллионами звенящих кандалами людей! Они бредут сейчас с низко опущенными головами, сгорбленные, прибитые к земле секущим их кнутом царя в тюрьму, церковь или могилу. Если бы у меня были сыновья, я привез бы их сюда, а они бы выкрикнули с ненавистью: «Справедливости! Мести! Новую жизнь!»

Американец немного задумался и сказал тихим, серьезным голосом:

— Весь день я вчера думал о ваших взглядах и идеях. Они меня озадачили... Однако я пришел к убеждению, что вы мечтатель, утопист. Нельзя ведь с Утокульма одним прыжком перескочить на вершину Риги? Для этого понадобился бы самолет или канатная дорога, как над Ниагарой или в ущельях Скалистых гор!

Ленин ничего не ответил. Он стоял, заглядевшись на Юнгфрау, которую все больше окутывали густые лоскуты мягких серебристых облаков.

— Пойдемте выше, на самый пик! — предложил мистер Кинг.

Ленин молча кивнул головой. Они шли по узкой каменной тропке, среди скальных груд и мелких кустиков рододендрона, цепляющихся корнями за щели и сыпучие песчаные кочки.

Наконец, они пришли и сели на камнях.

Под ними растянулся зубастый хребет Альбис, а над ними плыли белесые полосы и обрывки облаков.

Мистер Кинг посмотрел на Ленина и сказал:

— Я думал о нашем вчерашнем разговоре и пришел к убеждению что ваш план создания человека-машины и общества-машины нереален. Всегда найдутся индивидуумы настолько выдающиеся, что для них не будет места ни в каком сборном механизме. Если вы разместите таких людей в системе, они помимо собственной воли разрушат ее, взорвут, остановят гармоничное движение, направляемые собственной индивидуальной волей. Это люди, которые на голову выше, чем толпа.

— Общество укоротит свое туловище на одну такую голову, ведь власть и закон принадлежат подавляющему большинству, — возразил Ленин спокойно.

— Но эта голова наверняка принадлежала гению, — заметил американец.

— Толпа обладает коллективным гением, и этого должно быть достаточно.

— История, кажется, не знает таких случаев, — пожал плечами мистер Кинг. — Гении приходят на свет почти всегда с анархичными характерами — в смысле неподчинения правилам масс; гениальные головы ведут за собой толпы, а не наоборот.

Ленин молчал. Американец взглянул на него и добавил:

— Этапы прогресса... исторические эпохи в жизни народов — это биографии гениев в различных сферах деятельности.

Ленин все еще молчал.

Пыхтя трубкой и легко раскачиваясь на камне, мистер Кинг говорил:

— В области материалистических взглядов Америка опередила все остальные страны. Пришла она к этому путем поддержки выдающихся личностей. Мы имеем целые династии наследуемых индивидуальных способностей, граничащих с гением. Следует помнить, что вышли они из самых низких, иногда самых нищих слоев общества. Это противоречит вашему утверждению, мистер Ленин, что только наследственная буржуазия способна угнетать более слабых. Вы можете не знать, какие мысли рождаются в умах потомков пастухов, уличных продавцов газет, мелких торговцев, обычных матросов, иногда — уголовных преступников!

Ленин поднял голову и внимательно слушал.

— Они думают, как превратить пустыню в плантацию хлопка. У них есть разработанные планы и сметы мощных плотин на Миссисипи и ее притоках; знания о повышении урожайности почвы при помощи электрического тока высокого напряжения; они мечтают о замене человеческих рук тракторами в сельском хозяйстве, а в промышленности — сложными, точными машинами, приводимыми в действие электричеством, которое в неограниченном количестве доставят водопады, бурные реки, ветер

и разбивающие о берег морские волны; они убеждены, что вскоре оставят угольные шахты, где в поте лица и с опасностью для жизни работают, как рабы, люди разного цвета кожи. Все заменит электричество! Оно обеспечит нас теплом, светом и силой. Исчезнут толпы рабочих, прекратится их тяжелый труд и перестанет существовать покоренный простор. Электрическая энергия и химия станут кормилицами и служанками человечества. Ба! Один из моих коллег — инженер-химик, как и я, утверждает, что через 50 лет химия будет производить волокно для одежды, синтетическую пищу, а в сочетании с электричеством и биологией — волшебную панацею для борьбы со смертью! Мой знакомый агроном, разрабатывает систему сельского хозяйства под землей на случай охлаждения земной поверхности... Другой биолог опять же работает над урегулированием плодовитости мух и над созданием мужских и женских особей, носясь с мыслью об искусственном воспитании гениев, пока... среди насекомых и ящериц!

Ленин сидел заслушавшись. Глаза его были широко открыты, полны блеска. Он впитывал каждое слово.

Заметив интерес русского, американец продолжал:

— В других областях практических знаний кипит не менее напряженная работа! Сейчас мы вербуем самые способные человеческие кадры для принятия и развития определенных научных и технических доктрин; мы формируем армию высококвалифицированных рабочих с абсолютно гармоничным сочетанием профессионализма с физиологическими и психологическими рефлексами; мы проектируем создание специальной организации для рационального расходования времени, чтобы ни одно мгновение не было потрачено без пользы.

— Как это восхитительно! — воскрикнул Ленин.

— Очень восхитительно, но и очень опасно, дорогой мой! — заметил мистер Кинг. — Я задам вам несколько вопросов, которые объяснят мои опасения. Не грозит ли человечеству опасность, что на почве подобных экспериментов появится человек, интеллектуально необычно могущественный, и подчинит всех своей воле, направленной, быть может, на самое ужасное угнетение? Не станет ли создание армии самых талантливых, наиболее приспособлен-

ных рабочих началом существования нового привилегированного класса и не вырастет ли в результате этого между общественными слоями еще более глубокая пропасть? Не вызовет ли это взрыва ненависти, революции, войны? Наконец, что мы сделаем с миллионами рядовых обычных рабочих, систематически выбрасываемых за борт государственной жизни машинами безжизненными и машинами живыми и думающими, каковыми и будут специалисты, отобранные в результате точных научных исследований?

Ленин не отвечал долго. На его лбу двигались морщины, приспущенные веки дрожали.

– Рядовые должны восстать, – прошипел он, – перебить избыток людей-машин, а нужных удерживать железной рукой, насилием, террором заставить их служить всему обществу, которое будет контролировать и справедливо распределять продукты производства.

Американец издевательски рассмеялся.

– Уничтожение высшей формы цивилизации в интересах пассивной и невежественной толпы? Возврат к устаревшим методам хозяйствования? – спросил он.

– О нет! – взорвался Ленин. – Пролетариат способен на большую изобретательность в области ужасающего террора! Он способен заставить специалистов трудиться исчерпывающе, добросовестно и прогрессивно. Кроме того, как муравейник, начнет он производить строго необходимые кадры специалистов во всех областях. Это будет следующим этапом работы биологов и психологов.

Мистер Кинг широко открыл недоумевающие глаза.

– Хорошо! – воскликнул он. – Одной ногой вы забрели в мрачное средневековье с его насилием и принуждением, а другой – в страну далеких фантастических веков! Вам не удастся построить ни одного, ни другого!

– Посмотрим! – прошипел Ленин и стиснул зубы.

– Не посмотрим! – возразил американец.

– Страх за жизнь и твердая, немилосердная рука могут творить чудеса! – прошептал Ленин.

– Чудеса – нет! Преступления – да! – прозвучал твердый ответ.

После этих, высказанных с возмущением слов американец *встал и, не глядя на Ленина, произнес:*

– Я думал, что вы стремитесь к революции, чтобы потрясти прагматичный, мещанский мир и проложить путь духу... Я так думал... Вы тем временем мечтаете о бандитизме в глобальном масштабе. Это ужасно!

– *Для вас, мистер Кинг, который приезжает раз в пять лет* отдохнуть в Швейцарию, нафаршированный долларами! – воскликнул Ленин, с ненавистью глядя на мощную фигуру американца. – Но таких, как вы, в мире живет, скажем, миллион, остальные же – тысяча семьсот миллионов не имеют такой элегантной одежды и даже десяти долларов на следующий день и голодают. Вы понимаете? Голодают! Наша русская пословица говорит: «Соловья баснями не накормишь!» Дух! Человек долларов осмеливается рассуждать о духе!

Он смеялся дерзким, бессовестным, злым взглядом маленьких черных глаз, всматриваясь в черствое лицо недоумевающего и возмущенного американца.

Мистер Кинг молча кивнул и ушел.

Ленин остался, чернея на камне, как большая, мрачная птица. Он смотрел вниз, на раскинувшиеся в разные стороны долины, на квадраты виноградников и *полей, на блестящие нити* стальных рельсов, на серые пятна деревень, городков, на блестящие купола и кресты Цюриха, на поверхность спокойного озера, которое лежало внизу, как пластинка из ляпис-лазури.

Он не видел ничего. Его взгляд пронзал туманные испарения, собирающиеся на востоке тучи и бежал дальше и дальше...

Он надеялся увидеть убогие загоны российских крестьян – и не узнал их.

Там передвигались огромные тракторы, движимые электричеством и заменяющие труд тысяч истекавших потом, измученных крестьян и коней, натужно тянущих плуги.

Дымили трубы сотен электростанций и несметных фабрик; в опрятных деревенских домиках ярко светились окна.

Празднично одетые рабочие, с чистыми руками и спокойными лицами возвращались домой без спешки и радости. Все они были похожи друг на друга, как близнецы, в одинаковой одеж-

де, с одинаковыми выражениями лиц и идентичными движениями.

Ленин понял, что эти люди-призраки — машины, обладающие гармонией движения и ужасной коллективной силой, но лишенные страсти.

— Счастливы ли эти люди? — промелькнула внезапная мысль.

— Они спокойны, — пришел ответ.

Ленин все смотрел, вонзая взгляд в далекий, туманный горизонт.

На площадях городков и поселений — там, где стояли когда-то божественные святыни, были теперь театры, музеи и школы.

До Ленина не долетал, хотя он напрягал слух, ни звон кандалов, ни стонущие, рабские завывания:

— О-ей! О-ей!

Почти дрожа от страха, что увидит страшное зрелище, искал он везде бездумное лицо лежащей в гробу Настьки, с заострившимся носом и неприкрытым глазом, по которому бегала черная муха.

Он не слышал заклинаний старой знахарки Анны, бьющей беременную девушку доской по животу.

Не мог он отыскать ни взбешенного от усталости великана-бурлака, с покрытой язвами грудью, ни немую пастушку, обтягивающую на себе юбку и чешущую подмышки...

Все, что волновало и переполняло его душу ненавистью, исчезло

Над безбрежным простором, словно шорох легкого доброго ветра, неслись успокаивающие слова:

Равенство... Счастье...

Он внезапно очнулся от громких голосов проходившей мимо группы туристов. До Ленина долетел обрывок предложения:

— Социалисты оказались хорошими патриотами...

Видение исчезло. Суровая правда насмешливо заглянула в раскосые, черные и пронзительные глаза.

Он сорвался с места и почти бежал к канатной дороге, чтобы быстрее добраться до города и писать, бросать миру горячие, понятные слова мести, простые, но дерзкие призывы к борьбе

за то, что награбили, присвоили себе влиятельные, богатые, могущественные, безразлично шагающие по уставшим телам миллионов, сотен миллионов людей трудящихся в поте лица, без отдыха, без надежды.

– Я несу вам освобождение! – шептал он горячо. – Пойдите за мной, и слово надежды обратится в дело!

С вершины Утокульма он вернулся другим человеком.

Он жил только ненавистью, из ненависти черпал пламенность своих мыслей и силу слов, от ненависти чертил он путь любви к стонущему человечеству и вновь утверждал, что приведет его к цели – простой и лучезарной, орошенной из животворного кровавого источника, закаленной и выкованной в огне мести за века угнетения.

– Не судите! – долетал до него время от времени шепот казненного в австрийской тюрьме крестьянина.

Он вздрагивал и в душе отвечал:

– Глупая, невежественная, рабская скотина!

На короткое время он оторвался от своих мыслей, как густой туман, окружающих его. Он чувствовал себя больным и переутомленным. Собственно говоря, он считал необходимым на определенное время исчезать с глаз швейцарского правительства. Въезжая в свободную страну, он подписал обязательство, что не будет нарушать спокойствие.

Физически он его и не нарушал, но его полемичные статьи, перепечатываемые в швейцарских социалистических изданиях, обеспокоили общественное мнение и власти. К нему стали присматриваться внимательнее, следить за каждым его шагом. В этом ощущалось влияние политических агентов России и союзников.

Он решил уехать, воспользовавшись приглашением живущего на Капри писателя Максима Горького.

Однажды он исчез бесследно, предварительно договорившись по переписке с итальянскими социалистами Нитти и Сератти.

Он застал Горького больным и подавленным.

Огромный, неуклюжий человек с тяжелым, грубо вытесанным лицом, со строгими думающими глазами, радостно встретил маленького, подвижного приятеля, который, засунув руки

ЛЕНИН В ЭМИГРАЦИИ

в карманы брюк и задрав голову, сверлил его проницательными зрачками и говорил, будто бы самому себе:

— Плохо! Черт побери — плохо! Кожа землянистая, глаза подпухшие, губы бледные, лицо без признаков жизни! Как так можно? Талант надо оберегать, потому что такой встречается не часто... Я болтаю и болтаю, а он, как тот кот в басне Крылова: «слушает да ест», правда, кажется, какие-то таблетки, но в любом случае, чем-то закусывает!..

Оба громко и по-дружески смеялись.

Они провели вместе несколько дней.

Обычно рано утром они садились в барку старого рыбака Джованно Спарадо и, качаясь на спокойных волнах лазурного моря, судачили тихими голосами обо всем и ни о чем, что умеют делать только настоящие русские, нанизывая на одну нить совершенно разные мысли и впечатления. Но продолжалось это обычно не долго.

Ленина отрезвляло совершенно случайное слово.

Он внезапно щурил глаза. Тогда он не видел белых и розовых рыбацких парусов, прозрачных сапфировых волн; серебристых, словно летящие лебеди, облаков; парящих чаек; далекого дыма пароходов; цветами и зеленью покрытых обрывистых разноцветных скал Капри. Перед его глазами вставали ряды партийных товарищей, в шуме и панике разыскивающих вождя, а рядом другие толпы — вооруженные, гневные, бегущие в атаку.

— Проклятие! — шептал Ленин и сжимал кулаки.

Горький почти со слезами в глазах говорил об ужасных поражениях, которые несла Россия на полях битвы, о сотнях тысяч убитых крестьян.

— Сколько слез течет теперь по деревням нашим! — говорил он, заламывая руки. — Сколько стонов и криков отчаяния слышат наши убогие хаты!

Ленин смотрел на него твердым взглядом и отвечал:

— Пусть так и будет! Много людей гнездится в этих хатах. На сто войн хватит... Всех не убьют! А пока это вода на нашу мельницу... Пускай-ка еще голод наступит и прижмет хорошенько! Революция созреет, как чирей. Только дотронься — и лоп-

нет! Ха-ха! За эту кровь крестьян и рабочих мы прольем целое море крови врагов и убийц наших!

Старый рыбак, которому нравился беззаботный, искренний смех Владимира, в такие минуты с беспокойством и опасением прислушивался к хриплым, глухим звукам его речи.

– Но это страшно! – ужаснулся Горький. – Революция путем такого человекоубийства невинных, измученных, раздавленных людей! Нет! Нет!

Ленин хмурил монгольские брови и говорил:

– Только глупец боится окропить меч кровью, если взял меч в руки и знает для чего он ему! Для революции нет слишком больших жертв, верь мне, Алексей Максимович! Помни, что мы сыновья бунта народа нашего. Пускай же враги наши помогут этот бунт разжечь и поднять его, как красную волну, под самые облака!

– Это ужасная правда! – прошептал писатель.

– Ужасная? – рассмеялся Ленин. – И это говоришь ты? Максим Горький? Человек, который вышел из самого темного, наиболее угнетенного слоя народа? Ты – знаток души бездомного босяка, ненавидящей публичной девки, взбунтовавшихся крестьянина и рабочего, пробуждающихся революционными мыслями?! Постыдись! Мы переживаем железные времена! На сегодня не дано гладить людей по головке. Руки наши тяжело опадают, чтобы разбивать черепа, чтобы немилосердно ломать кости!

Он замолчал и сейчас же добавил:

– Нашим наивысшим желанием стало уничтожение всякого насилия! Красивое, трудное задание!.. Путем насилия и угнетения мы идем к его выполнению. Другого пути нет, потому что человек способен создавать идеальные вещи и понятия в любое время! Нужны были века рабства, чтобы родился бунт, пройдут десятилетия нового угнетения и господства железной руки, пока из бунта родится настоящая свобода, которая есть ничто другое, как только равенство...

Горький промолчал.

Ему не хотелось бросать горечь сомнений в душу друга, говорящего с таким глубоким, сильным, обезоруживающим убеждением. Великий писатель понимал, что Ленин в этот момент

говорил не с ним, гигантом мысли и чувств, а с толпами несчастных, слепо мечтавших о равенстве, с невежественными нищими, которых намеревался вести к далекой цели, спрятанной в зловещей мгле.

Он молчал.

Вскоре Ленин получил письмо от жены. Она сообщала ему об ожидаемом в Швейцарии социалистическом конгрессе.

Не задерживаясь ни на минуту, он попрощался с писателем, знакомыми рыбаками, партнерами по шахматам и вернулся в Цюрих.

Он вовремя прибыл в Циммервальд, Кентхал и Кинтал, где с ненавистью в глазах и голосе спорил с вождями европейского социализма: Ледебуром, Саррати, Раковским, Ладзари, Бризоном, Мерингом, Геглюндом, Гортером; он боролся с ними, оскорбляя, бросая тяжкие подозрения, отнимая привлекательность и достоинство, выставляя на смех; он вызывал возмущение толпы и крики ненависти; обвинял в предательстве и трусости; клеветал; недобросовестно спекулировал словами противников; говорил простым, твердым, иногда слишком крепким стилем, пользовался острой, как лезвие меча, логикой; он неустанно повторял главную мысль; заставлял слушателей принять его предложение; лишал их свободы выбора; обращался к ним голосом хриплым, глухим, без тени пафоса, но движениями рук, головы и всего тела, грозным или добрым, ироничным выражением лица, проницательным взглядом маленьких, внимательных глаз он разбивал вражеские ряды, отрывая от них все новых и новых сторонников. Шаг за шагом, словно в штыковой атаке, он прокладывал себе путь и, затронув инстинкты собравшихся рядовых партийных товарищей, вбивал им в мозги свою формулу о замене империалистической войны на войну гражданскую против правительств и капитализма.

Не обращая внимания на обвинения, что предает родину, он бросался дерзкими, страшными словами, что Россия может погибнуть, лишь бы только состоялась социальная революция, и одним махом основал фундамент для третьего Интернационала.

Уже тогда он ясно сформулировал то, о чем думал на вершине Утокульма. Он повторял это непрестанно, вдалбливал в го-

ловы тянувшихся к нему интернационалистов. Говорил, бешено топая ногой и поднимая, словно тяжелый молот, кулак:

— Человек слишком глуп, чтобы быть самодостаточным. Десять или миллион свободных глупцов — это стадо! Демократизм и свобода — это бессовестная идея буржуазии и глупейший предрассудок! Наилучшей формой правления для человечества является безграничная деспотия, которая осуществляется не правящими и угнетателями, а угнетенными и по их воле.

К этим словам вождя прислушивались самые убогие, преследуемые нищие духа, те, что «хлебом единым живы», горящие местью, подстрекаемые завистью, они сверкали глазами и сжимали кулаки, повторяя слова страшного евангелия: безграничный деспотизм угнетенных...

За мессией насилия во имя любви следовало все больше апостолов бунта, уничтожения, пускания крови и безумных мечтаний.

В 1917 году, как гром раздирающей небо и землю молнии, к берегам спокойного, лазурного Цюрихского озера прилетела весть: в России революция! Царь отрекся от трона!

Ленин потер руки, сощурил глаза и несколько раз повторил:

— Пришло мое время! Пришло мое время!

Он искал пути в Россию. Все были страшно долгими.

Кроме того, везде после своего выступления в Циммервальде он мог встретить неприятности в государствах — союзниках России и даже — нападения агентов петербургского правительства.

Самый короткий путь вел через Германию и Швецию. Он осознавал, что на него посыплются обвинения в предательстве родины, но видел перед собой только такой выход из ситуации.

Не сомневаясь, он решил выбрать этот единственный путь. Он рискнул собой во имя революции.

Швейцарские интернационалисты во главе с Платтеном, Паннекоком и Генриеттой Роланд-Холстем связались с Либкнехтом, который через других социалистов выхлопотал для Ленина, Крупской, Зиновьева, Раковского и других разрешение на проезд через Германию. Связавшись с заграничными социалистами и многочисленными сторонниками своих намерений, Ленин сел на швейцарской границе в немецкий вагон и отправился в путь. Он опасался все же, что партийные товарищи

с возмущением примут весть о его решении. Чтобы предотвратить раскол в собственной партии, он пригласил в Берн интернационалистов всех стран, чтобы подписать протокол о целях и условиях проезда русских коммунистов через Германию. Одновременно от своего имени он обратился с прощальным письмом к швейцарским рабочим, объясняя им свои революционные намерения и подчеркивая свою неприязнь к империалистским правительствам, не исключая германского и австрийского.

В Берлине Шейдеманн, Носке, Ледебур и другие соглашатели намеревались встретиться с вождем российского пролетариата. Услышав об этом, Ленин сорвался с места и крикнул своим товарищам:

— Скажите этим предателям, что, если они хотят получить пощечину, пускай входят...

Он стоял бледный и взбешенный.

Никто из немецких социалистов не рискнул встать перед маленьким человеком с широкими плечами и проницательными монгольскими глазами.

Возле российской границы кто-то заметил:

— Вот теперь действительно нас начнут забрасывать оскорблениями и обвинять в шпионаже и предательстве России! Начнется танец ведьм на Лысой горе! Брр...

Ленин безразлично взглянул на говорящего и буркнул:

— Мне плевать на это! Я иду к своей цели. Дорога через Германию была самой короткой из тех, которые ведут к ней.

Он пожал плечами и начал напевать французскую песенку из кабаре:

— *Tu ne sais rien, mon gâ...*

ГЛАВА XVI

Владимир Ленин, одинокий и осторожный, совершал далекие прогулки по Петрограду. Он замечал каждую деталь, ловил и сохранял в памяти обрывки слов, угадывал скрытые мысли. Он был везде. Часами выстаивал длинные очереди возле продовольственных магазинов и хитро, хотя на первый взгляд и безразлично, поддерживал царящее в толпе возмущение. В определенные часы он поджидал возле госпиталей людей, навещавших привозимых с фронта, на котором армия несла поражение за поражением, раненых и больных солдат. Вместе с крестьянами он горевал над покинутой молодыми, кипящими жизнью мужиками пашней, которую из-за недостатка рук никто не обрабатывал; предсказывал неурожай и голод, прикидывал потери армии на три миллиона людей, гибнущих за богачей и дворянство; навещавшим сыновей или друзей рабочим и работницам таинственно шептал о справедливых лозунгах большевиков; обедневшим, отчаявшимся женщинам из среды интеллигенции он подбрасывал ужасающие сведения, что немцы изобрели новые пушки и отравляющие снаряды, которые одним выстрелом будут сметать целые полки; намекал о генералах, подкупленных противником.

Нельзя нам, неподготовленным к войне русским, терпеть более над собой издевательства! Мы должны заставить правительство прекратить войну. Иначе – захлебнемся собственной кровью!

– Что же делать? Что делать? – спросила его однажды седая старушка, заламывающая от горя руки.

Ленин наклонился к ней и шепнул:

– Пускай восстанет сразу весь народ, возьмет всю власть в свои руки и крикнет: «Обиженные, угнетаемые, присоединяйтесь к нам! Построим новую, красивую и справедливую жизнь!»

– А если остальные не захотят? – спросила она.

– Тогда мы сделаем это сами, заключив мир с Германией. У нас внутри страны работы хватает! – последовал ответ.

– Германия, видя легкую добычу, может оторвать у России нужные ей просторы? Что тогда? – прошептала старушка.

Он нетерпеливо пожал плечами и прошипел:

– Что нам Россия? Надо о собственной жизни позаботиться!

Старушка подняла на него возмущенные глаза, а ее лицо залил горячий румянец.

– Предатель! Ты, наверное, из банды этого изменника Ленина! – крикнула она.

Владимир должен был быстро выбраться из окружающей его толпы и исчезнуть в воротах ближайшего дома.

Он разговаривал с убежавшими с фронта и унесшими с собой винтовки солдатами. Их не надо было поучать; это была своевольная толпа, взволнованная неудачами на фронте, царящими в верхах взяточничеством, отсутствием оружия, грузов и провианта. Он подбрасывал им коммунистические лозунги, которые разносились по всей России, как микробы ужасной болезни.

В разговоры собиравшихся возле казарм солдат он вступал осторожно и осмотрительно, заражая их подозрениями, что Временное правительство мечтает о новом царе и отмене завоеваний революции.

Спустя несколько недель Ленин уже знал и понимал все.

Расхаживая по квартире одного из партийных товарищей, он подвел итог, сделал выводы и потер руки.

Щуря глаза, он сказал Надежде Константиновне:

– Дорогая моя! Скажи Зиновьеву, чтобы собрал у меня ответственных товарищей. Я должен дать им план действий.

Вечером того же дня он тихим, спокойным, глухим, ни на мгновение не срывающимся голосом говорил собравшимся:

– Я разработал программу. Она очень простая и совершенно необходимая. Мы должны везде иметь своих агитаторов: в армии, в толпе, в Совете солдатских и рабочих депутатов, в казармах и на фабриках! Они должны разлагать армию, потому что, если этого не сделать, фронтовые полки нас вырежут. Они должны везде кричать, что большевики требуют завершения войны. Только тогда мы переманим на свою сторону солдат

и крестьянство. Мы не должны пропустить ни одного распоряжения властей и легальных социалистов, чтобы всегда выдвигать более радикальные требования и тем самым парализовать влияние этих институтов. Пока это все! Кроме того, так же, как до сих пор, мы должны забрасывать города нашими газетами, плакатами и брошюрами; готовить кадры боевиков и вооружаться, срочно вооружаться! Помните, что мы должны быть готовы в любой момент взять ход событий в свои руки!

Как паук плетет свою сеть, растягивая ее между ветвями деревьев, как вихрь, разносящий зародыши болезней, как первые христиане в эпоху Нерона, передающие из уст в уста сладкие, утешающие слова Учителя, так пряли большевики невидимые нити огромного заговора, тайно распространяли новое евангелие, руководимые Троцким, Каменевым, Зиновьевым, Луначарским, Стекловым и Бухариным; забрасывая все дальше и дальше волнующие и вселяющие надежду и страх лозунги.

Тот, от имени которого это делалось, оставался в тени — таинственный, скрытый от глаз человеческих, маленький человек с монгольскими чертами лица и пронзительным, внимательным, непреклонным взглядом.

Он притаился, как хищный, ожидающий в норе добычу и готовый к нападению паук; окутался, как ужасный Иегова, тучами и мглой, в которых могли родиться и доброе сияние дня, и черные, угрюмые клубы мрака ночного.

Он был непроницаем, непонятен, загадочен и опасен одновременно.

Он спокойно ждал, уверенный в развитии ситуации.

Один за другим уходили буржуазные и интеллигентные, мучимые заботой о судьбе отчизны, но бессильные министры; на их место пришел мелкий, амбициозный адвокатишка Александр Керенский, представлявшийся сторонником циммервальдской формулы, но с повадками Наполеона. Он метался беспомощно, приводя в правительство все новых и новых людей: начиная от миллионера и заканчивая вчерашним социалистом-каторжником; напрасно пытался он удовлетворить растущие день ото дня требования армии и уличной толпы, кумиром которой хотел быть; в этой бешеной погоне за популярностью он

собственными руками разлагал армию, отталкивал от себя опытных и мудрых политиков, открывая дорогу ожидающему своей очереди большевизму.

В толпе просыпались хищные инстинкты. Удовлетворить и успокоить их не мог никто.

Керенский бросил на стол последние аргументы: контроль солдатских Советов за приказами командиров и отмена смертного наказания даже для дезертиров и предателей.

Услышав об этом, Ленин потер руки и воскликнул:

— Ха-ха! Этот крикун уже исчерпался! Теперь он в наших руках! Армия вскоре пойдет за нами, потому что это уже не армия, а вооруженная, опасная и невменяемая толпа.

— Керенский радикально отменил смертное наказание... — заметила Надежда Константиновна. — Это может произвести впечатление...

— Ха-ха! — смеялся Ленин. — Это — признак окончательной дезориентации! Как можно в революционное время отказываться от такого оружия, каким является смертное наказание? Это слабость, трусость, отсутствие ума! Мы поднимем это оружие! Тогда, когда наша партия откроет свои козыри!

В Совете солдатских и рабочих депутатов шла непрестанная борьба между социал-демократами, народниками и большевиками, которые не позволяли Совету объединиться с правительством в реализации своих проектов.

В России росли голод и смятение.

Наконец однажды, в начале июля, Ленин вновь созвал своих товарищей и, щурясь, спросил тихо, значительно:

— А не попробовать ли нам начать открытую вооруженную борьбу за власть?

Повисло глубокое, тревожное молчание. Все поняли, что прозвучали слова, решающие судьбу революции, партии и немногочисленного числа заговорщиков

— Начнем! — раздался звучный смелый голос.

Это говорил Сталин, грузин, отважный организатор боевых отрядов.

Остальные запротестовали. Долго спорили и постановили перенести вооруженное выступление. Они понимали, что Совет

рабочих дупататов еще мог остановить толпы; на фронте еще оставались верные правительству полки; провинция еще не достаточно пропиталась разлагающими лозунгами большевиков; деревня, загадочная русская деревня, резиденция Бога, бесов, пассивных страданий, диких, стихийных порывов, молчала.

Однако работа агитаторов не прошла даром.

Отчаявшиеся, голодные, ощущающие отсутствие сильной власти толпы стихийно вышли на улицу с оружием в руках. Большевики были вынуждены возглавить их.

Переворот не удался.

Правительство и Совет нашли необходимое количество вооруженных сил, чтобы подавить взрыв. Большевистские вожди были арестованы и брошены в тюрьму.

Однако среди них не было того, чье имя, как пылающее «Mane, Tekel, Fares», неоднократно загоралось на стенах прекрасного кабинета Александра III в Зимнем дворце, где выбрал себе резиденцию «Александр IV», как насмешливо величал Керенского Троцкий.

Ленин и Зиновьев исчезли бесследно.

Напрасно Керенский и руководители Совета солдат и рабочих – Чхеидзе, Церетели, Чернов и Савинков – искали их.

Не помогло также назначение огромной денежной премии за указание места пребывания или поимку «предателей родины».

Никто ничего не знал о вожде пролетариата.

Керенский тем временем торжествовал. Он выступал со все более напыщенными речами, претендовал на статус диктатора России, но, заметив, что невидимый враг почти ежедневно размещает в газетах свои статьи, испугался их ужасающего значения.

Вновь начались бешеные, беспорядочные, никчемные метания.

В один день он планировал военную диктатуру царского генерала Корнилова, назавтра предавал его, объявляя врагом родины и ставя его вне закона.

Он призывал к началу нового наступления на фронте, клялся, что Россия выполнит свои обязательства перед союзниками и продержится до победного конца; одновременно он все глубже бросал в армию зерна деморализации, захваливал солдат, обещая им то, чего исполнить не мог; вилял и обманывал.

Керенский вел переговоры с иностранцами о ситуации на фронте, состоящий из решительных противников войны.

Он грозил с бессовестной дерзостью, что подавит все признаки бунта и безнаказанности, еще не зная того, что защищать его будут только курсанты военных училищ: дети и молодежь, воодушевленные пустыми призывами «шута революции», а также батальон девушек и молодых женщин под командованием Бочкаревой.

Керенский не осознавал ни реальной ситуации, ни своего воображаемого в тишине царского кабинета влияния, ни своих сил.

Об этом точно знал кое-кто другой.

Сейчас он ходил босиком по чердаку сарая, стоящего во дворе дома рабочего Емельянова под Петроградом, возле станции Разлив.

Это был Владимир Ленин.

Он потирал руки, смеялся и говорил товарищам Емельянову и Аллилуеву:

– Старый Крылов написал в одной из своих басен, что «услужливый глупец опаснее врага». Буржуи могут теперь сказать то же самое о Керенском! «Александр IV» был нашим лучшим союзником! Он впустил нас в Россию, разрушил армию и вызвал отвращение к самому себе в глазах всех. Мы можем теперь идти и почти голыми руками брать власть. Правительства нет... Быть может, придется еще пострекотать из пулеметов в молодцов-меньшевиков, но и это не займет много времени!

– Надо еще немного подождать, Ильич, потому что, слышь, генералы начали шевелиться, казаков против нас настраивают и какие-то офицерские батальоны создают. Не время еще!

– Знаю! – смеялся Ленин. – Мне не к спеху, потому что я знаю, что наше дело с каждым днем идет лучшим путем! Враги наши сами между собой перегрызутся...

Он писал письма, статьи, листовки, сея подозрение, возмущение, ненависть; распространяя сплетни, клевету, обвиняя правительство и идущих с ним социалистов в империалистических тенденциях, призывая организацию вооружаться, настаивая на немедленном подписании европейского мира без аннексий и контрибуций, требуя передачи всей полноты власти рабочим, солдатским и крестьянским Советам.

Социалисты-меньшевики, обеспокоенные растущей революционностью заводских рабочих, напрягли силы и наконец-то напали на след Ленина.

Вождя вовремя предупредили.

Он выехал из Разлива и переехал в Финляндию. Остановившись в Выборге, он спровоцировал жуткую резню офицеров местной команды, что немедленно отозвалось эхом в Кронштадте, где моряки поубивали своих офицеров и фактически завладели крепостью и всем Балтийским флотом.

Кровавый след тянулся за Лениным и вдруг оборвался.

Ужасный человек внезапно пропал, как будто под землю провалился.

Тем временем он спокойно жил в доме поддерживающего большевизм и обожающего его создателя полицмейстера Гельсингфорса – Ровио.

Между Лениным и Петроградом вскоре установился близкий контакт.

Организовал и поддерживал его поляк, социалист Смилга, который вскоре перевез Владимира под видом наборщика Константина Иванова в Выборг.

С помощью Смилги Ленин готовил финские полки и Балтийский флот к борьбе с правительственными войсками; он агитировал среди расположенных вдоль границы русских солдат, вел переговоры с левым крылом социалистов-революционеров и в полном объеме развернул яростную агитацию в деревне.

Тогда он боялся авторитета Корнилова, пытающегося пробудить патриотизм и спасать Россию. Он знал, что это была бы тяжелая борьба.

– Как мы расправимся с боевым, способным генералом, не имея в своих рядах профессиональных офицеров? – спрашивал он сам себя и страшно ругался.

Он думал об этом днем и ночью, не мог ни спать, ни есть.

В конце концов он дошел до такого состояния, что в каком-то отчаянном дурмане подбежал к повстречавшемуся в Выборге и шедшему в окружении вооруженных казаков полковнику Генерального штаба и воскликнул:

– Товарищ полковник! Переходите на сторону рабочих, которые победят рано или поздно! Если вы, полковник, не пойдете с ними – закончите в петле или под ударами прикладов; если же согласитесь на мое предложение, мы назначим вас вождем наших вооруженных сил!

– Как ты смеешь говорить мне это, предатель! – воскликнул возмущенный офицер и, кивнув казакам, приказал: – Арестовать этого человека! Отдать его под суд!

Казаки окружили Ленина.

Владимир оглянулся и скривил губы.

Он заметил плетущихся по улице солдат.

Тех самых, которые два месяца назад убивали своих офицеров.

Пьяные, в расстегнутых шинелях, помятых кителях и в шапках, сдвинутых на затылок, они пели, ругались и грызли семечки подсолнуха, названные «орехами революции».

Небольшая группа солдат стояла и наблюдала за инцидентом.

Ленин внезапно поднял руку и крикнул:

– Товарищи! Этот буржуй-полковник, этот кровопийца солдат сидел в безопасности в штабе, а нас гнал на смерть! Теперь он арестовал меня за то, что я не сказал ему, где скрывается наш Ильич, наш Ленин!

Мгновенно со всех сторон высыпали толпы солдат. Казаки, испугавшись, убежали. Полковник, увидев это, хотел вытянуть из кобуры револьвер. Но не успел. Один из подбежавших солдат ударил его камнем по голове. Офицер упал, а над ним начали подниматься кулаки и тяжелые сапоги бешено рычавших и грязно матерившихся солдат.

Ленин издалека оглянулся.

На мостовой лежало какое-то окровавленное тряпье.

Легко улыбнувшись, он вслух сказал:

– Родная мать не узнала бы теперь почтенного полковника! Так его разукрасили солдаты великой российской революции! Хм... хм...

Через минуту он уже не помнил о полковнике.

Он думал о том, что надо отправить письма в Петроград со строгим указанием, чтобы товарищи не играли в совещания, заседания, конгрессы и разную иную болтовню.

– Революция требует только одного – вооружаться, вооружаться! – прошептал он, быстро направляясь домой.

Где-то на боковой улочке раздался выстрел и яростные крики толпы. Он осторожно выглянул из-за угла дома.

Какие-то люди били кого-то, волоча его по камням мостовой, и раз за разом разражались бездумным смехом.

Голова избиваемого человека стукалась и подпрыгивала на камнях, а за ней тянулся кровавый след.

«Просыпается «святой» гнев народа...», – подумал Ленин и загадочно улыбнулся.

– Не судите!.. – всплыл из тайников воспоминаний горячий шепот.

Ленин увидел камеру австрийской тюрьмы и стоящего на коленях на нарах странного мужика-смертника, отбивающего поклоны и размашисто осеняющего себя крестом.

– Нет! – шепнул он гневно. – Сами обвиняйте, судите и выносите приговор! Пришло время мести за века ярма и терзаний. Ваши враги должны пасть, а их могилы – порости сорняками забвения! Судите, братья, товарищи!

Толпа пробежала с рычанием, свистом, топотом ног. Она волокла по проезжей части, била, топтала, разрывала молодого офицера.

– Да здравствует социальная революция! – крикнул Ленин. – Да здравствует власть рабочих, солдатских и крестьянских Советов!

– О-о-о! – ответила ему толпа и побежала дальше, издеваясь над убитым.

Ленин провожал удаляющихся убийц добрым взглядом черных глаз и шептал:

– Один из моих козырей! Я брошу его, брошу...

Рядом на башне, извещая о вечернем богослужении, ударил колокол.

Заходящее солнце зажгло огни и блики на гербе страданий – золотом кресте.

Ленин присмотрелся прищуренными глазами и с вызовом произнес:

– Ну и что? Где же могущество Твое и Твое учение о любви? Молчишь и не сопротивляешься? И будешь молчать, потому что мы устанавливаем правду!

ГЛАВА XVII

Темная ноябрьская ночь висела над Петроградом. В руслах улиц собирался тяжелый, морозный мрак. Редкие фонари, оставшиеся после кровавых июльских дней и непрекращающихся боев, освещали ухабистую проезжую часть Невского проспекта, мутные, темные окна домов и забитые досками витрины магазинов.

Шел снег.

То тут, то там из углублений арок выглядывали бледные лица солдат и черные шапки полицейских. Глухо щелкали о тротуар приклады винтовок. Блестели острия штыков.

Улица была пустынна. Везде таилась жуткая, полная напряженной, бдительной тревоги тишина.

Вдруг от набережной канала Мойки долетел скрежет открывающихся ворот и еще один, более громкий, захлопнувшейся тяжелой калитки.

Быстрые шаги идущего человека отозвались эхом, отражающимся от домов давно опустевшей улицы.

Прохожий, натянув на глаза кепку и подняв воротник, вышел на Невский проспект и свернул на Морскую улицу к арке, ведущей на площадь у Зимнего.

Под огромной аркой звук шагов стал еще громче. Они гремели, словно стук барабана.

Идущий человек уже видел перед собой темные контуры Зимнего дворца и тонкую фигуру Александровского столпа; он намеревался пересечь площадь и направиться к Васильевскому острову, когда со стороны белого здания Адмиралтейства прогрохотало несколько выстрелов.

Пули с легким щелчком ударились в стену и оторвали штукатурку, с шелестом упавшую на присыпанный снегом тротуар.

Прохожий споткнулся и рухнул на землю.

ВЫНОС ФЛАГА НА ВЗБУНТОВАВШЕМСЯ КРЕЙСЕРЕ

КРАСНАЯ ГВАРДИЯ 1917-1918
(так называемый «авангард пролетариата»)

– Ха-ха! – зашипел за толстыми блоками гранитного фундамента арки смех. – Тявкающий Керенский боится за свою шкуру. Кто-то еще охраняет дворец и персону клоуна революции! Как думаете, товарищ Антонов-Овсеенко, что будет завтра?

Это говорил невысокого роста, широкоплечий человек с большой головой, тонущей в старой рабочей кепке.

Его высокий, худой, одетый в солдатскую шинель товарищ пожал плечами и ответил:

– Владимир Ильич, я свое слово уже сказал. Завтра до вечера столица будет взята... Я два дня бегаю по всем фабрикам и казармам. Сорок тысяч вооруженных рабочих, Павловский и Преображенский полки по первому приказу Ленина выйдут с оружием на улицу. Теперь все зависит от вас...

– Я готов! – прошипел Ленин.

Монгольское лицо сморщилось, через узкие щелки сощуренных раскосых глаз блестели освещенные электрическим фонарем черные зрачки.

– Я готов! – повторил он. – Только они еще сомневаются...

– Кто? – спросил Антонов. – Зиновьев, Каменев?

– Да! Они, но и другие, кроме молодежи, не уверены в победе. Я должен их убедить, потому что начинать без веры в триумф было бы преступлением перед пролетариатом!

– Вы уже не можете отступать! – воскликнул Антонов. – В своей статье вы решительно объявили о дате борьбы коммунистов за власть. Отступать поздно!

– Я не отступаю! – рассмеялся Ленин. – Просто я стремлюсь достичь единого порыва и максимального усилия.

– Скажите только слово, Владимир Ильич, и через час не будет сопротивляющихся... – буркнул Антонов и угрюмо посмотрел на Ленина. – Даже если придется вырезать весь Центральный комитет партии и весь Совет рабочих и солдатских депутатов!

Третий, скрытый в темном изгибе стены человек проскрежетал зубами.

– Что с вами, товарищ Халайнен? – спросил Ленин.

Тот ответил на ломаном языке:

– Вы знаете охраняющих вас финских революционеров?

Только скажите, и мы наведем порядок... Уже никто не отважится вам воспротивиться...

Опять проскрежетав зубами, он выпрямился и был подобен молодому, твердому, несгибаемому дубу.

Ленин тихо смеялся.

– Посмотрим... Сегодняшняя ночь покажет, – шепнул он. – А теперь пойдем.

Они вышли на Невский проспект, не прячась и разговаривая о безразличных вещах.

Задержали их возле Аничкова дворца.

Патруль проверял удостоверения.

Документы были выданы на имя секретарей и делегата рабочего Совета, возвращавшихся из Зимнего дворца, где заседало Временное правительство.

Они пошли дальше.

На улице, где по подземному коридору плыла речка Лиговка, перед зданием железнодорожного вокзала они заметили солдатские патрули, а в воротах всех домов – притаившиеся кучки людей, молодых и старых, в гражданской одежде и в военных шинелях.

Двигаясь в сторону Таврического дворца, они встречали все более многочисленные группы рабочих и солдат, спрятавшихся в полутемных переулках и в арках домов. Одинокие фигуры и значительные толпы двигались в сторону Лиговки и Зимнего дворца. Эти молчащие, грозные тени, которые скрывались и слонялись в ночном мраке по руслам бедных, грязных улиц, выплеснули далекие предместья.

– Авангард пролетарской революции!.. – прошептал Ленин и потер руки. – Эти не предадут!

– Не предадут! – повторил Антонов. – Других мы собрали вблизи почты, крепости и здания Государственного банка...

Они замолчали и ускорили шаг.

Дошли до второго, богато освещенного здания, окруженного большим садом. Не снимая пальто и шапок, вошли в заполненный рабочими, солдатами, студентами зал.

Их заметили сразу же. По залу прокатился шепот удивления:

– Владимир Ленин!.. Керенский приказал его арестовать... Ленин не знает страха!

Товарищи тем временем широким шагом продирались через толпу, направляясь к стоявшему на высоком возвышении столу президиума.

Ленин взошел на эстраду, сорвал с головы кепку и, переминая ее руками, начал говорить.

Голос его звучал страстно и жестоко, высказываемые мысли были жесткими, простыми, понятными; короткие, не приукрашенные профессиональными терминами, иногда оборванные на полуслове фразы ударяли, как тяжелые камни; это была речь, полная внутренней силы, непобедимой уверенности, почти неистового, готового взорваться ненавистью и кощунством воодушевления.

Лысый череп метался в мутном, пропитанном дымом воздухе, кулаки поднимались подобно молотам и били по столу, в глазах, охватывавших все, изучавших каждое лицо, отвечавших на любое восклицание, грозивших и поощрявших, оценивавших мельчайшую подробность, неуловимую гримасу в обликах собравшихся, вспыхивал и угасал огонь.

Его речь была длинной, но Ленин, будто бы вбивая гвозди в дерево, то и дело повторял один и тот же припев:

– Дальнейшее промедление было бы преступлением! Было бы предательством революции! Вооруженное восстание должно начаться немедленно! Нынешнее правительство не обладает ни здравым смыслом, ни планом, ни силой, ни шансами на спасение. Оно покорится нам! Уже завтра мы предложим заключить мир! Землю – крестьянам, немедленно! Фабрики – трудящимся массам, немедленно! Или победа революции, или победа реакции! Если вооруженное восстание начнется сегодня – победим, если будем медлить – понесем поражение! Промедление – это преступление, предательство! Для победы нам потребуется два или три дня битвы. Да здравствует социальная революция! Да здравствует диктатура пролетариата! Да здравствует вооруженное восстание!

Поднялась буря оваций, аплодисментов; к Ленину протискивались, толкаясь и продираясь через толпу, рабочие, солда-

ты; люди кричали, вытягивали к нему руки, били себя в грудь. В этом шуме утонули крики протеста и восклицания:

— Сумасшествие! Утопия!

Вдруг на эстраду вбежал огромный моряк и голосом, перекрикивающим гам и шум, заявил:

— Крейсер «Аврора» по поручению товарища Ленина бросил якорь на Неве! Его орудия направлены на крепость и Зимний дворец! Мы ожидаем сигнала!

Все собрание охватил неописуемый энтузиазм. Даже те, которые только что протестовали, кричали теперь вместе с остальными:

— Да здравствует вооруженное восстание!

Ленин ударил кулаком по столу и поднял высоко над головой сжимавшую кепку руку:

— Товарищи! На рассвете вы должны быть на местах, на самых опасных местах, в рядах авангарда революции! — хрипло кричал он.

— Да здравствует Ленин! — вырывались и взрывались новые крики.

Поднялся шум, замешательство: люди выбегали из зала, толкались в поисках своей одежды возле дверей. Другие окружили стол президиума и слушали, о чем говорит человек с бледным лицом и сжатыми губами; он вонзил черные глаза в карту, наклонил над ней вороную, растрепанную в беспорядке шевелюру и, казалось, грозил крючковатым носом, на котором поблескивало пенсне.

— Да-да! Товарищ Троцкий прав! — поддакивали прапорщик Крыленко и гигант-моряк Дыбенко, рассматривавшие план Петрограда.

— Надо отправить телеграмму товарищу Муравьеву, чтобы начинал «свистопляску» в Москве, — сказал, коснувшись плеча Троцкого, Ленин.

— Телеграмма готова! — доложил Троцкий, глядя дерзкими, буравящими глазами через стекла пенсне. — Товарищ Володарский поедет на телеграф и отправит депешу.

— Удастся ли мне усыпить бдительность государственных цензоров? — спросил молодой студент.

— Телеграф уже с полудня в наших руках. Цензоры примкнули к партии, — произнес Антонов.

Ленин громко рассмеялся, начал потирать руки и расхаживать по эстраде, повторяя:

— Это хорошо! Это хорошо!

Вдруг он посерьезнел и кивнул Антонову.

— Начинайте, товарищ, немедленно, чтобы не отступили те, у кого недостаточно мужества!

Человек в солдатской шинели ничего не ответил и выбежал из зала.

Ленин сел сбоку и не слушал совещавшихся командиров, которые на следующий день должны были повести пролетариат к победе или на смерть.

Он вынул из кармана тетрадь и начал писать.

К нему приблизился Троцкий и смотрел с недоумением.

— Пишу статью, что-то вроде нашего манифеста; он должен стать основой нового законодательства, — ответил Ленин на молчаливый вопрос товарища. — Сделайте все, чтобы эта статья завтра же была в газетах.

— Я окружу типографию «Правды» батальоном Павловского полка, и номер с вашей статьей выйдет, — сказал Троцкий.

Ленин начал смеяться, потирать руки и повторять:

— Пусть будет и так, если иначе нельзя!.. — Пусть будет так!

Он закончил и передал исписанные листки Троцкому.

Коснулся его плеча и спросил:

— Как мы будем называть наших министров? Министрами называть нельзя. Это старый и ненавистный титул! Подумайте только! Министр Плеве, министр Горемыкин, министр Керенский... К черту! Это никуда не годится! Само такое словосочетание может пробудить недоверие в массах и погубить все дело. Министр — это проклятое, трижды проклятое слово!

— Может... «народными комиссарами»? — предложил Троцкий.

— Народный комиссар?.. — буркнул Ленин. — Народный комиссар... Может, и неплохо?.. Пахнет революцией, а это для масс основное... Народный комиссар!.. Очень хорошо!

Он потер руки и со смехом сказал:

— Я уже писал в наших газетах «Удержит ли пролетариат в своих руках власть». Что власть будет взята — на этот счет не может быть никаких сомнений. Но как ее удержать — это надо объяснить массам...

— Это дело следующее, сначала мы должны прийти к власти, а потом...

Ленин нахмурил брови, и гнев зажег холодные огни в его раскосых глазах.

— Ничего на потом! Все сразу!.. Я знаю, что необходимо предпринять. Только я не уверен в Центральном комитете коммунистической партии и разных соглашателях. Может, им захочется играть в сентиментальность и буржуазную правоверность? К черту! Я еще за границей все для себя спланировал. Я знаю русский народ снизу доверху. Наверху господствуют утопия и отсутствие воли, затем — пропасть, а на дне — нетронутые, спящие силы! Наша задача — разбудить их. А дорога, ведущая к достижению цели, очевидна, это не дорога даже, а утрамбованное шоссе!

Троцкий наклонил голову и вопросительно посмотрел на друга.

— Каким путем мы пришли к событиям сегодняшнего дня и в этот зал? — продолжал Ленин. — Путем понимания невысказанных устремлений масс и согласия с требованиями их инстинктов. Они были измучены и подавлены войной, поэтому мы выдвинули лозунг: «Долой войну!» Крестьяне неохотно смотрели на то, что у них забирают людей от плуга, поэтому лозунг наш совпал с их убеждениями, а когда мы выдвинем следующий — «Земля — крестьянам», они душой и телом перейдут на нашу сторону. Рабочие, столько раз и так долго обманываемые социал-демократами, лишенные надежды на улучшение быта, моментально примкнули к нашим рядам, над которыми развевали красные знамена с надписями — «Контроль над трудом и продукцией — в руки рабочих». Теперь мы дадим им еще больше.

— А буржуазия, интеллигенция? — спросил слушавший этот разговор старый, бородатый рабочий.

— Она должна погибнуть! Мы, товарищ, сметем этот класс с пути победившего пролетариата! — воскликнул, сжимая кулаки, Ленин.

— А! Наконец-то! Наконец-то я дождусь часа мести! — крикнул рабочий. — За нищету всей жизни, за то, что радость убили еще в детстве, за дочку-проститутку, за...

Ленин подошел к нему, положил ему руки на плечи.

Он долго всматривался в его глаза, а потом сощурил веки и сквозь зубы прошептал:

— Вы отомстите, товарищ, со всей силы, сначала и до конца! Я дам вам такую возможность. Как вас зовут?

— Петр Богомолов. Кузнец с фабрики в Обухово...

— Товарищ Богомолов, когда власть будет в наших руках, напомните мне о нашем сегодняшнем разговоре, я дам вам возможность отомстить до предела, досыта, а если бы вы пришли ко мне с вашей дочерью — то и ей дам!.. Пускай отыграется на врагах пролетариата за свою нищету и позор!..

В этот момент из-за огромных окон зала прилетел и потряс, зазвенел стеклами сухой треск далекого залпа.

Все замолчали и задержали дыхание.

Слышно было только как бьются сердца.

С разных сторон долетали отдельные отзвуки выстрелов, сливались с залпами и замирали. Где-то застрекотал пулемет. Еще один... еще...

По темному небу скользнуло белое жало прожектора, и сразу за ним грохнул пушечный выстрел. С жалобным звоном задрожали оконные стекла, и погасла стоящая на столе электрическая лампа.

— Это — «Аврора»! — воскликнул Зиновьев. — Бомбардирует крепость!

— Наконец-то началось! — вздохнул Ленин и, развернув плечи, потянулся.

С сощуренными веками и открытыми толстыми губами он был похож на большого хищного зверя.

— Началось... — ответили ему шепотом сидевшие за столом люди.

— В добрый час! — отозвался торжественным, восхищенным голосом кузнец и набожно перекрестился.

Ленин топнул ногой и обратил на него злобное, полное пренебрежения лицо.

— Не приходите ко мне, товарищ, потому что ничего я для вас не сделаю! — прошипел он. — Вы раб старых, парализующих, глупых, ядовитых предрассудков о Боге. Из вас такой же революционер, как из меня митрополит!

Он плюнул и пошел к выходу из зала, выкрикивая:

— Суханов, я иду к вам вздремнуть...

Однако кузнец встал у него на пути и пробурчал:

— Я вам попов резать и душить вот этими руками помогу, потому что они помогали царям угнетать нас... Но Бог — это другое. Он обращается к человеку...

— Если Он говорит вам, то Его и слушайте, а от меня отстаньте! — перебил его Ленин.

— Да! Он говорит со мной голосом души... где-то там, глубоко... Ой, не говорите так, товарищ Ленин, не говорите так гордо, потому что не раз еще услышите Его, когда тяжело вам будет, а мысль, как заблудившийся, изголодавшийся нищий, будет стоять на перекрестке дорог, не зная, куда идти — направо или налево. Ой, не говорите! Бог — это большое дело!

Ленин ничего не ответил. Даже не посмотрел на говорившего.

Рабочий стоял еще минуту и смотрел на него и, ворча, быстро вышел из зала.

— Темный, глупый, обманутый церковью скот! — сказал Ленин и, обращаясь к Троцкому, добавил: — Вы слышали, с какой ненавистью звучал голос этого старца, когда он говорил о мести? Это был зов инстинкта! Его использование приведет нас к победе!

— А если все инстинкты темного, еще дикого народа вырвутся наружу? — спросил стоявший рядом Зиновьев.

К этому разговору прислушивался высокий, худой человек с впавшей грудью. Его лицо постоянно сжималось и вздрагивало. Холодные, отсутствующие глаза его оставались открытыми, неподвижными. Он подошел и с бледной улыбкой на лице обронил сквозь стиснутые зубы:

— С этим можно справиться! Задушить, запугать террором, какого мир еще не видел, террором, применяемым во имя идей, стоящих выше, чем влечение инстинкта... Только надо придумать такие идеи, вбросить их, чтобы они лопнули в толпе, как адская машина, с грохотом, огнем, кровью.

Ленин поднял на него изучающий, пронзительный, подозрительный взгляд. Он никогда не встречал этого человека.

Он вопросительно взглянул на Троцкого.

Тот наклонился и сказал:

– Товарищ Дзержинский... Вы его не знаете, Владимир Ильич, хотя это наш старый боевой друг. Он оказал нам большие услуги на фронте во время пропаганды в армии. Я считаю товарища Дзержинского, наряду с товарищами Девалтовским и Крыленко, самым способным и энергичным деятелем нашей партии.

Ленин протянул Дзержинскому руку.

– Приветствую вас, товарищ! Рад слышать, что... Вы поляк? Я ценю поляков, потому что это естественный исторический, революционный элемент...

– Да, я – поляк, – прошипел Дзержинский, – поляк с душой, полной ненависти и жажды мести.

– Кому? – спросили, внезапно обеспокоившись, Ленин и Троцкий.

– России... – ответил Дзержинский, не задумываясь.

– России?

– Да! Царской России, которая бросила семена унижения среди польского народа. Магнатов сумела привязать к трону, а простой люд принудила к самостоятельному, в целях самозащиты, наложению кандалов, рабскому, слепому обожанию своей земли и традиций.

– Товарищ Дзержинский исповедует национализм и патриотизм?! – искривив презрительно губы, спросил Ленин.

– Нет! – покачал головой Дзержинский. – Просто я хочу видеть поляков в первых рядах пролетарской армии; но, товарищ, пока это невозможно, так как они до фанатизма любят свою родину!

– Мы найдем на них управу! – успокоил его Троцкий.

Лицо Дзержинского ужасно задергалось. Он даже должен был прикрыть его обеими руками. Его глаза раскрылись еще шире, судорога искривила бледные, тонкие губы.

– Товарищ, планируете ли вы в сфере вашей деятельности учитывать Польшу? – спросил поляк.

– Теперь нас интересует Россия, – уклончиво ответил Ленин.

– Теперь... а потом? – прозвучал новый вопрос, и еще более сильная судорога пробежала по лицу Дзержинского.

Он смотрел на стоявших перед ним товарищей застывшим, неподвижным, почти одержимым, но опасным взглядом.

– Польша войдет в план мировой пролетарской революции, – ответил Троцкий, потому что Ленин, сохраняя молчание, внимательно присматривался к поляку.

– Мне кажется, что я понимаю вас, – буркнул вскоре Ленин и сделал шаг в сторону Дзержинского. – Я рад был с вами познакомиться... Мы отдадим в ваши руки поиск врагов пролетариата и революции.

Внезапно Дзержинский выпрямился и поднял высоко голову. Казалось, что он хотел призвать небо в свидетели своих слов.

Тщательно разделяя слова и слоги, он произнес короткое предложение:

– Я утоплю их в крови...

– Этого потребует от вас классовая революция... – прошептал Ленин.

– Я исполню!.. – прозвучал ответ.

В зал вбежал студент без шапки, но с винтовкой в руках:

– Железнодорожные вокзалы захвачены почти без выстрела... Сейчас идет бой за почту, Государственный банк, телефонную станцию...

Студент, переворачивая стулья и расталкивая выходивших людей, выбежал из зала.

Где-то далеко раскатывались звуки пушечных залпов. Они тяжело проносились над городом и ударяли в огромные окна, сотрясая их.

В стеклах уже замаячили первые, мутные предрассветные лучи.

ГЛАВА XVIII

Со стороны Английской набережной двигался большой автомобиль. Шофер озирался по сторонам. Его удивляло, что в 9 часов на улицах не было никакого движения — ни транспорта, ни пешеходов.

Где-то лаяли пулеметы и разрывали воздух залпы винтовок.

Над домами взлетали, падали на крыши и тут же взмывали высоко в небо, описывая широкие круги над городом, стаи испуганных голубей.

Из ближайшего переулка выбежали несколько солдат и перегородили автомобилю дорогу.

— Кто едет? — спросили они угрожающе и выставили вперед штыки.

Перепуганный шофер дрожащим голосом ответил:

— Инженер Болдырев, директор табачной фабрики...

Один из солдат открыл двери машины и, заглядывая внутрь, проворчал:

— Н-ну! Выходить! Именем Военно-революционного комитета автомобиль подлежит реквизиции. Вы, гражданин, свободны. Предупреждаю, однако: идите обратно, потому что в этом районе легко поймать пулю!

— Каким правом... — начал сидящий в салоне автомобиля импозантный, с длинными седыми бакенбардами и усами мужчина.

В машину проскользнул блестящий штык и заглянуло угрюмое лицо солдата.

— Вот каким правом! — буркнул он.

— Произвол... Насилие... — говорил, выходя из машины, инженер Болдырев. — Я буду жаловаться министру...

Солдат тихо рассмеялся:

— Только, гражданин, поспешите, потому что через час мы всех министров бросим в тюрьму... Иванов! Садись за руль и передай автомобиль коменданту!

Один из солдат немедленно сел в машину и, скаля зубы, бросил недоумевавшему инженеру:

– Баста! Наелись вы, напились нашей крови, теперь наш черед! Двигай!

Болдырев, ничего не говоря, пошел к Александровскому мосту.

Его недоумение не было слишком большим.

Метания мелкого адвоката Керенского, которого революционная волна случайно вынесла на должность руководителя правительства; его предательство дела генерала Корнилова, планировавшего навести порядок в стране и удержать оборонительный фронт на западных границах; появление практически второго правительства в виде Совета рабочих и солдатских депутатов, руководимых грузинами Церетели и Чхеидзе; вызывающий тон большевистских газет, требующих передачи всей власти Совету, – все указывало на возможность начала гражданской войны. Он ожидал ее и, зная русский народ, понимал, что она будет жестокой и кровавой; однако он не думал, что момент этот наступит так быстро.

Директору казалось даже, что произошли какие-то события, откладывающие начало внутренней войны.

В Зимнем дворце проходили заседания созванного для спасения отчизны демократического совета; был объявлен съезд рабочих и солдатских депутатов; это могло перенести на более поздний срок и даже, быть может, сделать невыполнимым вооруженное выступление большевиков, действовавших под руководством прячущегося в Финляндии Ленина.

И вдруг – не только восстание, но даже признаки новой власти: реквизиция частных автомобилей и совершенно очевидное, враждебное настроение повстанцев.

– Наелись вы, напились нашей крови, теперь наш черед... – припомнил себе директор слова солдата.

Очень серьезные и тревожные признаки взволновали Болдырева.

Дело было уже не в войне.

Он понимал, что разбегающаяся, самовольно оставляющая фронт, дискутирующая над каждым приказом командира и безнаказанно издевающаяся над офицерами армия не может оста-

новить такого сильного противника, как Германия. Он опасался только того, чтобы Россия не откололась позорным образом от союзников, не была раздавлена внешним врагом и втянута в круговорот гражданской войны, последствия которой были непредсказуемы.

Он шел, направляясь к Литейному проспекту, откуда пока не доносились никакие звуки уличных боев. Ему явственно видны были собирающиеся над страной тучи, и он пытался найти для нее возможные пути спасения и надежды.

Эти мысли заслонили неизбежный, всегда тяжелый и неприятный разговор с женой. Он знал, что так будет, потому что это повторялось все чаще и вспыльчивее.

Он осознавал, что сам давал повод для домашнего разлада, но не видел для себя оправдания, и это злило его и вызывало досаду.

Особенно его мучило убеждение, что, вопреки серьезному намерению, он ничего не мог изменить в своей жизни. Он был бессилен, беспомощен перед настроением, которое три года назад охватило его и лишило воли. Ему была понятна вся абсурдность, бесцельность, непостоянность ситуации, в которую он попал в период сильного возбуждения и нервного расстройства.

— Болезнь, безумие. Но я ничего не могу с этим поделать... — шептал он сам себе в моменты угрызений совести.

В задумчивости дошел он до Литейного проспекта, бегущего от набережной до центра города.

Не успел он пройти и ста шагов, как с крыши ближайшего дома внезапно раздался сухой стрекот пулемета.

Болдырев поднял голову, но ничего не заметил. До него долетало только запыхавшееся щелканье автоматического оружия и громкое, отражающееся от стоящих на противоположной стороне домов эхо.

Сыпались красные осколки кирпича и куски штукатурки, распрыскивающейся в клубы белой пыли; лопались со звоном оконные стекла, и падали с высоких этажей на тротуар щепки разбитых рам.

Пулемет утих, и тогда во фрамугах выбитых окон появились люди и, высоко прицеливаясь, дали залп.

Инженер решил спрятаться под аркой дома, но в этот момент с грохотом и звоном жести скатился с крыши и упал прямо перед ним полицейский с окровавленным лицом.

Болдырев спрятался в арке, где стояла уже целая толпа прохожих.

— Гибнет наша святая Россия!.. — вздыхала какая-то старушка.

— Какие-то бандиты, предатели родины хотят захватить столицу, — вторил ей толстый бородатый купец и вдруг принялся креститься, словно в церкви.

Сидевший на ступеньке лестницы бледный, в потрепанной одежде молодой человек, наверняка рабочий, издевательски рассмеялся:

— Ну да! Старые песни! — сказал он. — Кому нужна ваша «святая Россия», в которой люди гнили по тюрьмам?! Кому? Вам и только вам! А мы — трудящийся народ — ничего с нее не имели. Для вас она была матерью, а для нас — мачехой! Теперь мы споем вам то, о чем давно мечтали... Конец! Пришло наше время!..

В разговор вступили остальные, разгорелся спор.

— Можно было договориться без кровопролития! — кричал кто-то.

— Несомненно! Только рабочие этого не захотели. Без революции — ни шага!

— Выбрали тоже мне, предатели, время для восстания! Гражданская война, когда враг стоит на пороге отчизны! — крикнул пожилой человек в униформе чиновника.

Рабочий встал и злым голосом ответил:

— Каркайте, каркайте, ничего вам уже не поможет! Зачем нам с вами договариваться? Мы сами можем все у вас отобрать и — отберем! Поздно жаловаться!

— Предатели! — крикнул купец и подошел к рабочему со сжатыми кулаками. — Родину защищать надо, а не бунты поднимать, сукины сыны!

Рабочий снова рассмеялся:

— Самое хорошее время для бунта, господин купец! Если бы не война — вы бы нас раздавили, а теперь это ждет вас! Да, господин буржуй, наступает ваш последний час!

Купец набросился на говорившего и ударил его в грудь. Слабый, худой человек упал от тяжелого удара. Один из стоявших поблизости мужчин принялся пинать лежавшего. Рабочий вскочил и выбежал на улицу с криком:

– Товарищи! Большевиков бьют!

Болдырев не стал дожидаться продолжения, быстро вышел и свернул в ближайший проход. Он видел, как несколько вооруженных рабочих уже бежали через улицу и окружили побитого.

Через мгновение из арки выволокли купца и статного молодого человека в чиновничьей фуражке. Их вели, подгоняя прикладами и кулаками, но вдруг вся группа остановилась.

Арестованных быстро поставили к стене.

Рабочие отбежали на середину улицы и дали залп.

На тротуаре остались два неподвижных тела.

Болдырев не смотрел на лежащие трупы, потому что чувствовал, что его охватывает ужас, а тело начинает судорожно трястись.

Он стал анализировать свое состояние.

Нет, это не был страх за собственную жизнь. Скорее он чувствовал тревогу перед неизвестным пока, но уже грядущим бедствием. Он не видел его, не слышал его голоса, но чувствовал бьющий в грудь и сжимавший холодными пальцами горло кошмар.

Издалека долетали звуки выстрелов.

Несколько прохожих промелькнуло перед аркой, в которой прятался Болдырев. Он пошел за ними и свернул в боковую улочку. Однако ему пришлось остановиться. Тротуар и проезжая часть оказались перегороженными.

Толпа подростков в гимназических фуражках возводила баррикаду. Из дворов сносились камни, куски угля, деревянные поленья, ящики, столы. Быстро выросло достаточно большое укрепление; над ним затрепетало красное знамя.

Мальчишки работали в спешке. Некоторые еще тянули тяжелые мешки и доски, в то время как другие уже заряжали винтовки и занимали на баррикаде позиции.

Кто-то пронзительно крикнул:

– Солдаты!

Все спрятались за укреплением. Толпа, наблюдавшая за работой мальчишек, разбежалась в одно мгновение. Прозвучал залп. Над шедшим по улице отрядом развернулось белое полотнище. Раздались звуки горна.

Несколько мальчишек, размахивая платками, пошли навстречу солдатам.

– Зачем вы стреляли? – спросили солдаты.

– Мы воюем за товарища Ленина! – хором ответили пацаны.

– Так и мы идем ему на помощь к Зимнему дворцу, – ответил командующий отрядом подпоручик.

С соседней улицы выскочили несколько вооруженных людей и остановились на тротуаре.

– Пароль? – крикнули они.

– Пролетариат... – ответили солдаты.

В этот момент раздались выстрелы. Отряд в страхе, истекая кровью, рассыпался по мостовой, тела солдат и двоих гимназистов долго трепыхались, словно выброшенные на берег рыбы.

– Боже!.. – простонал Болдырев и уже бежал, весь бледный, дрожащий, ни на что не обращавший внимания. У него было только одно стремление – как можно быстрее скрыться в своей тихой квартире, чтобы ничего не видеть и не слышать. Он ворвался в подъезд дома и направился к лифту.

– Машина не работает, – сказал неприязненным голосом старый портье.

– Очень неприятная новость, – заметил инженер.

– Будет еще хуже... Лифт – это ерунда! Не так уж высоко, можете подняться пешком. Простой народ обходится без лифтов, значит и буржуи могут...

Болдырев с недоумением посмотрел на портье. Он знал его 15 лет, как всегда вежливого, тихого, услужливого человека. Теперь он смотрел на инженера угрюмым взглядом, а лицо его было искажено злобной улыбкой.

– Вы быстро изменились... гражданин... – буркнул Болдырев.

– Жаль только, что случилось это на старые годы! – отметил портье почти дерзко.

Инженер больше ничего не говорил. Он вошел на второй этаж и позвонил в дверь.

Двери открыла горничная и посмотрела на него загадочным взглядом.

– Госпожа дома? – спросил он.

– Дома, – ответила она. – Госпожа не захотела отпустить меня сегодня до обеда, а тем временем...

– Конечно, – перебил ее Болдырев. – Ведь сначала необходимо подать завтрак.

– У меня теперь есть дела поважнее! – вспыльчиво возразила она. – Вся прислуга должна быть на митинге... Можете, господа, сами себе завтрак приготовить и на стол накрыть... Не умрете!..

Болдырев все понял и подумал:

– Рабы чувствуют свободу и поднимают голову. От них мы настрадаемся больше всего...

Он сбросил плащ и вошел в кабинет.

Начал ходить по комнате и растирать замерзшие руки.

Он чувствовал невыносимую тревогу. Плохое предчувствие камнем лежало у него на сердце.

Этот день, его день, оказался отравлен еще до того, как он вернулся домой.

Обычно он чувствовал себя сильным и под влиянием пережитого пребывал в мечтательном настроении. Сегодня от этого настроения не осталось и следа.

Он вошел в комнату жены.

Она сидела возле стола и, услышав его шаги, даже не подняла голову.

– Мари... – сказал он тихо.

Госпожа Болдырева вдруг опустила голову на руки и начала тяжело рыдать.

– Мари... Мари... – повторял он трогательным голосом.

– Теперь я вижу, насколько безразлична тебе... – начала она говорить сквозь слезы. – В такой ужасный момент ты не подумал обо мне, оставил меня одну... Вокруг выстрелы... Прислуга сразу же сделалась жестокой и вызывающей... А ты... ты... предпочитаешь быть с той женщиной!.. Все ей – чувства и забота, а мне – ничего! За что! Еще год назад, оставаясь одна, я целыми ночами плакала, в отчаянии билась головой о стену... У меня была одна надежда... что ты вернешься... что поймешь разницу

между той, балериной, и матерью твоих сыновей... Женщиной, которая в беде и радости оставалась рядом с тобой... Я ошиблась! Это уже не безумие, не запоздавшие фантазии, это – любовь! Ты ее любишь... В эту страшную ночь ты заботился о ней, только о ней!

Ее слова прервало рыдание.

Она встала и заплаканными, отчаянными глазами смотрела на растерянного мужа. Он стоял перед ней и думал, что она могла бы казаться молодой женщиной. Стройная, высокая фигура, отличные черные волосы, в которых кое-где поблескивали серебряные нити, открытое тонкое лицо, красивые сапфировые глаза и еще свежие, горячие, почти девичьи губы, – ничего не говорило о старости. Только две глубокие морщины возле губ и мученические, болезненные глаза свидетельствовали о глубоких страданиях и грусти этой женщины.

– Мари... – сказал Болдырев. – Я знаю, что виноват и не заслуживаю прощения... Несчастный порыв... какое-то почти болезненное влечение к той женщине... *C'est plus fort que moi...* Я беспокоился о тебе и уехал очень рано... Я долго не мог перебраться на эту сторону, потому что все мосты были разведены, а потом, представь себе, у меня реквизировали авто, я шел пешком... укрывался от пуль... был свидетелем страшных... потрясающих... происшествий.

Как маленький, испуганный ребенок, он взял жену за руку и срывающимся голосом рассказал о своих испытаниях.

– Нас ждет великая беда!.. – повторял он все время.

Она молчала, не в силах остановить идущие из сердца рыдания и забыть тяжелую, болезненную, моментами переходящую в ненависть обиду.

В прихожей раздался нетерпеливый, настойчивый звонок.

Через мгновение влетел высокий смуглый парень.

– Я рад, что вижу вас вместе! – воскликнул он. – Мама, а Георгия еще нет?

– Нет! – ответила, вытирая слезы, госпожа Болдырева. – Он должен был прийти?

– Ты плачешь? – спросил парень и, насмешливо глядя на отца, добавил: – Очередная романтическая эскапада? Ай! Ай!

В твоем возрасте, отец, это уже смешно! Я только удивляюсь, что за три года мама не смогла привыкнуть к этим гастролям своего пламенного господина и властелина!

– Петр! – укорила сына госпожа Болдырева и с беспокойством посмотрела на мужа.

Тот тем временем сел в кресло, бледный и задумчивый. Он, видимо, даже не слышал насмешливых слов сына.

– Валерьян! – сказала она с тревогой, коснувшись его плеча и заботливо глядя на это изнеженное, столь безвольное, податливое, легкомысленное и в то же время вспыльчивое лицо. Иногда она ненавидела эти голубые глаза, пухлые губы, белый лоб, мягкие, золотистые бакенбарды и буйную, почти юношескую шевелюру, ненавидела как униженная, обманутая жена.

Однако она чувствовала нежность к нему, беззащитному перед всем, что выходило за границы быта обычных людей.

Она знала своего мужа, ведь ей было известно, что не собственным трудом, не усилием мозга и мускулов достиг он благополучия. Счастливое стечение обстоятельств повлияло на его судьбу и дало независимую должность.

Болдырев умел только не испортить карьеру. Он был честен, систематичен в работе, не проявлял к ней излишнего рвения, только настолько – насколько это было необходимо, и ничего более. Он был доволен своей ситуацией и не имел больших амбиций.

Он поднял на жену затуманенные голубые глаза, в которых еще не погас блеск ужаса и грусти.

– Что? – шепнул он удивленный, как будто разбуженный из тяжелого сна. – Ты спрашивала меня о чем-то, Мари?

– Пришел Петр и ждет Георгия... – сказала она.

– Что у вас слышно? – обратился Болдырев к сыну. – Как ведут себя ваши рабочие?

– Плохо! – воскликнул сын. Сегодня с утра пришла только десятая часть рабочих. Остальные пошли за большевиками. Те, что остались, устроили митинг и вывезли на тачках всех инженеров. Только меня пожалели за то, что, как сами объяснили, относился к ним по-человечески и вместе с ними трудился на обрабатывающих станках. Они выбрали меня на должность директора. Получилась очень глупая и нервозная ситуация. Я отка-

зался и подал в отставку. Иначе, исходя из интересов нашего правления, я поступить не мог. Надо было быть солидарным!

— Конечно! — согласился отец. — Правление непременно оценит это, когда наступят нормальные времена.

— Не наступят! — сказал серьезным голосом сын.

— Не наступят? — переспросила госпожа Болдырева.

— Может... когда-нибудь... в любом случае не скоро, — ответил молодой инженер. — Я убежден, что революция получится и именно такая, о какой эти люди мечтают. Я рад этому!

— Что ты говоришь, Петр! — возмутился отец.

— Говорю то, что думаю! — ответил сын. — Нельзя было дольше терпеть такое положение. Те, у кого работа тяжелее, оставались по большому счету на уровне рабов или нежелательных, хотя и необходимых машин, которые выбрасывают, если они начинают работать недостаточно надежно, или когда в результате калькуляции хозяев становятся ненужными...

— Такая же система существует везде, — защищался господин Болдырев.

— Везде плохо! — ответил Петр. — Это поняли американские капиталисты и, выбирая из трудящейся массы самые лучшие, способные экземпляры, вводят их в число владельцев предприятием, в пропорции, точно и справедливо просчитанной. Другим странам, а в первую очередь — России, революция уже заревом светит в глаза...

В кабинете зазвонил телефон.

Господин Болдырев снял трубку.

Вдруг он побледнел и почти бессильно опустился в кресло. Хрипло прошептал, задыхаясь:

— Наши склады ограблены отрядами моряков и рабочих. Фабрика горит... Позвонил и сказал мне об этом наш председатель...

Петр Болдырев щелкнул пальцами и, расхаживая по комнате, говорил:

— Этого я боюсь больше всего! Дикий инстинкт нашей толпы, ведомый избытком ненависти, начнет крушить... Что будет тогда с Россией? Я охотно буду сотрудничать с окончательно высвобожденным народом, но не с разрушителями! Это — ужасно! Поедешь на фабрику?

— Председатель сказал, что вокруг идет битва между бунтарями и поддерживающим правительство Семеновским полком, — прошептал подавленный инженер.

В кабинет вошел Георгий Болдырев.

Так же как и старший брат, он был похож на мать. Такие же черные волосы, смуглое лицо, большие голубые глаза. Но если брат кипел жизнью и энтузиазмом, то вся фигура Георгия выдавала в нем мечтательность и склонность к глубоким размышлениям.

— Ах! Явился наш метафизик! — обрадовался Петр.

— Что творится! Что творится! — воскликнул, складывая руки, Георгий. — Во всех районах — битва. Я с трудом боковыми улицами добрался до вас!

— А что у тебя слышно? — спросил отец.

— Ничего хорошего! Совет рабочих постановил закрыть нашу фабрику как ненужную пролетариату, потому что мы производим мыло, одеколон и зубной порошок, — ответил он с грустной улыбкой.

— Но вы ведь производите также лекарственные средства! — воскликнул Петр.

— Мы обращали на это внимание. Они сказали, что все аспирины, пирамидоны нужны только буржуям, а не трудовому народу. Все запасы реквизированы и вывезены в неизвестном направлении. В фабрике разместились тем временем отряды повстанцев из пригородных фабрик. Я собственными глазами видел, как рабочие откручивали латунные и бронзовые части аппаратов и выносили емкости из платины и серебра... Прекрасная революция в XX веке!

— Прекрасная, не прекрасная, но революция и к тому же — российская! Другой она, брат, и быть не может! Мы дикий народ, а дикость нашу усилило небывалое, преступное, предательски глупое в отношении России угнетение! — воскликнул Петр.

— Революция должна поднять весь народ, повести его за собой! — запротестовал младший брат. — Как же она достигнет этого, если запятнает себя примитивным разбоем, отвратительным преступлением?

— Твои умозаключения, Георгий, хороши для квакеров или евангельских христиан, но не для нас! Мы еще пока языческий народ, блуждающий в густом мраке, — говорил Петр.

— Наша интеллигенция не уступает европейской, все восхищаются нашим искусством, — возразил Георгий.

— Дорогой мой! — воскликнул старший брат. — Это старые, совсем неубедительные доводы! Наша интеллектуальная и творческая интеллигенция — это два или три миллиона человек, а остальные 150 миллионов в периоды эпидемий или голода бьют палками или рубят топорами врачей, учителей, агрономов, ветеринаров, потому что непосредственно они «разносят холеру»; бабы топят ведьм, потому что они своими дьявольскими штучками вызывают гнев Божий. Между нами и народом — пропасть. Мы не можем возвести над ней никакого моста!

— Это правда! — согласился Болдырев. — Я знаю рабочего уже двадцать шесть лет. Когда мы говорим с ним о профессиональных вещах, то отлично понимаем друг друга. Достаточно одного лишь слова о чем-нибудь жизненном, общем, у меня сразу же возникает ощущение, что мои слова не доходят до рабочего... Я замечаю в его глазах растерянность, недоверие, вражду. Думаете, крестьянин понимает рабочего или мещанина? Нет! Я бывал в деревне у брата Сергея и знаю, что крестьяне ненавидят землевладельцев, они полны подозрительности к людям из города и презрения к рабочему...

— Да! — воскликнул Петр. — К сожалению, мы не имеем общества. У нас есть несколько слоев, ничем между собой не связанных, враждебно настроенных в отношении друг друга, а если добавить к этому территориальные, религиозные, племенные отличия — картина становится отчаянной и безнадежной!

— Каким образом Ленин намерен все это объединить? — спросил Георгий.

— В этом все дело! — согласился Петр. — Скоро мы это узнаем, если этот загадочный вождь пролетариата одержит победу.

— Пойдемте завтракать! — сказала госпожа Болдырева, открывая двери. — Я сама все приготовила, потому что прислуга разбежалась по митингам.

За столом царило молчание. Госпожа Болдырева была грустна и украдкой вытирала слезы, заметив, что лицо мужа было бледным и озабоченным.

Она была убеждена, что он переживает за свою любовницу, которая полностью овладела уже стареющим, но полным задора, юмора и хорошего здоровья инженером. Однако госпожа Болдырева ошибалась. Ее муж думал в этот момент о революции и ни разу не вспомнил о кокетливой барышне Тамаре, о ее свежем, розовом личике, окаймленном золотыми, пушистыми волосами.

Сыновьям было жаль мать, и они чувствовали растущее презрение к неуместному, запоздавшему роману отца; собственно говоря, они никогда не уважали его по настоящему. Он им совсем не импонировал. Они давно заметили его легкомысленность, пассивность и отсутствие силы, которая придает жизненный напор, позволяя не останавливаться перед борьбой. Сам Болдырев чувствовал это сейчас настолько явственно, что испытывал почти физическую боль. Он знал, а скорее предчувствовал, что приближается время больших испытаний, новая, неизвестная жизнь; для того, чтобы охватить ее разумом, противостоять приближавшимся враждебным явлениям у него уже не было сил. Он не смог бы жить иначе, чем до сих пор, не смог бы думать категориями человека борющегося, завоевывающего. Он осознавал свою беззащитность, слабость, сомневался в собственной ценности. Из-за этого мучительного ощущения у него стали исчезать угрызения совести, когда он с беспокойством и стыдом смотрел на грустную, заплаканную жену; он забыл о всегда ощущаемой неловкости перед сыновьями, которые критиковали его и обычно избегали долгих разговоров с ним.

Сейчас это настроение отступило. Пришло и придавило что-то огромное, вс еохватывающее и поглощающее все душевные волнения.

После завтрака мужчины вышли в город, чтобы осмотреться в ситуации. Перестрелка прекратилась. По улице шел отряд солдат. На штыках или груди у них были красные ленты. Они пели революционные песни.

На Невском проспекте, где концентрировалась жизнь столицы, по тротуарам плыли толпы людей. На пожарной каланче развевалось красное знамя. Раздавались крики:

— Да здравствует социальная республика!

По Морской улице они вышли на площадь перед Зимним дворцом. Здесь располагался военный лагерь.

Стояли пушки и пулеметы; лежали разбросанные в беспорядке, втоптанные в снег и грязь пустые гильзы от патронов; дымили полевые кухни; фыркали кони; изломанной линией тянулись баррикады.

Стены здания Генерального штаба и Министерства иностранных дел, испещренные белыми пятнами отбитой штукатурки и дырами от пуль, смотрели жалобно черными, с выбитыми стеклами окнами. Всюду стояли отряды солдат и вооруженных рабочих, окруживших пылающие костры. Они обсуждали события дня.

— Дружины из Коломенской фабрики снесли дворцовые ворота! Сейчас пойдут в атаку! — кричали повстанцы, глядя в сторону дворца.

Со стуком колес площадь пересекли фургоны Красного Креста.

Болдырев заметил, что на гранитных ступенях колонны, возведенной в память об отпоре, данном наполеоновской армии, лежит куча тел. Это были жертвы революции. Из-под наброшенных на погибших шинелей и гражданских пальто выглядывали окоченевшие, мертвые ноги в грубых ботинках.

Во внутренних дворах огромного дворцового здания раздавались глухие выстрелы. Два залпа, а за ними третий — беспорядочный, за которым последовали отчаянные крики, несколько одиночных выстрелов, глухой говор яростных голосов, звон разбиваемого стекла, лязг железа, треск дерева и — новые залпы. Из главных ворот кучками выбегали в панике рабочие и солдаты, прятались за баррикадами и спешно и беспорядочно стреляли.

Однако продолжалось это недолго, потому что из ворот вышли стройные шеренги серых солдатских фигур. Идущие впереди стреляли в сторону площади. Остальные густыми залпами посыпали двор.

— Юнкеров и бабский батальон Бочкаревой взяли между двух огней! — кричали рабочие, лежавшие неподалеку от спрятавшегося за полевой кухней Болдырева с сыновьями. — Это последние защитники Керенского!

– Наши вытеснили этих шершней из дворца! – кричали другие.

Дворец действительно был взят.

По высокому древку, на котором еще недавно гордо развевались царские штандарты, проскользнуло и начало трепетать огромное красное полотнище.

По этому сигналу все живое бросилось на защитников дворца.

Началась резня.

Болдырев видел, как поднимались приклады винтовок и, словно могучие цепы, падали на юнкеров, когда их кололи штыками, стреляли, прикладывая стволы прямо к груди и животу. Нападавшие боролись между собой за место, чтобы ударить врагов пролетариата.

Воспитанники военных училищ отчаянно защищались остатками сил и не просили о снисхождении.

Группа рабочих окружила двух юнкеров, вырвала у них из рук винтовки, повалила, растоптала и накрыла дергающимися телами, словно стая псов, раненого зверя. Их били прикладами, кулаками, пинали ногами, кололи, секли, вырывали волосы, выбивали зубы и глаза. Разъяренные, окровавленные, охваченные бешенством люди еще долго кружились и возились над жертвами, хотя от молодых, отважных юнкеров остались страшные, вызывающие ужас куски.

Повстанцы, издеваясь над трупами, рычали, выли, изрыгали отвратительные, кощунственные проклятия.

Приклады ударяли по мягким, пропитанным кровью и брызгающим при каждом ударе красными струями кускам. Каблуки тяжелых сапог вязли в окровавленной массе разодранных тел, разбитых голов, мешанины волос, лохмотьев, мозга и грязи.

В другом месте раздались рычание и глухой, злой, угрюмо-радостный смех.

Это солдаты Павловского полка напали на отступающий с площади штурмовой женский батальон. Он защищал отважно и все чаще переходил в штыки. Тогда солдаты отходили, но через мгновение снова бросались в атаку. Батальону отрезали дорогу к отступлению, окружили тесным железным кольцом и зажали со всех сторон. Началась дикая битва кулаками и кто чем мог. Однако продолжалась она недолго. Женщин

периодически вырывали из расстроенных рядов, дергали их, срывали одежду.

Раздавались взрывы смеха и крики:

– Старая ведьма! В преисподнюю ее!

После этого поднималась винтовка, доносился глухой звук трещавших костей, и полунагая фигура исчезала в бурлящей давке.

Разъяренные, подогретые битвой солдаты хватали молодых женщин-добровольцев, тянули их за волосы, за обнаженные плечи, за остатки одежды и скрывались во дворах близстоящих домов.

Огромный веснушчатый солдат перекинул через плечо до пояса обнаженную девушку и бежал с ней через площадь. Каштановые волосы разметались вокруг бледного, маленького лица. Груди, как два бутона роз, с дразнящим вызовом напрягались последним усилием жизни. Белое, едва прикрытое лоскутами и обрывками разорванной шинели тело свисало бессильно, бесчувственно, оно было измотано битвой и охвачено ужасом позора и смерти.

Солдат добежал до фургона Красного Креста. Заглянул одержимыми глазами внутрь, прохрипел, вытянул винтовку и рявкнул:

– Вон!

Он выстрелил, пробив пулей полотно тента.

Врач, санитарка и сидевший на козлах солдат мгновенно выскочили из фургона и смешались с толпой.

Солдат швырнул свою добычу на дно повозки, отчего она скрипнула рессорами; взобрался внутрь и опустил полу фургона.

Толпа окружила повозку.

Люди стояли молча, словно перед лицом огромной тайны в момент страшного и понурого языческого богослужения.

Из фургона доносились прерываемое, запыхавшееся рычание и слабые, жалобные стоны.

В этот момент из-под арки Генерального штаба выехал бронированный автомобиль.

Солдаты с винтовками, с развевающимися на шапках и рукавах красными лентами стояли на ступеньках автомобиля и лежали на его крыльях. Посередине, выше всех, стоял че-

ловек в серой рабочей кепке и черном гражданском пальто. Широкое, с выступающими скулами и толстыми губами лицо по-доброму, радостно улыбалось, раскосые глаза бегали, охватывая толпу и всю площадь изучающим взглядом. У этого человека были глаза насекомого, которое в мгновение ока охватывает огромное число деталей, глядя одновременно тысячами зрачков.

Кто-то узнал его.

– Да здравствует Ленин!

– Да здравствует товарищ Ленин, наш вождь! – раздался крик.

– Ленин! Ленин! Да здравствует Ленин! – потрясли воздух сотни глоток.

Люди вставали на цыпочки, задирали головы, давились и толкались, чтобы лучше увидеть того, кто вел их к лучшему, чудесному будущему.

– Уступите дорогу, товарищи! – кричал шофер. – Дорогу товарищу Ленину!

– Что тут у вас происходит? – спросил Ленин доброжелательным голосом, заметив в глазах окружавших фургон людей необычный блеск.

– Ха-ха! – прогремел смех. – Солдат поймал буржуйку из штурмового батальона, ну и... Ха-ха-ха! После такого молодца ей расхочется защищать дворец и буржуев... Ха-ха-ха!

Ленин с отвращением искривил уста и еще больше сощурил раскосые глаза. В узких щелях, будто горящие угли, светились черные, пронзительные зрачки. Он изучал настроение, хотел впитать в себя мысли толпы. Он понял причину этой бледности лиц, этого мрачного, хищного блеска глаз и дрожание сильно стиснутых губ... Он весело усмехнулся и беззаботным голосом прокричал:

– Пускай позабавится верный защитник пролетариата! С сегодняшнего дня все принадлежит вам, товарищи! Грабьте награбленное!

– Ого-го-го! – взвыла толпа. – Ленин! Да здравствует Ленин!.. Ах! Наш он – обожаемый, вождь... отец! Ленин! Ленин!

Бронированный автомобиль медленно двигался вперед, а за ним, толкаясь, бежала толпа. Ленин остановился поблизости от места, где добивали юнкеров и женщин из добровольческого батальона.

— Кончать с ними! — крикнул Ленин. — Товарищи, братья, сражающиеся за свободу и счастье пролетариата, за светлое будущее человечества, спешите на осмотр вашего дворца! За мной!

Тем временем из фургона Красного Креста выпрыгнул веснушчатый гигант. Он ленивыми движениями поправлял на себе одежду, похотливо улыбался и по-молодецки посматривал на разглядывавших его повстанцев.

— Угодил я девке, ой, угодил... а может, это дочка какого-нибудь генерала? Высокородное родство... Ха-ха-ха!

Он сделал бессовестный жест и внезапно крикнул:

— Становитесь в очередь! Ну, кто первый? Генеральская дочка ждет... вся готовая!

Толпа, смеясь и ворча, почти бессознательно выполнила отвратительный приказ, толкаясь и становясь в длинную очередь. К фургону подскочил одноглазый подросток без шапки. Он был босиком, с одной ноги свисали грязные тряпки порванной онучи.

— Богатый жених достанется девке! — кричали в толпе.

— Ха-ха-ха! — гоготали солдаты.

— Кто-то, вложив два пальца в рот, пронзительно свистнул.

Вдруг возникло смятение.

Расталкивая толпу и блестя глазами, продирался к фургону Георгий Болдырев. Он вскочил в повозку и исчез за свисающим тентом.

— Некогда ему... Смотрите-ка, какой горячий! — закричали вокруг. — Становись в очередь! Не уступим... по справедливости надо, без обмана!

Последовал взрыв смеха, шутки и гнилые, страшные ругательства.

Через мгновение они стихли. Из фургона вывалился одноглазый подросток и покатился по утоптанному тающему снегу, словно выброшенное полено.

На фургоне появился Георгий.

Он держал в руке револьвер, грозно смотрел и кричал:

– Кто посмеет дотронуться до этой женщины, тому башку разнесу! Позор! Сражающийся за свободу пролетариат насилует беззащитную женщину! Стыдитесь, граждане!

Толпа застыла, замолчала, притаилась.

Но ненадолго. Раздался насмешливый голос:

– Пролетариат не знает стыда! Это буржуазный предрассудок!

Георгий Болдырев не заметил, как стоявший рядом с ним солдат украдкой поднял винтовку и с размаху ударил его прикладом в грудь. Юноша, словно пораженный молнией, упал навзничь и скрылся внутри фургона.

Старый Болдырев вдруг почувствовал ничем не прогоняемый, звериный страх перед тем, что должно было случиться. Не осознанная разумом мысль о мощи толпы, об угрожающей опасности и бессмысленности защиты вылилась в одержимый страх и заставила двигаться мышцы. Он, не оборачиваясь, побежал к арке, слыша, что кто-то бежит за ним. Запыхавшись, он наконец остановился. Оглянулся. Сразу же за ним стоял бледный, дрожащий Петр.

Они смотрели друг на друга глазами преступников, которые только что совершили убийство и молчали, как два заговорщика. В их глазах сменялись страх, стыд и ненависть. Они не сказали друг другу ни слова.

На площадь вернулись бегом. Фургона не было. Он уже уехал. Отряды повстанцев переместились к дворцу. Новые толпы, вываливавшиеся изо всех улиц, подхватили Болдыревых и понесли. Они бежали вместе с остальными; потерявшись в давке, были даже рады, что могут не смотреть друг другу в глаза. Они чувствовали себя щепками, которые несет могучий, обезумевший водоворот. Их сердца грыз стыд и презрение к самим себе. Какие-то голоса, перекрикивавшие беспорядочный гомон тысяч людей, властно призывали к немедленным, отважным, необходимым, как защита собственной жизни, действиям.

Вокруг стоял рев, свист, смех, вопли:

– Во дворец! Во дворец!

ГЛАВА XIX

На площади еще добивали последних защитников временного правительства, когда Ленин уже входил в Зимний дворец.

Халайнен и Антонов-Овсиенко во главе финских и латышских революционеров прокладывали ему дорогу в толпе.

Солдаты, рабочие, воры, бандиты, выпущенные повстанцами из уголовных тюрем, внезапно забывшие о своих недугах нищие, дворцовая служба, сторожа из соседних домов, проститутки, белошвейки и даже дети; толпы воющих, рычащих, одержимо смеющихся людей пробегали по бесконечным анфиладам прекрасных залов с выбитыми пулями окнами и отколовшимися карнизами мраморных потолков.

Пьяный мужик, окруженный кучкой смеющихся женщин, стоял перед огромным зеркалом в резной, позолоченной раме. Он долго, с серьезным лицом поправлял баранью шапку, поглаживал бороду и присматривался к себе. Через некоторое время ему в голову пришла веселая мысль. Он принялся топать ногами, подпевать и вдруг пустился в пляс, приседая и выбрасывая ноги. Он так близко приблизился к зеркалу, что задел стеклянную поверхность рукавом полушубка. Его это разозлило. Остановившись, он злыми глазами присмотрелся к отражению, после чего изрыгнул поток гнилых проклятий и со всей силы пнул стекло ногой. Зеркало потрескалось на куски и со звоном осыпалось. Толпа зарычала, взорвалась смехом и воем.

Все принялись крушить и ломать все, что попадало под руку.

Разбивались зеркала, резные вазы, со стен срывались и топтались ногами картины; несколько подростков, разломав стул, швыряли деревянными обломками в венскую люстру и заслоняли руками лица от сыплющихся обломков цветного стекла и электрических лампочек; женщины срывали шторы, сдирали с диванов и кресел обивку, обдирали со стен шелковую ткань.

– Грабь, братва, награбленное! – верещал бледный рабочий, тыча штыком в малахитовую статуэтку Амура.

Треск уничтожаемой мебели, грохот падающих картин, резных каменных ваз, статуй, тяжелых бронзовых часов смешались с криком и проклятиями грабителей, которые принялись ссориться и драться из-за добычи.

Солдаты стреляли по красивым капителям мраморных, селенитовых и малахитовых колонн, били прикладами в зеркала и картины, в каменные столешницы, в блестевшие глазурью и мозаикой шкафчики, письменные столы; рвали штыками ковры, китайские, японские, турецкие гобелены; сбрасывали на паркет портреты в тяжелых золотых рамах, увенчанных царскими коронами.

В небольшом кабинете висел одиноко портрет Александра III.

Вбежавшая толпа остановилась, объятая ужасом.

Из мрака на них смотрело неподвижное лицо царя.

Холодные голубые глаза, казалось, были живыми.

В черном мундире, с одиноким, белым крестом святого Георгия на груди, царь стоял, пряча руку за пазухой, и смотрел строго и проницательно.

– Император Александр Александрович... – раздался переполненный страхом голос. – Строгий был царь... Александр III, отец Николашки...

– Палач! Убийца крестьян и рабочих... Тиран! – крикнули другие. – Бить его!

Портрет стянули со стены, поломали раму. Десятки рук хватали за холст картины, вонзали в него пальцы, царапали, ломая и загибая ногти, пока лицо царя не начало покрываться кровью.

Разъяренная этим старуха, завернутая в шелковую, только что украденную портьеру, вскочила обеими ногами и разорвала холст. Жесткие, затвердевшие полосы портрета отрывались с треском. Остался только обрывок с фрагментом лба и одного сурового глаза.

– Еще смотришь на нас?! Угрожаешь?! – крикнул писклявым, разъяренным голосом старый рабочий с винтовкой на плече. – Ты, палач, отправил меня в Сибирь, выпил все мое здоровье и кровь! Я тебя отблагодарю... Подожди! Подожди!

НА ОТДЫХЕ

Он широким движением рук раздвинул толпу и принялся расстегивать державший штаны ремешок. Обнажившись, он молча, глядя неподвижными глазами прямо пред собой, бездумно присел над портретом.

Толпа ревела, взрываясь смехом, шутками и выкрикивая неприличные слова.

— Ленин! Ленин выступает! Поспешите, товарищи! — донеслись громкие призывы бегущих через соседний зал людей.

— Ленин выступает! Ленин! — повторяла толпа.

Все, толкаясь локтями и кулаками, ругаясь и вереща хриплыми, сумасшедшими голосами, выбежали из кабинета.

На смятом ковре среди щепок поломанных рам и кусков позолоты остались обрывки царского портрета, опороченного всем, во что только могла вылиться слепая и дикая рабская месть.

В огромном Малахитовом зале, наполненном дымом вонючей махорки, замусоренном шелухой от семечек, которые рьяно грызли победители, стоял на столе, возвышаясь над толпой, плечистый Ленин.

Пальто на нем было расстегнуто, он бросался во все стороны, размахивал руками и, словно молотом по неподатливому камню, бил словами.

— Товарищи, братья! — кричал он, щуря глаза. — Товарищи, братья! Вы победили в столице. Трудящиеся всего мира никогда не забудут вашего мужества и вашего порыва! Теперь вы создадите новое государство. Государство пролетариата! Оно должно стать машиной уничтожения всех ваших врагов... Борьба предстоит еще долгая. Не отступайте, помните, что в этот момент ваши товарищи захватывают Москву, а остальные — проливают кровь во всех городах России. Победа принадлежит вам, товарищи! Вы, только вы, будете руководить, судить и пользоваться богатствами страны! Никаких законов, ограничивающих свободу рабочих, солдат и крестьян! Никаких привилегий! Никаких войн!

Выступление Ленина было прервано громом окриков, ревом и воем.

Он стоял невозмутимый и внимательно, как чуткий зверь, смотрел, слушал и, щуря глаза, впитывал своим инстинктом

скрытые, не вырывающиеся наружу мысли и устремления этой толпы. Подняв руку, он успокоил собравшихся.

– Завтра мы предложим всем воюющим на фронтах странам заключение мира без аннексии и контрибуции! Мы предложим перемирие Германии! Захваченную царями и буржуями землю мы отдадим крестьянам!

– Ого-го-го! – пронеслось над залом.

– Фабрики, банки, железную дорогу, корабли! – возьмут рабочие и отныне будут сами всем управлять!

– Ленин! Да здравствует Ленин! – потрясли воздух бурные, звучащие радостью и восхищением окрики.

Люди протискивались к столу, вытягивали руки в сторону оратора. Наконец они дотянулись до него, подхватили, подняли над головами и пошли с ним, как ходили когда-то, сгибаясь под тяжестью святых образов, носимых в церковных процессиях.

С этого момента Ленин превратился в нового мессию, божество для этих голодных, притесненных, невежественных, слепых толпищ. Он кричал еще что-то, махал шапкой, но все тонуло в шуме, в буре тысяч голосов.

В одном из залов сквозь толпу пробились финские революционеры, бывшие личными охранниками Ленина. Рядом с ним встал неотлучный, сильный, как дуб, Халайнен, а между рядами финнов пробирались к вождю Троцкий, Зиновьев, Каменев, Уншлихт, Дзержинский, Володарский, Урицкий, Калинин, Красин, Иоффе, Нахамкес и все те, кто оставался в первых рядах вождей и руководителей Июльской и Октябрьской революций пролетариата.

К Ленину приблизился Луначарский и, наклонившись к уху, прошептал:

– Товарищ! Пролетариат занимается насилием, уничтожает бесценные произведения искусства, выносит картины из галереи Эрмитажа.

Ленин поднял голову и присмотрелся к обрадованным, красным, диким, бездумным лицам стоявших в толпе людей.

– Сегодня их день! – спокойно ответил он. – Им не нужны произведения искусства, да и Россия обойдется без них! Пока им можно все... пока... Такова их воля... Сегодня... они чувствуют такое желание!

Ведомые финскими стрелками, они шли дальше через прекрасные залы, в которых толпились перед ними разъяренные кучки повстанцев и уличного сброда. Под ногами звенело разбитое стекло, они цеплялись за обломки мебели, куски статуй, штукатурки, путались в каком-то тряпье.

Когда Ленин вышел на набережную, кто-то растолкал окружавших его солдат и встал перед ним. Это был высокий человек с бледным лицом и длинными седеющими бакенбардами. Он стоял без шапки, которую потерял в давке. Угрюмая, граничащая с отчаянием решимость зажгла мрачные огни в его светлых глазах, губы дрожали, искажаемые то и дело неожиданной судорогой. Сквозь стиснутые зубы он произнес:

– Гражданин! Мой сын не мог допустить, чтобы свободный народ насиловал беззащитную женщину... За это его ранили... увезли... Не знаю, куда и зачем... Я требую справедливости, гражданин!

Ленин незаметно оглянулся.

Толпа осталась внутри дворца, не в силах протиснуться сквозь узкие двери приватного выхода из царских апартаментов и шеренги финских стрелков.

Никто из тех, для кого он стал божеством, не могли его услышать.

Он посмотрел на стоявшего перед ним человека и сказал, обращаясь к покорителю Зимнего дворца:

– Товарищ Антонов! Помогите первому буржую, апеллирующему к пролетарской справедливости. Нам, пережившим века рабства, свыше дано право на справедливость. Мы имеем право на быстрый суд и на быстрое милосердие!

Ленин вместе с Халайненом и несколькими финнами сел в машину.

Авто взревело и покатилось вдоль набережной. За ним последовали другие, везущие будущих народных комиссаров и стрелков эскорта.

Антонов-Овсиенко расспрашивал инженера о подробностях происшествия, из дворцовой канцелярии звонил в больницы, после чего, кивнув двоим солдатам, распорядился отвести Болдырева на регистрационный пункт Красного Креста.

Толпа, выдавливаемая из здания солдатами, неохотно покидала царскую резиденцию.

Однако постепенно залы опустели.

Антонов вместе с организатором боевых коммунистических отрядов товарищем Фрунзе обходил первый и второй этажи.

— Погуляли наши! — смеялся Антонов, указывая на выломанные двери шкафов, разбросанные бумаги, разбитые зеркала, статуи, вазы, люстры, поломанную мебель, сорванные обои и гобелены, разорванные ковры и сброшенные на паркет портреты и картины. — Погуляли...

Фрунзе ничего не ответил.

Они уже намеревались выйти во двор, когда их слух различил громкие взрывы смеха, пение и визг женщин.

Они пошли на эти звуки и вскоре оказались в частных апартаментах царской семьи. Шум доносился из дальних комнат.

Отворив двери, они застыли в восхищении.

В светлой обширной комнате с покрытыми золотистой тканью стенами стояли две великолепные постели, мягкая мебель, белый туалетный столик, заваленный осколками разбитого зеркала и флаконов.

В углу висели святые образа и на серебряных цепях изящная, резная церковная лампада. Портреты и картины уже лежали на полу.

Это была спальня царя и царицы.

В ней собралась небольшая группа моряков и несколько уличных девок. Голые, распутные, отчаянно зовущие, они лежали на желтых атласных покрывалах с вышитыми черными гербовыми орлами. Бессовестными развратными движениями они возбуждали мужчин, выкрикивая:

— Я царица... Эй, товарищ, хочешь быть царем? Тогда иди-ка ко мне!

На постелях без стеснения происходили отвратительные оргии, мрачная мистерия дикого безумия.

Фрунзе нахмурил брови. Антонов потирал лоб и думал, что иначе представлял себе первый день освобождения пролетариата. Он видел его во время бессонных ночей, в многочисленных тюрьмах и во влажных окопах на фронте. Это должен был быть

красный день, в котором кровь должна была сочиться из земли, брызгать из тел убитых врагов народа, течь с неба. День серьезной сосредоточенности, холодной мести, из-за которых не оставалось ни минуты свободного времени на распутство.

Его челюсти уже сжались, желваки задвигались возле ушей, он уже хотел крикнуть, как вдруг один из моряков, прижимая к себе голую девушку, воскликнул:

— Ха-ха! Товарищи! Позабавьтесь с нами... Гуляй, душа — сегодня живем, завтра помрем... Ух-ах! Манька, принимай гостей!..

Фрунзе взглянул на бледное лицо Антонова и сверкнул глазами. Он сдерживал бурю, разыгравшуюся в нем от вида падения пролетариата, его прогнивших, диких страстей, кроме которых не существовало ничего, за исключением телесных вожделений.

— Есть, пить и предаваться разврату — вот их идеал, — думал преданный коммунизму Фрунзе. — Самые лучшие и смелые умы работали во имя освобождения пролетариата, тысячи бойцов за новую эру в истории человечества погибли в тюрьмах, прикованные к тачкам в сибирских рудниках, на виселице и в полицейских застенках, где революционеров душили и убивали, как бешеных псов! Во имя кого все эти бесчисленные жертвы? Во имя этих одичавших, бессовестных зверей, во имя голых, развратных проституток?

Антонов думал иначе, проще и сильнее:

— Псы и суки! — ворчал он. — Если бы я мог, приказал бы поставить их к стене и стрелять из кольта каждому и каждой в лоб!

Его охватил страстный, неудержимый гнев. Он должен был выплеснуть его на кого-то, растворить, успокоить.

Он окинул комнату затуманенным взглядом, потому что кровь застила ему глаза.

В темном углу он заметил висевшие святые образа.

Из полумрака выглядывало исстрадавшееся, строгое лицо Казанской Богородицы и всепрощающие глаза благословенного Христа.

Антонов вдруг побледнел еще больше и стал всматриваться в иконы, будто видел их впервые в жизни.

Усиленно работала мысль.

— Если бы вы существовали, то сами уничтожили бы это грязное стадо вепрей и свиней, метающихся перед вами в мерзости и бесстыдстве сегодня, когда наступило благословенное вами царство нищих, убогих и обиженных... Но вы храните молчание?.. Вы старая сказка для детей!.. Куски дерева, полотняные тряпки, слои краски!.. Погибайте, исчезните бесследно, как ночные видения!

Он выхватил из кобуры револьвер и начал стрелять. После каждого выстрела сыпались куски рам и стекла, трещали и свисали продырявленные, разорванные холсты святых образов.

Перепуганные моряки и голые девушки с криком, воем и диким стоном выбегали в панике, оставляя винтовки, шинели и платья. Одна из убегавших проституток схватила покрывало с двуглавым орлом и бежала, кутаясь и путаясь в тяжелых складках шелковой ткани. Наконец упала и с безумным визгом поползла к дверям.

Фрунзе молча наблюдал за товарищем. Потом протянул ему руку и сильно пожал его ладонь. Антонов, ничего не сказав, стоял бледный и разъяренный, ощущая поднимавшееся в сердце безмерное отчаяние, как будто только что попрощался с кем-то очень дорогим, кто уже никогда не вернется и кому не будет замены.

Вскоре дворец опустел. Только патрули остались в сенях возле входов.

Антонов, кивнув солдатам своего полка, обходил помещения, в которых размещались дворцовые службы, он всюду заглядывал, проверял, не остались ли где-нибудь посторонние люди, не тлеет ли где неосторожно брошенная цигарка. Они дошли до внутреннего двора. Здесь еще крутились солдаты, рабочие, чернь. Они выбегали из подвалов, где размещались винные погреба, выносили бутылки и шли, раскачиваясь и напевая, к воротам.

Антонов сбежал вниз.

При горящих красными огоньками свечах проходил пир победителей. Они пели пьяными, хриплыми голосами, смеялись и, выкрикивая кощунственные, развратные ругательства, пили на убой. Они выбивали пробки ударом ладони по дну бутылок и, задрав головы, выливали вино в глотки, сопя и громко бор-

моча; другие, отвернув краны в бочках и отвратительно хлебая и чмокая, подставляли под струю вытекавшего вина широко открытые рты.

Раз за разом пьяные тела опускались на землю и лежали, храпя и хрипя.

Антонов сжал кулаки и крикнул:

— Вон отсюда!

Солдаты, ударяя прикладами в пол, щелкнули винтовками.

Пирующая толпа, раскачиваясь и ругаясь, покидала погреб.

— Разбить бочки! — скомандовал Антонов.

Солдаты ударами винтовок, деревянных молотков для набивания обручей или тяжелыми дубовыми табуретками разбивали дно бочек, вырывали из них затычки.

Струи красного и белого вина брызгали с плеском из образующихся щелей и плыли по белым плиткам пола.

После того как солдаты вышли из дворцовых подвалов и направились в сторону Эрмитажа, в погребах стали мелькать темные силуэты. Мужчины с бутылками, женщины с ведрами, даже дети с кружками в руках, все сбегали вниз и, подсвечивая спичками, зачерпывали вино и убегали, уступая место следующим, массово сбегавшимся из города.

Никто не видел во мраке, на темной, поглощавшей свет спичек и фонариков поверхности разлитого вина плавающих пьяниц-утопленников, которые остались между бочек и перевернутых лавок и столов.

Обнаружили их только утром, когда выносили уже остатки перемешанного с грязью и мерзкими следами пребывания пьяной толпы вина.

Когда последние грабители покидали подвалы дворца, на его стенах наклеивали красные плакаты, которые призывали к воздержанию и трезвости во имя счастья и высоких идеалов пролетариата, начинающего светлую эру в истории мира...

ГЛАВА XX

Ленин ехал в Петропавловскую крепость. На углах и на куполе кафедрального собора с гордо возвышающимся шпилем и позолоченной галереей на вершине колокольни уже развевались красные флаги.

Площадь перед церковью, ниши и дворики цитадели были плотно заполнены солдатами, рабочими и уличными зеваками. Ленина приветствовали бурными криками. Он шел, окруженный эскортом и товарищами на середину площади, где для него приготовили трибуну.

Взойдя на нее, он долго смотрел на медленно замолкающую толпу. Когда затихли последние голоса в нишах стен и на крыльце собора, он вытянул руки, будто хотел обнять, охватить всех здесь собравшихся, стоявших в страстном ожидании.

— Товарищи! — воскликнул он. — Впервые в истории нашей страны революция ступает по камням этого страшного места. Впервые гордо и победно развеваются над ним красные знамена, знамена освобождения! Столетия видели здесь революционеров, в смертельном ужасе идущих к месту казни или звенящих кандалами в казематах и подземельях крепости. Другие флаги били красным цветом в глаза исполнителей воли царей и буржуазии. Это были окровавленные, пурпурные, залитые кровью тела мучеников, которые пали от руки палача в борьбе за свободу!

— Смерть царю! Долой буржуазию! — раздались злые, оглушительные крики.

— Царь предстанет перед судом рабочих, крестьян и солдат! — продолжал Ленин, когда вновь наступила тишина. — Буржуазия будет уничтожена, как ваш самый страшный враг, враг пролетариата! Вы заберете у нее фабрики, землю, капиталы, власть; буржуазия зачахнет, потому что только это было ее силой. А если она осмелится вам сопротивляться, то погибнет в потоках

крови! Пролетариат будет безжалостен и установит победу революции навсегда! Товарищи! Все принадлежит трудящимся, и ничего не будет решаться без их воли и согласия!

— Смерть министрам! — поднялся крик. — Они находятся в крепости! Отдать их нам в руки!

Не успела умолкнуть эта опасная, подстрекательская реплика, как Ленин поднял руку и, опередив другие голоса, громко воскликнул:

— Товарищ не выражает воли пролетариата, требуя буржуазной мести над безопасными ничтожествами. Керенский удрал и безуспешно пытается вести на столицу войска. Однако мы знаем, что наши товарищи уже сделали это намерение невыполнимым. Войска Керенского распались, и ни одно подразделение не подойдет к Петрограду!

— Да здравствует Ленин! Ленин! Ленин! — переливалась волна окриков.

Финны успокоили толпу.

— Товарищи! Кто же остался? Младенец Терещенко, смешной министрик, детская игрушка? И остальные, не сделавшие ничего хорошего и ничего плохого, потому что ничего сделать и не могли, не имея ни ума, ни власти? Они должны раскрыть нам все секреты царского правительства, неизвестные нам договоренности, самые важные документы и тем самым послужить пролетариату. Мы освободим их, потому что они нам пока не нужны. Министры Керенского для нас не более опасны, чем воробьи на крыше, товарищи!

Толпа взревела смехом, отовсюду доносились крики:

— Ох, этот Ленин! Ох, Ильич, мощный мужик! У него язык что бритва! Ха-ха-ха! Министров назвал воробьями на крыше! Ох, насмешил! Ленин! Ленин!

Другие кричали еще громче:

— Выпустить воробьев из клетки! Эй, что они для нас?! Плюнуть и растереть...

— Хорошо, товарищи, мы выполним ваше пожелание! Министры, после того как будут допрошены товарищами Троцким, Преображенским, Залкиндом и Рыковым, будут освобождены, — крикнул Ленин. — А теперь расходитесь по домам пос-

ле горячего дня, но будьте бдительны, чтобы нигде не скрылся враг революции и пролетариата! Да здравствует социалистическая республика! Да здравствуют трудящиеся всего мира!

– Урра! Урра! – выла толпа. Да здравствует Ленин! Да здравствует революция!

Ленин стоял и наблюдал за бездумно кричащими людьми.

Он изучал каждую пару глаз, каждую гримасу, вслушивался в рев, выхватывая острым слухом отдельные слова; он превращался в какой-то самый чувствительный микрофон, реагирующий на едва зародившуюся в мозгу мысль этих тысяч людей, на каждое подсознательное настроение, на зарождающееся еще чувство.

Он видел перед собой это море голов с горящими глазами и широко открытыми ртами, четко различал каждое лицо, изучал самые мелкие детали, чувствовал устремления и желания всех и каждого в отдельности. Он обращался к ним, используя их же мысли, будил в них то, что лежало глубоко в их мрачных, рабских, ненавидящих душах, воплощал их тайные мечты; он был властелином, божеством этой толпы; одновременно он чувствовал себя ее бегущим впереди кортежа слугой; он знал, что уже не может остановиться ни на мгновение, потому что останется один; не может отступить, потому что эта разъяренная, требующая новых жертв, потрясений и обещаний масса сметет его, так как этого требовали внезапно высвобожденные, сдавленные тяжелой ступней гнета, нейтрализованные жестокостью правительства и обманом церкви, подавленные неудачными попытками социалистов-соглашателей силы.

Финские стрелки и батальон Павловского полка ловким маневром отрезали большую часть собравшихся от трибуны и, делая вид, что прокладывают себе дорогу, очистили площадь, галереи и боковые дворики возле равелинов, где еще недавно грустно коротали время враги царя.

Ленин с товарищами остались на площади одни.

На крыльце собора, однако, еще стояла стиснутая голова к голове толпа.

Это были те, которые не заботили Ленина. Уличные зеваки, домашняя челядь, мелкие клерки, какие-то женщины в платках

на голове и шалях на плечах – разнообразные типы, переходящие во время революции из одного лагеря в другой, «политическое желе», как говорил он обычно.

Сначала он хотел приказать, чтобы эту толпу убрали, но подумал, что это люди, которые быстрее всего разнесут по городу необходимые вести. Следовало сделать так, чтобы они могли подтвердить победу партии. Он поднял голову и веселым голосом крикнул:

– Товарищи! Заглянем в глаза наших угнетателей! В собор!

Он быстро сбежал по ступенькам и вошел в переднюю святыни.

Толпившиеся перед ним люди замолкали и набожно крестились.

Ленин вошел в церковь в шапке, за ним вошли комиссары, финские стрелки во главе с Халайненом и солдаты. Никто не обнажил голову.

Толпа окаменела и с ужасом смотрела на безбожников. Если бы церковь была переполнена людьми, Ленин не сделал бы этого, потому что не сумел бы предотвратить взрыва возмущения. С этим сбродом эскорт бы справился, поэтому он не опасался и решил преподать первый урок. Его последствия и значение для развития «вечной революции» он обдумывал в сибирской ссылке, в тюрьмах и в эмиграции за границей.

Судьба благоволила ему.

В большом алтаре открылись позолоченные створки «царских врат», и священники в ритуальных одеждах с крестами в руках и евангелием, которое нес на голове толстый дьякон, вышли навстречу новым властителям столицы.

Ленин остановился и презрительно смотрел на поющих и дымящих кадилами попов.

– Ибо сказал Христос, спаситель наш: «Каждая власть от Бога...» – начал свою речь настоятель собора, с возмущением и страхом глядя на маленького плечистого человека в рабочей кепке, из-под которой вопросительно и проницательно блестели монгольские глаза.

– Достаточно этой комедии! – твердо произнес Ленин. – Власть трудящихся не происходит ни от какого из существую-

щих богов, а от мастерских и плугов, пота и крови! Достаточно! Мы не знаем ваших сказок о богах. Нам не нужен этот опиум, этот гашиш, нейтрализующий Народную волю! Богов нет ни на небе, ни на земле! Нигде! Нигде!

Священники в ужасе начали отступать; один из попов, подобрав тяжелую рясу, побежал, путаясь в ее полах.

Ленин взорвался смехом, а за ним — комиссары, солдаты и толпа, еще недавно оскорбленная и неспокойная.

Ленин заметил эту перемену настроения, поэтому, обращаясь к попам, он воскликнул:

— Если бы ваш Бог существовал, то все равно отрекся бы от вас, — царских прислужников, обжор, пьяниц, развратников, угнетателей трудящегося народа. Но Его нет нигде! Он покарал бы меня за мои слова, а тем временем, видите? Вы отступаете и уходите, услышав правду!

Ленин заметил, что там и сям в толпе на головы натягивали шапки, а стоявшая поблизости женщина, намеревавшаяся перекреститься, опустила вдруг руку и загадочно улыбнулась.

Окруженный комиссарами и эскортом Ленин пошел дальше. Вдоль стен растянулись гробницы царей и их жен. Белый и розовый мрамор. Короны, короткие, позолоченные надписи...

Халайнен остановился возле одной из гробниц и ударил по ней прикладом винтовки. Солдаты вместе с толпой бросились разбивать ближайшие гробницы, начали вытаскивать из них гробы с забальзамированными останками бывших властителей, открывали их, срывали золотые предметы, дорогие ткани и волокли закоченевшие, забальзамированные тела по полу, смеясь при этом, крича и отпуская непристойные, бесстыжие шутки.

— Бросьте этих кукол в Неву! — посоветовал Ленин, по-доброму, словно отец на шаловливых детей, глядя на разгулявшуюся, смеющуюся толпу.

Тела и гробы вытащили на площадь и тянули дальше, под стены; под свист, вой, крики и смех все было выброшено в реку.

Толпа с веселыми окриками вернулась в собор, но все замечающий Ленин вышел на крыльцо. Его лицо смеялось. Он кричал, вытянув руки к бегущим к нему людям.

— Вы выбросили этот никому не нужный мусор, эти реликвии буржуазии! Вы показали всему миру, что думаете о коронованных палачах!..

— Товарищ... — перебил его человек в почтальонской фуражке. — Там еще остался Петр Великий... Мы бы с ним позабавились...

Ленин беззаботно рассмеялся.

— Вижу, товарищ, что вы уже ничего мне не хотите оставить? Подарите мне Петра Великого!

— Ха-ха! Дарим со всеми костями, если они еще остались!.. Подарок для Ленина, о-го-го! — заревела развеселившаяся толпа.

— А знаете, почему я прошу его? — спросил Ленин, щуря глаза и касаясь рукой бороды.

— Не знаем! Не знаем! Скажите, товарищ Ленин! — раздались крики и смех.

— Я уважаю только двух царей — Ивана Грозного и Петра Великого! Да! Уважаю...

— Ого-го! — отозвалась толпа.

— ...потому, что оба они пускали кровь боярам, попам, словом — буржуазии. Иван защищал крестьян, Петр стал первым революционером. Они будут нашими учителями в искусстве уничтожения врагов. Понимаете?!

Ленин закончил и с насмешливой улыбкой смотрел на образовавшуюся вокруг него толпу людей.

— Ха-ха! — раздался новый смех. Дарим Ленину Петра Великого со всеми внутренностями в вечное владение!

Ленин кивнул головой, вторил толпе тихим, шипящим смехом и потирал руки. Наклонившись к Свердлову, он с нажимом сказал:

— Товарищ! Прикажите немедленно отреставрировать разрушенные гробницы...

Он был безмерно счастлив. Сегодня, в первый же день, он понял, что создан быть вождем народа. Он знал, к какой цели поведет эти слепые от ненависти массы; у него была для этого несгибаемая воля; сегодня он убедился, что способен эту волю навязать. На вершину волны его вынесли стихийные силы, он не будет им сопротивляться, однако... поддаваясь силе масс, часть этой силы он направит в подготовленное им заранее русло.

Как будто подтверждая этот план, к нему приблизился старый крестьянин с уставшим лицом. На нем был порванный полушубок и шапка, из которой выглядывали куски грязной ваты. Растрепанная, щетинистая борода с запутанными в ней соломинками и остатками какой-то еды окаймляла темное, углем и пылью запачканное до самых глаз лицо. Маленькие, испуганные, хитрые глазки бегали беспокойно и с любопытством.

Он снял шапку и подошел к Ленину.

— Высокородный господин... — начал он.

— Откуда же вы знаете, что я высокородный? — перебил его Ленин.

— Как же иначе — вы теперь начальник... — ответил мужик.

— Наденьте шапку, товарищ, потому что начальник теперь вы, а не я! Вы, наверное, работаете грузчиком угля на железной дороге?

— Надо же, знаете, грузчик я...

— Что же вы хотите мне сказать? — спросил Ленин.

— Люди говорили, что Ленин носит на голове золотую корону, а в руке у него «белое письмо»... — проворчал грузчик. — А теперь я вижу, что гавкали, да и только. Ни короны, ни письма...

Ленин рассмеялся.

— Корону я не ношу, как мне ее носить, если я хочу сорвать короны со всех царей мира? А письмо у меня есть — это, товарищ, ваша свобода, счастливая жизнь и равенство! Теперь вы ни перед кем не должны снимать шапку и никого не должны бояться. Вы — «соль земли» и хозяин ее!

— Так я не должен больше стоять без шапки перед начальником? — спросил мужик.

— Зачем же вы это делали?

— Потому что, когда я не снимал шапку, он бил меня в ухо и сбивал ее, — ответил мужик. — Однажды так ударил, что брызнула кровь, и я на левое ухо не слышу...

Ленин на мгновение задумался и крикнул:

— Ну так идите к этому «начальнику» и сделайте с ним то, что он вам сделал, но только хорошенько! Не жалейте кулаков!

— О-го-го! — выли и смеялись слушатели, видя, как мужик уже бежал со двора и, зажимая огромные, твердые кулаки, ревел:

— Ага! Теперь, погоди, я из тебя душу вытряхну!

Ленин обратился к окружавшим его людям, смотревшим на него с восхищением, страхом и восторгом, и твердо сказал:

— Пролетариат должен повергнуть своих врагов, которые издевались над ним! Это сделает правительство, которое выберете вы, товарищи! Я понимаю, что каждый может отомстить буржую за тяжелое оскорбление. Своим мы простим все прегрешения, буржуям — ни одного!

— Смерть буржуям! — крикнул Троцкий.

— Смерть слугам буржуев — чиновникам и офицерам! — добавил Зиновьев.

— Смерть! Смерть! — донеслись из толпы разъяренные голоса.

— Если такова ваша воля, товарищи, братья дорогие, поступайте так, как вам подсказывает ваша пролетарская совесть! — перекричал эти голоса хриплый крик Ленина. — В этой совести таится великая мудрость. Вот, чувствую я, что вы думаете в этот момент: как же я буду убивать всех чиновников и офицеров? Ведь среди них могут оказаться сыновья рабочих, крестьян?

— Это правда! Ясное дело, что мы так и думаем! — раздались растерянные голоса.

— Вы уже нашли ответ в своей совести. Я ее слышу. Есть наши чиновники, наши офицеры, которые вышли из пролетариата и будут пролетариату служить. Но есть и такие, которые всех угнетали, они осыпаны царской лаской, орденами, деньгами и землей, которую забрали у вас! Этим — смерть! Смерть князьям, богачам, генералам, которые смотрят на нас как на грязную скотину! Этим — смерть!

Толпа, как куча листьев, уносимых ветром, сорвалась с места. Они бежали к воротам крепости, ревя:

— Смерть князьям, богачам, генералам! Смерть угнетателям!

— Самосуд... террор... — прошептал Троцкий, дергая себя за черную бородку.

— Самосуд!.. Террор! — повторил Ленин. — Мы не можем терять времени. Ряды врагов революции должны быть разбиты!

Заурчали подъезжающие машины.

Ленин, комиссары и солдаты эскорта садились в авто.

Они выехали из ворот крепости.

В нескольких шагах от нее большая группа людей кого-то избивала. Поднимались и опускались кулаки. Толпа металась и перешла с тротуара на проезжую часть.

Ленин поднялся в машине.

Он увидел какого-то маленького, седого, как голубь, старичка.

На нем был генеральский плащ с красными петлицами и золотыми, с серебряным зигзагом, погонами — признаками отставного офицера.

Седые волосы уже в нескольких местах пропитались кровью.

Старик постоянно сгибался под наносимыми ударами и шатался, теряя сознание. Ему не разрешали упасть и били, пинали, дергали.

Ленин задумался и нахмурил брови.

Потом все же сел и махнул небрежно рукой, прошептав:

— Их первый день... день гнева...

Он больше не оборачивался. Автомобиль быстро ехал по набережной.

Перед дворцом великого князя Николая Николаевича ватага подростков бросала камнями в большие окна первого этажа, а другие сбегали по ступенькам, вынося украденные вещи.

— Их первый день... — повторил Ленин.

Прищурив глаза, он принялся считать развевающиеся над домами, дворцами и зданиями учреждений красные флаги и внимательно присматриваться к толпам возбужденных, бегущих в разных направлениях и размахивающих руками прохожих. Там и тут стояли патрули и небольшие отряды солдат с красными лентами на рукавах, рядом — группы вооруженных рабочих.

Откуда-то издалека доносился стрекот пулемета и винтовочные залпы.

Это было последнее эхо угасающей битвы за власть в столице, последние мгновения защитников правительства Керенского, который, переодевшись в крестьянку, метался вокруг Петрограда, напрасно ища верные полки для освобождения предательски оставленных коллег-министров.

Ленин сказал Халайнену:

— Товарищ, прикажите ехать на главный телеграф! Я должен знать, как обстоят дела в Москве.

ГЛАВА XXI

В пригороде Пески, окруженный старыми липами, возвышается красивый дворец. Здесь же церковь, построенная для царицы Елизаветы знаменитым Растрелли.

Много всякого видели стены Смольного дворца.

Романы и гордые мечтания царицы; молитвы набожных монашек, которым со временем отдали это прекрасное здание, а позже монотонная жизнь молодых аристократок, так называемых «благородных девиц»; в этот период, согласно придворным слухам, сюда не раз наведывался Александр II, имевший ключ от боковой калитки бывшего монастыря, — все это минуло, и теперь над зданием развевалось красное знамя — символ революции.

Здесь размещался штаб партии большевиков и руководимого Лениным Совета народных комиссаров.

Сам он в этот момент расхаживал по обширной, почти пустой комнате. Несколько стульев, диван и письменный стол, который был завален газетами, книжками и полосками бумаги с откорректированными статьями.

Ленин ходил быстро, почти бегал, вложив руки в карманы тужурки, и думал.

Он мог не спать и не есть, но ему ежедневно требовался час одиночества.

Эту часть дня он называл «канализационной работой».

Он выбрасывал из головы ненужные мысли и остатки впечатлений, выметал пустые воспоминания; старательно укладывал, сортировал и сохранял все то, что имело значение и ценность. Когда порядок был уже наведен, он начинал углублять «канал», прокладывать новые ответвления. В их русла заплывали, запрыгивали разные мысли и текли нестройным потоком, пока не начинали расходиться по еще более мелким ответвлениям мозга, и тогда все становилось понятным, все укладывалось

ЧИСТОТА ЕСТЬ ПЕРВЫЙ
ПРИЗНАК КУЛЬТУРНОСТИ

ОБЫЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ МАРОДЕРЫ
(продают на рынке награбленное имущество)

в план. Разум работал спокойно, холодно, безупречно над более быстрым и безошибочным выполнением замысла.

Он отчетливо видел свою дорогу.

Выраставшие на ней опасные препятствия не уходили от его внимания. Однако он не сомневался, что справится с ними. Это не было убежденностью мечтателя. Он был самым большим реалистом в мире, желавшим немедленно воплотить в жизнь каждую мысль. А если она оказывалась вредной – отбрасывал ее без малейших сомнений. Для Ленина существовала только цель. Чтобы достичь ее, он добровольно отказался от личной жизни. Ему было не знакомо семейное тепло, он не желал любви, не понимал счастья вне работы во имя дела; идя к цели – он не чувствовал ни сомнений, ни искушений.

Перед ним была только борьба, в которой он должен был победить любой ценой.

Не было ничего, что могло бы его остановить. Преступление, низость, ложь не волновали его, не находили отзыва в его душе. Они были для него средствами, инструментами, камнями для обозначения пути.

Он существовал и действовал за границами нравственности.

Цель... Только цель – такая великая, что о ней никто до него не смел даже мечтать!

Масштаб задания его не пугал. Ведь и в его руках был огромный молот, чтобы высечь из огромной, сырой глыбы то, что он хотел воздвигнуть у финиша собственной жизни, – 150 миллионов пассивных, обладающих могучей силой, спящих, диких, готовых и одновременно безразличных ко всему русских.

Никто и никогда не имел такой армии!

Неужели они принадлежат ему душой, сердцем и телом?

Не боясь заглянуть правде в глаза и померяться с ней силами, он ответил:

– Сердцем – да!

Брошенные до сих пор обещания, которые отвечали смелым чаяниям рабочих и крестьян, притягивали к нему слепые, отчаявшиеся сердца рабов. Он ощущал в себе решительность Спартака, солдата, разбойника, пленника и гладиатора. Подобно ему он, вбежав на Везувий страстных, мстительных действий,

повел за собой всех охваченных ненавистью рабов, разбил в пух и прах римских преторов. Однако Спартак погиб из-за того, что началась борьба в рядах его друзей. Но его отличало от Спартака то, что последний умел держать своих сторонников в рамках дисциплины не силой и страхом, а ловким выдвижением их вперед себя, во главу толпы. Им доставались триумфы, ему – польза дела.

Тем временем многомиллионный русский гигант ему не принадлежал.

Разные силы владели им и бросали из крайности в крайность: от героической жертвенности на фронте, фанатичного патриотизма и аскетического терпения – до уличных баррикад, кровавых выступлений против царя или обожествляемых им вождей. Как разрушить и навсегда ликвидировать противоречивые силы, чтобы все это людское море покорно лизало берег, на котором стоит цель коммунизма, – об этом думал, ходя по необжитой комнате Смольного дворца, Владимир Ильич Ленин, председатель Совета народных комиссаров, диктатор, мессия России, устремившейся по неизвестному истории человечества пути.

Он хмурил брови, теребил бороду и щурил глаза.

Его выпуклый, куполообразный лоб, казалось, напрягался и дрожал под натиском бушующего под ним урагана мыслей, в то время как сердце билось ровно, взгляд был холодный, устремленный вперед, будто бы стремящийся с небывалой точностью измерить расстояние до известных только ему объектов.

Он поднял голову.

Кто-то стучался в дверь.

– Войдите! – крикнул Ленин.

На пороге возник Халайнен.

– Какая-то гражданка просит принять ее, – сказал он неуверенным голосом.

Ленин наморщил лоб.

– У нее какая-то просьба? Буржуйка?

– Говорит, что не хочет ни о чем просить! Она врач...

– Впустите ее, товарищ!

Вошла маленькая, худая женщина лет сорока пяти, в скромном, черном пальто и спадающей со шляпки траурной вуалью.

Она улыбнулась и радостно воскликнула:

– Предчувствие меня не обмануло! Это вы, Владимир Ильич! Наш мудрый и строгий Воля!

Ленин сощурил глаза и как будто притаился.

– Воля? – повторил он. – Так меня называли только в одном месте...

– В доме моего отца, доктора Остапова, где уже тогда чувствовалось, что вы – воля! – растрогавшись, прошептала она.

– Елена?! Елена Александровна?!

– Да! – радостно улыбнулась она. – Вы бы меня не узнали! Много воды утекло с момента нашего прощания в Самаре!

– О да, много! – воскликнул он. – Как все изменилось! Кажется, что с тех пор пролетели века! Но, но! Вы в трауре? По отцу?

– Нет! Отец и муж давно уже умерли. Это по сыну. Его убили в Галиции во время отступления генерала Брусилова.

– Значит, вы были замужем? За кем?

– За доктором Ремизовым. Я тоже врач, – ответила она.

Ленин издевательски рассмеялся:

– Вот видите? Вы говорили мне когда-то, что никогда не забудете обо мне... Все меняется... все проходит, Елена Александровна. Прошу, присаживайтесь!

Говоря это, он подвинул ей стул и, присев на столе, смотрел на нее, изучая лицо, глаза, мелкие морщинки возле век и губ и, пробегая взглядом по всей ее фигуре – от ботинок до траурной шляпки.

Он узнал эти голубые, полные доброго блеска, горящие глаза, вспомнил еще свежие и яркие губы, заметил выступающую из-под шляпки прядь золотистых волос.

– Вот видите? – повторил он, закончив осмотр.

Она подняла радостное лицо, глядя на него добрыми, без страха и восхищения глазами, такими, какими опытные женщины смотрят даже на самого чудесного ребенка.

– Я долго ждала вас... Потом надежда угасла навсегда. Теперь я вижу, что была права, – сказала она без горечи, с улыбкой.

– Да? Что вы говорите? – спросил он, склонив голову набок, словно приготовился долго и терпеливо слушать.

— Мы очень любили вас... Все... — начала она. — Нас очень волновала ваша судьба. Мы кое-что слышали о вас, хотя наш друг Ульянов постоянно исчезал из поля зрения!

— Тюрьма, конспирация, непрекращающаяся подпольная жизнь, сибирская ссылка, эмиграция, проклятая, пожирающая душу эмиграция! — взорвался он.

— Да! Да! — согласилась она. — Однако мы слышали, что наш Воля стал грозным публицистом, который сегодня подписывался — «Ильин», завтра — «Тулин»... Я узнала, что в Сибири вы женились... Мне сказала об этом Лепешинская...

— А-а! — протянул Ленин. — Тогда-то вы и решили, что я больше не вернусь?

— Нет! Раньше... намного раньше...

— Это интересно!

— Это очень просто! — возразила она. — Из публикуемых вами статей и брошюр я почувствовала, что для вас не существует ничего, кроме идеи и цели. У меня всегда были такие подозрения... Тем временем я, как женщина, хотела иметь, кроме великой цели, свою, маленькую, личную! Я полна буржуазных предрассудков...

Она спокойно улыбнулась.

Ленин громко заметил:

— Это самый невинный из буржуазных предрассудков, пока!

— Пока? — удивилась Елена. — Может ли быть иначе, если это касается женщин?

— О, может! — воскликнул он. — Я не стану далеко искать примеры! Возьмите хотя бы мою жену — Надежду Константиновну. Для нее существует только общая цель; я для нее лишь повозка, на которой она и все остальные едут к финишу.

— Неужели такое возможно? — спросила она.

— Ручаюсь вам собственной головой, что Надежда Крупская найдет в себе силу и спокойствие духа, чтобы произнести над моей могилой политическую речь и не уронить ни одной слезы! Она использует мою смерть в пропагандистских целях! — в его голосе звучала гордость.

— Это ужасно! — воскликнула она, поднимая вверх руки.

— Это мудро для жены Ленина! — возразил он, кривя губы.

Они замолчали.

— Я долго не знала, что Ленин, этот новый псевдоним, это — вы! — произнесла она. — Мне хотелось убедиться и напомнить вам о себе.

— «Ленин» — это в вашу честь, Елена Александровна! — воскликнул он с беззаботным, искренним смехом. — У вас ко мне какое-то дело? Я буду рад исполнить ваше желание! Правда, прошу мне верить. У меня, кажется, миллион недостатков, но я знаю, что есть и одно достоинство — я умею ценить старых... друзей.

— Собственно, у меня нет никакого особого дела, — ответила она. — Я врач и руководитель приюта для беспризорных детей. Сегодня до меня дошли слухи, что новая власть должна сменить руководство всех учреждений. Я хотела бы попросить, чтобы меня не увольняли... Я честно исполняю свои обязанности и собираюсь так же поступать в дальнейшем. Я знаю своих воспитанников и оказываю на них положительное влияние...

Ленин быстро написал на обрывке бумаги несколько слов и передал Елене со словами:

— Прошу всегда иметь при себе эту расписку! Ее будет достаточно в любом случае. А пока у нас есть более важные заботы, чем детские приюты! Когда мы приступим к творческой работе, я обращусь к вам, Елена Александровна.

Она встала, собираясь уйти.

— Прошу остаться! — попросил он. — Я уже давно ни с кем не говорил так, как сейчас. У меня ощущение, что я говорю сам с собой, без обиняков, без учета мнения слушателя... Я понимаю сам себя с первого слова и уверен, что вы меня тоже легко поймете!

— Раньше я вас понимала... — ответила она.

— Раньше было совсем иначе! — воскликнул он. — Я весь был под впечатлением смерти моего брата Александра, да и вы, кажется, тоже...

— Ах! — сказала она тихо. — После того как мы расстались, я читала одну брошюру об организации покушения на Александра III. Это ваш брат придумал сделать адскую машину в виде книги, которую заговорщики должны были бросить в царскую

карету. Если бы не предательство, такой смелый революционер не был бы повешен!

Он кивнул головой и прошелся по комнате.

Засунув руки в карманы брюк, начал говорить тихим глухим голосом:

— Его смерть, слезы матери, слежка за нами со стороны жандармов, постоянные обыски, подколки учителей, насмешки, презрение богатых друзей, глупые, отвратительные нравоучения попа из гимназии разбудили во мне ненависть и жажду мести! О, рано, очень рано я стал готовиться к мести за смерть брата и за угнетение народа! Я воспитал себя трезвым, холодным мстителем и вождем. Сегодня я радовался, глядя, как толпа кухарок, сторожей и городской рвани тащили по грязи и мостовой забальзамированные останки Александра III! Треск его пустого, скачущего по камням черепа казался мне самой восхитительной музыкой! Эта сцена дважды снилась мне в молодости и повторилась наяву во всех подробностях!..

— Я слышала об этом... — прошептала Елена. — Меня это ужаснуло! Вы могли вызвать на себя возмущение черни...

— Ха-ха! — рассмеялся, щуря глаза, Ленин. — Петр Великий заставил Россию, как норовистого, дикого жеребца, встать на дыбы и ходить на задних ногах, словно по цирковой арене! Я смогу сделать то же самое еще раз! А эта чернь будет вынуждена отречься, растоптать и все остальное, она оплюет свои вчера еще считающиеся неприкасаемыми, чудесными, посланными небом божества!

Елена слушала молча.

Ленин внезапно замолк и, взглянув на нее, с улыбкой спросил:

— Вы были когда-то сторонницей «Народной воли»? Вы посылали меня с бомбой на царя? Остались ли вы социалисткой-революционером, или перешли в лагерь социал-демократов?

— В социал-демократах я не уверена! — спокойно ответила она, пожимая плечами.

— Почему?

— Я не верю в успех теоретического, соглашательского и эволюционного социализма. Это долгий путь, а для России — во сто крат более долгий, нежели для других народов!

– Гм! Гм! Очень разумно! Я тоже с первых дней изучения марксизма в это не верю и не поверю никогда! – крикнул он, потирая руки. – Значит?..

– Я осталась убежденной социалисткой-революционером, – ответила она. – В партии я не состою, потому что непригодна для подпольной работы.

– Сторонница Виктора Чернова и тех, что мечтают о Учредительном собрании? – проворчал он, хмуря брови.

– Руководители не играют роли, – спокойно ответила она, поправив шляпку. – Я имею в виду то, что Россия – это одна большая пашня, на которой в первую очередь должны хорошо и счастливо чувствовать себя сто миллионов крестьян-пахарей и сеятелей. Им принадлежала и будет принадлежать Россия...

– Не будет! – воскликнул Ленин и топнул ногой. – Не будет принадлежать так, как это воображает себе Чернов и его глупая, подлая банда, которая уже восемьдесят лет поднимает крик, а в момент опасности прячется в кустах!

– Что вы говорите?! – резко запротестовала она.

– Эх, дорогая моя! Нельзя верить писанине и обещаниям этих шантажистов революции. Они не способны ничего сделать, потому что не имеют строго обозначенного пути и решительности, так же, как и социал-демократы. Они надеются на альтруизм, на здравый рассудок правительства и земельной буржуазии. Слепцы! Они никогда этого не дождутся! А если такое чудо случится, они немедленно превратят крестьян в новую буржуазию, с которой уже не справится ни один революционер! Это будет камень, гранит, мертвая, недоступная трясина...

– Зачем же новая революция, если крестьянская масса станет хозяйкой земли? – спросила она, глядя на Ленина с недоумением.

Расхаживая по комнате, потрясая плечами и лысой головой, он продолжал хриплым голосом:

– В истории бывают переломные периоды... Что-то внезапно сломается, и перед человечеством открывается бездонная пропасть... Понимаете? Бездонная! Что делать? Беспомощно остановиться и ждать? Чего мы должны ждать? Может, пропасть чем-нибудь заполнится или ее берега сомкнутся? Нет! Так не бывает!

Никогда! Никогда! Мы уже более десяти лет стоим на краю этой пропасти, не зная, как поступить дальше. Никто не осмеливается бросить вызов и осуществить дерзкий проект! Но я на это решился!

Он посмотрел на Елену и поспешно добавил:

– Я... тут дело не во мне – Владимире Ульянове... Я воспринимаю себя как избранника, вобравшего все мысли и стремления угнетенных... поэтому я решился...

– Что же вы намерены сделать? – спросила она шепотом.

– Я хочу разбудить спящие в народе силы. Более всего их накопилось в деревенском люде. Клад неизвестный, неоцененный, чудесный, охраняемый различными черными дьявольскими силами. Они вырвутся и начнут бушевать первыми. В этом вихре на дневной свет выйдут настоящие, пока еще спящие, ленивые и пассивные силы. Но скоро они проснутся!.. Они одним прыжком перепрыгнут пропасть и понесутся вперед, увлекая за собой остальные народы! Никто не будет сопротивляться, потому что нами, Елена, будут двигать любовь и забота о судьбах человечества! Ничего не встанет у нас на пути, мы подавим, сметем, разрушим все во имя великого строителя...

– Великого строителя?.. – спросила она, подняв глаза на желтое лицо Ленина.

– Это свободный, думающий о земной жизни, а не отравленный миражами человек, – ответил он глухим голосом.

– Не понимаю... – перебила его Елена.

– В Библии сказано, что когда-то люди взялись за небывалый труд вознесения Вавилонской башни, чтобы заглянуть в глаза Богу. Построив ее, люди поняли бы, что таинственное небо – это космическая пустыня; в результате их мысль была бы направлена на земские дела, потому что только они способны увековечить человеческую любовь и справедливость. Наша мудрая пословица говорит, что «синица в руке лучше, чем журавль в небе!» Тем временем человечество испугалось мнимого Бога, прекратило свой дерзкий замысел, поубивало строителей и поссорилось навсегда. С тех пор господствует нечеловеческое, чуждое, враждебное право, которое нас отравляет и парализует... Мы построим другой мир, засеем в нем мысли человеческие, по-

нятные и увеличивающие силы до такой степени, какой не знал ни один Бог!

Их беседу прервала вошедшая толпа товарищей.

Елена ушла.

Ленин сощурил глаза, огромным усилием воли отряхнулся от давно не высказываемых вслух мыслей и впечатлений и безразличным голосом спросил:

– Что скажете нового?

Он внимательно выслушал доклады о распоряжениях социалистов из других лагерей, готовящихся к ускоренному созыву Учредительного собрания с целью принятия проекта закона о земле и заключения мира с Германией.

– Да-а! – буркнул Ленин. – Они хотят опередить нас! Не получится... Товарищи! Час назад были отправлены телеграммы немецкому правительству и главнокомандующему войсками на нашем фронте с предложением мира. Этот вопрос уже решается! Мы справимся с ним без пресловутого Учредительного собрания. Сегодня же вечером пускай соберется Совет народных комиссаров! Я выступлю с соответствующим заявлением.

Товарищи вышли.

Ленин распорядился соединиться по телеграфу со штаб-квартирой командования фронтом. Рядом с ним возле аппарата стояли Сталин и прапорщик Крыленко.

Разговор длился более часа.

Главнокомандующий, генерал Духонин, отказался подчиниться комиссарам по вопросу немедленного заключения мира с Германией; он требовал, чтобы его на это уполномочило правительство, признаваемое всей Россией.

Ленин усмехнулся, читая телеграфную ленту с ответом Духонина, и распорядился телеграфировать:

– Генерал Духонин! Именем правительства Российской республики вы отстраняетесь от должности главнокомандующего, а на это место мы назначаем прапорщика Крыленко.

Когда телеграфист закончил, Ленин подал знак, что он может уйти.

Едва за солдатом закрылась дверь, он подошел к Крыленко и прошептал:

— Товарищ, возьми немедленно отряд моряков, направляйся с ним в штаб-квартиру и выполни отданный Духонину приказ. Генерала необходимо убить... Если возникнут какие-нибудь волнения в армии, не останавливайся перед применением даже массовой смертной казни. Мы не имеем права играть в полумеры!

На заседании Совета народных комиссаров Ленин представил план заключения мира с Германией и «продавил» список кандидатов в парламентеры, руководить которыми должен был Лев Троцкий. Товарищи с восхищением и почти ужасом слушали называемые фамилии никому не известных людей: фармацевта Брильянта, неграмотного крестьянина Осташкова, фельдшера Петровского, провокатора царской охранки фон Шнеера, революционера Мстиславского, студента Карахана, народной учительницы Биценко и мелкого журналиста-эмигранта Розенфельда-Каменева.

Это им предстояло говорить от имени великой «святой России» и вести переговоры с Германией, которая должна была направить в Брест-Литовск образованных, преданных родине людей: дипломатов, ученых и генералов.

Несколько товарищей порывались протестовать. Один из них крикнул:

— Мы продаем Россию!

Ленин почувствовал царящее в зале беспокойство и возмущение и многозначительно посмотрел на Дыбенко.

Огромный матрос сразу же вышел. А через мгновение открылись двери, и в зал вошли Халайнен с отрядом финнов и угрюмый убийца офицеров Кронштадта моряк Железняков, ведущий за собой взвод вооруженных матросов.

Щелкнули приклады опущенных вниз винтовок. Солдаты застыли в неподвижных, угрожающих позах.

В зале наступила тишина. На лицах сорока двух членов Исполнительного комитета при Совете народных комиссаров появился рабский испуг.

Ленин с доброй улыбкой на лице и веселым блеском в глазах провозгласил:

— Согласно постановлению Совета и Комитета мы начинаем переговоры с Германией, ведение которых поручено товарищу

Троцкому. Ваша совесть, товарищи, может быть спокойна! Помните, что любой договор с империалистическим немецким правительством будет ничего не значащим обрывком бумаги, потому что вскоре мы подпишем другой – с немецким пролетариатом, с правительством Карла Либкнехта!

Товарищи успокоили свою революционную совесть.

Однако опытные немецкие дипломаты, тщательно оценивая ситуацию в России, предложили настолько суровые условия, что даже большевистская делегация не осмелилась их принять без согласования с Петроградом.

Это был огромный удар для новых правителей бывшей империи.

Ленин долго раздумывал, каким образом при существовании состоящего из враждебных социалистических фракций Совета, при живых еще в провинции патриотических лозунгах, брошенных генералами Корниловым и Алексеевым, он может убедить товарищей в необходимости заключения мира любой ценой, чтобы революция хотя бы на короткое время могла вздохнуть свободно и набрать новый разгон.

Пользуясь паузой, немцы и австрийцы гнали перед собой красную своевольную армию, входя с юга на Украину, захватывая с севера Псков и, для оказания давления, высылая самолеты, все чаще кружившие в небе над Петроградом.

– Мы должны стать единственными хозяевами положения. Учредительное собрание представляет для нас опасность, значит, мы разгоним его на все четыре стороны! – *шептал сам себе* председатель Совета народных комиссаров.

Но к этому дерзкому шагу необходимо было тщательно подготовиться.

Ленин ходил по комнате всю ночь, обдумывая план атаки.

– Когда все наиболее необходимые и активные слои общества перейдут на нашу сторону, опасаться нам будет нечего! – думал он. – Тогда мы сможем воплотить в жизнь решения нашего Совета.

На следующий день все, в наиболее удаленных уголках фронта и провинции, везде, где имелся телеграф, знали о новых ниспосланных Советом комиссаров благах.

Удар был нанесен уверенной и ловкой рукой.

Это был манифест нового правительства, разрешавший солдатам заключать мир с неприятелем по собственному усмотрению и возвращаться домой; крестьянам предлагалось захватывать землю и имущество крупных помещиков, не ожидая созыва Учредительного собрания; народам нерусского происхождения позволялось безнаказанно отрываться от бывшей империи и создавать самостоятельные государства; к рабочим, наконец, был обращен призыв: брать в собственные руки капиталистические предприятия и, используя собственные силы, фактически управлять ими.

Начиная и прерывая мирные переговоры, торгуясь, уклоняясь, бросая все новые, пустые, но эффектные фразы, типа «ни войны, ни мира», Троцкий и его шурин Каменев пока что сдерживали нападение немцев.

Оба – Ленин и Троцкий – ожидали выборов в будущее Учредительное собрание. Вскоре они убедились, убедились, что победили эсеры, а большевики не наберут большинства голосов в органе, который должен был определить форму управления страной и определить ее судьбу.

Узнав об этом, Ленин потер ладони и весело сказал:

– Очень хорошо! Мы придем к победе нормальным путем!

– Нормальным? – не понимая, спросил Троцкий.

– Да! – воскликнул Ленин. – Через кровь и гражданскую войну, в которой раздавим всех врагов сразу! Этот путь более радикальный, чем скользкие дороги компромиссов и фехтования языками!

– С Учредительным собранием не будет просто... – заметил Троцкий!

– Товарищ, не повторяйте глупостей! – возмутился Ленин. – Несколько месяцев назад Государственная дума точно так же говорила о царе. Но, но! Распорядитесь, чтобы царя вместе с семьей перевезли из Тобольска в Екатеринбург. Я думал об этом минувшей ночью... Он должен быть поближе к нам, чтобы мы могли в любой момент взять его в свои руки. Екатеринбург – хорошее место! Там у нас в рабочем совете есть надежные люди – Юровский, Войков и Белобородов. Мы можем на них положиться!

– Да, это правда, – согласился Троцкий, – но, Ильич, можем ли мы покушаться на Учредительное собрание?

Ленин встал перед ним со сжатыми кулаками и прошипел:

– Вы не можете освободиться от этих пережитков! Одни бьются лбами перед крестами и фигурами святых, другие – перед авторитетом людей и институтов! Мрак вокруг меня, слепота, рабское мышление!

Он размашисто сплюнул и внезапно успокоился. Потом даже улыбнулся и, беря товарища за руку, сказал:

– Доктор вылечись сам! Помни, что нет на земле бессмертных людей и бессмертных институтов... Все умирает, все упадает и обращается в прах. Ведь так же говорил и твой Иегова? Он был мудрым Богом, потому что для человеческого стада имел жесткую плеть!

Троцкий, задумавшийся и обеспокоенный, вышел.

Ленин остался один.

Он ходил по комнате и щелкал пальцами.

Наконец он открыл двери и крикнул:

– Товарища Халайнена ко мне! Немедленно!

Финн встал перед вождем и смотрел ему в глаза неподвижным, преданным взглядом.

– Товарищ! Бегите приведите ко мне Феликса Дзержинского. Пускай придет с теми, кому безгранично верит.

Халайнен выбежал, а Ленин принялся ходить по комнате, посвистывая и напевая какую-то песню.

Он был абсолютно спокоен и ни о чем уже не думал. Выпив стакан чая, он сел за стол и развернул газету. Через минуту он уже разгадывал задачу, которую нашел в разделе шахмат. Его лицо было радостным; по пухлым губам блуждала добрая улыбка и пряталась в редких, низко опадавших монгольских усах.

Часы на башне Смольного собора пробили полночь. После последнего удара в дверь его комнаты постучали.

– Можете войти! – крикнул веселым голосом Ленин и поднялся.

Вошел Дзержинский. Его лицо подрагивало, под воздействием судорог морщились веки; худые, узловатые пальцы хищно сгибались и выпрямлялись.

– Вызывали? – спросил он тихим пронизывающим голосом. – Я пришел и привел с собой надежных людей. Это Урицкий, Володарский и Петерс. Мы вместе занимаемся разведкой...

– Урицкий? – спросил Ленин и прищурил глаз.

Дзержинский скривил губы, выражая этим движением улыбку, и прошептал:

– Да! Это он спровоцировал расправу над офицерами и натравил моряков убить в госпитале больных министров, Шингарева и Кокошкина; по его же поручению матросы убили в Сочи бывшего царского премьера Ивана Горемыкина со всей семьей... Это – он!

Ленин пожал прибывшим товарищам руки.

Наконец тихо, почти угрожающе, спросил:

– Могу ли я быть с вами откровенен?

Они молча кивнули головами.

Тогда он быстро сказал:

– Садитесь и слушайте! То, о чем я скажу вам, должно пока остаться в секрете... Я предвижу, что вскоре вспыхнет гражданская война, такая настоящая, русская война, в которой не будет пощады для своих! Не знаю, поймете ли вы это, ведь вы не русские... но уверяю вас, что гражданская война будет такой, что никому и не снилось! Ха! Ха! Времена Пугачева и Дмитриев Самозванцев – это глупости, детские забавы!

Он долго смеялся, а потом продолжил:

– Для войны, даже гражданской, чтобы ее выиграть, необходима армия. У нас много штыков и держащих их в сильных ладонях мужиков; но у нас нет офицеров! У противников наших они будут. Товарищи, сделайте так, чтобы праздно болтающиеся без дела или скрывающиеся офицеры перешли на нашу сторону, не важно – по собственной воле или под воздействием... страха.

– А-а! – отозвался Дзержинский. – Наконец-то! Мы сможем сделать это, – будьте спокойны, Владимир Ильич! Мы будем их преследовать, морить страхом, голодом, тюрьмой, убийством непокорных и пойманных с оружием в руках! Револьвер в наших обвинениях вырастет до размеров самого большого орудия, перочинный ножик превратится в отравленный стилет! Мы организуем тайное контрреволюционное общество, в которое при-

влечем белых офицеров. Когда в наших сетях окажутся тысячи легковерных, мы проведем отбор. Лучших предадим вам, остальных... земле! Мы заставим подчиниться тех, кто будет нам нужен. Заставим! Для чего же они имеют матерей, сестер, жен, детей? Мы бросим их в камеры, в тюрьмы и будем держать там и мучить как заложников! Офицерам мы предоставим выбор – или верная служба в нашей армии, или придуманная нами с Петерсом согласно рецепту Великого Инквизитора мучительная смерть их семей!

– Да! Вижу, что вы, товарищ, меня поняли! – воскликнул, потирая руки, Ленин. – А теперь другие, не менее важные дела. Послушайте! Вы должны держать наготове людей для уничтожения Николая Кровавого и его семьи... нескольких надежных террористов... на всякий случай.

Все подняли головы, слушая спокойный, почти веселый голос Ленина.

– Значит, не будет суда над царем? – спросил Володарский. – Как поступила французская революция?

Ленин ответил не сразу.

Поколебавшись некоторое время, он твердо произнес:

– Публичный суд над царем превратился бы в опасную трагикомедию, потому что мы не знаем, как он поведет себя. Вдруг он найдет в себе силы произнести слова, которые увлекут народ? Или сможет умереть геройской смертью? Мы не можем создавать новых мучеников и святых! Но мы также не можем оставить его в живых, чтобы его не похитила немецкая или английская родня или контрреволюционеры, которые сделали бы из него с его семьей новые фетиши! Понятно?

– Понятно! – прошептали товарищи.

– Еще раз спрошу: могу ли я на вас рассчитывать и не опасаться, что секрет будет раскрыт? – спросил Ленин, осматривая острым взглядом лица сидевших перед ним людей. – Обещаю вам, что пролетариат не забудет о вашей услуге и верной защите его дела. Его благодарность может быть большей и более сильной, чем гнев из-за предательства революции. Его ладонь, тяжелая и безжалостная, сокрушающая врагов и предателей в момент раскрытия предательства, может одновременно щедро наградить, вознести к вершинам славы...

Они молча кивнули головами и сильнее сжали губы.

— Начинаете завтра! — добавил Ленин, вставая. — Мы не можем терять времени. Товарищи чертовски много болтали, а того, что важнее всего, не сделали! Теперь приходится спешить!

Он попрощался со всеми с доброй улыбкой на лице, а когда товарищи вышли, зажмурил глаза и подошел, лениво потягиваясь и громко зевая, к окну.

Над Смольным собором в бледных лучах луны возвышался позолоченный крест. Он блестел, словно был выкован из искрящегося алмаза.

Ленин рассмеялся и проворчал:

— Исчезни! Слишком большим бременем висишь ты над этой землей. Призываешь к мукам и покорности, а мы жаждем жизни и бунта!

Его взгляд упал на часы.

Время приближалось к часу ночи.

Внезапно перед ним возникло лицо Дзержинского.

Бледное, бесчувственное, с запавшими, холодными, косоватыми, наполовину скрытыми под дрожащими веками глазами, со страшно сжавшимися мускулами щек и спрятавшимися губами.

Оно тихо смеялось и издавало легкое шипение.

Ленин оглянулся вокруг и радостно усмехнулся:

Этот товарищ останется твердым, как стена!

Скрипнула дверь и шевельнулись смятые, засаленные солдатскими руками шторы.

В комнату быстро проскользнул незнакомый человек.

— Зачем вы приходите так поздно? — спросил Ленин, и глаза его заблестели.

Он вспомнил дорогу возле небольшой горной деревеньки в Татрах и бледного молодого человека с горящими глазами.

— Зачем вы пришли? — повторил он, внимательно глядя на стоявшего возле дверей человека и медленно перемещаясь к письменному столу.

— Вы узнали меня? Селянинов. Я был у вас в Поронине, товарищ... Я пришел, чтобы еще раз предостеречь вас... Если вы совершите покушение на Учредительное собрание...

Он не закончил, потому что в коридоре раздался протяжный, тревожный звонок.

Это Ленин, крадучись осторожно, добрался до стола и нажал электрическую кнопку.

Вбежал Халайнен с солдатами.

– Взять его! – сказал Ленин спокойно. – Этот человек прокрался ко мне и угрожал...

Финны схватили Селянинова и вытащили его из комнаты.

Ленин бросился на софу и сейчас же уснул.

Он страшно устал, а совесть его была спокойна.

Он даже не слышал, что во дворе, прямо под его окнами, грохнул одинокий револьверный выстрел и донесся угрюмый голос Халайнена:

– Выбросить тело на улицу!..

Часы пробили один раз...

Глухо, протяжно, словно к похоронам... Закончилось время призраков и нечисти...

ГЛАВА XXII

В доме семейства Болдыревых через некоторое время воцарилось спокойствие. Это слово не совсем точно определяло положение дел. Собственно, никакого спокойствия не было. Просто появилась возможность существования. А в переживаемые кровавые, бурные времена и это становилось равнозначным счастью.

По взятии коммунистами Петрограда квартира инженера Болдырева была реквизирована. К счастью, она досталась его бывшим рабочим. Он всегда был с ними в хороших отношениях, поэтому пока с их стороны не возникало каких-то неприятностей. Рабочие оставили семье хозяина квартиры и своего бывшего директора две комнаты, а сами со своими женами и многочисленными детьми разместились в остальных.

Болдыревых раздражали и огорчали доносившиеся до них звуки разбиваемых зеркал и фарфоровых безделушек, грохот переворачиваемой мебели, не утихающий ни на мгновение шум, топот ног бегающих по квартире, непослушных, орущих детишек, ссоры женщин, ругающихся из-за захваченного кем-то дивана, сундука или места у кухонной плиты. Однако постепенно они привыкли к новой ситуации. Они жили, стараясь не показываться людям на глаза и встречаться с ними как можно реже, хотя не раз замечали, как жены рабочих выносят из дома вещи и продают их в городе.

– Ладно! – шептал жене Болдырев. – Не грусти, Маша! Если буря закончится, как плохой сон, – мы вернем все, что потеряли. Я понимаю рабочих. Что им, беднягам, делать? Сначала они захватили все в свои руки, а теперь помирают с голоду. Фабрики остановлены, работа не идет, потому что разнообразные комитеты совещаются, строят новые планы, ругаются... Никто ничего не платит, на рынке нет хлеба, мяса, масла. Люди вы-

нуждены в открытую грабить и продавать украденные вещи! Слава Богу, что нас пока никто не трогает, что мы имеем свой угол и сыновей при себе!

Говоря это, он набожно перекрестился и, с благодарностью посмотрев на святую икону, обнял жену.

— Ты прав, дорогой, — прошептала она. — Вчера, в поисках каши и молока, я встретила генеральшу Ушакову. Она рассказывает просто ужасные вещи! К ним ежедневно врывались банды красных гвардейцев, проводили обыски и выносили все, что попадало под руку, оскорбляя и толкаясь при этом, пока наконец не увели с собой генерала. Госпожа Ушакова безрезультатно ищет мужа уже вторую неделю.

— Убит? — спросил Болдырев, побледнев и глядя на жену испуганным взглядом.

— Наверняка... Сама она тоже так думает, но пока еще обманывает себя надеждой! — ответила супруга. — Страшные времена! Кара Господня!

Однако себя они чувствовали счастливыми.

В памятный день взятия Зимнего дворца Болдырев с сыном Петром отыскали Георгия. У него была сильно побита грудь, но он мог покинуть больницу. Имея мандат Антонова-Овсиенко, Болдырев забрал сына домой.

С тех пор они жили как будто в норе и чувствовали себя спокойно.

Весь лежавший в банке семейный капитал достался захватчикам Петрограда, а через два дня был равен нулю, так как Совет народных комиссаров отменил денежную систему и уничтожил все ценные бумаги. Однако у Болдыревых было много серебра, украшений, одежды, белья и мехов, благодаря чему они могли вести обменную торговлю с прибывавшими в город крестьянами.

Это позволяло обеспечивать сносное существование всей семье. Госпожа Болдырева готовила скромные обеды на керосиновой плитке и совсем не заглядывала в кухню, в которой между женами рабочих, а по их наущению — и мужьями, с каждым днем разгоралась все более жестокая домашняя война. Вечерами, после возвращения рабочих домой с митингов и никогда не пре-

кращающихся совещаний, часто можно было услышать отвратительные оскорбления, проклятия, а затем — угрюмый вой, грохот падающей мебели, звон разбиваемых окон — звуки драк.

Часто после таких дебошей Болдыревы вынуждены были идти и делать раненым перевязки. Драки превратились в ежедневное явление. Этому способствовала водка. Несмотря на то, что алкоголь был запрещен, всемогущие солдаты, под видом обыска, принялись чистить винные склады и лавки с алкоголем, распродавая затем добычу без всяких ограничений.

Интеллигентная, культурная семья инженера со всем этим смирилась.

Госпожа Болдырева, видя, как ее легкомысленный и безвольный муж изменяется под воздействием неожиданных ударов; как между ними и сыновьями возникает все более тесная, омраченная в последние годы царившими в доме отношениями духовная связь, не раз думала, что только сейчас чувствует себя по-настоящему счастливой, такой же, как в первые годы замужества.

Без жалоб и расстройств переносила она мелкие неприятности, неудобства и работу, которую была вынуждена выполнять ради мужа и сыновей.

Они помогали ей как могли. Работы хватало всем.

Казалось удивительным, что такие привычные, давно функционирующие устройства, как городской водопровод и электростанция, в руках новых администраторов-большевиков все чаще начали выходить из строя; водопроводные и канализационные трубы замерзали и лопались. Молодые инженеры вынуждены были их ремонтировать и носить воду в ведрах из уличных кранов, часами выстаивать в очередях за выделяемой новыми властями порцией керосина, угля для отопления, хлеба и других продовольственных товаров.

Инженерам удалось мобилизовать рабочих для поддержания порядка в доме и ремонта того, что ломалось, совместными усилиями.

Такое положение вещей продлилось всего лишь месяц.

Один из рабочих, которому дома потребовался кусок трубы, просто-напросто открутил его от фабричной машины.

Партийный товарищ донес на него большевистскому комиссару. Рабочий, обвиненный в краже народного имущества, был арестован и казнен. Для Болдыревых это не прошло без последствий.

В их комнатах был проведен обыск, в результате которого у них забрали все дорогостоящие вещи. Петр за то, что посоветовал рабочему найти кусок трубы, оказался в застенках «Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем», то есть «чека», на ул. Гороховой.

Всегда пьяный прокурор, бывший когда-то дворником, постоянно обещал арестованному буржую, что прикажет его расстрелять, и угрожал во время судебного разбирательства револьвером, приставляя его ежеминутно к груди или ко лбу молодого инженера.

К счастью, рабочие и мастера с фабрики, на которой работал Петр, подали прошение, чтобы его освободили.

Спустя две недели Петр Болдырев вернулся домой и, загадочно улыбаясь, сказал родителям и брату шепотом:

– Насмотрелся я в «чека» на разные красивые вещи и прошел отличную школу...

О подробностях, однако, он рассказывать не хотел. Поводом были опасения перед постоянно подслушивавшими под дверями рабочими. Донос был очень вероятен, тем более что раньше на фоне ссор между квартирантами такие случаи уже были.

Во время прогулок по городу Петр рассказал отцу, что в этом высоком учреждении, где совершается большевистское правосудие, царят ужасные, невообразимые условия.

Людей расстреливали ежедневно без суда, совершались провокации, как во времена политической полиции, процветало взяточничество за освобождение из тюрьмы, арестованных били, издевались над ними так, как никому и не снилось даже в самые угрюмые времена царизма.

– Я считаю, что любой, кто попадет туда, должен сразу же заказать себе гроб и панихиду! – прошептал Петр с улыбкой. – Выйти из этого пристанища правосудия в целости и сохранности можно только по воле случая.

Они с ужасом смотрели друг на друга, обмениваясь многозначительными взглядами и шепча:

– Плохо! Все хуже!

Господин Болдырев среди многочисленных, больших и меньших неприятностей, проблем, обысков, тревоги и ежедневного опасения за семью и собственную жизнь, казалось, совершенно забыл о запоздалой любви, недавно так мощно державшей его в своей власти.

Идя однажды по Невскому проспекту, он вспомнил о прекрасной Тамаре.

Перейдя мост, он направился в сторону дома, в котором год назад снял для танцовщицы уютную квартирку.

Его удивило, когда после звонка в дверь ему открыла горничная, которую он знал еще с прежних времен. Новые законы запрещали пользоваться наемным трудом, а за их неисполнение были предусмотрены суровые наказания.

– Рискует Тамара... – подумал Болдырев и спросил горничную: – Дома ли госпожа?

Оборотливая девушка опустила глаза и, двусмысленно улыбаясь, приглушенным голосом ответила:

– Госпожа дома, но не может никого принять... К ней только что прибыл наш участковый комиссар, поэтому...

Болдырев не слушал дальше. Он все понял. До него долетали взрывы веселого смеха, соблазнительное щебетание Тамары, возбужденный мужской голос и даже, как ему казалось, отзвуки приглушенных звоном стекла поцелуев.

Он бросил взгляд на вешалку и улыбнулся. На ней висела кожаная американская куртка и такая же кепка с большим козырьком – любимая одежда новых комиссаров, сабля и папка – непременные символы коммунистической власти.

– Передайте, пожалуйста, госпоже, что я приходил, чтобы пожелать ей счастливой жизни, – сказал он, искренне улыбаясь. – К сожалению, не могу вам, барышня, дать никаких чаевых, потому что ничего не имею!

Он снова рассмеялся и вышел. Остановившись на первом этаже, он схватился за бока и начал смеяться, раскачиваясь и потирая руки. Его уже давно ничего так искренне не рассмешило. Стукнув несколько раз пальцем по лбу, он вышел на улицу.

Перед ним была долгая дорога пешком.

Такси были реквизированы с первых дней Октябрьской революции, дрожки и трамваи пока не курсировали, потому что извозчики, кондукторы и механики все еще дебатировали о новых условиях и произносили радикальные речи, поддерживая Совет народных комиссаров и его председателя товарища Ленина.

Среди бушующих политических споров уровень обеспечения продовольствием достиг половины фунта скверного хлеба ежедневно, а о водке – нечего было и мечтать, потому что за ее употребление сажали в тюрьму; впрочем, в сети подпольной торговли ее цена стала настолько высокой, что была доступна разве что советским бюрократам.

Уставший от долгой прогулки, Болдырев вернулся домой под вечер и, заметив озабоченное лицо жены и беспокойство в ее пытливых глазах, прижал супругу к себе, поцеловал в лоб и весело прошептал:

– Будь спокойна, Маша! Все очень хорошо... Все, что отравляло тебе жизнь и позорило меня, закончилось. Закончилось навсегда!..

Неделю спустя Болдырев с сыновьями получили повестку в комиссариат труда.

Какой-то рабочий в кожаной кепке, грозно глядя на них, спросил:

– Буржуи! Будете служить пролетариату? Нам нужны ваши знания, пока мы не обучим своих специалистов... Если не согласитесь, отберем у вас продовольственные карточки, потому что «кто не работает, тот не ест!» Ха-ха! Так наш Ленин сказал! Ну, что? Согласны? Помните, что в случае отказа вас встретят разные другие наказания, а у нас их для вас, врагов революции, много припасено!

Болдыревы обменялись многозначительными взглядами.

– Мы согласны на ваше предложение, – ответил за всех Петр. – Мы не являемся врагами революции...

– Знаю я вас, подлые псы! – воскликнул рабочий-комиссар. – Почти все вы занимаетесь саботажем и бойкотом пролетарской России. Не по вкусу вам социальная революция! Вам бы хотелось нас по-прежнему угнетать?!

Старый Болдырев не выдержал. Рассмеялся и спросил:

– Товарищ! Вы наверняка были на фабрике рабочим или мастером; это написано на ваших натруженных ладонях. Скажите мне искренне, честно: разговаривали ли с вами буржуи в фабричном управлении так, как сейчас это делаете вы?

Рабочий не ожидал такого вопроса и растерялся.

Однако спустя мгновение вернулся к своему прежнему, дерзкому поведению и угрожающе проворчал:

– Ну, зубы заговаривать вы умеете! Ясное дело!

Он выдал инженерам какие-то узенькие полоски бумаги с адресами фабрик, на которых они должны были работать с завтрашнего дня.

Началась работа на пролетариат.

Рабочие, за небольшим исключением, проводили время за пределами цехов.

Они совещались и упорно спорили о методах контроля над фабрикой, разрабатывали фантастические планы собственного управления предприятием, устанавливали часы работы, пели «Интернационал», ломая между делом машины, чтобы обменивать на провиант наиболее дорогостоящие части механизмов и находившиеся на складах материалы.

Протестовавшие против такой экономики и призывавшие к работе инженеры вскоре стали ненавистны рабочим, которые обвинили их в применении буржуазных методов организации труда.

К счастью, их делом занялся главный комиссар труда – человек интеллигентный; он распорядился, чтобы все явились к нему в управление, где выслушивал жалобы рабочих и объяснения Болдыревых.

Во время разбирательства раздались радостные приветствия и крики толпившихся в коридорах комиссариата людей.

– Да здравствует Ленин! Да здравствует революция!

В зал, где проходило разбирательство, вошел вождь пролетариата, а за ним ворвалась толпа рабочих. Переглянувшись с комиссаром труда, Ленин внимательно присмотрелся к спокойным, интеллигентным лицам инженеров и задержал свой острый взгляд на обвинявших их рабочих, которые повторяли по кругу фразы, вычитанные из большевистских газет и листовок.

ПЕРВЫЕ ЗАЩИТНИКИ КОММУНИЗМА
В ПОИСКАХ ПРОВИАНТА

СОЛДАТЫ КРАСНОЙ АРМИИ,
ТОРГУЮЩИЕ НА УЛИЦАХ ГОРОДОВ

Ленин кивнул головой и вежливо, почти по-доброму улыбнулся.

Он поднял глаза на толпу, ожидавшую приговора самого диктатора, и хрипло сказал:

– Товарищи, немедленно покиньте зал!

Так как Куно Халайнен и двое прибывших с Лениным финских солдат ловко проложили им путь к дверям, ротозеи покинули зал достаточно быстро.

Ленин сел за стол и, обращаясь к обвинителям, спросил:

– Что сделано на фабрике за время работы этих инженеров?

Обвинитель зачитал список проделанных работ.

– Почему работа была прервана?

– У нас были важные митинги и... закончились материалы, потому что товарищи вынесли их с фабричных складов, – ответил один из рабочих.

– Что об этом скажет товарищ инженер? – спросил Ленин.

Господин Болдырев ответил:

– На складах действительно не нашлось материалов. Почему – не знаю, потому что не я осуществлял контроль. Я – технический советник. Если бы у меня были бронза, медь и сталь, я бы починил неисправные машины. Желая работать честно и производительно, я указывал фабричному комитету на необходимость обязательной работы хотя бы в течение шести часов...

– А сколько тем временем часов работали товарищи? – спросил Ленин.

Болдырев ответил спокойным голосом:

– Учет вел комитет, может быть он и проинформирует вас, товарищ председатель Совета народных комиссаров...

Ленин кивнул головой в сторону обвинителя, который, заглянув в свою папку, заявил:

– Выходило... по два часа и то... не ежедневно...

Ленин встал и, щуря глаза, твердо произнес:

– Расхищение общественной собственности, вредительская потеря времени, прикрытый революционными митингами саботаж, товарищи?! Диктатура пролетариата была вами введена для того, чтобы мы смогли растоптать буржуазию и любую другую враждебную нам часть общества. Поэтому необходим напря-

женный труд каждого рабочего. Не шесть, не восемь, а десять, четырнадцать или двадцать четыре часа работы! Слышите?!

Рабочие сорвались с мест и начали кричать:

– Это еще худшая каторга, чем при буржуях?! Где же завоевания революции? Где социалистический рай, о котором вы писали и кричали? Где освобождение трудящегося народа? Ни хлеба, ни отдыха после тяжкого труда в капиталистическом ярме!

Ленин по-доброму улыбнулся, хотя его пухлые губы искривлялись и дрожали.

– Товарищи! – сказал он. – Вы совершили революцию и победили, чтобы построить рай, о котором говорите. Чтобы строить, надо поработать, а не болтать, не болтать, чем вы и занимаетесь уже три месяца! Смотрю я на вас и думаю: вот эти добрые люди и отважные революционеры, которые взобрались на высокое дерево, уселись, восхищая весь мир, на самую высокую ветку и принялись ради забавы ее рубить! Смотрите, как бы не упали с верхушки дерева и не разбили себе лбы. Кто тогда будет лаять?!

Громкий смех разошелся по залу.

Ленин понял, что у него уже есть сторонники в лице присутствовавших на разбирательстве свидетелей, поэтому продолжил с ядовитой усмешкой:

– Ничего не делается против вашей воли! Мы выполняем ваши наказы. Вы решили в поте лица трудиться так, чтобы в течение двух месяцев наверстать не сделанную за десятилетие работу, чтобы за два года догнать Европу, которая опередила нас лет на пятьдесят! Тем временем тот самый пот – это два часа работы и шесть часов лая?! Как у вас глотки не опухнут, милые товарищи? Вы, видимо, завидуете Керенскому, который денно и нощно только и занимался болтовней? Он, кажется, даже во сне произносил речи! Вы ведь не хотели, я слышал это на митингах, идти за советом Козьмы Пруткова, рекомендовавшего «поспешать медленно»? Помните, что наши враги не спят! А когда они двинутся на нас, не помогут никакие разговоры! Вы можете заболтать свое дело и умолкнуть только тогда, когда на вашей шее сожмется петля генералов!.. Труд, труд, труд, товарищи! Для победы вашей революции и вашего счастья необходимо приложить все усилия!

Он замолчал и, шепнув несколько слов комиссару труда, заявил спокойным, решительным голосом:

– Именем трудящихся постановляю: инженеры остаются на фабрике, комитету ставится обязательное условие: в течение недели производить столько же, сколько производила фабрика в первый период работы инженеров! Если это не будет выполнено, предстанете перед военно-полевым судом за саботаж! Пролетариату не знакома лень и пощада, товарищи!

Рабочие расходились молчаливые и задумавшиеся.

Они чувствовали, что на них опускается тяжелая, ужасающе грозная и ранее неизвестная рука.

Инженеры, поддержанные приговором Ленина, горячо уговаривали рабочих трудиться, призывали собственным примером, советовали, но те кивали головами и ворчали:

– Теперь поздно уже! Машины наполовину неисправны, материалов нет. С этим никто ничего не поделает!

Один за другим они записывались в Красную армию, убегали в деревню, с которой русский рабочий никогда не прерывал кровных связей; более умные пытались занять должности в многочисленных руководящих органах новой России, с каждым днем превращавшейся в государство бюрократов, жирующих на теле народа.

Наконец фабрика закрылась. Болдыревы были свободны. Их это огорчало, потому что они не были согласны с коллегами, которые, считая правление большевиков недолговременным явлением, упорно бойкотировали «правительство захватчиков и предателей».

Болдырев и его сыновья думали иначе. Они не верили в скорый закат революции, потому что, по их оценке, она была всего лишь этапом создания мощного движения и должна была пройти через несколько периодов в течение нескольких лет. Как честные граждане, они не могли и не хотели оставить родину беспомощной, видя, как она распадалась и разрушалась от лживых рук теоретиков, мечтателей, преступников и темных простаков.

Петр Болдырев говорил:

– Мы, специалисты, должны остаться на своих местах, потому что мы нужны любому правительству. Необходимо помнить,

что последнее, твердое и решающее слово скажет крестьянин. Он топнет ногой, выругается, согнет одержимых и установит порядок надолго. Как же он обойдется без подготовленных профессионалов? Ведь крестьянство не поверит сброду в кожаных куртках, с папками под мышкой, этим тысячам разнообразных комиссаров, которые разрушают Россию и требуют, чтобы деревня их кормила? Крестьяне вообще не имели с городом ничего общего, а теперь вдруг город повесил им на шею комиссаров-паразитов, чуждых им и не вызывающих даже уважения, потому что часто они темные и необразованные. Власти требуют от крестьян хлеба, мяса, масла для Красной армии, ничего за это не платя, потому что город не имеет никакого товара, кроме газет, брошюр, лозунгов и других революционных декораций. Мы должны ждать прихода мужика с крепкой жердью и твердым кулаком, чтобы помочь ему в возрождении больной отчизны!

Подобные мысли заставили инженеров вновь обратиться в комиссариат труда. Там они услышали, что их вызовут сразу же, как только пролетариату потребуется их профессиональная помощь.

Участковый комиссар тем временем, воспользовавшись тем, что часть живущих дома у Болдыревых рабочих выехала в деревню, заселил вместо них несколько семей.

Это были нищие и темные типы из самых наихудших городских низов. Сразу же после их прибытия начались кражи и драки, а после них — обыски, постоянные визиты милиции, военных отрядов, следователей из числа рабочих, солдат и бывших кухарок. Более всего страдали от этих визитов «буржуи», у которых каждый раз что-то отбирали, обзывая вдобавок «грабителями трудового народа».

С каждым днем жизнь становилась все более невыносимой.

Женщины шпионили за госпожой Болдыревой и доносили в милицию о покупаемых ею запасах продовольствия, об «избыточном» количестве имеющейся у нее одежды, белья и обуви. По ночам, представляясь агентами борьбы со спекуляцией, врывались какие-то люди, реквизировали хлеб, муку и разные принадлежащие буржуазной семье вещи, сыпали оскорблениями и каждый раз что-нибудь воровали.

Наконец терпение кончилось.

Случилось это в начале декабря. Бушевали морозы. В неотапливаемой квартире царили пронизывающий холод, влажность, и Болдыревы сидели в своих комнатах, надев шубы.

Вдруг в соседней комнате, занимаемой шестью рабочими семьями, раздались пронзительные крики. Жалобно плакала и стонала какая-то женщина.

Госпожа Болдырева долго прислушивалась, а потом сказала:

– Может, беда какая-то случилась с этой женщиной? Загляну к ней...

Она вышла и сейчас же вернулась, бледная и возбужденная.

– Георгий! – воскликнула она, обращаясь к младшему сыну. – Беги сейчас же к доктору Лебедеву и проси, чтобы он пришел немедленно. У какой-то работницы роды! Поспеши!

Знакомый врач прибыл сразу же, осмотрел больную и заявил:

– Мы не можем терять ни секунды! Но в комнате роженицы царят такой беспорядок и грязь, что это может ей грозить заражением и смертью. Я не знаю, что делать...

Госпожа Болдырева взглянула на мужа и сыновей.

– Дорогие мои, – сказала она, – идите в город, а мы тем временем перенесем больную ко мне в комнату. Нельзя беднягу оставить без помощи!

Мужчины вышли, а когда вернулись, увидели заплаканную госпожу Болдыреву.

– Знаете, какую подлость сделала эта женщина, которую мы спасли от почти верной смерти? По окончании родов она нагло заявила, что не двинется из моей комнаты. Потом туда же вселилась вся ее семья: мать, муж, четверо детей...

Этот разговор услышали в соседней комнате, потому что раздался резкий, злой женский голос:

– Буржуи проклятые! Живут в чистоте и богатстве и думают, что мы хуже них! Хватит! Напились уже нашей кровушки, теперь – наша взяла!

Она выплюнула еще какие-то оскорбления и замолкла.

– Ничего не поделаешь! – решил Болдырев. – Надо убегать...

– Куда? – спросила жена.

– В деревню, к брату Сергею. Он давно нас приглашал. Может, в деревне будет спокойнее, – ответил он шепотом.

– Хорошая мысль! – поддержали сыновья.

Прошло несколько дней, пока Болдыревым удалось получить разрешение на выезд из столицы. В свободной пролетарской республике все население, кроме членов партии большевиков, было приковано к своему месту, как каторжник к тележке. Знакомые рабочие все же помогли, и совершенно ограбленная семья Болдыревых переехала в имение Розино в Новгородской области.

Они вздохнули с облегчением, вспомнив о последней перед выездом из Петрограда реквизиции, в результате которой они лишились остатков имущества, постоянных проверках и паспортном контроле в поезде, подозрительности милиции и безнаказанных оскорблениях со стороны бродивших повсюду моряков. В Розино царил покой и достаток.

Только теперь Болдыревы поняли, как недооценивали благополучие и блага цивилизации. Поняли они и то, что культурный человек уделяет слишком большое внимание излишествам повседневной жизни.

Петр говорил со смехом:

– Раньше я злился на прачку за плохо выглаженный воротничок, а теперь могу ходить и вовсе без воротничка. Все в мире условно!

Однако революционная волна быстро докатилась до Розино.

Однажды в поместье появилась группа мужиков. Их привел угрюмый человек в офицерской шинели без погон. Лицо его было злым, а глаза полны ненависти и упрямства.

Он потребовал, чтобы хозяин поместья вышел «к народу».

Сергей Болдырев пригласил прибывших крестьян в поместье.

«Народ», став перед «господином», молчал, кряхтел и толкался локтями.

Наконец вышел незнакомец и заносчиво заявил:

– По важному делу мы к вам... товарищ буржуй...

Болдырев внимательно присмотрелся к нему. После чего хлопнул в ладоши и воскликнул:

– Я вас не сразу узнал! Клим Гусев? Давно вас не было видно. Это вы пропили свою хату и землю, а потом уехали из деревни? Чем занимаетесь теперь?

Не все сказал господин Болдырев. Ему было известно, что пьяный мужик совершил в соседнем местечке какое-то преступление, был приговорен к тюрьме и исключен из «общины», то есть из первобытной бессмертной крестьянской коммуны.

– Я областной уполномоченный Совета рабочих и крестьянских депутатов – гордо ответил он, вызывающе глядя на «буржуя».

– С чем пожаловали ко мне? – спросил Болдырев.

Гусев, пряча глаза, буркнул:

– Пришли мы к вам, товарищ, чтобы потребовать передачи крестьянам вашей земли, скота, инвентаря и поместья. Теперь все это принадлежит народу!

В подтверждение своих слов он поднял кулак.

Болдырев нахмурил брови. Ему не нравился «законный» аргумент безграмотного пьяницы Гусева.

– Спрячьте кулак, человече, иначе мы ни до чего не договоримся! – сказал он строгим голосом. – Я знаю из газет, что в январе соберется Учредительное собрание. Оно примет новый закон о земле. Подождем! Недолго уже осталось!

Он погладил седую, опадавшую на грудь бороду и спокойно, доброжелательно посмотрел на мужиков.

Гусев внезапно начал отвратительно браниться:

– Ты нас, буржуй, обидчик, за нос не води! Хватит выжимать из нас пот, кровь и слезы! Отдавай все! Да смотри, чтобы мы тебе голову не оторвали и не засветили между глаз – ха-ха – мужицкой иллюминацией!

– Угрожаешь? – спросил Болдырев и, обращаясь к мужикам, воскликнул:

– Что ж вы, соседи, молчите? Жили мы с вами в дружбе. Вы знаете, что не выжимал я из вас ни пота, ни слез, ни крови! Это глупый бред этого бездомного бродяги, пьяницы, арестанта! Говорите! Я хочу знать, живет ли в ваших сердцах справедливость!

Мужики переминались с ноги на ногу и ворчали:

— Ну... ясно, что... вроде по-доброму мы жили... Гнету не было никакого... Что скажешь?! Только вот приказ вышел, чтобы всю землю и имущество у помещиков забирать и... делить... ваше на это согласие иметь... ведь и так... отберем...

— Отберете? — крикнул Болдырев. — А каким это правом? Преступниками хотите стать? Что на это скажет правительство, когда порядок в стране наступит? Вы об этом подумали?

— Не будет при твоей, буржуй, жизни другого правительства, кроме нас — рабочих и крестьян! — рассмеялся Гусев. — Отдавай, а то сами заберем!

Болдырева, старого отставного полковника, героя двух войн, запугать было не просто. Он гордо выпрямился и ответил, четко акцентируя каждое слово:

— Не отдам, пока в руках у меня не будет написанного и утвержденного правительством закона! Если Национальное собрание решит — отдам без слова протеста. Теперь, если хотите, можете приступить к насилию и преступным действиям, но вы строго за это ответите! Опомнитесь, пока не поздно! Идите домой, подумайте, а о том, как порешите, пускай мне сообщит староста.

Он махнул рукой и ушел.

Мужики покинули поместье в угрюмом молчании.

— «Господин» по справедливости говорил... — буркнул один из мужиков. — Можно и подождать...

— Ждите... Ждите! — набросился на него Гусев. — Дождетесь новых полицаев, тюрем и нагаек... Буржуи установят в Учредительном собрании старый порядок, а вы, как скот, пойдете в их ярмо... Брать! Брать, пока не поздно!

— Ну-у, брать так брать... — раздались несмелые пока голоса.

Через час в поместье прибежал староста.

Он мял шапку, чувствовал себя неловко, трусливо оглядывался.

— Беда, господин, беда! Народ спятил... Конец света! Мужики постановили отобрать у вас землю, скот, дом, технику, а вас с госпожой прогнать из поместья. Они приказали мне передать, чтоб ты немедленно выгнал приехавших родственников, потому что, как говорит Гусев, — они объедают крестьян... Это

не мы хотим этого... только этот... Гусев... Он всех подстрекал, как дьявол-искуситель... Беда!

Наклонившись к уху господина Болдырева, он прошептал:

— Переоденьтесь в мужицкую одежду и ждите. Я за вами пришлю телегу... Мой сын, ваш крестник, отвезет всех вас в город... Там вам безопаснее будет...

Старый полковник побледнел и надолго задумался.

Наконец ответил:

— Спасибо вам, староста! Пришлите Ивана с телегой...

Староста вышел, а господин Болдырев направился в салон, где собралась вся семья.

Спокойным, ни разу не дрогнувшим голосом он сказал, что решил отдать мужикам поместье и остаться, чтобы темные крестьяне не развалили хозяйства.

— Стану их советником и помощником! — воскликнул он. — Я не имею права покинуть свое хозяйство. Если оно должно перейти в руки народа, пускай народ использует его с максимальной пользой, а без меня он этого сделать не сможет. Я остаюсь! Что касается вас, то мужики хотят, чтобы вы уехали... Брат Валерьян заберет свою семью и мою жену. Будете жить у моего друга Костомарова. Он сидит на маленьком загоне пашни, работает как обычный крестьянин, поэтому у него землю не заберут. Это самое безопасное по сегодняшним временам место!

Жена Сергея Болдырева, седая старушка, запротестовала.

— Я останусь с тобой! — воскликнула она. — Я тебя не оставлю. Я на войну за тобой поехала, как санитарка, могу ли теперь оставить тебя одного... Детей у нас не было, жили мы для себя, вместе и умереть можем... Остаюсь и не пытайся меня отговорить. Конец! Решено!

Растроганный Болдырев не возражал. Он подошел к жене и просто сказал:

— Спасибо тебе, Юлия!

Потом он посовещался с братом, попросил его сохранить кое-какие документы и несколько драгоценностей, которые со временем можно бы было продать; он советовал ему предупредить старого чудака Костомарова, что, может быть, вскоре приедет к старому другу на более длительное время.

— Боюсь, — говорил он, — что мужики впадут в бешенство, как ваши рабочие! Когда надежда исчезнет — приеду к Костомарову и буду ему помогать.

После заката солнца инженер с семьей уехали.

Поместье в Розино опустело.

В старом доме, который помнил пышные времена Елизаветы, осталась пара глубоких стариков.

Они сидели в полутемной комнате и говорили тихими голосами.

— Скажи, есть ли в околице хоть один человек, которого мы обидели? — спрашивала старушка. — За что же столько к нам ненависти?!

Она тяжело вздохнула и горько расплакалась.

Муж долго ничего не говорил.

Он несколько раз прошелся по комнате и, решившись наконец, начал шептать:

— Вопрос этот не простой, ой, очень не простой! Мы не за свои грехи отвечаем... За грехи правительства, дворянства, чиновников, интеллигенции, за преступления царя понесем наказание. Мужик считался скотом, который слушается только кнута. Темен он, а его из темноты никто не хотел вывести. Все большую пропасть выкопали между крестьянством и правительством с интеллигенцией... Вот мы и дождались дней мести! Дикий и невежественный мужик сам вырвался из темницы... Мы для него не только добрые соседи — Сергей и Юлия, которых они знают уже пятьдесят лет. Мы «господа», образованные, близкие прежним властям люди, а значит — враги...

Они разговаривали долго, грустно склонив друг к другу озабоченные, седые головы.

Вдруг со звоном разбилось оконное стекло, в комнату упал большой камень, а через разбитое окно ворвалось облако морозного воздуха.

Со двора доносился глухой говор.

Болдырев выглянул в окно. Плотная толпа крестьян, подгоняемая Гусевым, за которым тянулась вереница деревенских баб с мешками в руках, приближалась к ступенькам крыльца.

— Открывай! Открывай! — раздались голоса.

Прислуга в ужасе разбежалась. Болдырев перекрестился и пошел к дверям.

Вбежал Гусев, а за ним, крича и толкаясь, ворвались бабы. Они сразу же принялись бросать в мешки стоящие на столах предметы, срывать занавески, выламывать дверцы шкафов и комодов.

— Забирайте все, теперь это ваше! С буржуями покончено, теперь каждая вещь принадлежит народу! — верещал Гусев, махая палкой.

— Люди, опомнитесь! — кричал Болдырев, но обозленная толпа оттолкнула его и побежала дальше.

Со двора и от хозяйственных построек доносились громкие крики и вой мужиков.

Подстрекаемые Гусевым бабы бушевали. Они ломали мебель, разбивали зеркала, уничтожали фортепиано, отрывая струны, выворачивая клавиши, сдирая мебельную обивку, драпировку, ковры.

Наконец они выбежали, таща за собой мешки с добычей.

— Спалить этот старый сарай! — крикнул внезапно метавшийся среди толпы Гусев.

Кто-то засунул горящую жердь под навес деревянной крыши, другой полил керосином и поджег стену. Языки пламени начали лизать почерневшие, сухие доски старой постройки, из щелей между балками и стыков перекрытий повалил дым. Через несколько минут пылало уже все здание.

— Загородите двери! — взвизгнул какой-то женский голос. — Пусть враги народа спекутся в своей норе! Крысы ненасытные!

Спокойные и даже покорные мужики, набожные, влюбленные в тайные религиозные книжки, вслушивающиеся не столько в значение, сколько в сам звук величественных, торжественных слов старославянского церковного языка; бабы и деревенские девки, почти ежедневно приходившие к доброй, ласковой старушке, чтобы пожаловаться, поплакаться ей на свою судьбу невольниц, терзаемых, оскорбляемых пьяными мужьями и отцами, посоветоваться о болезнях детей, получить помощь, написать письмо, или жалобу властям; старики, которые приходили в поместье перед каждым праздником, чтобы «поболтать»

с господином о домашних делах, послушать объяснения непонятных, сложных распоряжений губернатора, полиции, налогового управления, выпросить корову или коня для обедневшего соседа, – все этой ночью были охвачены бешенством.

Толпа кричала, выла, свистела, дико, бездумно смеялась.

Глядя на пурпурные, с шумом метавшие искры и красные угли языки пламени, на столбы черного и белого дыма, на плясавшее в темном небе зарево, слушая треск досок и перекрытий, жалобный звон лопавшихся оконных стекол, чувствуя на себе горячее дыхание быстро пожирающего старую резиденцию Болдыревых огня, – толпа беспокойно перемещалась с места на место, ругалась и богохульствовала.

Какая-то старуха с безумными глазами, в которых прыгали кровавые отблески пожара, беспричинно закатав юбку выше колен, с пронзительным визгом выкрикивала:

– Палите, палите, Божие люди! Когда спалим дом, господа уже никогда не вернутся!

Другая, изрыгая отвратительные слова, вторила ей:

– Матерь Пречистая, Господи Иисусе, позволили мне дожить до радостного дня!

Когда ее голос умолк в разъедающем дыме, она начала плеваться и выбрасывать из себя гнилые, развратные ругательства и бешеные, похожие на богохульство проклятия.

Какой-то мужик, прыгавший бездумно перед крыльцом, крикнул вдруг:

– Люди православные, господин с госпожой в окне!

Огонь уже подбирался к жилой части дома.

Болдырев, подхватив жену, потерявшую от ужаса сознание, тащил ее к дверям. Двери были загорожены наваленными мужиками бревнами. Когда старый полковник не смог их выдавить, он разбил стулом окно в сенях и хотел спастись через него.

Мужики наблюдали за метавшейся в окне седой головой Болдырева, который поддерживал постоянно съезжавшую на пол жену.

К окну подскочил какой-то подросток и бросил в старика камнем. Толпа тут же взвыла, зацокала, а на седую голову и укрытую длинной серебристой бородой грудь обрушился град камней.

Болдырев вдруг исчез. Видимо, упал от удара камня.

В тот же момент с треском, скрежетом и грохотом завалился потолок, выбросив высоко, под самое небо снопы искр, горящих щепок и углей.

— Урррр-а-а! — вознеслись над толпой радостные, триумфальные крики и звучали долго, заглушаемые грохотом падавших балок и стен.

— Выводите лошадей! — прорвался сквозь визг и шум пронзительный крик.

Все понеслись к хозяйственным постройкам, но не успели добежать, потому что крытая соломой конюшня, кладовая и деревянный барак с локомобилем, машинами и сельскохозяйственными инструментами, засыпаемыми горящими щепками, сразу охватил огонь.

Раздалось тоненькое, жалобное повизгивание и тревожное ржание лошадей, шипение огня и треск горящего дерева...

«Мужицкая иллюминация», одна из несметных, которыми была озарена Россия, погасла уже на рассвете...

Мужики и бабы, размахивая руками и крича возмущенными голосами, расходились по своим хатам, гоня перед собой забранный из коровника Болдыревых скот.

— Эх, Аким Семенович, веселая была ночка! — кричал одноглазый крестьянин, похлопав по плечу старосту.

— Чистая работа! — отвечал тот, поблескивая угрюмыми глазами. — Пламя сожрало все дотла. Ничего не осталось! Жаль машин! Новые, хорошие были...

— Малая беда — короткий плач! — пискнула шедшая рядом женщина, сгибаясь под тяжестью мешка, набитого украденными в поместье вещами. — Теперь наше право! Все должно принадлежать народу... Так учил товарищ Гусев!

Чувствуя внезапную и сердечную благодарность Создателю, высокий с обожженной бородой крестьянин с воодушевлением воскликнул:

— Толстую свечу поставлю перед иконой святого Николая Чудотворца за то, что без всяких проблем закончили мы это дело раз и навсегда! Земля — наша, вся нам принадлежит мать-кормилица!

— Только смотрите, чтобы наследники Болдырева не вернулись, — раздался остерегающий голос. — Ой, братья, погонят нас за эту ночь в Сибирь. Господи Иисусе, пощади нас, защити рабов Твоих!

Мужики начали пугливо озираться, креститься и шептать молитвы.

Это услышал Гусев и, сдвигая шапку на затылок, крикнул:

— Не бойтесь, товарищи! Они никогда не вернутся... Для спокойствия и уверенности вобьем на пожарище осиновый кол. Тогда точно — никто из Болдыревых сюда больше не вернется!

— Вобьем кол... почему не вбить?!.. — ворчали мужики.

Так и шли они, болтая, то угрюмо радуясь, то ощущая огромный страх, ползущий отовсюду в сером, мерцающем предрассветном свете.

В этот момент в Петрограде печатные станки со злым, издевательским стуком печатали воззвание Владимира Ильича Ленина к крестьянам:

— Обращаюсь к вам: не ждите никакого закона, берите в свои руки землю, захваченную слугами царя, богачами и дворянством! Сметайте со своего пути врагов, угнетателей и эксплуататоров! Вы как обиженные, сбросившие оковы, обладаете таким правом. Спешите, потому что владельцы земельных поместий ждут помощи, которую ведут царские генералы! Они несут вам военно-полевые суды, смерть, розги, тюрьмы и каторгу! Спешите и помните — то, что вы захватите, у вас никто уже не отберет! Да здравствует социальная революция! Да здравствует рабоче-крестьянское правительство! Да здравствует диктатура пролетариата!

Ленин написал это воззвание перед полуночью, вернувшись с заседания Совета народных комиссаров. Слушая речи товарищей, он почувствовал, что его охватывает грусть и тревога.

Идя по коридорам Смольного института, он думал:

— Правда ли, что я буду диктатором миллионов крестьян и рабочих? Хватит ли мне сил, чтобы навязать им свою волю? Я хочу сделать это, потому что воля моя никогда не будет использована для личной выгоды. Все, не исключая собственную жизнь, хочу я посвятить делу освобождения трудящихся от наемного

рабства. Пока же мне кажется, что толпа владеет мною, навязывая мне свои наказы, а мне с трудом удается вымолить выполнение крошечной части собственных намерений... Стал ли я невольником толпы? Этого столпотворения чужих людей, орущих рабочих, невежественных, худших представителей крестьянства? Я должен был, уступая им, чтобы вырвать право на диктатуру снабжения, призвать их уничтожать лучшие хозяйства с высокой культурой земледелия и скотоводства... Впрочем, чего мне бояться? Диктатура концентрируется в моих руках, и когда я почувствую, что держу ее в кулаке, то поверну все, как захочу!

Однако грусть не исчезала от этих размышлений творца новой революции...

Тем временем в комнате, охраняемой вооруженными латышскими революционерами, подчинявшимися Петерсу и Лацису, лежал на софе Феликс Дзержинский. Он не спал, потому что уже несколько лет мучился бессонницей.

О чем только не думал в этой нескончаемо долгой череде дней и ночей бывший каторжник, социалист, человек, сотканный из нервов, дрожавших от ненависти и жажды мести!

Он горел ненавистью ко всему миру. Мечтал отомстить всему живому и всему, что было создано живыми существами. Он жаждал видеть вокруг себя кровь, тела убитых и замученных, кладбища, руины и пожарища и над всем этим — смертельную тишину.

Теперь он лежал с широко раскрытыми глазами, ежесекундно закрываемыми дрожавшими и опускавшимися, красными распухшими веками; он сжимал руками содрогавшееся и судорожно бледное, худое лицо, шипел от боли, искривляя губы в страшной мучительной улыбке и скрипя зубами.

Поздно ночью ему принесли записку от Ленина.

Диктатор писал, что абсолютно ему доверяет, поэтому поручает важное дело, которое может решить судьбу революции. С целью подавления сопротивления в стране и захвата провинции предвидится развязать гражданскую войну. Поэтому для защиты Совета народных комиссаров будет создана огромная армия и преторианская гвардия. В нее войдут латыши, финны и китайцы, которых царское правительство в свое

время пригласило на военные работы. Этих людей надо сытно кормить. Достаточно продовольствия должны иметь также солдаты, воюющие на внутренних фронтах. Нельзя оставить без обеспечения города, потому что в них легко вспыхнут бунты. Провиант для рабочих, солдат и городов должна поставить деревня, но – обедневшая и измотанная, – она не захочет сделать этого добровольно. Совет комиссаров поручает товарищу Дзержинскому обдумать методы, которыми можно было бы заставить крестьян свозить продукты на распределительные пункты. Этот план должен быть подготовлен им самостоятельно, без какого-либо контроля и в кратчайшие сроки.

Об этой записке Ленина думал метавшийся и извивавшийся на жесткой софе Дзержинский.

Наконец, заметив первые серые предрассветные лучи, он сел и, сжимая руками голову, зашипел:

– Я из этих темных, жестоких, языческих в своем сектантском, развратном, трусливом и рабском христианстве дикарей выжму все, даже если надо будет высосать из них кровь! Их внуки будут помнить меня!

Он хлопнул в ладони.

На пороге выросла фигура солдата-латыша.

Бесцветное лицо, холодные, почти белые глаза, серые, торчащие из-под козырька шапки волосы оставались неподвижными, как и вся сильная и ловкая фигура постового.

Дзержинский вдруг спросил:

– Товарищ, вы ненавидите русских – этих орущих рабочих, этих темных как ночь крестьян, эту интеллигенцию, угнетавшую все завоеванные народы: поляков, латышей, финнов, татар, украинцев, евреев?..

Солдат посмотрел строго и внимательно.

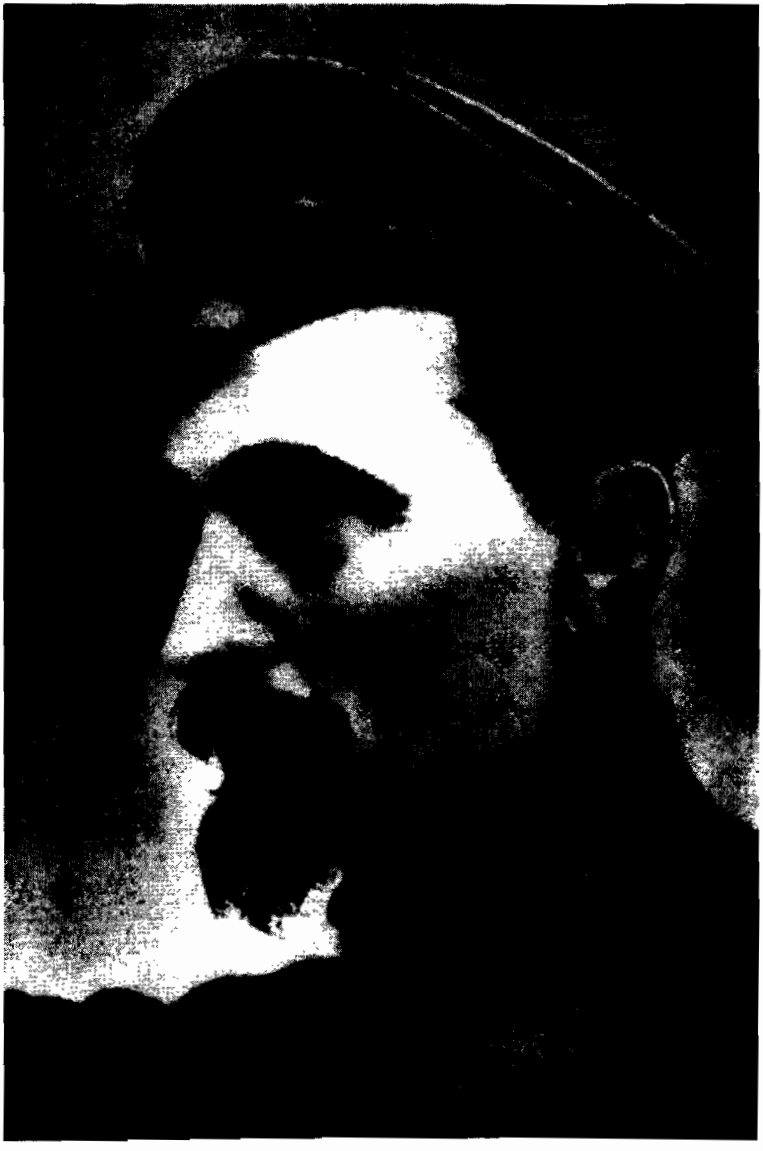
– Это бешеные псы! – рявкнул он.

– Бешеные псы! – повторил Дзержинский. – Нельзя щадить бешеных, не следует испытывать к ним жалости...

Солдат, жесткий, бдительный, молчал.

Дзержинский набросал на бумаге несколько слов и сказал:

– Отправьте, товарищ, это письмо Малиновскому и скажите Петерсу, чтобы зашел ко мне!



ФЕЛИКС ДЗЕРЖИНСКИЙ
(председатель ВЧК)

Устав от этого усилия и вида живого человека, он упал на софу, шипел от боли и сжимал зубы, чтобы не взвыть, не застонать.

За дверью щелкнули винтовки. Сменились часовые-латыши.

В это же время в Розино догорели последние балки и доски.

На истоптанном, закопченном снегу остались черные, угрюмые следы пожара и торчащие скелеты потрескавшихся дымоходов. Вверх поднимались клубы дыма и пара.

Мужики в деревне делили скот, ругались и грязно обзывали друг друга. Закончив наконец, разбрелись по домам, глядя в небо благодарными глазами и набожно шепча:

– Господи Иисусе, Спаситель наш! Да будет благословенно имя Твое во веки веков за то, что утешил нас, сирых и убогих, и послал нам награду за годы угнетения и недоли! Осанна, осанна Господу нашему на небесах!

Над лесом с криком и хриплым призывом поднималась, шумно кружа и мечась в морозной мгле, черная туча ворон и воронов... После ночевки они, хищно и зловеще каркая, улетали за пищей.

ГЛАВА XXIII

В Смольном институте, бывшем резиденцией народных комиссаров, перед самыми Рождественскими праздниками можно было заметить какое-то беспокойство.

В коридорах не было толпившихся людей, приходивших сюда и по важным делам, и без всякого дела, или затем, чтобы присмотреться поближе к происходящему, повстречаться лицом к лицу с комиссарами, трясшими огромный организм России.

Теперь коридоры были почти пусты. То здесь, то там стояли патрули финнов и латышей, а из-за плотно закрытых дверей доносились голоса спрятавшихся солдат и лязг винтовок.

Около полудня в окруженный вооруженными рабочими зал совещаний вошла группа людей, которых здесь никто никогда не видел. Они шли молча, неуверенно глядя по сторонам.

Их ввели в зал.

За столом и на эстраде собрались комиссары и более десяти членов исполнительного и военно-революционного комитетов.

Делегаты Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов! – объявил рабочий с красной повязкой на рукаве и винтовкой в руке.

– Слушаем вас, товарищи! – сказал Ленин, пронзив прибывших взглядом.

Делегации вышел худой, немолодой человек и сказал дрожащим голосом:

– Мы, представители социал-демократов и революционеров, прибыли по поручению Совета, который является преемником власти правительства.

Ленин весело улыбнулся и ответил:

– Вы, товарищи, находитесь в данный момент в резиденции единственного российского правительства, не преемственного, правда, зато – революционного! Однако в настоящий момент

данная неточность не имеет никакого значения. Объясните, пожалуйста, причину вашего прибытия!

Делегат прокашлялся и сказал:

— Социалисты-революционеры спрашивают народных комиссаров: каким правом они узурпировали их проект передачи земли крестьянам?

Ленин склонил лысый череп над столом и засмеялся. Его широкие плечи высоко поднимались. Когда он поднял голову, его глаза полны были веселого, хитрого блеска.

— Хоть ваш проект не соответствует нашим взглядам на землю, мы узурпировали его потому, что крестьяне хотели иметь именно такое право. Почему мы поспешили опубликовать ваш проект? Потому что в ваших руках он остался бы клочком бумаги, а в наших — уже приобрел живые очертания.

— Это демагогия! — воскликнули делегаты.

— Это хорошо или плохо? — наивным голосом спросил Ленин, насмешливо глядя на социалистов.

— Это наглая узурпация! — кричали они.

— Тем, у кого что-то увели из-под носа любая узурпация кажется наглой. Узурпаторы видят это по-другому, — доброжелательно и снисходительно перебил их Ленин. — Что дальше?

Вышел другой товарищ. Он был страшно бледен, а губы его дрожали. Он с трудом выдавил из себя слова:

— Именем социал-демократической фракции Совета, я протестую против позорного мира, к которому стремятся народные комиссары. Российский народ никогда не простит вам этого оскорбления!

— Товарищи хотели бы продолжать боевые действия на фронте? — с сочувствием в голосе спросил Ленин.

— Да! Народ не вынесет позора! — крикнул делегат.

— Имеете ли вы, товарищи, армию, на которую можете опереться в своих намерениях? — выяснял диктатор.

— Нет! к сожалению! Вы сумели довести войска до полного разложения!

— Извините, но должен указать на новую и очень важную неточность! — воскликнул Ленин. — По вопросу «разложения» мы уступаем первенство вам. Жаль! Это доказывает история.

Достаточно вспомнить действия вашего наполеона Керенского, Соколова с его знаменитым приказом №1 и ораторов из вашего лагеря, которые посещали фронт. Нам оставалось всего лишь поставить точку над «i». Мы ее поставили!

Делегат, сбитый с толку, молчал. Видя это, Ленин тем же доброжелательным, разоружающим тоном продолжал:

— Вы любезно проторили нам путь, добровольно взяв на себя «черную работу». Вам отлично известно, что нынче ведение войны невозможно. Уставший, истощенный народ никому не даст рекрутов. Армии войны тоже достаточно, она мечтает об отдыхе. Остается только мир — любой ценой. Мы добиваемся этого, и на нашем месте даже великий князь Николай Николаевич не придумал бы ничего иного. Что касается меня, я всегда был убежден, что лучше воздержаться от удара, чем махнуть кулаком и... получить по мордам, аж искры из глаз посыплются. Советую вам помнить об этом, товарищи, днем и ночью!

Делегация почувствовала скрытую угрозу. Это возмутило товарищей.

Они подняли крик:

— Мы не позволим узурпаторам издеваться над страной и ставить под угрозу созыв Учредительного собрания. Только оно может принимать законы и устанавливать параметры заключения мира. Мы будем защищать Учредительное собрание всеми силами! Помните и вы об этом!

Ленин лениво потянулся и спокойно, без гнева и возбуждения, ответил:

— Мы расстреляем вас из пулеметов!

Разговор был закончен. Делегация удалилась, возмущенная и подавленная.

Комиссары окружили своего вождя и с беспокойством смотрели в его черные, проницательные глаза.

— Срыв отношений со всеми социалистами в таком опасном моменте, в такое ответственное время... — буркнул, не глядя на Ленина, Каменев.

— Перчатка, брошенная Учредительному собранию, вещь опасная, — добавил Томский.

– Очень опасная и совершенно не рассчитанная на настроения крестьянства и армии, – присоединился Троцкий, сняв пенсне.

Воцарилось тяжелое, мучительное молчание.

Его нарушил Свердлов:

– Угроза, поддержанная действием, перестает быть угрозой и становится убедительным фактом.

На это, блестя белыми зубами и огнем возбужденных глаз, ответил Сталин:

– Сегодня мы еще можем оккупировать нашими войсками Петроград! Достаточно использовать преданные гренадерский, Павловский и пулеметный полки! Будет тихо, как маком засеял!

Ленин внимательно слушал. Когда товарищи исчерпали свои опасения и доводы, он твердым голосом сказал:

– Партия, в которой, как мне кажется, мы все состоим, потребовала введения диктатуры пролетариата. Мы не можем отступить от этого, не изменяя партии. Я очень удивлен, товарищи, что вынужден разъяснять вам теперь основные принципы диктатуры и партии! Воистину в такой момент это более опасно, чем покушение на гипнотизирующее вас пресловутое Национальное собрание!

Опираясь локтями о стол, он говорил без возмущения и пафоса, словно беседовал в кругу друзей:

– Диктатура – это мощь, которая непосредственно опирается на насилие, не знающее никаких правовых ограничений. Мощь государства является символом насилия. Отсюда логический вывод: диктатура пролетариата выполняет функции государства, которое является единственным источником и создателем права. Это право должно быть таким, чтобы стало машиной для уничтожения вражеских общественных течений и вражеских идеологий. Лишь предатели или глупцы могут требовать снисходительности к врагам диктатуры и правительства, представляющего интересы и идеи только одного класса! Таковы принципы! Отступление от них является преступлением, сумасшествием или предательством! Политика партии в соответствующий момент будет поддержана штыками и автоматическим оружием!

Полное силы и отваги заявление Ленина произвело впечатление.

Даже сомневающиеся члены Совета и Комитета задумались, а не лучше ли было бы действительно не допустить до созыва Учредительного собрания, чем вести в нем тяжелые споры с сомнительными результатами.

Однако непроизвольно всплывали в памяти слова диктатора: «Лучше воздержаться от удара, чем махнуть кулаком и... получить по мордам, аж искры из глаз посыплются!»

Ленин, вероятно, почувствовал сомнения товарищей, потому что воскликнул с веселой и беззаботной улыбкой:

— Если бить, то так, чтобы небо тряпочкой показалось! Эти вопросы мы еще не раз будем с вами обсуждать, потому что это принципиальные действия!

Товарищи начали выходить, а Ленин, собрав под мышку лежавшие перед ним бумаги, пошел к себе.

В коридоре ему повстречалась Надежда Константиновна.

— Что нового? — спросил он, глядя на жену.

— Тебя ждут представители еврейских общин. Сидят уже два часа. Я говорила, чтобы пришли завтра; они ответили, что завтра должны будут уехать... — объяснила Крупская.

— Евреи? — спросил он. — А этим что от меня надо? В нашем Совете работает столько их сородичей, а они именно ко мне! Может, они думают, что я еврей?

— Нет! — рассмеялась она. — Они ведь знают, что ты Ульянов и даже... дворянин!

— Бывший дворянин! — поправил он немедленно жену.

— Бывший... — повторила она, беря его за руку. — В любом случае — они знают об этом!

Ленин открыл двери и застыл в изумлении.

Вдоль стен неподвижно, в торжественном молчании расселись евреи. Это были не те революционные евреи из Бунда, с которыми Ленин давно был знаком.

Атласные и бархатные одежды, широкие лисьи шапки с наушниками и свисающими тесемками, длинные седые бороды, пожилые лица, ниспадающие с висков на плечи серебристые локоны, заплаканные, в красных, горящих каемках распухших век глаза, сморщенные ладони, неподвижно и сосредоточенно лежащие на коленях.

Ленин, осмотревший внимательно каждого из гостей, встал перед ними с вопрошающим выражением лица.

Один из старцев поднялся и сказал по-русски:

– Приветствуем тебя, вождь угнетенных! Группа израильских раввинов и цадиков, отправленных духовным советом, прибыла к тебе с сердечной просьбой.

Недоумение Ленина возрастало с каждой секундой.

– Слушаю вас, – сказал он и сел за письменный стол.

– Мы прибыли, чтобы умолять тебя, чтобы ты отдалил от себя наших сородичей, избранных народными комиссарами!

– Вы с ума сошли? – крикнул Ленин. – Троцкий, Каменев, Радек, это же лучшие, самые энергичные товарищи, это те, кто закладывает основы жизни нового человечества! История будет говорить о них, записав имена их рядом с Марксом, Лассалем!

– Вождь! – торжественно возразил раввин-переводчик, объяснив цадикам на иврите слова Ленина. – Вождь! Ты знаешь, что это условия жизни евреев в России сделали из них революционеров; наша община воспитала нас организованными социалистами; преследования заставили нас дать нашим сыновьям образование, чтобы добавить им сил для борьбы. С угрюмых времен египетского и вавилонского рабства мы являемся одновременно интернационалистами и националистами. Мы можем жить и работать везде, но никогда не выходим за пределы общины. Она – улей, мы – рой пчел! Мы понимаем, что в России только евреи могли подготовить организаторов и руководителей революции. Мы аплодировали и благословляли их до момента свержения империи жестоких Романовых и приведения народа к Учредительному собранию. В этот момент миссия евреев должна была закончиться; они становились рядовыми гражданами российской республики.

– Опять Учредительное собрание? – вырвался вопрос у Ленина. – Какой-то проклятый день, в котором все забивают себе головы этой проблемой!

– Учредительное собрание – это высшее проявление душевных порывов, сердца и мудрости народа! – прошептал раввин, поднимая палец. – Если не верите тысяче избранников, соберите на широких просторах два миллиона российских граждан

и их волю. Горе вам, если тридцать человек будут управлять миллионами! У семитских народов есть поговорка, которая гласит: «даже если ты лучше всех ездишь верхом, не пытайся сесть на голову своего скакуна!»

Ленин молчал, превратившись в слух.

Раввин говорил дальше:

– Духовный совет располагает точными сведениями, что комиссары, среди которых много наших сородичей, участвуют в заговоре против Учредительного собрания, а некоторые из них, как Володарский, то есть Мойша Голдштейн, Гузман и Мойша Рамомысльский, скрывающийся под вымышленной фамилией Урицкий, превратившись в палачей, без суда самым жестоким образом убивают врагов непризнанного пока Совета народных комиссаров. Мы не можем с этим смириться!

– А почему вам мешает то, что евреи уничтожают тех, кто устраивал погромы, или тех, кто со временем мог бы их повторить? – спросил, подняв плечи, Ленин.

Раввин пересказал его слова на иврите. Цадики кивали головами и смотрели круглыми, птичьими глазами. Старший из них произнес что-то тихим, едва слышным голосом.

Раввин с уважением поклонился и повторил его слова по-русски:

– Старый мудрый цадик сказал: «Беда нам, беда! Ибо неразумные действия и бесправие наших сородичей вызовут бедствие, о которых мы не читали в хрониках еврейского народа».

– Вы уже разговаривали с Троцким и остальными? – спросил Ленин.

– В данный момент наши люди предъявляют им наши требования... – ответил раввин.

– Что ж? – сказал Ленин. – Если они согласятся и уйдут, ваши требования будут... исполнены.

Раввин кивнул головой и прошептал:

– Они являются отщепенцами избранного народа, они отошли от нашей веры и не признают наших законов; они не согласятся! Умоляем тебя, чтобы ты согласился отторгнуть их от себя! Твое дело – русское. Пускай русские поступают так, как им подсказывает их совесть!

СОТРУДНИК ЧК

ВОЕННЫЙ КОМИССАР – ВОЕНКОМ

Ленин сорвался со стула и гневно крикнул:

– Кто вам дал право вмешиваться в дела Совета народных комиссаров?!

Остыв, он посмотрел на странных гостей.

Они сидели неподвижно, прямо, смотрели круглыми слезившимися глазами в каемках воспаленных век.

После долгого молчания старый цадик произнес несколько слов.

Раввин немедленно перевел, глядя на Ленина:

– Мудрый цадик сказал: «Если наше требование не будет учтено, туча повиснет над вами, а из тучи может пойти живительный дождь или... ударить смертельная молния».

– Мои милые старцы! – насмешливо ответил Ленин. – Можете умолять, доказывать, жаждать, но требовать и угрожать – не смейте! Это привилегия пролетариата! Слышите? Теперь можете идти! Наш разговор закончен...

Он повернулся к ним спиной и молчал. В нем все кипело. Рука тянулась к электрическому звонку.

«Распорядиться, чтобы Халайнен вывел этих «священников» несуществующего Иеговы, поставить под стенку и выпустить по ним из кольта две пачки патронов».

Однако сделать это он не осмелился. Не потому, что боялся их персонально. Он и не такое проделывал, но не захотел. Кто же мог заменить евреев в партии?

Аристократы и буржуазия – естественные враги пролетариата? Никогда! Крестьяне? Эти только до поры до времени являются союзниками, но могут превратиться в самых страшных противников. Нет!

Невежественный, болтливый российский рабочий? Он хорош только в качестве пушечного мяса для разбивания голов безоружным буржуям и интеллигентам, для разрушения достижений цивилизации.

Русские – нетерпеливые, непредсказуемые, непоследовательные, сомневающиеся, мечущиеся между аскетизмом и анархией, не могут заменить евреев, переполненных ненавистью, зато сознательно или наследственно связанны инстинктом «роя».

Таково было неумолимое убеждение Ленина.

Поэтому он не нажал кнопку электрического звонка и терпеливо ждал, пока за последним израильским цадиком не закрылись двери.

Он прошелся по комнате, сжимая холодные пальцы.

Долго думал он над словами цадиков и решил ничего о своем разговоре с ними товарищам евреям не говорить.

— Они подозрительны и бдительны... — рассуждал Ленин. — Могут подумать, что в глубине моей души таится зародыш антисемитизма...

Он еще долго не мог успокоиться.

Ему казалось, что он еще слышит мягкий шелест атласных шуб и тихое сопение вздохов старцев. На него отовсюду остро и пытливо смотрели птичьи глаза в красной каемке уставших век, белели седые бороды и серебристые витки ниспадавших на плечи локонов. Шелестело едва слышное эхо спокойной, уверенной в своей силе и значении угрозы: из тучи может пойти живительный дождь или... ударить смертельная молния...

— Откуда он должен ударить? Когда? В кого? — спрашивал себя Ленин.

В коридоре за дверями щелкнула винтовка постового.

Ленин тихо рассмеялся.

— Попробуйте! — шепнул он и сильно сжал кулак.

ГЛАВА XXIV

В Киеве в доме раввината проходило тайное собрание израильских представителей. Здание синагоги и прилегающие к ней строения бдительно охранялись молодыми евреями, стоявшими на углах улиц и в ближайшем дворе.

В зале совещаний за круглым столом сидели серьезные сосредоточенные и встревоженные раввины и цадики в ритуальных одеждах. Посланники общин стояли в глубоком молчании, толпясь и глядя на старейшин неподвижным взглядом.

Поднялся старый, поддерживаемый под локти цадик и сказал:

– Пророк Исаия говорил: «Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные! Оставили Господа, презрели Святаго Израилева, – повернулись назад*)».

Он сел, тряся седой головой и тяжело дыша.

Встал молодой приезжий раввин и, обратившись к собравшимся, сказал:

– Судьи и приверженцы закона Моисеева! Вы поручили мне изучить поглубже важное дело. Я сделал это и бросаю обвинение на головы скрывающихся под чужими фамилиями злобных сынов Израиля. Я установил, что чинят они бесправие и ходят в крови. Это преступление перед Господом, потому что из-за них прольется кровь израильская! Это преступление перед нашим народом! Русские и другие народы, видя евреев среди безжалостных убийц, начинают пылать к нам ненавистью. Прольется кровь избранного народа, погибнут виновные и невиновные сыны его, женщины, детки! Обратились мы к злобным, погрязшим в бесправии сынам, чтобы их образумить, но они повернулись спиной к Господу. Не склонили ушей к просьбам и советам священников Его. Сердца их остались глухи к пророчеству Иса-

*) Книга пророка Исаии, 1. 4.

ии, говорящему: «Земля ваша опустошена; города ваши сожжены огнем; поля ваши в ваших глазах съедают другие; все опустело, как после разорения чужими». Поэтому я обвиняю неверных большим обвинением, согласно Мишне и Тосефту и тексту Маккоты, ибо «сотрет злюк и грешников вместе, а тех, кто ставил Господа, уничтожит». Обвиняю и требую покарать их смертью, ибо Моисей дал нам право: «Кто ударит человека, а тот умрет, смертью карать надо»!

Раввины снова подняли старого цадика, а тот потряс рукой и сказал серьезным голосом:

— Повторяю за Иезекиилем слова Иеговы: «Ведь и Я буду делать в запале: не ослабеет око мое, не смилуется, а когда в уши мои будут кричать голосом великим, не услышу их!»

— Аминь! — сказали раввины и цадики, склонив головы.

— Аминь! — вздохнула толпа.

Служащие синагоги поставили на стол урну. Все присутствующие окружили ее. Раввин-обвинитель читал фамилии, а дрожавший столетний цадик доставал из урны карточки.

В зале воцарилась тишина.

Раввин выкрикивал:

— Соломон Шур!

Цадик отвечал:

— Белая карточка.

— Моисей Розенбух!

— Белая...

Это длилось долго. Объявлялись все новые фамилии, после этого отзывался слабый голос старца:

— Белая...

Наконец, когда раввин прочитал:

— Дора Фрумкин...

Цадик поднял карточку над головой и торжественно сказал:

— Черная!

Голосование длилось почти до полуночи. Черные карточки исполнителей смертного приговора достались Доре Фрумкин, Канегиссеру, Фанни Каплан, Янкелю Кульману, Мойше Эстеру и пятерым другим членам еврейских общин, которые предоставили синедриону фамилии добровольцев, готовых уничтожить

преступников, которые стягивали на весь еврейский народ ненависть и месть христианского мира.

Зал постепенно опустел. Только цадики оставались в ней долго, кивая головами, вздыхая и что-то друг другу шепча.

В эту ночь был вынесен тайный приговор.

Никто не знал о нем, потому что община, как пчелиный рой, умела действовать согласованно, молчать и скрывать свои намерения.

Одновременно уже в другом месте было решение о смерти ненавистных народных комиссаров, которые распоясывались все больше.

Ленин ни на минуту не прервал свою работу. Он напрягал все свои усилия и способности, чтобы разрушить то, что мешало ему в строительстве новой жизни.

Своими планами он делился с Надеждой Константиновной, а говоря по правде — с самим собой.

Она сидела неподвижно, чувствуя себя предметом, необходимым в данный момент Ленину.

— Социализм... Социализм — это грезы! — говорил он. — Для него недостаточно развита капиталистическая промышленность и слишком немногочисленны пролетарские массы. Нет! Для социализма необходимо что-то еще, что родится здесь и здесь!

С этими словами он ударил себя по лбу и в грудь.

— Не нужен мне социализм! Он невозможен, потому что человечество пока не обладает чувством и потребностью жертвенности...

Заметив, что жена подняла на него глаза с молчаливым вопросом, он воскликнул:

— Да-да! Я только лавина, насилием пробивающая дорогу для социализма в будущем! Теперь я хочу разрушить препятствия: частную собственность, индивидуализм, церковь и семью. Это проклятые крепости, задерживающие прогресс! О капиталистах и буржуях я не думаю. Через месяц-два от них ничего не останется. Они не были организованы, и у них не было смелости, чтобы оказать нам сопротивление. Они идут под нож, как бараны! Ха-ха! Тяжелее будет с крестьянами, потому что они

самые сильные мелкие буржуи! Они держатся за землю когтями и зубами...

— У вас есть какой-то план? — встряла несмелым голосом Надежда Крупская. Он разразился веселым смехом и ответил:

— Я уже забил им в головы клин, опубликовав декрет о самостоятельном исполнении захвата земли крестьянами, без участия какой-либо власти! Наши покорные, набожные мужички уже организуют там красивые иллюминации, подрезают горла и поджаривают своих «господ» в горящих поместьях! Теперь мне удалось расколоть партию социалистов-революционеров, переманивая на свою сторону их левое крыло. Я соблазнил их службой в «чека», где они смогут пустить сколько угодно крови из владельцев больших земельных поместий! Уж они постараются! Теперь мы вбиваем в крестьянские головы убеждение, что Учредительное собрание, как дырявая, изношенная подошва, никому не нужна, потому что они уже получили землю в вечное владение!

— Ты опять много пишешь... по ночам, — прошептала Надежда Константиновна, с беспокойством глядя на желтое лицо мужа.

— Чего же ты хочешь, дорогая моя? Наша диктатура превратилась в диктатуру журналистов! — рассмеялся он. — Мы только подтверждаем мощь печатного слова, которое, правда, немедленно поддерживаем действием!

Раздался звонок телефона. Ленин снял трубку с аппарата. Через минуту веселым, радостным голосом он говорил кому-то:

— Я очень рад! Приходите. Жду!

Обращаясь к жене, он сказал:

— Через четверть часа у меня будут гости...

Не спрашивая ни о чем, Крупская вышла.

Несколько минут спустя появился секретарь Ленина и доложил:

— Елена Александровна Ремизова...

— Просите! — живо ответил Ленин и подошел к дверям.

В кабинет вошла Елена. У нее было бледное, возмущенное лицо, ее губы дрожали, а глаза искрились гневом.

— Я прихожу к вам с жалобой! — воскликнула она без приветствия.

– Что случилось? – спросил Ленин, иронически улыбаясь.

– Я была со своими воспитанниками в церкви. Ах! Это ужасно! Не хочется верить! Внезапно врываются солдаты «чека», начинают выгонять искавших спокойствия и утешения молившихся людей. Прошу подумать, ведь сейчас Рождество! Солдаты бьют людей, страшно сквернословят, сбивают со стен иконы, выламывают ведущие к алтарю врата, стаскивают с их ступеней епископа, издеваются над ним, а потом стреляют по образам и крестам... Это ужасно! Это может вызвать в народе бунт возмущения, гражданскую войну!

– А что, народ сопротивлялся, угрожал, устраивал бунт? – спросил Ленин, спокойно глядя на Елену.

– Нет! Люди в ужасе убегали, толкаясь и борясь кулаками в давке, – ответила она, содрогаясь от этого воспоминания.

– Ну, вот видите, значит, все идет как нельзя лучше, – заметил он со смехом.

– Но ведь было совершено святотатство, страшные, кощунственные вещи! – возмутилась она. – И все под видом приказов Ленина!

– Зачем же вы говорите от имени Бога? – пожал он безразлично плечами. – Разве Бог сильно разозлился? Разве гремел? Разве наказал солдат «чека»? Вы молчите? Значит, Бог не злился и не карал? Замечательно! Почему же вы так возмущены, Елена Александровна?..

Она ничего не сказала, глядя на него с ужасом.

Он взял ее за руку и сказал:

– Дорогая Елена! Успокойтесь, прошу вас! Это не было сделано без моего ведома... Это я виноват в этом и целиком беру на себя ответственность за кощунство, святотатство и все последствия божьего гнева. Все! Все!

Он внимательно посмотрел на нее и добавил:

– Видите ли, я должен уничтожить церковь и искоренить религиозность. Это кандалы, тяжкие кандалы духа! Православная церковь не воинственна, как католицизм, она не смогла освободиться от преступных рук правителей. Она стала их инструментом, духовным жандармом! Она учит пассивности, рабской покорности, молчаливому согласию!

Он прошелся по комнате, после чего сказал доверительным голосом:

– Как бы я мог прорубать в темном вековом бору широкую дорогу счастья и настоящей, гордой человеческой свободы с народом, окутанным религиозным гипнозом? Как?!

– Это ужасно! – прошептала она.

– Быть может, но понятно ли? – спросил он, склонившись к ней.

Она молчала, не умея побороть возбуждения и избавиться от воспоминаний увиденных, пронизывающих страхом невообразимых вещей.

Ленин склонился еще ниже и сухой, горячей ладонью коснулся ее руки.

– Елена!.. Елена! Прошу мне верить, ведь я никогда не говорю красивых фраз. Прошу мне верить! Ради Бога, если существует какая-то могущественная сила в космосе, в этом таинственном небе, очень, впрочем, потрепанном Коперником и Галилеем, но также для верующих в божество будет во сто крат лучше, если люди переживут период новых потрясений и преследований!

– Не понимаю! – шепнула она.

– Верующие пассивно, по привычке, набожные бездумно станут воинами своего Бога, будут Его защищать и чтить в мыслях и в сердце. Появится религиозность как воспитательная система, но вера, пламенная вера апостолов и мучеников, та, которая переворачивает горы и творит чудеса! Эта новая, высвобожденная, оживленная кровью и мукой вера породит действительно христианские чувства, а из них – жертвенность, начало и конец моих устремлений – социализм на земле! Поняли ли вы это, Елена?

– Да... – почти с отчаянием простонала она.

Больше они не вспоминали об этом.

Они говорили о других вещах.

Расставаясь, они крепко пожали друг другу руки.

Сапфировые глаза Елены излучали легкий блеск. Она понимала Владимира Ильича, прощала ему его беспощадность, строгость фанатика и аскета, его твердые, как скала, убеждения...

Таких людей она до сих пор не встречала. Он очаровывал ее, ужасал и восхищал.

Она с грустью думала, что если бы жив был ее сын, то она отдала бы его этому могучему человеку на верную службу, во имя счастья народа и всего человечества.

Ленин переживал тяжелое время, хотя веселость и бурное воодушевление не покидали его.

Противники, чувствуя, что он задумал что-то против них и Учредительного собрания, осыпали диктатора тяжелыми обвинениями и оскорблениями.

Особенно охотно использовались материалы расследования, проведенного еще при Керенском. Меньшевики, владевшие судебными документами, доказывали, что Ленин и его помощники были платными агентами Германии. Свои утверждения они обосновывали тем, что Совет народных комиссаров получил деньги из Германии через некую живущую в Стокгольме Суменсон.

Обвинение было тяжелым и производило впечатление на широкие массы населения. Даже коммунисты были сбиты с толку и с сомнением кивали головами, спрашивая себя:

Ленин ничего не отвечает? Это странно!..

Диктатор, узнав о результатах агитации противников, потер руки и весело рассмеялся.

– Хорошо! – воскликнул он и посмотрел на стенографистку. – Прошу записать мое короткое заявление и завтра опубликовать его в газетах.

Он прошелся по комнате и продиктовал:

– Деньги действительно были получены от товарища Суменсон. Об их происхождении знают наверняка Карл Либкнехт, Клара Цеткин, Роза Люксембург, Франц Платтен и другие заграничные интернационалисты. Мы требуем решающих доказательств, что указанная сумма, недостаточная, кстати, чтобы продать Россию Вильгельму II, получена из кассы главного немецкого штаба, как утверждают клеветники, которым мы вскоре ответим другими аргументами.

Он весело рассмеялся и еще раз повторил:

– В завтрашние газеты самым жирным шрифтом!

Когда стенографистка вышла, он соединился по телефону с Дзержинским и Петерсом.

Ночью раздался нетерпеливый телефонный звонок.

Говорил Дзержинский:

– Мы все организовали. Латыши поймали троих журналистов, имевших материалы следствия. Четверть часа назад их казнили...

– Спасибо! – ответил Ленин. – И держите эту подкарауливающую свору под пристальным наблюдением!

– Мы знаем о каждом их намерении! – прозвучал ответ. – Завтра должна быть пробная манифестация в честь Национального собрания, которое назначено на 6 января.

Ленин нахмурил лоб и сказал:

– Я уже говорил, что вы должны сделать.

– Мы готовы! – донесся злой, шипящий голос Дзержинского.

Ленин повесил трубку.

Несколько часов спустя, несмотря на сильный мороз, он стал у открытого окна и прислушивался. Застывший зимний воздух необычайно выразительно доносил отзвуки винтовочных залпов и злобный, тяжело дышавший стрекот пулеметов.

Во двор на скорости влетел мотоцикл. Из него выскочил финский солдат и исчез в сенях дворца.

Через минуту он входил в кабинет диктатора.

– Манифестация разогнана. Погибло около пятисот демонстрантов. Знамена и плакаты сорваны и уничтожены. Городские жители спокойны. Наши патрули с пулеметами несут службу на перекрестках улиц, товарищ! – докладывал дрожащим голосом солдат.

– Хорошо! Можете идти! – сказал Ленин.

Сверкнул черными глазами и прошептал:

– У вас имеется уже два аргумента, господа меньшевики и народники! Не бойтесь задержки – придут еще другие...

Об одном из них он думал всю предыдущую ночь, а на следующий день собрал в своем кабинете товарищей Троцкого, Каменева, Зиновьева, Сталина, Антонова, Урицкого, Муралова, Пятаткова и Дыбенко.

– Какие вести с фронта? – спросил он, когда все приглашенные собрались.

— Очень плохо! — неохотно сообщил Троцкий. — Сообщается, что Германия намерена начать новое наступление с целью оккупации Петрограда. Тогда — конец революции! В контрреволюционных кругах немцев ждут как спасения души!

Ленин рассмеялся и пробурчал:

— Это уже настоящее предательство, а на нас вешают собак, что мы хотим мира!

— Население Петрограда и Москвы высматривает немцев, которые должны вернуть прежний порядок, вернуть на трон династию, а с нами — покончить! — воскликнул Зиновьев, хватая себя за густую, кучерявую шевелюру.

Ленин безразлично пожал плечами.

— Товарищ председатель зря игнорирует ситуацию! — зло заметил Урицкий. — Тут надо что-то придумать, решить радикально! Нельзя играться в уничтожение других социалистов руками польского дворянина Дзержинского, когда враг стоит у порога! Немецкий империализм силен, и ему будет не до шуток, когда он войдет в Петроград под радостные крики населения.

— Да! Товарищ Урицкий прав! — поддержал его Каменев, многозначительно глядя на Троцкого.

Ленин слушал внимательно, и от его взгляда не скрылись даже самые малые остатки впечатлений и невысказанных мыслей товарищей.

— Я чувствую, что товарищ Урицкий недоволен доверием, оказываемым мной Дзержинскому. Я не хочу, чтобы между нами возникали недоразумения. Дзержинскому поручено деликатное дело, чтобы не подвергать опасности вас — израилитов. У меня имеется информация, что община предупреждала вас... Это так?

Помолчав, они кивнули головами.

— Тогда закончим с этим! Надеюсь, теперь вы поняли? Я доверяю Дзержинскому, потому что он напоминает мне адскую машину, переполненную ненавистью.

— Он сумасшедший, маньяк! — с истерическим пафосом воскликнул Зиновьев. — Знаете ли вы, товарищ, что он шпионит даже за нами?!

Ленин доброжелательно улыбнулся, что заставило товарищей усилить бдительность. Им была знакома эта улыбка. Она вызы-

вала опасение, что сейчас последует тяжелый, разящий, неожиданный и быстрый удар.

Однако Ленин весело рассмеялся и сказал:

– Этот бешеный поляк просил меня недавно, чтобы я распорядился следить за ним самим. Такой он фанатик! Не верит никому, даже самому себе!

– Неделю назад он завлек к себе Малиновского и приказал убить! – воскликнул, топая ногами, Урицкий. – И наверняка убил, потому что с того времени никто не видел товарища Малиновского!

Ленин сощурил глаза и прошептал:

– Немного поспешил... Только немного... Тем временем этот агент царской полиции принес нам больше пользы, чем вреда... Но рано или поздно он должен был погибнуть... Скоро он бы не был нам нужен.

Безразлично махнув при этом рукой, он добавил:

– Товарищи! В течение трех оставшихся до нового года дней вы должны раструбить в прессе во все трубы иерихонские, что пролетариат должен взяться за оружие и дать немецким империалистам отпор от красной столицы. Направьте на это всю свою энергию и способности! Запустите в действие агитационную машину!

– Армия не хочет еще раз подставлять свою голову, – заметил угрюмо Антонов.

– Да! – буркнул Муралов. – Им отлично известно, что нам не хватит военных материалов и провианта. На гражданскую войну пойдут, а биться с внешним врагом не согласятся!

– Тогда мы пошлем вооруженных рабочих, революционный пролетариат! – воскликнул Ленин. – Французская революция показала, на что способен даже невооруженный народ!

Троцкий ядовито усмехнулся.

– Французская, а не российская... – прошипел он.

Ленин вдруг так искренне рассмеялся, что в глазах его проступили слезы.

– Вы ничего не понимаете! – говорил он, заходясь смехом. – Я ведь знаю, что после первых немецких очередей из пулеметов наши отряды разбегутся как стая мышей! Но наше выступление будет иметь архиважные последствия. Послушайте!

Подходя к каждому по очереди, беря за руки и хлопая по плечу, он сквозь смех объяснял:

– Революционная армия выступила... Мы помпезно обставим это *urbi et orbi*, хо, хо! Мы сумеем красиво обыграть данный факт! Что из него следует? Замолкнут наши клеветники–социалисты из агонизирующего после Керенского Совета; задумаются контрреволюционеры, мечтающие о создании новой добровольной армии; мы перетянем на свою сторону офицеров, которых потом не отпустим; поднимут головы французы и англичане и наверняка с новой силой ударят на западе; немцы вынуждены будут снять с нашего фронта несколько дивизий и станут более сговорчивы для подписания с нами мирного договора; наше выступление против немцев раз и навсегда развеет подлые обвинения в том, что мы якобы состоим на службе у Германии; если бы так было, штаб Вильгельма должен был бы опубликовать компрометирующие нас документы, чего он никогда не сделает, потому что таких документов у него нет...

Все пребывали в недоумении.

Это был дьявольский план, просчитанный и учитывающий пророческое положение вещей.

– Макиавелли! – подумал Троцкий, с уважением глядя на желтое лицо и куполообразный ленинский череп.

– Да здравствует Ильич! – рявкнул возбужденный грузин Сталин.

Этот окрик тут же подхватили Муралов, Пятаков, Дыбенко и Антонов.

Спустя еще мгновение также остальные товарищи присоединились к горячей, стихийной овации в честь мудреца с монгольским лицом и хитрыми, веселыми глазами мелкого спекулянта.

Ленин смеялся, умело скрывая свою радость.

Он чувствовал, что одержал огромную победу и что товарищи, в которых он так нуждался, стали теперь его людьми.

Ему хотелось сделать свой триумф окончательным.

– Вы поняли мой план? Старательно и быстро займитесь его реализацией! Так как наше «чека» будет очень занято, давайте назначим товарища Володарского шефом политической разведки, Урицкого – руководителем вооруженных сил этого органа,

а Дзержинскому отдадим самую грязную работу – суд. Я говорю: самую грязную, потому что дело это и кровавое, и такое, за которое нас будут проклинать, так как суд этот не будет руководствоваться никаким иным правом, кроме личного убеждения прокурора, судьи и палача в одном лице. Согласны?

– Не протестуем! – ответили товарищи.

– Отлично! Тогда за работу! – закончил совещание Ленин.

Товарищи вышли, а он бегал по комнате, потирал руки и, щуря раскосые, хитрые глаза, тихо, издевательски смеялся.

Три дня спустя сирена, установленная на крыше Смольного института, рычала долго и пронзительно, устанавливая новый лозунг, вбитый накануне при помощи газет и агитаторов в головы рабочих, окрестных крестьян и разных отбросов, извращенцев, преступников, околачивающихся вокруг «пролетарского правительства».

Ленин не ошибся.

Все предвиденное им исполнялось, словно по приказу опытного режиссера. Он ввел в заблуждение, запутал, обманул всех: союзников царской России, немцев, контрреволюционеров, социалистов, пролетариат и... собственных товарищей.

Думая о них, Ленин кривил губы и шептал:

– Они боятся Учредительного собрания как высшего проявления народной воли... Теперь это выражение будет ассоциироваться со мной... А я разгоню или растопчу Учредительное собрание, подпишу мир и подчиню все в течение года... Теперь никто не воспротивится мне!

Он решил нанести новый удар по сопротивлявшимся диктатуре пролетариата социалистам. Для этого в Михайловском манеже был созван большой информационный митинг. О нем кричали все газеты; развешанные на улицах красные афиши и плакаты призывали население на митинг 1 января 1918 года.

Накануне этого дня в комнате Ленина появился Володарский в обществе незнакомца с нервными жестами и бегающими глазами.

– Я привел моего помощника товарища Гузмана, – обронил Володарский. – Мы хотим сообщить о важном деле. Нас никто здесь не подслушает?

Ленин пожал плечами и ответил, улыбаясь:

– Здесь? Наверное, никто...

– Товарищ, у нас имеется тайная и совершенно точная информация. Одна организация готовит покушение...

– На кого? На меня? – спросил он.

– Мы не знаем, на кого точно. Нам сообщили только, что на народных комиссаров, – прошептал Гузман, поднимая вверх палец.

– Какая же это организация? – спросил Ленин и с интересом ждал ответа, не спуская подозрительного взгляда с глаз комиссаров.

После недолгого размышления ответил Володарский:

– Это смешанная организация... В ее составе есть белые офицеры и социалисты-революционеры... насколько нам известно...

– У вас не точная информация! – воскликнул Ленин. – Царские офицеры не участвуют в этом. Они уже тысячу раз могли совершить покушение, но не сделали этого. Им не хватает духа и смелости... Они живые, политические трупы! Социалисты-революционеры или... Впрочем, это не имеет значения! Что же нам делать с этим заговором? Вам известны предполагаемые исполнители покушения?

– Нет! Мы знаем только, что покушение подготовлено, – ответил Володарский. – Мы пришли, чтобы отговорить вас, товарищ, от выступления на завтрашнем митинге!

Ленин прошелся по комнате.

Он сжимал кулаки и смеялся.

– Отговорить меня? Я ведь уже объявил, что произнесу речь! Я выступлю, товарищи! – возразил Ленин.

Они смотрели на него с недоумением.

– Вы думаете, что меня можно запугать? Человеку, который уже давно не думает о себе, не известен страх. Вы же знаете, что за границей я ходил один на встречи с агентами политической полиции? Помните, как, приехав перед июльским выступлением в Петроград, я ходил по казармам, произносил речи? Я проходил тогда сквозь шеренги ненавидевших меня вооруженных офицеров бывшей царской гвардии и солдат, уверенных в том, что я предатель родины, и готовых меня растерзать. Это случалось не раз и не два, а десять, двадцать! Результат всегда

был один и тот же! После моего выступления солдаты выносили меня на руках, а офицеры вынуждены были прятаться от гнева обманутых ими рядовых! Так будет и на этот раз. Как только я начну говорить, никто не посмеет напасть на меня. Никто!

Комиссары еще долго спорили, но Ленин был непререкаем. Его ум был быстр и эластичен, потому что он легко переходил от одного решения к другому, которое считал лучшим и более практичным, а в случае взятия ответственности и риска для жизни он не знал сомнений.

Они вынуждены были уступить ему.

Назавтра в 11 часов он входил в манеж, заполненный так плотно, что люди не могли передвигаться. Когда он взошел на трибуну и посмотрел на толпу, ему показалось, что перед ним огромное поле, на котором кивающие головы, словно созревшие колосья, создавали волны.

В такой давке никто не сможет выстрелить, подумал он, глядя с доброжелательной улыбкой на ближайшие ряды зрителей.

Целый час глухим, хриплым голосом, размахивая руками и ударяя ими по трибуне, словно молотами по наковальне, подчеркивая движениями лысого черепа наиболее важные понятия, Ленин вбивал в головы слушателей несколько необходимых мыслей, повторяя их по кругу в измененной форме и менявшимся, все более решительным тоном.

Он объяснял необходимость защиты перед немецким империализмом, обещал скорый конец войне, которая закончится направленной немецкой буржуазией мольбой к пролетариату о мире.

— Вы не заключите его с правительством Вильгельма, — кричал Ленин, — потому что знаете, что вот-вот в Берлине возникнет социалистическое правительство Карла Либкнехта, условия мира с которым станут условиями войны с капитализмом Англии и Франции за диктатуру пролетариата в Европе! Только вы, рабочие и крестьяне России, являетесь авангардом мировой революции! Крестьяне, имея в руках всю землю, обеспечат воюющий пролетариат необходимыми продуктами во имя свободы, равенства, вечного мира! Смотрите только, чтобы враги не обманули вас! Уже теперь они требуют от нас подчинения Учредительного собрания, в которое войдут тайные и явные предатели трудового народа!

Раздались крики сторонников и противников Ленина.

Диктатор продолжал говорить.

Наконец он дошел до описания благополучия, которое воцарится в России, когда все будут работать как братья, для всеобщего блага, когда забудутся тяжелые годы рабства и угнетения; он спрашивал строго, словно поучающий детей отец:

– Неужели вы, товарищи, братья и сестры, думаете, что для вашего будущего счастья не стоит потерпеть несколько месяцев неудобств, лишений и усилий?

Разразилась буря криков:

– Да здравствует Ленин! Отец наш! Вождь! Опекун! Защитник! Веди нас за собой! Научи!

Ленин поднял голову и крикнул:

– Помните, что вы сейчас постановили. Защита страны! Работа и хлеб для армии! Отказ от Учредительного собрания, которое распалит в народе новые конфликты и наложит на крестьян невыносимые путы!

– Помним! Присягаем! – отозвались окрики.

Толпа дрогнула, приблизилась к трибуне, подхватила Ленина и, передавая его с рук на руки, вынесла из манежа.

Ленин сел в автомобиль, а за ним хотел протиснуться Троцкий.

– Нет! – сказал диктатор. – Я должен переговорить с товарищем Платтеном. Он поедет со мной!

Швейцарский интернационалист тут же сел в машину.

Ленин улыбнулся и подумал: зачем ехать с Троцким, над головой которого явно висит приговор, прозвучавший в словах еврейской делегации? Лучшей подругой смелости является осторожность.

Эти мысли были прерваны револьверными выстрелами.

Их сухой треск едва пробился через шум окриков и вой вываливавшей из манежа толпы.

Сидевший рядом с Лениным Платтен ойкнул и схватился за плечо. Сквозь зажатые на рукаве пальцы сочилась кровь.

– Я ранен... – прошептал он.

Автомобиль со всей мощью рванул с места.

Ленин оглянулся. В стенке автомобиля виднелись два пулевых отверстия.

— Хорошо стреляли, — подумал он, — но неточно...

Его губы искривились в пренебрежительной улыбке.

Коридоры Смольного тут же заполнили товарищи. Народные комиссары, представители разных организаций, комитетов и командиры преданных полков прибывали, чтобы узнать о здоровье своего вождя и подробностях покушения.

Ленин всех встречал доброжелательно и весело смеялся, говоря:

— Понятия не имею, кто стрелял в меня. Расследование уже идет. Товарищ Дзержинский покажет, на что способен.

Верховный судья тем временем не появился. Телефон в его кабинете не отвечал вовсе. Отправленный за ним мотоциклист вернулся с информацией, что товарища Дзержинского не видели в здании «чека» с самого утра. Стоявшие на внутренних постах латыши заметили его выходившим около семи утра на улицу. С той поры он не возвращался.

Антонов, исполнявший обязанности коменданта дворца, усилил посты в коридорах, на лестницах и вокруг здания. Только поздно вечером Смольный освободился от посторонних людей. На верхнем этаже, где жили Ленин и другие комиссары, наступила тишина.

Диктатор сидел в своей комнате и спокойно писал статью, в которой громил буржуазию и нанятых ею убийц за намерение нанести пролетариату смертельный удар в спину.

Он писал, бросая на бумагу короткие, убедительные предложения, нашпигованные кавычками, всем известными цитатами из Библии и фрагментами самых популярных, ярких и страшных сказок.

Он так углубился в работу, что не услышал тихого разговора за дверями и шороха шагов ступавшего по лежавшему в комнате ковру человека.

Он заметил его случайно, оторвав взгляд от бумаги, чтобы вспомнить последнюю строфу басни Крылова о «Свинье и дубе».

Перед ним стоял Дзержинский. Он вбил свои холодные глаза в облик диктатора и кривил дрожавшие губы.

— Я весь день искал вас... — сказал Ленин, улыбаясь страшно содрогавшемуся лицу Дзержинского.

— Знаю, — ответил тот, — я был в городе... Искал исполнителей покушения. Еще вчера я сказал Володарскому, где их следует искать... Но он не захотел, или не посмел...

Дзержинский многозначительно посмотрел на Ленина и долго выдерживал пронзительный, изучающий блеск черных монгольских глаз.

— Ну, и что же? — спросил Ленин.

— Они попрятались, как кроты под землю, — прошептал визитер, — но я их выслежу. Я приказал арестовать Володимирова...

— Моего шофера?! — выкрикнул Ленин.

— Вашего шофера... Он был в сговоре с покушавшимися, — прошептал Дзержинский. — Впрочем, вы в этом скоро убедитесь, товарищ. Только оставьте это дело мне!

Ленин кивнул головой и пожал плечами.

Дзержинский, не произнеся больше ни слова, покинул комнату.

Диктатор снова склонился над письменным столом.

Тихо скрипело перо. Большие буквы почерка выстраивались в кривые, волнообразные линии, над которыми, как над зарослями кустарника, возвышались похожие на высокие деревья восклицательные и вопросительные знаки, а также — бесконечные кавычки.

Работа шла своим чередом. Пролетарская революция не допускала промедления, сомнений, боязни, отступления и лишавших равновесия эмоций.

Или все, или ничего! Теперь или никогда!

Ленин писал... Шелестела бумага. Перо трещало, как стрекотание ядовитого насекомого.

В коридоре и во дворе раздавались твердые, тяжелые шаги.

Вооруженные винтовками и гранатами латыши охраняли пророка свободы и счастья нищих, готовые в любой момент схватить, пронзить штыком, растерзать смельчака, прорывающегося в кузницу светлого завтра...

ГЛАВА XXV

В Петроград со всех концов России стягивались избранные в Учредительное собрание крестьяне, рабочие, мещане и дворяне.

В этой разнородной среде шла напряженная работа.

Две самые активные партии — народники и большевики — отчаянно агитировали, перетягивая приезжих под свои знамена.

Социалисты-революционеры, опасаясь вооруженного покушения Ленина на Национальное собрание, создали комитет обороны, которым руководил Борис Савинков. Они вербовали солдат и добровольцев из разных отбросов общества; даже из скрывавшихся в провинции, где лозунги большевиков еще не побеждали, царских «черных сотен». Планировалось в подходящий момент напасть на Совет народных комиссаров и вырезать его под корень.

Ленин знал об этом и действовал тайно.

Петроград был разделен на районы, охраняемые преданной армией и рабочими дружинами. Почти ежедневно исчезали бесследно наиболее энергичные враги диктатуры пролетариата, о судьбе которых знали только ужасная, красная, истекающая кровью «чека» и его создатель — Ленин.

Несмотря на то, что ловкие большевистские агитаторы с успехом разлагали массы делегатов Учредительного собрания, комиссары все же не были уверены в окончательном результате.

5-го января 1918 года Ленин долго совещался с Дыбенко и Антоновым, а потом разработал манифест пролетариата к Учредительному собранию с требованием признать власть Совета народных комиссаров и Исполнительного комитета, за что обещалось созвать Национальное собрание с правом совещательного голоса.

— Товарищ! — восклицали Троцкий, Зиновьев, Каменев и другие. — Мы являемся едва лишь четвертой частью Национального собрания, как же мы можем требовать и выдвигать такие

просто дерзкие условия? Гражданская война станет неизбежна, а тогда провинция – потеряна для нас!

Ленин слушал внимательно, объяснял, убеждал сомневающихся, а когда понял, что ничего не добьется, воскликнул:

– Половина Собрания состоит из социалистов-революционеров. Этих «орущих верзил». Они не располагают никакой силой. Мы разгоним этот сброд!

Совещания длились еще долго. Товарищи выходили из них обеспокоенные. Приближающийся день заседания Учредительного собрания не нес им ничего хорошего.

Только Владимир Ленин четко видел развитие событий.

6-го января красные войска безнаказанно расстреливали на улицах многочисленных демонстрантов. Моряки Дыбенко окружили Таврический дворец, где должно было состояться заседание Национального собрания, угрожали и осыпали ругательствами прибывающих делегатов.

Собрание, выслушав требования Совета народных комиссаров, отказалось признать его верховной властью в России. Тогда в зал вошел отряд вооруженных матросов, а огромный, угрюмый матрос Железняков разогнал делегатов.

Ленин несколько дней внимательно изучал газеты всех лагерей и становился все более радостным. Потирая руки, он говорил Надежде Константиновне:

– Мое покушение на пресловутую «Народную волю» удалось! Народ, устав от беспомощного потока слов и пустых лозунгов, со спокойствием принял известие о кончине Учредительного собрания. Он требует только действий, а не слов. Мы покорим его действием!

Однако еще не все трудности были удалены с этого пути.

Оставались немцы.

Они переходили в наступление.

Ленин понимал, что взятие ими столицы нанесет удар по революции, потому что почти все население страны будет считать немцев спасителями России.

Необходимо было удержать неприятеля от такого намерения. Ленин постановил спутать немецкие планы, сделав их поход на Петроград бессмысленным.

На заседании Исполнительного комитета он предложил проект переноса центра власти в Москву.

– Побег?! – разразились крики. – Капитуляция перед империализмом?! Мы погибли!

Троцкий выступил с длинной зажигательной речью. Он доказывал, что уход из Петрограда повлечет за собой окончательное поражение партии.

– Смольный институт окружен легендой, он превратился в фетиш! – восклицал Троцкий. – Вместе с исчезновением легенды развеется привлекательность нашей власти. Мы не имеем права идти на это!

– Мы должны остаться и гордо погибнуть на наших постах! – с пафосом крикнул Зиновьев, поднимая над головой кулак.

Товарищи испуганными, возмущенными голосами высказывали свои мнения и яростно нападали на вождя. Еще мгновение – и он мог бы быть погублен в глазах только что боготворящей его толпы, вытащенных им из бедности и небытия людей.

Ленин слушал, никого не перебивая, спокойно и почти весело. Никто не видел, как пальцы его сжимались, словно когти хищного зверя. Ладони его лежали на коленях, скрытые под столом, чтобы не выдавать его чувств.

Наконец крик и шум утихли. Все грозно и подозрительно смотрели на вождя.

Ленин встал и начал говорить.

Его голос дрожал, перебиваемый шипящими, хриплыми вздохами.

– Я восхищаюсь вами, товарищи! Восхищаюсь вашим героизмом и преданностью делу пролетариата! Воистину имена ваши войдут в историю наряду с именами Дантона, Марата, Робеспьера! Я при первой же возможности дам оценку вашей пролетарской отваге перед самыми широкими народными слоями! Честь вам, любовь и преклонение трудящихся масс! Вы настоящие вожди! Вы убедили меня и устыдили! Действительно, пускай умрет революция, пускай миллионы поверивших нам людей идут в кандалы, только бы не были унижены ваша гордость и имя борца! Остаемся в Петрограде и будем покорно ждать свою судьбу...

Он опустил голову, оперся кулаками о стол и глухим голосом, в котором уже звучало эхо с трудом скрываемого издевательства, продолжил:

– Мне стыдно от своей мысли об отступлении из Петрограда! Стыдно... А может, мне не должно быть стыдно? Я расскажу вам, товарищи, как я рассуждал... Если мой мозг работал плохо, то вы мне об этом скажете; если я был прав – задумайтесь на моим предложением еще раз, без горячки, без зажигательных слов и взрыва первых, самых сильных и благородных, но не всегда правильных эмоций. Мне действительно стыдно забивать ваши геройские головы, настоящие защитники пролетариата, рассуждениями практичного человека, для которого существует только цель и которым владеет только одна мысль! Я стыжусь своего холодного сердца и материалистического ума! Нет, я не стану ничего говорить о своих рассуждениях! Я поддаюсь очарованию ваших прекрасных возвышенных слов!

– Ильич, расскажи! – крикнул Сталин.

– Расскажи! – поддержали его остальные, ударяя кулаками по столу и топая ногами.

– Скоты!.. – прошипел Троцкий, наклонившись к Каменеву и Урицкому.

Он не сказал этого громко и принялся протирать пенсне, наклоняя черную, хищную голову.

– Раз вы мне позволили, я скажу, о чем думал! – начал Ленин, пробежав пронизывающим взглядом по лицам собравшихся. – Еще в октябре вы решили подписать мир с Германией. Без него завоевания революции висят на волоске. Это понимает каждый из вас... Захват нашей резиденции неприятелем – это конец революции, но и смерть ее героев – ваша смерть, товарищи! Я хотел покинуть Петроград... Для военных целей его захват абсолютно не нужен Вильгельму Гогенцоллерну. Он делает это для того, чтобы взять нас в плен и уничтожить в зародыше угрожающую империализму революцию. Если мы уйдем, наступление немцев сразу же прекратится. Они не пойдут за нами вглубь России. Они помнят о судьбе Наполеона и знают, что нашей лучшей крепостью являются наши просторы! Вы говорите, что умрет легенда Смольного института? Я думал, что этой ле-

гендой овеяны вы — герои, вожди, пророки! Эта легенда пойдет за вами даже на вершины Кавказских гор или в тундру Сибири, только бы развевалось там красное знамя и светили ваши, товарищи, имена!

По залу прошел рокот изумления.

— Мудрец! — с восхищением шепнул Стеклов-Нахамкес.

— Ясновидящий пророк! — громко отозвался Бонч-Бруевич.

— Мы только чувствуем, а он — думает за всех! — добавил со вздохом Пятаков.

— Поражающая сила мысли! — выкрикнул Невский.

— Позвольте мне закончить, товарищи! — обратился Ленин к присутствующим. — Вообразите на мгновение, что мы уже в Москве. Не в каком-то «институте» или случайном дворце Кшесинской, а в Кремле! В Кремле!

— В Кремле! — раздался всеобщий крик восхищения.

— Столетия истории создали там бесчисленное число легенд! К ним присоединится еще одна, новая, красная, самая благородная легенда. Ваша легенда, товарищи, легенда защитников прав пролетариата! Кто не знает о Кремле? Глаза, сердца и мысли всей России будут обращены к вам! Ваш голос разнесется с его белых стен, по всей стране, по всему миру! Вы говорите: «гордость, капитуляция, покинутые позиции». Какой прекрасный порыв! Точно так же говорил оборонявший Москву от Наполеона Кутузов, но все-таки отступил, оставил столицу для уничтожения и... победил. Победителей не судят, товарищи! Слава вождей — в победе, а не в геройской, бездумной, ненужной, прекрасной, а иногда и вредительской смерти! Если вы из-за гордости умрете на виселице, кто встанет на ваше место? Кто поведет революцию и судьбу пролетариата к окончательной победе? Так думал я с заботой и болью прежде, чем представить вам план переезда в Москву, в Кремль... Ваш пламенный героизм посеял во мне сомнения... Теперь я буду слушать, что скажете вы, потому что ваша воля — это воля лучшей части пролетариата, гордости революции!..

Весь Исполнительный комитет, комиссары, даже стоящие на страже солдаты окружили Ленина, тянулись к нему, как овцы к пастырю, как дети к отцу, били себя в грудь, кричали:

МОРЯК ПРОЛЕТАРСКОГО ФЛОТА

ДУМА РОССИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
(моряк взбунтовавшегося царского флота)

– Веди нас! Мы всюду пойдем за тобой!

Даже Троцкий и Каменев кричали, размахивая руками:

– Да здравствует Ленин – вождь!

Диктатор заметил это сразу и, подняв руку, успокоил крики.

– Пускай легенда не покидает насовсем Смольный институт! Я чувствую, что вы желаете этого, и ваше желание справедливо и мудро. Поэтому давайте постановим, чтобы красное знамя нашей партии и впредь развевалось над этим дворцом, где пролетариат впервые в полную силу заявил о своей диктатуре. Этот лозунг будет защищать преданный делу мой старый друг, испытанный боец, вдохновленный вождь – Зиновьев и наши верные товарищи из «чека», этого кулака пролетариата, – Володарский и Урицкий! Своей жертвенностью, трудом и отвагой они запишут свои имена в историю самых прославленных!

По залу пронеслись новые окрики и аплодисменты, вылились в коридоры и звучали долго, расходясь все дальше и дальше.

Ленин вернулся в свой кабинет, быстро ходил из угла в угол, потирал руки и, кривя губы, шипел:

– Рабы, невежественные скоты! Слепые бунтари!..

Он с ненавистью пнул стоявший на пути стул и, почувствовав страшное истощение, упал на диван.

– Такой час равен пяти годам жизни! – прошипел он сквозь сжатые зубы.

Он долго не мог успокоиться, вскакивал, бегал по комнате, разводил руки и говорил самому себе:

– Умереть! Это проще всего! Конец и покой... Сам себе я ничего иного не пожелал бы, но не могу... Я должен пробиться через тьму, должен прорубить лес! Это будет мое творение. Я не построю ничего нового и вечного. Но буду счастлив, если мне удастся заставить человечество не оглядываться назад и смотреть в будущее, только в будущее, сбросив с себя очарование гробниц. Тогда зародится идея нового общественного устройства и воплотится в действия, которые не умрут до тех пор, пока будет жить память обо мне. Я сделаю все, чтобы она врезалась в память людей с любовью или ненавистью, восхищением или пренебрежением, благословением поколений или с их проклятием! Я жажду стать новым «святым» пролетариата, чтобы

сохранялась таинственная связь между мной, даже умершим, с живыми. Чем же является по сравнению с этой целью унижение похвал, раздаваемых сброду и взбунтовавшимся рабам, метания, лицемерные обещания, обман, жизнь моя и миллионов людей? Наш век чтит разум и величие, соединенные в одном гении. Мне достаточно культа моего разума! Последователи всегда подражают тому, кого боготворят. Пускай подражают! Им это поможет сбросить несносные путы прошлого с его предрассудками, ошибками и старыми гробами!

Он лег навзничь на диване и, глядя в потолок, старался больше ни о чем не думать. До него доносился глухой шум, треск досок, лязг бросаемых на пол тяжелых предметов, крики людей, рокот автомобилей.

Он догадался, что товарищи уже начали паковать документы Совета народных комиссаров и перевозить стопки бумаг и ящики на железнодорожный вокзал. Диктатор не знал, однако, что среди работающих затесалось несколько случайных, никому не известных помощников, пришедших с улицы, где перед Смольным институтом постоянно толпились зеваки, не имеющие ни безопасного пристанища, ни работы.

Они вбегали вместе с солдатами в здание, клали документы в ящики, прибивали крышки и выносили. Некоторые ящики с грохотом падали на лестничных поворотах, летели вперед и разваливались. Тогда несшие их люди поднимали панику, бегали в растерянности, ища новые ящики, а другие, быстро просматривая рассыпавшиеся бумаги, прятали их в карманы, за голенища сапог, в шапки.

Спустя несколько дней латыши и финны обучали на площадях Кремля отряды, наскоро сформированные из китайских рабочих, разбросанных царским правительством в прифронтовой полосе, а теперь собранных отовсюду для защиты новых властителей.

Эти войска вошли в состав карательного отряда всероссийского «чека».

В Москве, на улице Большая Лубянка, в доме, принадлежавшем страховому обществу «Якорь», разместилась «Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем».

Жизнь и смерть 150-миллионного народа находились в руках председателя «чека» – Феликса Дзержинского, имеющего право карать смертью без утверждения приговоров Советом народных комиссаров и Центрального исполнительного комитета.

Возродилась легенда Кремля...

Из-за толстых стен Китай-города, из закутков, из темных подвалов, из лабиринта мрачных комнат, узких таинственных проходов проступил призрак царя Ивана Грозного и его могущественного палача – Малюты Скуратова. За ними, словно стая волков, появлялись тени кровавых преторианцев – угрюмых «опричников», буйствующих по всей стране, тонущих в крови, кричащих злобными голосами: «Слово и дело!»

Призраки с восхищением и страхом смотрели на прохаживающегося по Кремлевской площади маленького человека с лысым черепом, монгольскими скулами, губами и глазами.

Он ходил, засунув руки в карманы полинялого пальто, а рядом с ним шагал высокий, худой человек в серо-зеленой куртке и сапогах с высокими голенищами. Он шел сгорбившись, сжимая бледными руками серое, нездоровое, перекошенное ежеминутными судорогами лицо; неподвижный взгляд его вонзался в круглые камни старой мостовой.

Призраки слышали страшные, ужасные слова.

Дзержинский рассказывал о работе, которая кипела в «чека», о тысячах замученных и убитых людей, схваченных дома и на улицах латышскими и китайскими солдатами.

– Ни один секрет не останется в тени! – шептал Дзержинский, заглядывая Ленину в глаза. – Мы умеем заставить быть искренними, о, умеем!

Ленин сжимал руки и смотрел вокруг уверенным, проницательным взглядом. Когда его взгляд останавливался на толпящихся невидимых призраках, они улетучивались в панике и непередаваемом ужасе.

Дзержинский остановился и сказал:

– Сегодня я буду расследовать дело о покушении. Я привез сюда вашего шофера Володимирова. Приходите, товарищ, услышите важные вещи. Надо, чтобы вы их обязательно услышали!

– Когда? – спросил Ленин.

– Сегодня вечером... – прошептал Дзержинский.

– Я приеду...

Они расстались и пошли в разные стороны.

Тени старого Кремля смотрели полными отчаяния и немого страха глазами.

Поднялся морозный ветер.

Призраки развеялись, будто туман над болотами.

Появились другие призраки. Бледные, окровавленные, замученные тени людей, погибших на протяжении столетий в подземельях кремлевских палачей.

Они искривляли страшные лица, поднимали длинные руки к низко висящим, полным снега тучам, беззвучно смеялись, радовались бешеной радостью, ругались проклятиями и со стоном вздыхали:

– Месть за нас! Месть за нас!..

Эти стонущие тени становились в угрюмые хороводы. Они выли и плясали в клубах метели, поднимались все выше, играли с шелестящим на ветру красным полотнищем, протяжно смеялись и исчезали в завихрениях и снежных столбах усиливающейся пурги.

ГЛАВА XXVI

Ветер завывал и бросал сухим, морозным снегом в темные окна растянувшихся вдоль Большой Лубянки домов. На пустой улице нельзя было встретить ни одного прохожего, хотя стрелка на башенных часах приближалась к одиннадцати. Одинокий человек в выцветшем пальто, подняв высокий каракулевый воротник, вынырнул из-за угла пересекающей улицы. Он шел, глядя на искрящиеся под ногами снежные сугробы, вздымавшиеся и кружащие в вихре.

Из арки дома с разбитыми окнами и выщербленной пулями штукатуркой выскочили трое солдат и, окружив прохожего, грозно спросили:

– Куда идешь? Покажи документы!

Застигнутый прохожий поднял глаза, а солдаты окаменели, выпрямляясь и шепча:

– Товарищ Владимир Ильич Ленин!

Он доброжелательно улыбнулся и спросил:

– Покажите мне, где здесь здание «чека»!

– Вы стоите перед ним, товарищ, – ответил солдат перепуганным голосом.

Ленин окинул внимательным взглядом огромное здание с большими, до половины забитыми досками, темными слепыми окнами.

– Что за дьявол?! – проворчал он недовольным голосом. – Все спят там, что ли?...

Как будто отвечая ему, откуда-то из недр здания вырвался пыхтящий рокот автомобильного мотора. Со звуками машины соседствовали еще какие-то звуки. Потом все замолкло. Наступила глухая, беспокойная тишина.

– Что это было? – спросил Ленин, глядя на солдат. – «Чека» расстрелял приговоренных... – прошептал офицер. – На это вре-

мя всегда заводят грузовик, чтобы заглушить пулеметные выстрелы, крики и стоны расстреливаемых...

Ничего больше не говоря, Ленин направился к воротам дома и позвонил.

Через секунду хриплый голос спросил:

— Кого это черти несут в такое время! Отойди от ворот, а то выстрелю...

— Председатель Совета народных комиссаров к товарищу Дзержинскому, — ответил Ленин.

Он услышал топот ног убегающего постового и пронзительный свист.

Прошло несколько минут, пока открылась калитка. Какой-то маленький, коренастый человек с испещренным оспой лицом осторожно, подозрительно выглянул и молча впустил Ленина.

Закрыв калитку, человек шел за ним и ворчал:

— Мы должны быть бдительными... К нам уже несколько раз приходили вооруженные люди, чтобы убить товарищей Дзержинского и Петерса... Поляки и латыши злятся на них... Они уже не вышли отсюда, но есть другие, присягнувшие отомстить. Вчера в университетском саду нашли товарища Багиса, повешенного неизвестными злодеями...

Ворча, он провел Ленина через двор.

В желтом свете керосиновых фонарей, слабо освещавших двор, возвышалась высокая, сплошная, потрескавшаяся и выщербленная стена, исчезавшая вверху во мгле метели. На остальной штукатурке виднелись кровавые подтеки и сосульки. Под стеной лежали неподвижные обнаженные тела, скорчившиеся, свернувшиеся, как куча тряпок. Над ними поднималось небольшое облачко пара. Рядом стоял большой, окрашенный черной краской грузовик.

Ленин остановился и обернулся на крадущегося сзади человека.

Ключник понял немой вопрос раскосых глаз и снова начал ворчать:

— Массовая продукция... иначе нельзя!

Ленин кивнул головой в сторону обнаженных трупов и спросил:

— Как вы поступите... с этим?

— Частично вывезем за город, где завтрашние смертники приготовят могилы для них и для себя. А часть заберут в больницы, чтобы врачи учились на них. Один ученый профессор часто сюда приходит и рассказывает, что наступили хорошие времена для науки, потому что трупов сколько захочешь! Никогда не знаешь, кому и чем угодишь!

Он рассмеялся писклявым голосом, заслонив широкой ладонью рот.

Они шли по лестнице на третий этаж. Везде были расставлены солдатские посты. Издалека доносились крики, стоны, плач; раздавались глухие звуки выстрелов.

Ленин шел выпрямившись, тяжело дыша; он чувствовал как его охватывает дрожь.

Они вошли в огромную приемную с уходящим вглубь здания коридором, в котором возле каждых дверей прохаживались китайские солдаты.

— Я доложу товарищу председателю «чека»... — сказал сидящий за письменным столом худой блондин с уставшими, покрасневшими глазами.

Когда он ушел, Ленин изо всех сил подавил охватывающее его волнение. Здесь было тихо. Только время от времени раздавались хриплые голоса китайцев и раздражительные, нетерпеливые звонки.

Чиновник долго не возвращался. Стоящие у дверей солдаты смотрели на незнакомого им человека загадочно и с пренебрежением. Они знали, что приходящие сюда по разным делам люди редко покидали здание. Они видели их входящими в приемную и почти никогда — выходящими.

На пытки можно было прийти этим путем, для пытаемых же — существовали другие выходы.

Ленин подумал:

— Мы создали государство в государстве. «Чека» может стать сильнее Совета народных комиссаров...

В глубине коридора открылись двери, и в приемную быстрым шагом вошел Дзержинский.

— Я пришел, Феликс Эдмундович, — сказал Ленин. — К вам трудно попасть!

— Я думал, что вы приедете на автомобиле, а мне тем временем сообщили, что какой-то человек дважды прошелся перед домом «чека»... Мы должны быть бдительны. Нас подстерегают...

— У вас хорошая разведка, — заметил Ленин с улыбкой.

— Специалистами по разведке являются товарищи Блюмкин и Ягода, — ответил Дзержинский. — Прошу ко мне!

Они шли по коридору. На дверях видны были надписи: «Комната №1. Следственная комиссия тов. Розсохина», «Следственная комиссия тов. Озолина». На дверях белели таблички с фамилиями Риттнера, Менжинского, Артузова, Гузмана, Блюмкина.

— Здесь мы допрашиваем обвиняемых, — объяснил Дзержинский, заметив, что Ленин читает надписи. — В конце коридора расположен зал коллегии «чека» и две комнаты: статистическое бюро и архив.

— А остальная часть здания?

— Общие и одиночные камеры. Для наиболее опасных — темницы в подвалах и подземелье, — ответил с гордостью за порядок в учреждении Дзержинский.

— В центре города! — удивился Ленин.

— Знамена должны висеть в видных и посещаемых местах! — тихо рассмеялся Дзержинский. — Ведь мы — знамя власти пролетариата, кровавой мести и насилия над его врагами. Я мечтал разместиться в соборе Василия Блаженного, но здание никуда не годится!

— Парадоксальное намерение! — воскликнул Ленин.

— Парадокс заменяет нам логику, товарищ! — снова рассмеялся Дзержинский. — Все, что мы делаем, это парадокс, а реализуя его, мы набираем необычайную силу и привлекательность в глазах людей с прогнившими, трусливыми мыслями.

— Считаете ли вы, Феликс Эдмундович, что можно долго продержаться на парадоксе?

Дзержинский пропустил Ленина перед собой и, глядя на него, с уверенностью заявил:

— На все время четкого функционирования «чека», товарищ! Ручаюсь вам...

Они сели. Дзержинский закурил сигарету и задумался, содрогаясь лицом и растирая подрагивающие веки.

Ленин осматривал кабинет.

Письменный стол, два кресла, три стульчика, широкая софа со смятой постелью; на полу – светло-розовый, толстый ковер с черными пятнами в нескольких местах. На столе среди красных папок с бумагами и на стене за столом Ленин заметил пистолеты Маузера и парабеллум.

– Вы, товарищ, живете в своем кабинете? – спросил Ленин.

– Нет! – ответил Дзержинский, глядя на него подозрительно. – У меня несколько конспиративных квартир. Я не доверяю даже своим людям, потому что и среди них были предатели. На меня охотятся повсюду...

Он замолчал и склонился над бумагами, просматривая их и подписывая.

Закончив, он буркнул:

– Сегодня у нас «к выдаче» 150 людей... Группа белых агитаторов, которые действовали в деревне...

– К выдаче? Что это означает? – спросил Ленин.

– На казнь, потому что следствие уже закончено, – ответил Дзержинский. – Можем начать с Володимировым?

Ленин кивнул головой. Дзержинский снял трубку телефона и отдал короткий приказ:

– Немедленно ко мне товарища Федоренко. Привести ко мне арестованного из камеры №31. Подготовить семнадцатую камеру! Когда позвоню – ввести ко мне!

Вскоре в дверь постучали. Дзержинский быстро схватил со стола револьвер и, направив стволом на дверь, сказал:

– Войти!

На пороге стоял человек, совершенно, как казалось, не соответствующий этому месту. Высокий, стройный, гладко выбритый и старательно причесанный, он держался свободно и вызывающе. Отглаженный синий костюм лежал безукоризненно на гибкой, элегантной фигуре, светлый галстук и высокий жесткий воротничок свидетельствовали о культурных навыках их хозяина.

– А, это вы, товарищ Федоренко! – воскликнул Дзержинский, кладя револьвер обратно. – Прошу приступать к рассмотрению Володимирова в присутствии председателя Совета народных комиссаров.

Прибывший судья задержал на Ленине холодные, голубые глаза и склонился перед ним с вежливой улыбкой.

– Очень хорошо складывается! – сказал он звонким голосом. – Попрошу председателя комиссаров сесть возле окна и повернуть кресло таким образом, чтобы вас не было видно, вот так! Отлично!

Он хлопнул в ладони. Щелкнув винтовками, вошли солдаты, сопровождающие арестованного.

Долгое время царило молчание. Люди мерялись взглядами, спрашивающими о чем-то волнующем, изучали друг друга без слов.

Наконец раздался вежливый голос Федоренко:

– Мы правда не хотели бы обижать вас, товарищ Володимиров! Но пока мы бессильны, потому что вы скрываете тайну, которую мы должны раскрыть любой ценой...

Володимиров не отвечал.

Федоренко спокойно, вежливо продолжал:

– Давайте припомним все, о чем вы соизволили нам сообщить! Перед началом пролетарской революции вы были капитаном царской гвардии, а потом записались в союз шоферов и получили должность в гараже Совета народных комиссаров. Насколько понимаю, я все точно повторил?

– Да... – шепнул Володимиров.

– Я очень рад! – воскликнул следственный судья. Теперь нам предстоят вещи более деликатные. Вы, товарищ, дали показания, что в момент отъезда товарища Ленина из манежа, вопреки приказу трогаться, не сделали этого и ждали террористов, продиравшихся через собравшуюся на митинге толпу.

– Да... – прозвучал короткий ответ.

– Это значит, что вы были в сговоре с преступниками?

– Да... Мы хотели убить Троцкого, который должен был ехать с Лениным, – объяснил шофер.

– Сколько было террористов? – спросил Дзержинский, тряся головой, потому что страшная судорога искривила его лицо.

Володимиров молчал.

– Кто руководил террористами? Кто их послал?

Никакого ответа.

— Кто ими руководил? Кто отправил преступников? — повторил Дзержинский, сжимая белые губы.

Рассматриваемый поднял голову и твердо сказал:

— Я в ваших руках, можете меня казнить, но вы ничего не узнаете. Я хочу умереть за отчизну, замученную этими...

Он не закончил, потому что раздался выстрел. Пуля застряла в правом плече Володимирова. Он застонал, но стиснул зубы и смотрел на безвольно висящую, кровоточащую руку.

— Будешь говорить, пес? — прошипел Дзержинский.

Арестованный молчал. Председатель «чека» метался, бил кулаками по столу, швырял на пол красные папки и разбрасывал бумаги.

Он хрипел и тяжело дышал.

Федоренко сказал невозмутимым голосом:

— Тяжело справиться с таким героическим молчанием! Можно восхищаться... Но мы должны знать правду!

Он встал и нажал кнопку звонка.

Слыша, что дверь открывается и входят новые люди, Ленин выглянул.

Он увидел дрожащего Володимирова с бледным, перепуганным, обращенным к входу лицом. Ленин заметил черную лужу крови, собравшуюся возле ног шофера и постепенно впитывавшуюся в толстый ковер.

«Зачем здесь розовый ковер? Лучшими были бы темные, очень темные цвета», — подумал он непроизвольно и вновь спрятался за высокой спинкой кресла.

Раздался голос Федоренко:

— Солдаты, выйдите и ждите в коридоре! Ну, теперь давайте поговорим спокойно! Обвиняемый не станет отрицать того, что эта женщина является его женой, Софией Павловной Володимировой, а этот милый мальчик — это его сын, Петька?

Володимиров молчал. Ленин вновь выглянул. Лицо рассматриваемого окаменело, и только в глазах метались отчаяние и сомнения.

Дрожащая женщина с бледным, болезненным лицом грустно смотрела в землю и сжимала ручку мальчика лет десяти с глубоко запавшими глазками и парализованным от страха лицом.

Ребенок не плакал, а только громко клацал зубками, прижимаясь к матери.

Федоренко внезапно изменил тон. Его голос стал шипящим и срывающимся.

— Хватит этих игр... — сказал он. — Если не назовешь фамилий террористов и тех, кто их послал, мы на твоих глазах расстреляем эту суку и ее щенка... Н-ну!

Никто не отвечал. Федоренко хлопнул в ладони. Ворвались солдаты.

— Распять женщину и мальчика на стене! — крикнул судья. — И крепко держите этого верзилу, чтобы не вырвался!

Солдаты моментально окружили мать и ребенка, поднесли, придавили к стене и растянули им руки и ноги.

Володимирова молчала, по-прежнему глядя в землю. Мальчик царапался, извивался и кричал:

— Мама! Мамочка! Папа, спасай нас, не дай... Они хотят нас убить!

Федоренко спокойно заметил, глядя на арестованного:

— Нам уже известно, что ты муж этой женщины и отец — мальчика. Справились без ваших показаний! Теперь мы узнаем остальное... Власов, стреляйте!

Толстый, краснолицый охранник открыл огонь. Пуля ударила в стену прямо над головой женщины, засыпав ее осколками штукатурки; вторая застряла в стене возле уха, третья — возле самой шеи...

— Теперь займитесь мальчишкой, — прошипел Федоренко. — Две пули пробные, третья должна оказаться во лбу!

Пуля глухо ударила над головой мальчика. Его лицо исказилось, он весь сжался и потерял сознание.

Володимиров рванулся из рук державших его солдат и простонал:

— Пощадите их... Я все расскажу...

— Слушаем! — безразлично сказал Федоренко и, обращаясь к охраннику, добавил: — Зарядите револьвер новыми патронами!

Володимиров еще боролся с собой. Ужасные страдания отражались в его бессознательных, измученных глазах.

— Мы слушаем, черт тебя побери! — не выдержал Дзержинский, затопав ногами.

— Покушение было придумано правыми социалистами-революционерами и евреями... — прошептал Володимиров.

— Фамилии исполнителей? — спросил судья.

— Я не знаю все... их было десять... я случайно расслышал фамилии Леонтьева, Схура и Фрумкин... — говорил, ни на кого не глядя, арестованный.

— Фрумкин — женщина? Красивая, молодая еврейка? Ее имя Дора? — спросил, щуря глаза, Федоренко.

— Да... — шепнул Володимиров.

— Не понимаю, зачем нужна была такая длинная, героическая сцена отказа от дачи показаний? — поднимая плечи, с издевкой заметил Федоренко. — Но еще одна формальность! Я должен провести очную ставку между обвиняемым и очень интересной особой. Власов, распорядитесь, чтобы сюда доставили №15! Ну, бегом, бегом... товарищ!

Дзержинский и Федоренко совещались, куря сигареты...

— Умоляю, чтобы солдаты не мучили больше мою семью! — отчаянно воскликнул Володимиров.

— Еще минутку! — вежливо и спокойно ответил судья. — Только от вас зависит полное освобождение симпатичной дамы и милого Петеньки...

В кабинет кого-то ввели. Ленин осторожно поднял голову. На пороге стояла женщина.

Казалось, что она сошла с какой-то картины.

— Где я видел такую фигуру? — думал Ленин, потирая лоб. — Кажется, на какой-то картине времен французской революции? А может, и нет...

Высокая, гибкая, с гордо посаженной красивой головой, стояла молодая еврейка. Ее белое, как молоко, лицо, горящие глаза, черные дуги бровей, чувственные губы и огромный узел черных волос, мелкими завитушками падающих на шею, и вдохновенный лоб — все было совершенно в линии рисунка и красках.

— Юдита... — прошептал Ленин.

Она стояла спокойно, вызывающе опустив вдоль выразительных бедер руки. Ее высокая грудь вздымалась едва заметно.

Федоренко долго осматривал ее, похотливо щуря глаза. Наконец спросил изменившимся голосом:

— Имя и фамилия прекрасной... дамы?

Она даже не пошевелилась и не посмотрела на судей.

— Какая вы нехорошая! — тихо засмеялся Федоренко. — Мы ведь знаем, что в данный момент восхищаемся красотой и обаянием мадемуазель... Доры Фрумкин...

Она не изменила позы; даже веки ее не дрогнули. Казалось, что она ничего не видит и не слышит.

— Обвиняемый, подтверждаете, что это Фрумкин, о которой вы нам только что рассказывали? — спросил судья Володимирова.

— Да... — шепнул офицер, боясь взглянуть на стоявшую в дверях женщину.

При этом страшном для нее слове ее вид не выражал ни малейшего волнения или беспокойства.

— Власов! — прокричал срывающимся голосом судья. — Отведите Дору Фрумкин в мою канцелярию и скажите, чтобы Мария Александровна занялась ею. Я скоро приду...

Солдаты увели арестованную.

— Владимир Ильич! — позвал Дзержинский. — Выходите и объявите, что за ценные показания даруете жизнь гражданину Володимирову, хотя он заслуживает смерти.

Ленин встал и, глядя на своего бывшего шофера и судей, не мог произнести ни слова.

Федоренко приблизился к нему и принялся хвастаться своим опытом, рассказывать о давних временах, когда он, как жандармский ротмистр, тайно способствовал настоящим революционерам. Ленин слушал его холодно, с выражением отвращения на лице.

Дзержинский тем временем отдавал какие-то приказы.

Солдаты, освободив женщину и мальчика, вышли. Володимиров прижимал к себе дрожащего, шатающегося сына и измученным, болезненным взглядом смотрел в суровые глаза жены.

— Вы свободны, абсолютно свободны, — прошипел Дзержинский, оглядываясь за спину, где стоял охранник Власов. — Прошу выходить... Сначала капитан Володимиров, потом женщина... ребенок — в конце.

Володимиров пошел вперед, однако, едва он дошел до дверей и потянулся ладонью к ручке, прогремел выстрел. Смертельно раненный в голову, он упал на пол. Жена бросилась к нему, но в тот же момент Власов выпустил пулю. Она безжизненно упала на тело мужа. Тут же открылись двери; вбежал солдат-китаец. Схватив мальчика, он сдавил ему горло и вынес из комнаты. Китайцы, подгоняемые охранником, за ноги вытягивали убитых в коридор и вытирали следы крови.

Ленин содрогнулся.

– Государство держится на насилии, силе и произволе! – припомнились так часто повторяемые им его собственные слова.

– Можно ли на таком насилии, которое я здесь увидел, строить государство? Это ли путь к новой жизни человечества? – кружились в его голове вопросы.

Он снова содрогнулся и с отвращением слушал рассказы Федоренко о необычайной меткости глаза толстого охранника.

– Я приклеивал смертникам серебряные пять копеек – маленькую монетку – на грудь, а этот мужик пулей вбивал ее в сердце! – говорил он с восхищением и смеясь.

– Каналья... отвратительный палач... – подумал Ленин, но ничего не сказал при этом.

Он помнил слова Дзержинского, что «чека» – это знамя диктатуры пролетариата, а он, Владимир Ленин, был его диктатором и хотел им оставаться как можно дольше, потому что среди тысяч товарищей не видел никого другого.

Перед ним снова замаячило далекое, маленькое, светлое, лучистое будущее мира, высвобожденного из оков прошлого.

Ему надо было прийти к нему любой ценой.

Поэтому – стиснул зубы и молчал.

Даже улыбнулся, когда Дзержинский сказал ему:

– Володимировы умерли с благодарностью в сердце к вам, товарищ! Легкая, приятная смерть, а для вас – добрый знак!

Ленин рассмеялся, но ничего не сказал. У него не хватало ни сил, ни смелости.

Он быстро вышел, кивнув головой в сторону Дзержинского и Федоренко.

В сенях ожидал агент «чека». Согласно приказу Дзержинского он должен был сопроводить вождя в Кремль.

– Как вас зовут, товарищ? – спросил Ленин, когда они вышли на улицу.

Ему хотелось услышать голос человека, который никого минуту назад не убил и не видел страданий и смерти.

– Апанасевич, помощник коменданта «чека», – ответил тот, отдавая по-военному честь.

Ленин расспрашивал его об ужасном доме смерти.

Агент на все вопросы отвечал одинаково:

– Спросите об этом нашего председателя. Я ничего не знаю!

Однако, доведя диктатора до ворот Кремля, остановил его и прошептал:

– Если вам будет нужен человек дерзкий, готовый на все, вспомните мою фамилию: Апанасевич!

– Апанасевич... – повторил Ленин и оглянулся.

Агент уже исчезал в клубах и вихре вьюги, приближаясь быстрым шагом к собору Василия Блаженного.

Он напевал какую-то народную песню...

ГЛАВА XXVII

Грустное настроение, словно холодные клещи или скользкие кольца отвратительного гада, сжимали сердце и мозг Ленина. Он чувствовал себя так, будто это он сам мгновение назад вышел из тюрьмы. Ему хотелось улыбнуться, вспомнить почти пьяную, буйную радость, которую он ощущал после того, как покинул камеру и за ним захлопнулась калитка тюрьмы на улице Шпалерной в Петербурге. Однако улыбки не получилось.

Он потер лоб и принялся ходить по комнате, засунув влажные руки в карманы тужурки.

Вскоре он осознал свои ощущения. Ошибки быть не могло. У него было впечатление, что в ужасном здании, в котором господствовал Дзержинский, он оставил кого-то, кто нуждался в защите и помощи. Он ощущал потребность вернуться, чтобы заслонить кого-то своей грудью... Кого? Почему?

Он пожал плечами и буркнул:

– Дьявольски трудно убивать людей! Убивать с никогда не сходящими с уст словами о любви ко всем угнетенным, несчастным, замученным!

Он заскрежетал зубами и сжал засунутые в карманы кулаки.

В застенках «чека» стонут и страдают только угнетенные, безмерно несчастные, страдающие невысказанной мукой... Вернуться туда и приказать всех освободить... запретить издевательства и бешеные убийства! Да! Да!

Он подошел к окну и остановился.

По внутренней площади прохаживались солдаты, несущие охрану.

Их заметала пурга, морозные порывы ветра студили кровь в жилах.

У них не было теплой одежды, поэтому они топали ногами, хлопали руками, бегали, чтобы согреться.

Ленин подумал:

— Они погибали на фронте за угнетателей, теперь погибают в революционных выступлениях, погибнут позорной смертью, если революция будет подавлена; но они не думают об этом, все переносят терпеливо, потому что верят мне и выдвинутым мной лозунгам. Они мне верят! Могу ли я разочаровать их? Могу ли посеять в их сердцах отчаяние и сомнения? Могу ли я поддаться собственным чувствам?

Он прошелся по комнате и прошептал:

— Никогда! Никогда!

Однако мучительное беспокойство не покидало его. Какая-то неуверенность угнетала и волновала его; неустанно звучал глухой наказ, призывающий вернуться в угрюмое здание «чека».

Он позвонил.

— Прошу связаться с товарищем Дзержинским и передать, чтобы приостановил рассмотрение арестованной Фрумкин до моего приезда, — сказал он секретарю. — Немедленно подать машину!

Выпив стакан воды, он в нетерпении ходил, щелкая в нетерпении пальцами.

Спустя пятнадцать минут он уже подъезжал к зданию «чека». Ворота были открыты, а за ними стоял отряд солдат, стоявших перед диктатором по стойке «смирно». У входа его встречали Дзержинский, Лярис и Блюмкин.

Во дворе стояла толпа арестованных этой ночью людей. Скукожившиеся, дрожащие фигуры, испуганные, бледные лица, угрюмые, подлые, бессовестно жадные или одержимо отчаянные глаза.

Окруженный комиссарами, Ленин быстро прошел в приемную на третьем этаже.

— Я хочу присутствовать при рассмотрении Доры Фрумкин! — заявил Ленин, глядя в косоватые, подозрительные глаза Дзержинского.

Председатель «чека» ничего не ответил. На уставшем дергающемся лице затаилась звериная бдительность. Он дергал маленькую бородку и растирал дрожавшие, опухшие веки.

Ленин понял опасения Дзержинского и доброжелательно улыбнулся.

— Товарищ! — прошептал диктатор, обнимая его. — Мне интересно, что скажет Фрумкин. Мы можем узнать от нее архиважные вещи... Я подозреваю, что еврейские социалисты из «Бунда» примкнули к вражескому лагерю. Я должен знать об этом...

Дзержинский молча кивнул головой.

Ничего не сказав, он провел Ленина по внутренней лестнице вниз.

Проходя мимо закрытых дверей одной из комнат первого этажа, он сказал:

— Захватим с собой Федоренко...

Он толкнул дверь. Ленин заглянул и остановился как вкопанный.

Напротив него стояла широкая софа, обитая красным бархатом. На искрящемся, горячем фоне, словно мраморная статуя, лежала голая фигура женщины. Волна черных волос спадала на пол; красивые стройные бедра, раздвинутые в неподвижном бессилии, застыли в бесстыжей позе; безвольно разбросанные в бессилии руки свисали вниз; буйные торчащие груди угрожающе замерли, словно наконечники луков... От обнаженных, выставленных на людское обозрение телесных тайн красивого, светящегося в полумраке женского тела веяло смертью и ужасом.

— Дора Фрумкин... — издал пронзительный шепот Ленин.

— Ах, каналья... развратник... Ни одной не пропустит! — проворчал Дзержинский, потрясая плечами.

— Федоренко одевался, скрывшись в углу комнаты.

— Тащи ее на рассмотрение! — крикнул Дзержинский и рассмеялся.

Мгновение спустя, плотоядно улыбаясь и поправляя галстук, жандарм вышел на середину комнаты. Заметив Ленина, он скривил лицо и шутовским тоном сказал:

— Такая девушка, пальчики оближешь! Жаль было не воспользоваться случаем... Такие красавицы встречаются все реже... Я разбираюсь в женщинах! Даю голову на отсечение, что ни один скульптор не нашел бы в этом чуде красоты хотя бы один изъян... Юнона, Венера, Диана, Терпсихора... природа всем одарила одну женщину! Федоренко не такой болван,

чтобы не оценить это и не попробовать! О нет! Федоренко – парень молодецкий!

Видя, что комиссары слушают его спокойно, он воскликнул:

– Мария Александровна!

Вошла жирная, красная, лоснящаяся от пота женщина в черной юбке и голубой блузке. Она исказила в улыбке растерянности и подобострастия отвратительное прыщавое лицо и раз за разом раскланивалась.

Федоренко воскликнул:

– Мария Александровна, вы смогли усыпить эту античную богиню, а теперь должны разбудить арестантку и отвести в большой зал... А китайские твари пускай будут наготове...

Обращаясь к Ленину, он с поклоном сказал:

– Теперь можем спуститься в подвалы...

– Шли молча. По длинному, кривому, узкому и грязному коридору.

Он освещался с двух концов двумя керосиновыми фонарями. Несколько постовых-китайцев прохаживались по нему, лязгая винтовками о цементный пол.

По обеим сторонам тянулись маленькие, невысокие, закрытые на щеколды двери.

– Товарищ, держитесь подальше от этой камеры, – предупредил Федоренко, глядя на Ленина.

Тот посмотрел вопросительно.

Жандарм тихо рассмеялся и прошептал:

– Это камера «естественной» смерти! Она заражена всеми возможными болезнями: брюшной и сыпной тиф, туберкулез, скорбут, холера, сап, кажется, чума... Все это заменяет нам палачей и экономит время. Люди мрут здесь как мухи... Там помещается сто заключенных, а контингент мы меняем еженедельно...

Он вновь рассмеялся.

– Вы разнесете эпидемию по городу! – сказал Ленин строгим голосом.

– Мы следим за этим! – возразил Федоренко. – О, мы разбираемся в гигиене! Ежедневно утром... впрочем, заключенные не знают, утро это, день или ночь, потому что это темница, в которой горит одна маленькая электрическая лампочка, – мы за-

совываем туда деревянный ящик... Заключенные складывают в него тела умерших: китайцы сразу заливают их известью, забивают ящик и вывозят за город, где бросают в овраги, которые тоже наполнены известью... Белокаменной Москве не грозит никакая опасность!

Из других камер доносились крики, плач и стоны людей.

– Сходят сума от отчаяния! – улыбнулся Дзержинский. – Стонут от голода, это очень хороший способ добиваться откровенности в показаниях!

Кто-то стучал в закрытые двери и выл диким голосом:

– Палачи! Будьте вы прокляты... Убийцы!.. Пить! Пить!..

– Ах! – воскликнул Федоренко. – Это «селедочники»!

Ленин обратил лицо в стороны говорившего.

– Некоторых мы кормим только очень соленой селедкой, не давая ни капли воды. Их мучает жажда, поэтому они и ругаются! Такие или сходят с ума, или впадают в оцепенение. Первых мы направляем «к выдаче», вторым обещаем много холодной, чистой воды... Ха-ха! Это безошибочное средство! Становятся покорными, как ягнята...

Ленин молчал, а Федоренко, воспринимая это как молчаливое одобрение, продолжал:

– У нас есть комнаты с людьми, которым мы не позволяем спать и доводим тем самым до умопомрачения или показаний. В других мы воздействуем на заключенных «моральным бичом». Они слышат, как в соседней камере пытают их жен или детей... Но это для наиболее твердых! Таких, однако, немного... Чаще всего достаточно пару раз напугать тем, что их уже ведут на казнь... Начинают петь все, что знают!

Федоренко побежал вперед и открыл двери.

Они вошли в большой зал с арочными сводами, который был освещен несколькими яркими лампами. В углу стоял письменный стол и два табурета.

На стенах без окон виднелись брызги и черные струи свернувшейся, въевшейся в цементную штукатурку крови.

Дзержинский сел за стол, подвинув второй табурет Ленину.

Худое, упорное лицо, горящие бессонные глаза и трясущиеся пальцы Дзержинского пугали Ленина. Наблюдая со страхом

за неподвижными зрачками и постоянно опадающими веками, он замечал ужасное упорство и бессмысленную жестокость искривленных, не знающих улыбки губ.

Торквемада, средневековый инквизитор, или палач парижской революции Фокье Тенвилль? – пришла Ленину в голову внезапная и мучительная мысль.

Казалось, будто что-то очень важное зависит от ответа на этот вопрос.

Федоренко крикнул стоящему у входа солдату:

– Бегите за Марией Александровной! Пускай поторопится!

Ленин внезапно почти болезненно скривился.

– Товарищи, называйте эту свою агентшу как-нибудь иначе, не... Мария Александровна... – прошептал он и внезапно сощурил раскосые глаза, готовый взорваться со всей силой.

– Почему? – спросили они с удивлением. – Товарищ Лопатина – акушерка и оказывает нам необычайные услуги в судебных процессах женщин.

Ленин, сжав кулаки, прошипел:

– Потому, что...

Внезапно он осекся, осознав, что его сердце взбунтовалось против красной, толстой агентши, осмеливающейся носить имя его матери, одинокой, вечно озабоченной старушки, которая умерла четыре года назад.

– Потому, что... – повторил он и заметил в этот момент в глазах бывшего жандарма насмешливые искорки. Он вдруг остановился, хитро усмехнулся и беззаботно закончил, щелкнув пальцами:

– Эх! Мелочь! Просто имя это разбудило во мне определенные воспоминания, не достойные столь уродливой особы, как гражданка Лопатина. Но это – ерунда! Не обращайте на это, товарищи, внимания!

Он смеялся весело, непринужденно и повторял:

– Раз Мария Александровна, то пусть будет Мария Александровна!

Он не хотел, не имел права показывать внезапно охватившие его чувства и слабость перед этими людьми, высоко державшими знамя диктатуры пролетариата и опускавшими его кулак на головы врагов.

Поэтому он смеялся, чувствуя, однако, что спокойствие и равновесие не возвращаются. Где-то глубоко в груди поднималась маленькая дрожь, нарастала, усиливалась и потрясала все тело с такой силой, что вздрагивала голова и сжимались широкие плечи.

В зал вбежала кучка китайцев. Они кричали хрипящими голосами, скалили желтые зубы, искажали дикие, темные лица.

За ними вошли четверо надзирателей, ведущих бледную, пошатывающуюся Дору Фрумкин. Она осталась голая и даже не пробовала заслонить свою наготу руками. Только глаза были скрыты за веками и длинными черными ресницами. За ней проскользнула круглая, как шар, Мария Александровна.

Обвиняемую поставили перед судейским столом.

Мужчины обозревали вдохновенное лицо и прекрасную, вызывающую восхищение фигуру еврейской девушки.

Ленин, задержав дыхание, смотрел на это белое тело и возвращался мыслями к тем дням, когда стоял восхищенный перед мраморными статуями мастеров в Лувре, Дрездене, Мюнхене.

Однако в этом зале с низкими сводами и тошнотворным запахом он не мог думать, что под белой, горячей кожей девушки циркулирует кровь, бьется сердце, мечутся мысли и чувства, трепещет в отчаянии и невысказанной тоске душа.

Вдруг в его памяти возникли строки из «Песни Песней»:

«Груди твои лучше вина. О, ты прекрасна! Глаза твои голубиные под кудрями твоими; волосы твои — как стадо коз, сходящих с горы Галаадской; зубы твои — как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пара ягнят, и бесплодной нет между ними; как лента алая губы твои, и уста твои любезны; как половинки гранатового яблока — ланиты твои под кудрями твоими; шея твоя — как столп Давидов, сооруженный для оружий, тысяча щитов висит на нем — все щиты сильных; два сосца твои — как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями...»

Его мысли прервал насмешливый голос Федоренко:

— Скажешь, девка, кто послал тебя стрелять в вождей народа?

Она замерла в неподвижной позе и молчала как камень, светясь таинственной белизной мрамора.

– Если не расскажешь о других преступниках, то умрешь в муках! – воскликнул жандарм и, подбежав к девушке, принялся пинать ее, трясти за груди, вырывать волосы и плевать в лицо.

– Жидовка, вражья кровь! Ты... ты...

Из его уст сыпались страшные, отвратительные слова, разлетавшиеся как брызги вонючей, гнилой жидкости.

Дора Фрумкин даже не подняла глаз. Она молчала, как будто жизнь уже покинула ее тело и была похожа на бесчувственную, безразличную ко всему глыбу.

Федоренко вернулся на свое место и ударил кулаком по столу.

– С этой девкой нам никак не справиться, – прошептал он. – Эй, кто-нибудь! Приведите сюда арестованную из седьмой камеры!

Ни на кого не обращая внимания, он ходил по залу и угрюмо бранился.

Привели старую еврейку. Двое китайцев держали ее за руки.

Увидев стоящую нагую девушку, старуха внезапно опустилась на пол, издав протяжный стон:

– Дора...

– Мина Фрумкин! Как мать обвиняемой в покушении на жизнь товарищей Ленина и Троцкого, советую вам уговорить дочь, чтобы рассказала нам правду, иначе ее ждет ужасная смерть!

Старая еврейка стонала, вонзая отчаянный, горящий взгляд в замершее, неподвижное лицо девушки.

– Дора... доченька! – рыдала она.

Веки девушки дрогнули, по обнаженному телу прошла судорога.

На мгновение, короткое, как гаснущая в темноте искра, открылись пылающие глаза, загорелись зрачки и исчезли за густыми длинными ресницами.

В одном этом взгляде был и ответ и приказ. Хватаясь за седые волосы, мать раскачивалась и глухо, жалобно завывала:

– А-а-а-а!

– Может, Мине Фрумкин что-то известно о покушении? – спросил Дзержинский, зажимая дрожащее от конвульсий лицо и подергивая себя за бороду.

— А-а-а-а! — стонала старая еврейка.

— Поставьте эту ведьму и заставьте смотреть! — крикнул Федоренко.

Солдаты подняли Мину Фрумкин, а толстая, красная Мария Александровна потными пальцами раскрыла ей веки.

Федоренко кивнул китайцам.

Они подтолкнули Дору к стене. Четверо солдат распяли ее, а еще двое, достав ножи, встали рядом, ожидая сигнала судей.

— Приступайте! — рявкнул жандарм.

Они набросились на обнаженное тело, как хищные звери.

Раздалось тихое, пронзительное шипение и резкий скрежет зубов.

Китайцы отбежали с хриплым смехом и визгом.

На стене белело голое тело девушки, а по нему из отрезанных грудей стекала кровь...

— А-а-а-а! — завывала мать, вырываясь от державших ее солдат.

— Кто послал тебя на убийство? — спросил Федоренко.

Молчание. Только Мина Фрумкин, словно голодная волчица, выла все жалобней, а дыхание Доры стало свистящим и хриплым.

— Дальше! — бросил Дзержинский.

Китайцы ударили ножами в глаза девушки. Пламенные, воодушевленные, они расплакались кровавыми слезами...

— А-а-а-а! — металось под сводами отчаянное, безумное стенание старой еврейки.

Хриплое дыхание истязаемой стало еще громче.

— Скажи, кто тебя послал... — начал Федоренко, но его перебил бледный Ленин. Его раскосые глаза метали искры, а пальцы сжимались и распрямлялись.

— Прекратить! — крикнул он не своим голосом, сорвавшись с места.

Федоренко посмотрел на него холодными, насмешливыми глазами и с пренебрежительной учтивостью склонил голову.

— Прекратить! — повторил он.

Один из китайцев ударил ножом.

Голое, окровавленное тело вдруг обмякло, скорчилось и упало на цементный пол.

В тот же момент Мина Фрумкин вырвалась из рук солдат, оттолкнула пытавшуюся ее поймать агентшу и прижалась, вцепившись руками, к мертвому телу дочери.

Жандарм молча взглядом указал на старуху и опустил руку к земле.

Не успели солдаты подскочить к ней, как старая еврейка поднялась и, тряся седой головой, бросила какое-то слово.

На древнееврейском, только одно слово, потому что сразу же за ним на нее обрушился тяжелый удар прикладом. Изогнувшись, мать прикрыла своим телом замученную дочь.

— Твердые штуки... — буркнул Дзержинский, закурив сигарету.

— Мы слишком поспешили... — недовольным голосом заметил Федоренко. — Если бы еще помучить... Мария Александровна привела бы обвиняемую в чувство... мы провели бы еще пару операций... может, она сказала бы сама, или эта... старая кляча.

Ленин подошел и посмотрел жандарму в глаза.

Он знал, что будь здесь Халайнен, то по его приказу пронзил бы штыком этого палача в элегантной синей тужурке. Теперь надо ударить его в лицо, повалить на землю и топтать ногами, как ядовитую, подлую гадину.

Его охватило чувство, что именно так и надо поступить с этим опричником в синей тужурке и светлом галстуке.

Он уже доставал из кармана сжатый кулак, как вдруг учтиво улыбающийся Федоренко, низко наклонив голову, произнес насмешливым голосом:

— Теперь товарищ Владимир Ильич убедился, что мы преданно и не щадя себя служим пролетариату? Мы превратились в машину, которая давит его врагов без остатка, лишая жизни сразу сотни людей. Пролетариат должен их уничтожить! Сила и страх его единственное оружие! Оно сломит философов, ученых, поэтов...

Этот страшный человек повторял его слова!

Он, Владимир Ленин, размещая их в миллионах газет, листовок, плакатов и телеграмм, стал создателем «чека», вождем этого бешеного, фанатичного безумца — Торквемады-Дзержинского и этой змеи из рядов жандармов, он стал их духовным отцом, воодушевлял их.

Ему это стало понятно сразу, он обо всем вспомнил и осознал, воскресил в памяти статьи врагов, обвинявших в его том, что он распял, замучил, опозорил Россию.

— Так, как Федоренко — Дору! — подумал он.

Это его рук дело, а не Федоренко, Дзержинского и других, это он собрал под свои знамена пьяных от водки, крови и ненависти наполовину монгольских дикарей, мстителей, безумцев, преступников, угрюмых каторжников и проституток...

Он, только он — Владимир Ульянов-Ленин, а потому...

Улыбнувшись Федоренко, он дружелюбно ответил:

— Вы действительно верно служите пролетариату! Он не забудет отблагодарить вас, товарищи! Пока тяжело остаться безразличным...

— Мы уже привыкли, — прошипел Дзержинский. — Все более широкие круги населения признаются врагами Советом народных комиссаров, поэтому нам приходится спешить, чтобы успеть... успеть за вами, товарищ!

— Да, да! — шептал, кивая головой, Ленин, стараясь сохранить спокойствие и любезную улыбку на желтом монгольском лице.

Сопровождаемый Дзержинским, Федоренко и патрулем, он вернулся к машине и поехал в Кремль.

Его поджидал секретарь.

— Важные сообщения от нашей делегации, ведущей переговоры о мире, — сказал он, протягивая несколько телеграмм.

Ленин сел за стол и принялся читать депеши Троцкого, хмуря при этом брови и потирая лоб. Вести не были радостными. Германия выдвинула еще более тяжелые требования. Член российской делегации, бывший царский генерал Скалон, лишил себя жизни, оставив полное обвинений письмо.

— Я отвечу завтра, после заседания Совета, — шепнул Ленин. — Прошу созвать его на восемь часов утра.

Секретарь вышел, но вскоре снова постучал в дверь.

— Товарищ Дзержинский прислал мотоциклиста с письмом, — сказал он, войдя. — Ему нужен немедленный ответ.

Ленин открыл протянутый секретарем конверт и достал из него красный лист бумаги со смертным приговором гражданке Ремизовой, у которой перед покушением жила Дора Фрумкин.

На отдельном листе председатель «чека» писал, что приговоренная попросила о милосердии товарища Ленина. Дзержинский советовал отказать, так как связь между казненной Фрумкин и гражданкой Ремизовой не вызывала сомнений.

— Ремизова... Ремизова... — повторил Ленин. — Когда я слышал эту фамилию?..

Он пожал плечами и написал на красном листке два слова:

— Приговор утверждаю.

Секретарь покинул кабинет.

Ленин ходил по комнате. По телу пробегали судороги, чувствовался пронзительный холод. Он не мог успокоиться.

— А не выпить ли горячего чаю... — подумал он.

Стрелки часов приближались к четырем пополудни. Метель не прекращалась. Она хлестала по окнам, шелестела по стенам, завывала в трубах.

Ленин старался ни о чем не думать. Он знал, что его сейчас же охватят сомнения, родившиеся под крышей «чека». Ему тем временем необходимо было оставаться твердым, бескомпромиссным и спокойным, потому интуиция подсказывала, что предстоит очередной бой в Совете комиссаров. Он уже начал обдумывать план своего выступления и способы убеждения наиболее упорных товарищей, как вдруг заметил лежавший на полу конверт от письма Дзержинского.

Подняв его, он прочитал красную надпись: «Всероссийская, чрезвычайная следственная комиссия по делам контрреволюции, саботажа и спекуляции».

— Следственная комиссия? «Чека», — улыбнулся Ленин, пожимая плечами. — Нет! Это неизвестная до сих пор форма юстиции. Это перчатка, брошенная нравственности всего мира! Обвинитель и — одновременно судья и палач! Это не уместится ни в одной юридической голове Запада! А у нас, в «святой» России, пройдет! Не зря полицмейстер Богатов рассказывал, как крестьяне сами обвинили цыгана и татар в похищении коней, сами осудили их на смерть и наказали, забивая жердями и отдавая на съедение муравьям! Крестьян это не удивит, а мне они сейчас нужны больше всего!

Он громко рассмеялся и перебирал конверт пальцами. Через мгновение он заметил, что внутри его лежит маленький, смятый обрывок бумаги.

Развернув его, он в ужасе вскрикнул.

Это был листок, на котором три месяца назад он написал Елене Александровне Ремизовой разрешение обращаться к нему лично по каждому вопросу...

— Ремизова! Елена... Ремизова.

Золотистая, склоненная над вышивкой головка, голубые, полные доброго блеска глаза... страстные, посылающие его на месть за погибшего брата губы... Это она просила его о милосердии?

Он бросился к телефону и набрал номер «чека».

Дзержинский долго не подходил к аппарату. Наконец Ленин услышал его голос.

— Прошу пока приостановить исполнение приговора в отношении Ремизовой и завтра же связаться со мной! — крикнул он запыхавшимся голосом.

Дзержинский не отвечал. Вероятно, просматривал бумаги. Ленин отчетливо слышал их резкий шелест.

— Гражданка Ремизова Елена Александровна фигурирует в деле о покушении 1 января текущего года; обвиняемой доказано, что в ее квартире в Петербурге на улице Преображенской под номером 21 находилась исполнительница покушения гражданка Дора Фрумкин. Гражданка Ремизова приговорена к смерти через расстрел, — медленным голосом читал Дзержинский.

— Задержите исполнение приговора до завтра... — снова крикнул Ленин.

— Несколько минут назад мне сообщили, что приговор приведен в исполнение. Вот я читаю: Ремизова, номер 1780, переведена из Петербурга в связи с...

Ленин бросил трубку и заревел:

— Проклятие... Проклятие!.. Подлое чудовище... Кровавый палач... бессердечный... безумный... преступный...

Как всегда четко работающий разум сразу задал вопрос:

— Кто? О ком ты говоришь?

Ленин сдавил виски и протяжно завыл, так же, как выла отчаявшаяся, обезумевшая старая еврейка в подземельях «чека».

— Это я-а! Это я-а-а!

Двери приотворились. В кабинет заглянул обеспокоенный секретарь.

Ленин сразу же замолк, стиснул зубы, сощурил глаза и, засунув руки в карманы, безразлично спросил:

— Что случилось?

— Мне показалось, что вы... звали, Владимир Ильич...

— Нет! — коротко возразил он. — Но это хорошо, что вы пришли. Садитесь и пишите. Я буду диктовать.

Он ходил по комнате, сгибал и распрямлял пальцы и говорил отрывочными фразами:

— Каким бы тяжелым н был мир для России... помнить... мы должны помнить, что... огромные жертвы... даже собственную жизнь... и жизнь самых близких... самых дорогих... самых дорогих созданий... мы должны отдать... на благо пролетариата... который отберет у врагов все... что мы потеряли в настоящий момент...

Секретарь записал и ждал.

Ленин молчал... Он стоял, не двигаясь, перед окном.

Голова диктатора тряслась, широкие плечи вздымались и опадали... В глазах чувствовался разъедающий жар...

Никто, никто не вернет мне Елену... Елену...

По желтым щекам пробежала слеза, оставляя после себя обжигающий след.

Ленин стиснул пальцами горло, чтобы не взвыть, сделал глубокий вздох, вытер украдкой влажные глаза, развернулся и глухим, хриплым голосом процедил:

— Завтра закончим, товарищ... Я устал... Мышление не работает. Темно вокруг... стонет пурга... морозно... Уже глубокая ночь... только умирать можно... умирать... в такую проклятую ночь!

Он взглянул на удивленного секретаря и вдруг высоко, пронзительно крикнул:

— Прочь! Прочь!

Молодой человек выскочил перепуганный.

Ленин восстановил в памяти фанатичное, подергивающееся лицо Дзержинского, весь содрогнулся, заткнул пальцами глаза и уши, сжал челюсти и упал на диван, шипя:

— Елену убили! Убили...

За дверями на посту сменялись солдаты, повторяя угрюмыми голосами ночной пароль:

— Ленин... Ленин...

ГЛАВА XXVIII

Москва умирала... от голода, ужаса и непрекращающегося ни на мгновение кровотечения.

Уже отзвучало эхо позорного мира с Германией.

Ленин вспомнил об этих днях с содроганием и отвращением. Он, русский, вынужден был умолять комиссаров — евреев и латышей, чтобы те согласились на неимоверно тяжелые, унизительные немецкие условия, так как, не достигнув мира, власть пролетариата развалилась бы как плохое видение. С трудом получив согласие товарищей, он вздохнул с облегчением и еще раз доказал, что диктатура пролетариата по сути своей была диктатурой журналистов.

В сотнях статей позорный мир был представлен как благодетель нового правительства, намеренного дать России возможность передышки и восстановления сил. Легковерных рабочих и темных крестьян обманывали и одурачивали обещаниями скорой революции в Германии и воссоединением с товарищами Запада, откуда Россия могла бы черпать новые резервы для быстрого развития страны и опережения «прогнившей Европы».

Это эхо затихло.

Обедневшая, обезлюдевшая Москва вела нищенское существование, а развевающееся и хлопающее на ветру красное знамя коммунизма отсчитывало, казалось, словно контрольный аппарат, все новые и новые потоки крови, которые пускала «чека» на Большой Лубянке и на Арбате.

По рынкам и площадям сновали угрюмые, оборванные, худые фигуры бывших чиновников, офицеров, интеллигентных женщин, иногда аристократок, которые не успели укрыться в Крыму или за границей. Мужчины продавали на улицах остатки имущества, сигареты и газеты; пожилые женщины —

какие-то приготовленные дома лакомства и выпечку, молодые все чаще – собственное тело.

Милиция и военные патрули охотились на бедных, обнищавших «спекулянтов», отбирали их мизерный заработок и отправляли в подземелья «чека», где их гнали под плюющий пулями установленный в окошке подвала пулемет. Ни у кого не было времени, чтобы заняться мелкими делами, наказывать тюрьмой и кормить в условиях бушующего голода. Пулемет изрыгал пули ночи напролет.

Черный автомобиль выбрасывал из своего нутра, отвозя за город, новые горы трупов.

Время от времени по улицам Москвы проносились господские лимузины, везущие комиссаров в кожаных куртках с неизменными папками под мышкой, символом власти над жизнью и смертью побежденного и угнетенного общества.

По ночам патрули, словно голодные волки, врывались в квартиры перепуганных граждан, проводили обыски, забирали с собой мужчин, женщин, детей, гнали их на принудительные работы и смерть.

После нападения властей подкрадывались другие группы. Это были бандиты; под видом комиссаров они врывались в частные дома, насиловали и грабили, вели бои с милицией и отчаявшимися жителями измученной столицы.

Церковные колокола молчали, а на площадях и Кузнецком мосту военные оркестры громко играли «Интернационал». Церкви, музеи, университет стояли закрытые и пустынные, зато в театрах лучшие артисты во главе с недавним любимчиком царя Федором Шаляпиным пели, играли, танцевали и ставили представления для уличных зевак, пьяных от крови солдат, темных и преступных отбросов, всплывших со дна российской жизни.

Ленин после памятной, проведенной у Дзержинского ночи не покидал Кремля.

У него была точная информация, что в Москве свирепствует отважный, готовящий покушения и неуловимый террорист Борис Савинков. Доказательством этому служили почти ежедневно появляющиеся трупы убитых комиссаров и правительственных агентов.

ОФИЦЕР КРАСНОЙ АРМИИ

МОРЯК ИЗ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ВЫСЛАННОГО НА БОРЬБУ ПРОТИВ АДМИРАЛА КОЛЧАКА

На шедших переодетыми Дзержинского и Федоренко напала группа поляков, убивших бывшего жандарма и ранивших председателя «чека». Тайная еврейская организация уничтожала своих сородичей, работающих в московском «чека», которым руководил хитрый и жестокий Гузман. Молодой офицер Клепиков, неотступный товарищ Савинкова, точными выстрелами укладывал трупы людей в кожаных куртках и непонятным образом избегал погони и засад.

Троцкий, Каменев, Рыков и Бухарин не отваживались выйти без усиленного эскорта за стены охраняемого латышами и финнами Кремлевского дворца.

Начали кружить беспокойные, страшные для новых властителей слухи.

Возник какой-то до сих пор неизвестный «союз спасения отчизны и свободы», готовящий восстание и мечтающий о взятии Москвы, раздавленной кровавыми руками Ленина, Троцкого и Дзержинского, а также Петрограда, в котором безумствовал Зиновьев.

«Чека» похищала все новые и новые сотни, тысячи виновных и невинных людей, давя их колесами своей окровавленной машины.

В Москву поступали протесты из-за границы, на которые Совет народных комиссаров отвечал полными увиливаний и фальши продиктованными Лениным нотами, а Гузман, совершая налеты, убил английского капитана Кроми, несколько французских семей и, наконец, поручил своему агенту Блюмкину, чтобы тот спровоцировал покушение социалистов-революционеров на немецкого посла в Москве, барона Мирбаха...

Ленин, читая в заграничных письмах энергичные протесты, щурил глаза и говорил, смеясь:

— Это все лицемерные штучки! Европа упилась кровью и теперь все стерпит, все выдержит и со всем смирится! Боясь нас, разражаясь громом проклятий, она кокетничает с нами, как старая проститутка! Помните, как умоляюще и покорно заглядывали нам в глаза представитель Франции — капитан Садуль, английский агент Локарт, американец Робинс, подосланный послом Соединенных Штатов? Им не удалось удержать нас

от подписания мирного трактата и помешать в организации армии для революционных целей, поэтому-то они мечутся и угрожают. Но вот что я скажу вам, товарищи: достаточно шевельнуть пальцем и заявить, что, не признавая никаких обязательств царя, мы все же выдадим им разрешение на добычу на Кавказе или Урале, как они прибегут и будут махать перед нами хвостом как собаки!

В Кремль приходили кипы писем и заявлений с просьбами о снисхождении в отношении людей, которые умирали в тюрьмах и были приговорены к смертной казни.

Эти заявления чаще всего были адресованы Ленину, а некоторые — жене всемогущего диктатора.

Однажды Крупская пришла к мужу и робким голосом сказала:

— Я слышала, что Дзержинский, Володарский, Урицкий и Гузман позволяют себе необычайную жестокость... Я хотела попросить тебя вмешаться, ведь это ужасные, невыносимые вещи, позорящие пролетариат, народ, правительство!

Ленин опустил голову.

Крупская заметила, что возле ушей мужа выросли мощные желваки.

Внезапным движением он обратил к ней искаженное гневом и отчаянием лицо и тонким голосом прокричал:

— Только я могу все вытерпеть... все в себе подавить, а они — враги народа — заслуживают снисхождения?! Естественно! Я должен, сжимая сердце, днем и ночью отгонять от себя черные, страшные мысли, потому что Ленин — чудовище, палач, сумасшедший, а они — бедные, невинные, обиженные! Уйди прочь и не смей говорить мне о снисхождении!

Максиму Горькому, критиковавшему ужасную «чека», он ответил резким письмом, раз и навсегда заставив писателя не только замолчать, но даже отказаться от лицемерных объяснений по поводу жестокости российского народа.

В своих газетах диктатор опубликовал коммюнике, чтобы ни к нему, ни к его жене не обращались по делам заключенных, так как эти просьбы будут безрезультатными.

В марте пришли первые сообщения о вооруженных восстаниях против Советской власти. Долгую гражданскую войну, не-

уверенно и с опозданием поддерживаемую бывшими союзниками, начал Ярославль, утонувший после затяжных боев в крови повстанцев, так как кроме убитых на поле боя, по приговору полевого суда, было казнено 3500 офицеров.

В Пензе военнопленные чехи, сформировав под командованием генералов Чечека, Сыровоя и Гайды свои полки, выступили на Урал.

На Дону, Кубани, в Оренбурге и Забайкалье поднимались казаки. На историческую арену возвращались известные имена «белых» вождей: Корнилова, Каледина, Краснова, атамана Дутова, Деникина, Врангеля.

Деморализованные солдаты и своевольные толпы рабочих, составлявшие Красную Армию, беспорядочно отступали по всем фронтам, прижимаясь к Москве.

На западе, юге и в Сибири начинали действовать генералы Юденич, Миллер, Алмазов, Колчак, атаман Семенов и опасный безумец и мистик «белый Дзержинский» — Унгерн-Штернберг.

Угнетенный народ поднимал голову. Все высматривали спасителей и готовы были им помочь.

Совет народных комиссаров терял голову. Товарищи в панике прибегали к своему вождю и, вырывая на голове волосы, кричали:

— Пришел час расплаты! Идет смерть... что вы на это скажете, Владимир Ильич? Что с нами будет?

Ленин издевательски улыбался и говорил:

— Что будет? Вас белые повесят за воровство и убийства, меня — за идею, а всех вместе — за шею! Не хотите этого? Тогда надо прекратить изображать из себя больших начальников. Беритесь за работу, товарищи, так как это было во время Октябрьской революции! Троцкий — хороший организатор, пускай берет Тухачевского, Брусилова, Буденного, Блюхера, Фрунзе, Эйхе и срочно создает настоящую армию, агитирует, любыми методами и обещаниями привлекает в наши ряды немецких, австрийских, венгерских военнопленных и бывших царских офицеров, пускай начинает оборонительную и диверсионную войну! Мы должны объявить «военный коммунизм» и выдвинуть лозунг: все для войны во имя победы пролетариата!

— Контрреволюция располагает значительными силами и будет поддержана Францией, Англией и Японией, — заметил Каменев. — У меня есть информация от наших агентов Иоффе, Воровского, Литвинова, Радека, что вопрос об интервенции уже решен в Париже и Лондоне; поговаривают даже о возможности введения блокады с тем, чтобы вызвать в России голод...

Ленин рассмеялся.

— Не так страшен черт, как его малюют, товарищи! — воскликнул он. — Не так просто начать интервенцию и направить десант в Россию с ее пустынными просторами! Все в худшем случае ограничится портами... Ерунда! Наши доморощенные патриоты сами развалятся, как идолы из сохнущей глины!

— Неизвестно! — вмешался Рыков. — Там есть такие способные, боевые командиры, как генералы Корнилов, Деникин, Врангель, Юденич...

— Безусловно! — пожал плечами Ленин. — Против них мы пошлем портного-журналиста Троцкого, желторотого капитана Тухачевского, старшину Буденного... Они будут вбивать в мужицкие головы только одно: «Власть — рабочим и крестьянам, свобода и счастье — пролетариату», а «белые» генералы сначала пробормочут: «Земля — крестьянам», а после первой победы примутся орать: «Да здравствует великая, неделимая Россия, да здравствует царь-батюшка!» Гм, гм! Как думаете, пойдут за ними мужики, которые уже захватили землю и зарезали своих господ? Никогда! Поэтому необходимо позаботиться о двух вещах: вбить в головы крестьян и рабочих, что «белые» несут им виселицу, и приготовить армию к серьезным военным действиям!

Все молчали и с глубоким уважением слушали приглушенный, полный силы и уверенности голос Ленина.

Он тем временем задумался и после паузы сказал:

— Есть еще одно дело... важное, очень важное и срочное! Мы должны перевезти царя из Екатеринбурга в Москву. Мы не можем отдать его «белым»! В их руках он станет для нас опасным оружием... Сегодня вечером я созываю заседание, на котором будут вызванные мной товарищи из Екатеринбурга.

В кабинете Ленина в тот же день состоялось тайное совещание. Комиссары и члены исполнительного комитета: Свердлов,

Троцкий, Калинин, Бухарин, Дзержинский со своими агентами Аванесовым и Петерсом, а также руководители «чека» в Екатеринбурге: Пешков, Юровский и Войков долго совещались о том, куда перевезти царскую семью.

Ввиду бушующих по всей территории между Волгой и Уралом восстаний было решено временно оставить Николая II в ипатьевском доме в Екатеринбурге под охраной местного Совета рабочих, солдатских и крестьянских делегатов.

На этом совещание было закончено, и товарищи покинули кабинет диктатора.

Ленин задержал только коммунистов, прибывших из Екатеринбурга и долго с ними беседовал.

— Если бы я сказал, что царя и его семью необходимо немедленно уничтожить, московские комиссары сразу же подняли бы крик. Они слишком восприимчивы к воззваниям заграничных газет! С вами я буду говорить открыто...

Наклонившись к Войкову, Юровскому и Пешкову, он прошептал:

— В случае минимальной опасности занятия вашего города «белыми» убейте всю семью Николая Кровавого, не щадите никого, чтобы не оставлять свидетелей! Вы же знаете, что начнутся расследования, скандалы, крики! Родственники из Германии и Англии, которые до сих пор ничего не сделали для спасения Романовых, станут внезапно благородными и полными сочувствия! Объявят при дворе траур! Ха-ха! Совет народных комиссаров в таком случае вынужден будет возложить всю ответственность за убийство на ваш екатеринбургский Совет. Вы должны кого-то обвинить и казнить, чтобы на этом дело закончилось раз и навсегда.

— Мы обвиним председателя нашего Совета Яхонтова, потому что он бывший меньшевик, человек ненадежный! — заметил со смехом Войков.

— Найдутся и другие, — добавил Юровский, внимательно глядя на товарищей.

— Уничтожение Романовых я поручил бы товарищам Юровскому и Белобородову, — сказал Пешков.

— Я поддерживаю мнение товарища, — сказал Войков, собрав на затылке светлые кучерявые волосы.

– Хорошо, я поручаю это вам, товарищ Юровский! – воскликнул Ленин. – А вы сообщите мне об этом по телеграфу, только очень конспиративно... О нашем сегодняшнем решении не должен знать никто. Никто!

Он посмотрел на них изучающим, пронизывающим взглядом и начал прощаться.

После того как они вышли, Ленин потер руки и прошептал:

– Исполнится одно личное желание всей жизни!

Провожая на вокзал уезжавших в Екатеринбург коммунистов и пожимая им руки, он несколько раз повторил:

– Но поспешите, поспешите, дорогие товарищи!

Он с нетерпением ждал вестей. Его даже мучила бессонница от внутреннего жара и хищного беспокойства. Ничего не могло его тронуть и потрясти.

Он с безразличием выслушал доклад о том, что Володарского в Петрограде растерзала толпа, о взятии «белыми» Казани, о победном шествии чехов и поражениях Красной Армии в Сибири и под Архангельском.

Он не мог думать ни о чем. Днем и ночью он видел перед собой коронованную голову Романова, сына убийцы брата; воображал стоны и плач убиваемых царских детей, дрожал от мысли, что, возможно, вскоре его позовут к телеграфному проводу и он услышит пароль:

– Мы готовы...

Наконец в середине июля этот долгожданный момент наступил.

Телеграфировал председатель екатеринбургского Совета Яхонтов. Он обсуждал способы защиты города и охраны коронованных заключенных от приближавшихся «белых» войск.

Ленин подробно обо всем расспросил, советовал, благодарил Яхонтова за производительный труд и преданность делу.

По окончании телеграфного разговора он остался возле аппарата и ждал. Через несколько минут сигнализировал Юровский.

– Мы готовы... – простучал аппарат.

– Кончайте! – телеграфировал дежурный чиновник по приказу Ленина.

Спустя три дня по всему свету неслась угрюмая весть, что царь с ближайшими родственниками был убит в подвалах Ипатьевского

дома, превращенного екатеринбургским Советом в тюрьму для самого могущественного недавно монарха в Европе.

Посыпавшиеся на голову Ленина обвинения по поводу беспримерной, даже в революционный период, жестокости и бесправия вскоре умолкли, так как человеческие сердца очерствели, а разум метался в кровавых испарениях войны и ежедневных узаконенных убийств.

Обманутая Европа, сбитые со следа сторонники царя и встревоженные крестьяне поверили, что председатель екатеринбургского Совета Яхонтов вместе с коммунистами Грузиновым, Малютиным, фанатичными гражданками Апроскиной, Мироновой и девятью красноармейцами без ведома центральных властей, руководствуясь гневом народа, совершили возмездие, убив Николая Кровавого, его супругу, детей и немногочисленную прислугу.

После смерти царской семьи Ленин успокоился.

Несмотря на бушующий по всему миру вихрь нападок, обвинений, проклятий, самых черных пророчеств, поражений Красной Армии и победного наступления контрреволюционных войск, он сохранял необычайное спокойствие. Он проводил бесконечные совещания с инженерами, намереваясь провести электрификацию страны, чтобы оживить замершую промышленность и ослепить население темной России новым благом пролетарского правительства, одаривающего бедные избы с соломенными крышами электрическим светом.

Он так переживал это, будто видел в электричестве убежище от нараставших трудностей.

Однако за настроением диктатора скрывались другие, более глубокие причины. С него свалилась невыносимая тяжесть. Он чувствовал, что исполнил последнее обязательство, его жизнь закончилась и теперь он свободен. Свободен от клятвы, данной на заре сознательной жизни. Он всегда помнил о ней. Она служила ему фоном для работы и размышлений, дерзких выступлений, еще более смелых намерений, стоявших на грани безумия, поражавших врагов и привлекавших сердца и души сторонников.

Эту клятву он произнес в самый трудный момент и помнил о ней, как о пощечине, как об неотмщенной обиде.

Он видел возмущенное девичье лицо, пылающие огнем голубые глаза, распущенные золотистые волосы и губы, произносящие предложения, безразличные, на первый взгляд, но отравленные сомнением, а возможно – пренебрежением.

Его клятва, произнесенная угрюмым, холодным голосом, воплотилась в жизнь, превратившись в гору окровавленной, порубленной и поруганной плоти...

Его уже ничего не связывало с прошлым.

Он весь существовал в абсолютном будущем, возвышался над бытием огромного организма российского народа, а может, и всего человечества.

В его душе была холодная пустота, потухшее пожарище, как у человека, который предпринял последнее усилие в огромном труде всей жизни; над этой пустыней, в которой не было ни отчаяния, ни надежды, летела спокойная, не знавшая сомнений мысль.

Она была подобна пламенному вихрю, разбрасывающему вокруг себя горячие искры, зажигавшему людские сердца, уничтожавшему все на своем пути, ведь для него это была только мертвая глыба, которую он вращал, ковал и бросал дальше в бездну времени, в запутанный лабиринт случайностей.

Ленин становился могучей машиной, безразлично и быстро выбрасывающей из себя слова, мысли и действия, бывшие для нее самой чуждыми и лишенными смысла. Машина работала четко, со все большими размахом и скоростью, поглощая в себя различные внешние явления и видоизменяя их в необходимые, большие и маленькие, твердые, как камни, и хрупкие, словно тонкие, рассыпающиеся стеклянные осколки.

Он начал смотреть на людей другими глазами, уже не оценивая их обычной мерой человеческих ценностей.

Перед ним были только элементы огромной машины, которую он, как никогда не останавливающийся мотор, приводил в движение и гнал вперед, поглощая пространство и время.

Он уже не обращал внимания на то, что разные люди, как Троцкий, Зиновьев, Сталин и Дзержинский, крутились в механизме мотора, словно разогнавшиеся шестерни, он не думал, что между ними могут возникать трения и несогласованность

ЛЕНИН ВЫСТУПАЕТ С РЕЧЬЮ В МОСКВЕ

движений. У него было ощущение, что он – мотор, придает всему общее направление, одинаковую динамику и согласованную скорость. Он знал, что, заметив отсутствие гармонии, без всяких сомнений выбросит испорченную часть машины, раздавит ее на сотни осколков, уничтожит, переплавит.

Сидя в своем кабинете, он сжимал руки и раздумывал о том, что уже сделал и к чему стремился.

Тогда перед ним возникала светлая цель, за которой он отчетливо видел новую жизнь человечества и какое-то незнакомое солнце, которое вставало над землей сразу в зените. Оглядываясь назад, он безразличным взглядом охватывал шум, хаос противоречивых устремлений и идей, руины, могилы, горы убитых мучеников, миллионы сражавшихся, красные от крови моря и реки, вдыхал тошнотворный, гнилой воздух, который источали заполненные трупами, едва присыпанные землей ямы.

– Разрушение... смерть... хаос – и ничего больше! Я только начинаю делать первые шаги... – шептал он и спрашивал кого-то, поднимая брови:

– А может, в этот момент прервется моя жизнь? Кто же найдет в себе упорство и силу, чтобы вывести народ из хаоса и кровавого тумана? Кто продолжит начатое мной дело? Мысль о нем родилась в момент страстного воодушевления, а не в вихре гнева или порыве возмущения. Моя душа в муках зачала ее и носила в лоне своем под сердцем долгие годы мучений и скитаний! Она кормила ее уксусом и полынью, поила беспокойством о людях, их поте, слезах и крови. Баюкала перед сном никогда не прекращающимся стонущим воем и рыданиями. Наставляли и благословили на дерзкую жизнь – великая человеческая мудрость и великая убогость его сердца, неограниченная, гордая сила, создающая великолепные произведения и ступающая по миллионам слабых и невежественных. Какой-то извечный наказ раскрыл глаза мои, чтобы показать лучезарную справедливость, погрязшую в отвратительной преступности. Незнакомое создание, неограниченная мощь разрубила нить моей жизни и толкнула разум, страсть и силы на дело разрушения, потрясений, возвращения рассудка и создания новой жизни. Кто ощутил этот наказ? Кто слышал голос, требующий жертв и усилий

для установления указывающих пути вех? Где тот, кто пережил мгновения немого экстаза и мог бы заменить меня?

Беспокойство сжимало его сердце. Он знал создателей российского большевизма – своих ближайших помощников. Это были смелые, пронизанные идеей, честолюбивые, не знающие тормозов люди. Однако никто из них не был похож на него. Зато он – сотканный из воли и разума, – имел практический, эластичный, лишенный эгоистического начала ум. Неограниченный, абсолютный индивидуалист, думающий одновременно об уничтожении свободы духа и чувств путем подтягивания окружающих до собственного уровня, чтобы все они, став одинаковыми, могли набрать общее ускорение и силы и уничтожили индивидуальность во имя коммуны. Он нападал и отступал, умел признать собственные ошибки, без сомнений отбрасывая то, что еще мгновение назад считал необходимым. Однако делал он это затем, чтобы вновь нападать и идти вперед, все время вперед!

Троцкий и остальные, отстаивающие свои решения, гордые, уверенные в себе, несгибаемые в намерении всегда быть непогрешимыми и побеждавшими руководителями, верили в существование вещей невозможных, совершать которые они не смели, размышляя о компромиссе между возможным и абсурдным... Наконец, каждый из них стремился быть незаменимым, стать выше другого, видя в нем соперника, а иногда и врага. Эти люди, становясь под новые знамена, не отреклись от старых кандалов, они признавали нерушимые принципы морали, были бессильны перед традициями и обычаями, они рассуждали категориями логики старых поколений, не верили во всемогущество жестокой, волшебной силы.

– Я должен жить, потому что коммунизм выйдет на бездорожье и погибнет в пропасти противоречий и неверия в успех! – думал Ленин. – Все они не верят в Бога... Я верю в божество... В то, чей всемогущий зов всегда слышал. Я не знаю его имени, однако вижу, как оно выходит из хаоса, из кровавой мглы. Я распознаю божество, как свет после мрака. К этому божеству, понятному, близкому, человечному, я веду всех людей, со всех концов земли... Бог являлся людям в виде огненного столба, пылающего куста, уничтожающей молнии. Я жажду быть столбом,

кустом и молнией, чтобы человеческое стадо увидело обличье земного Бога, которому можно заглянуть в зрачки, коснуться его ладонью, услышать голос его... Я тот, кто возносит человека на пик горы, ведя его каменистыми тропами, вызывающими кровотечение в стопах и заставляющими слабых падать и корчиться в муках голода, жажды и страха; со мной дойдут только сильные и выносливые, которые, став на поднебесной вершине, отважно скажут: «Скрывающееся веками Божество, покажи нам свое настоящее обличье, потому как очищены мы невыносимыми мучениями, страх освободил нас от пут заботы о себе, и свалилась с нас скорлупа вожделения, теперь мы равны тебе, товарищ по космической жизни, Великий Кузнец, использующий силу неизвестных нам сфер, эхо которых звучит в наших душах, а блеск — пронзает наши сердца».

В этот момент ему хотелось поделиться своими мыслями с кем-то близким, очень дорогим, безмерно добрым и снисходительным.

— Мать? — подумал он и вздохнул. — Ушла... ушла с мучительным сомнением, будет ли задуманное ее сыном дело добрым и справедливым... Она умирала в беспокойстве и тревоге. Кто другой мог бы понять меня и безбоязненно похвалить или поругать?

Из мрака смотрят голубые, источающие блеск глаза, блестят золотистые, освещенные керосиновой лампой волосы, двигаются пурпурные, страстные губы.

— Елена! Елена! — шепчет диктатор и протягивает руки. Вдруг доброе, бредящее лицо искривляется, покрывается морщинами, бледнеет, искажается в ужасе, полные безумного страха глаза выходят из орбит, губы чернеют и, широко раскрывшись, протяжно воют:

— Милосердия! Убивают! Пощады!..

Ленин опускает голову, зажимает пальцами глаза и, стуча зубами, дрожит. Через мгновение вскакивает, грозит кулаком и кричит:

— Исчезни призрак прошлого! Исчезни, сгинь навсегда!

Затем стонет и умоляет кого-то, кто стоит близко-близко, шелестит дыханием и горячо шепчет.

Ленин умоляет долго и жалобно:

— Уйди!.. Не мучай!.. Прости!..

Очнувшись, он протирает глаза и бросает взгляд на календарь.

Переворачивает листок.

— 30 августа... — читает он машинально.

Записано ли что-нибудь на этот день? Ах! Большой митинг, на котором он должен дать разъяснения по поводу смерти Николая Кровавого, очистить от претензий партию, бросить тень подозрения на народников, высмеять и унизить заграничных дипломатов и писак! Да, это — завтра!

Машина начинает работать исправно, на полную мощность, с упорством движений и силы.

Ленин планирует свое выступление спокойно, жестко, логично и убедительно.

Закончив, ложится на диван и вонзает взгляд в потолок.

Он не думает ни о чем.

Перед ним встает море голов, горящих, бездумных и угрюмых глаз, кричащих губ, поднятых плеч...

Беспомощное, слепое, заблудшее стадо, и он — пастух, вождь, пророк, вынесенный на гребень морской волны, на вершину красной трибуны.

Он засыпает... Без снов.

Просыпается от шагов вбежавшего человека

Открывает глаза и видит стоящего перед ним секретаря.

— В Петрограде еврей Канегиссер убил Урицкого! — кричит он запыхавшимся голосом. — Удалось предотвратить покушение еврея Шнеура на товарища Зиновьева...

— Отваливаются шестеренки машины... — ворчит Ленин, продолжая мучившую его ночью бессознательную мысль. Заметив удивление и страх на лице секретаря, он окончательно приходит в себя.

— Диктатура пролетариата — это огромная махина, уничтожающая старый мир, — говорит он с улыбкой. — Враги стараются ее уничтожить, но ломают только отдельные шестерни... Мы исправим ее, и она будет, как прежде, разбивать, душить! Прошу составить телеграмму с соболезнованиями и отправить в красный Петроград!

Около полудня он выходил на митинг.

Перед ним шли финны под командованием прокладывающего дорогу к накрытой красной тканью трибуне Халайнена.

Внезапно возникло замешательство.

Кто-то громко выкрикнул:

– За истязаемый народ! За преступления!

Этот высокий и звонкий голос наверняка принадлежал молодой женщине, охваченной возмущением или страстным отчаянием. Толпу, словно внезапный удар острой сабли, пронзил говорок.

Финны остановились, рядом раздался одинокий выстрел.

Ленин споткнулся и принялся руками хвататься за воздух, чувствуя, что проваливается в темную бездну...

Финны поддержали его, подхватили на руки и вынесли.

Толпа за их плечами взвыла от ужаса, принялась выкрикивать проклятия, раздавались какие-то возгласы не то страха, не то триумфа; люди толкались, волоча кого-то и дергая за бесформенные, окровавленные тряпки...

В поздние часы по Москве бежала радостная для одних и беспокойная для других весть.

Фанни Каплан и Мойша Глянц совершили покушение на вождя пролетариата, легко его раня.

Преданная правительству толпа убила Глянца на месте. Финнам удалось защитить женщину и доставить ее в «чека». Ответственность за подлый удар, нанесенный революции, должны были понести контрреволюционеры.

Об этом диктатор уже не знал.

Он был без сознания и метался в горячке.

Пуля прошила плечо и застряла в спине.

Врачи с сомнением кивали головами. Рана была тяжелой, возможно, смертельной...

Ленин лежал с открытыми глазами, кривил спекшиеся губы и пронзительно, горячо шептал:

– Уйди... Не мучай Прости!.. Товарищи!.. На ваши плечи возложены свобода и счастье человечества... Николай Кровавый... не мучай!.. Прости! Еле...

Он не закончил, потому что начал тяжело хрипеть. В горле клокотала и шипела набегающая кровь, на бледных, вздутых щеках расцвели лепестки красной пены...

ГЛАВА XXIX

Весть о покушении на Ленина молниеносно разнеслась по всей стране. Она вызывала разные мысли, пробуждала новые инициативы.

Контрреволюционеры, объединенные вокруг ведущих гражданскую войну «белых» генералов, и уничтожаемые диктатором социалисты подняли головы.

Со всех концов России летели в Москву донесения о вспыхивающих восстаниях, возникновении местных правительств – откровенно правых; либеральных; социалистических; состоящих из народников, входивших в состав Национального Собрания; наконец – смешанных, напоминающих несогласованное, противоречивое правительство Керенского.

Между этими новообразованиями вскоре разгорелась классовая и идейная борьба, что ослабило значение и силы возникающих правительств.

Об этом было точно известно в Кремле, где Советом народных комиссаров вместо Ленина руководили Троцкий, Каменев, Сталин, Бухарин, Рыков, Чичерин.

Троцкий, энергичный организатор, захватывающий оратор, совершал чудеса. Под его давлением втянутые в Красную Армию офицеры большой войны в ускоренном темпе обучали пролетарских офицеров и брали в клещи своевольные, распущенные войска, вводя по поручению народных комиссаров строгую дисциплину.

Бесповоротно отменены были митинги и солдатские советы, установлен был такой порядок и безусловное повиновение, о которых в казармах довоенной армии никто никогда не слышал. Приставленные к командирам специальные политические комиссары были заняты воспитанием солдат в духе коммунистического патриотизма и надзором за настроениями среди солдат и офицеров.

Россию, остававшуюся под властью Кремля, охватил «военный коммунизм».

Принципом права стала формулировка: «все, что отчетливо не разрешено, строго запрещено и безжалостно наказуемо».

«Чека» работала, как огромный молот, разрушавший человеческие жизни. Все население состояло из шпионивших и тех, за кем шпионили.

Стены имели глаза и уши. Каждое опрометчивое слово искупалось смертью.

По всей стране отлавливались остатки бывшего дворянства, аристократии и капиталистов, применялись провокации, людей обвиняли в участии в несуществующих заговорах, покушениях и преступлениях, а затем бросали под изрыгающие пули винтовок, работающих в подземельях зданий, занятых отрядами «чека».

Троцкий неистовствовал, дергал черную бороду и, впадая в истерику, пронзительно кричал:

— Мы должны уничтожить буржуазию и дворянство, чтобы их семени не осталось! Мы не имеем права щадить врагов, которые могут расколоть нас изнутри!

Китайские, латышские, финские и мадьярские карательные отряды работали днем и ночью.

Офицеры, принужденные голодом и издевательствами к службе во имя диктатуры пролетариата, под надзором мнительных правительственных агентов работали изо всех сил, помогая тем, кто убил их отцов и братьев, изнасиловал их сестер и дочерей, убил царя и запятнал позором отчизну, предав союзников, и подписывал тяжелый для национальной совести мир в Брест-Литовске.

Их напряженный труд приносил ожидаемые Троцким результаты.

Красная армия начала оказывать жесткое сопротивление контрреволюции и даже кое-где переходить в победное наступление.

Разного рода специалисты вынуждены были под угрозой обвинения в саботаже начать работу на фабриках.

Это было трудное и почти невыполнимое задание. Уничтоженные, ограбленные и сожженные рабочими и солдатами про-

мышленные предприятия из-за отсутствия материалов не могли быть немедленно восстановлены и отданы в эксплуатацию. Инженерам с трудом удалось запустить некоторые фабрики только частично, но и они то и дело останавливались, исчерпав запасы сырья.

— Война питает войну! — повторял в своих выступлениях и статьях Троцкий, припомнив слова Наполеона. — Победите стоящего перед вами врага и найдете у него все, что вам необходимо и что «белые» получают от иностранцев!

Карательные отряды и целые орды комиссаров бушевали по деревням.

— Сносите хлеб для армии! — призывали они. — Помните, что победа армии — это ваша победа. Ее поражение повлечет за собой потерю вами земли и вынесение вам судами ваших бывших владельцев и «белых» генералов смертных приговоров!

Перепуганные крестьяне, впечатленные этими речами или под давлением штыков и наказаний, свозили запасы продуктов на сборочные пункты, вздыхали, проклинали в душе и вздрагивали от ожидания предстоящей зимы, понимая, что она принесет голод и болезни.

В этой крестьянской, угрюмой, перепуганной среде уже давно пребывала семья инженера Валерьяна Болдырева.

Они жили в принадлежащей Костомарову деревенской хате.

Это был шестидесятилетний мужчина, выходец из старой дворянской семьи, образованный, в молодости долго пребывавший за границей. Уже в зрелом возрасте он увлекся идеей Льва Толстого о «близости с природой», которая является самым чистым, глубоко христианским источником нравственности. Тридцать лет назад Костомаров осел на небольшом клочке земли, вел образ жизни обычного крестьянина, работая самостоятельно, без помощи наемных полевых и домашних работников. Его окружали за это всеобщее уважение и любовь. Во время бушующего революционного урагана доказательством уважения стало то, что окрестные мужики избрали его председателем сельского Совета. Отказавшись от такой чести, он все-таки сумел удержать своих соседей от нападений на дворянские поместья, от убийств и «иллюминаций». Ему удалось убедить хозяев огромных хо-

«ДУМА РОССИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ»
(моряки ведут подрывную работу и сеют страх в городе)

ОБОГАЩЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ ОБРАЩАЮТ НА СЕБЯ ВНИМАНИЕ ВСЕХ

зяйств, чтобы те добровольно отдали крестьянам землю, а себе оставили столько, сколько могли обработать сами с семьей.

Область, в которой жил Костомаров, была одной из тех немногих, где крестьянская революция не закончилась взрывом стихийных, диких и кровавых убийств.

Старый чудак принял семью Болдыревых любезно, но с подозрительностью.

Первое, о чем он спросил, было:

– Скажите мне честно, Валерьян Петрович, вы намерены только скрываться от революции или будете работать?

– Мы хотим работать, а мой брат говорил, что мы могли бы вам помогать, – ответил Болдырев.

– Помощь мне не нужна, я справляюсь один уже тридцать лет, – сказал Костомаров. – Но если вы инженеры и хотите работать, у меня в голове крутится одна идея...

Они сели и долго советовались.

Несколько недель спустя в большом сарае, стоявшем на окраине деревни Толкачево, возникло неизвестное до сих пор в России коммунальное предприятие.

Это была мастерская по ремонту и усовершенствованию сельскохозяйственной техники.

Однако вскоре ассортимент работ был значительно расширен. По просьбе сельского Совета из города был доставлен неисправный локомобиль, токарный станок и еще несколько механизмов, вывезенных из разрушенной революционными толпами фабрички.

Инженеры привлекли к работе на предприятии бежавших в деревню от голода и принудительного призыва в армию слесарей и кузнецов и приступили к работе в большом масштабе.

Коммунальное общество под руководством старого Болдырева и Петра начало производить американские плуги, косилки, сеялки, сноповязалки и мелкие сельскохозяйственные инструменты.

Георгий Болдырев уговорил мужиков, чтобы они привезли с ближайшего сожженного рабочими металлургического завода и заброшенной шахты шлак и глину. Из этого материала он производил минеральные удобрения и кирпич. Зная, что возникнут проблемы с горючим, инженеры вместе с окрестными крестья-

нами начали добывать из давно оставленных шахт уголь, привозить его в Толкачево и обменивать значительную часть на необходимые товары и материалы в городе.

У госпожи Болдыревой было много работы по обеспечению питанием производственной коммуны, которая разрасталась с каждым днем.

Скромная мастерская по ремонту старых плугов и набивания подков превратилась в завод, имеющий свои филиалы в угольных и глиняных шахтах.

Госпожу Болдыреву назначили главным бухгалтером предприятия, потому что она содержала книги и журналы в таком порядке, что толпы прибывающих не только из Новгорода, но даже из Москвы комиссаров не скрывали удивления. Книги ярко свидетельствовали о коммунистическом принципе контроля трудящихся над предприятием, об отказе от методов, применяемых в капитализме.

Пролетарское правительство, всерьез обеспокоенное упадком промышленности, всячески опекало возникающую в Толкачево коммуну. Для Болдыревых доказательством этого стал призыв в армию всех мужчин в возрасте до сорока лет.

Они немедленно явились на призывной пункт.

Услышавший их фамилию председатель хитро улыбнулся и сказал:

— Э-э, нет! Зачем нам отправлять вас на фронт? Там вы наверняка перейдете на сторону «белых»! Вы нужны нам здесь, и здесь останетесь в своей коммуне. Работайте как раньше!

Он выписал им два свидетельства об освобождении от призыва и попрощался.

Мужики радовались такому результату. Им нравились работящие, изобретательные и способные инженеры. Они понимали, что существование рабочей коммуны предохраняло их от нападок комиссаров. Болдыревым подарили надел земли и совместными усилиями построили для них дом.

Жизнь становилась все более сносной и нормальной.

Госпожа Болдырева горячо благодарила Господа за опеку и помощь, видя, что Он уже вывел их из мрачного лабиринта повсюду поджидающих опасностей и неожиданных ударов.

Теперь она смотрела на мужа и сыновей с удивлением и уважением.

Это уже были другие люди, которых она раньше не знала.

Старый Болдырев с удивительной легкостью оставил свою гнусность и легкомыслие. Он помолодел, у него появилось желание жить и бороться.

Навык многолетнего, успешного администратора, большой профессиональный опыт и глубокие знания раскрылись во всей полноте. Он умел просчитать все возможности, оценить ситуацию, выпутаться из любого клубка проблем, которые с каждым днем умножало наивное правительство невежественных, жестоких, не готовых к серьезным жизненным испытаниям людей. Он ловко лавировал, заставляя серьезно задумываться необразованных, но очень уверенных в себе и упрямых комиссаров, всегда умел склонить к своему мнению товарищей по коммуне.

Имея по натуре мягкий характер, он установил самые лучшие и дружеские отношения с крестьянами, оказывая на них такое сильное нравственное влияние, что они толпами приходили к нему за советом и почитали за счастье, когда он захаживал к ним домой.

Госпожа Болдырева, всегда спокойная, любезная и добрая, в любой момент была готова помочь соседкам в их домашних проблемах.

Она кроила для них платья, успокаивала домашние ссоры, насколько могла и умела — учила и лечила детей.

Сыновья под воздействием господствующих когда-то дома стычек между родителями и смешной запоздалой любви отца в Петрограде все больше теряли к нему уважение, глядя на мать с жалостью. Теперь они изменились до неузнаваемости. Им импонировали способности и энергия старого Болдырева, вызывая иногда нескрываемое восхищение.

Талантливые в своей профессии, работящие и не отступающие перед любой задачей, они шли к отцу за советом, внимательно слушали и признавали его авторитет и жизненный опыт. Они восхищались уравновешенностью, спокойствием духа, работоспособностью и рассудительностью матери, называя ее своим «министерством иностранных дел».

Госпожа Болдырева действительно обладала несравненным умением убеждать людей и успокаивать слишком горячие головы. Крестьяне шли к ней, как в верховный суд.

Семья Болдыревых, еще недавно рассыпавшаяся, слабо связанная между собой, становилась сильной, закаленной, спаянной взаимоуважением и любовью, чем-то твердым, нерушимым, как сталь, как гранитная скала.

Они никогда не говорили между собой о столь неожиданно вспыхивающих случайностях, которые разрушали их жизнь — людей, богатых и уважаемых в обществе.

Только однажды, подсознательно отвечая на мысли, которые рождались в головах сыновей, господин Болдырев сказал:

— Преимущество настоящего интеллигента заключается в том, что он в любой ситуации способен завоевать уважение и занять соответствующее ему место.

Чуть задумавшись, он добавил:

— И знаете что? Это уважение более ценное и стойкое, нежели полученная по наследству высокая должность, происхождение и богатство. Там все это может исчезнуть в любой момент. Здесь — никогда, потому что основано на понимании того, чего мы действительно стоим!

Георгий Болдырев, управляя шахтами, часто уезжал из Толкачево и навещал отдаленные деревни, откуда мужики отправляли своих людей в угольные и глиняные шахты.

Вскоре он убедился, что усилия Совета народных комиссаров, направленные на раскол крестьянства и на разложение семьи, необычайно быстро давали неожиданные результаты.

Он убедился в этом еще сильнее, когда комиссары потребовали от коммуны Болдыревых, чтобы та наладила производство соли из минеральной воды вблизи Старой Руссы.

Коммуна отправила Георгия.

Однажды, сидя в хате местного мужика-комиссара, он услышал разъяренные крики, топот ног и громкие призывы:

— Соседи, на помощь! Негодяи бьют нас! За оружие!

Георгий вышел из хаты.

Мужики, вооруженные револьверами и винтовками, принесенными в деревню дезертировавшими с фронта солдатами, бежали с разъяренными лицами и бешенством в глазах.

Возле крайних домов уже разгорелась битва. Раздавались выстрелы, вырывались дикие крики и проклятия, блестели штыки, топоры, поднимались и опускались тяжелые дубины, жерди.

Битва длилась долго. Несколько трупов, растоптанных участниками сражения, лежали на поле боя. Наконец все стихло. Мужики расходились по домам, неся в глазах боевые огни.

Комиссар, который выполнял функции бывшего старосты, рассказал инженеру о причинах конфликта.

– Беда, товарищ! – жаловался он, кивая головой. – Это плохо кончится... Городские комиссары прислали в деревню этих негодяев-крестьян, которые давно потеряли землю и скитались где-то по миру. Теперь они пришли, требуют землю, забирают у других мужиков скот, плуги, домашнюю утварь... Насилие! Несправедливость! Подумать только, что это за люди! Петр Фролов – пять раз сидел в тюрьме за воровство, Лука Борин – сослан на каторгу за нападение на посту и убийство чиновника; Семен Агапов – нищий, бродяга бездомный, пьяница, развратник, только песни петь умеет да смешные истории рассказывать! Не надо нам таких соседей! Мы всю жизнь когтями держались за эту землю-матушку, поливали ее своим потом, а теперь должны делиться с этими негодяями, ленивыми бездельниками, никчемными людьми. Почему? Разве это по закону?

Он наклонился к Георгию и прошептал:

– По правде говоря, при царе такого не было... А теперь вроде и свое правительство имеем. Эх! Все это издалека красивым кажется, а вблизи...

Он внимательно посмотрел на Георгия, ища в его глазах сочувствия.

Инженер уже привык опасаться слишком смелых рассуждений незнакомых людей, поэтому ответил спокойно:

– Все будет хорошо, товарищ! Это только пока то и другое кажется неудобным.

– Будет хорошо? Если нет, то мы сами справимся... – проворчал комиссар.

– Только бы не так, как сегодня! – заметил Болдырев. – Это не пройдет безнаказанно!

— Посмотрим... — рявкнул комиссар и угрюмо взглянул на инженера.

Георгий провел в деревне две недели и дождался исполнения своего пророчества. Через несколько дней после битвы мужиков с презираемыми ими «бедняками», то есть безземельными, оторванными от крестьянства людьми, поздно ночью, когда в домах уже давно погас свет, в деревню ворвался конный отряд новгородской «чека». Побитые и изгнанные мужиками «негодяи» сбежали в город, обвинили соседей в нарушении правительственных декретов и привели с собой солдат под командованием комиссара, агента «чека».

Жителей деревни будили и вытягивали из домов на митинг.

Перепуганные, они слушали грозную речь комиссара, мало что в ней понимая, потому что он был иностранец — латыш, плохо владеющий русским языком.

Однако им было понятно, что речь идет о «бедняках» и каком-то контрреволюционном покушении, которое совершили мужики. Окончательно же они поняли, когда комиссар приказал всем выстроиться в шеренгу и, отсчитывая каждого пятого, ставил его отдельно.

Один из солдат объяснил:

— Товарищи крестьяне! Эти люди становятся заложниками и их расстреляют, если вы не выдадите своих соседей, которые убили безоружных товарищей, требующих земли...

— Мы дали им землю... Они грабили нас, забирая коров, коней, плуги... Нет такого закона! — воскликнул стоявший среди заложников деревенский комиссар.

— Как это! — рявкнул командир отряда. — Вы не знаете, что частная собственность отменена навсегда? Теперь все общее... Ну! Считаю до трех. Признавайтесь, кто из вас участвовал в битве!

Мужики опустили головы и угрюмо молчали.

— Раз... два... — считал приезжий комиссар, вынимая из кобуры револьвер.

— Три!

Никто не сказал ни слова. Стоявший рядом с заложниками агент «чека» приставил ствол револьвера к уху деревенского ко-

миссара и выстрелил. Мужик с простреленной головой рухнул на землю.

Крестьяне поняли всю правду. Начали ворчать между собой и толкаться локтями.

Из шеренги вышли восемь мужиков и, сняв шапки, принялись бормотать неуверенными голосами:

– Простите, товарищ комиссар! Мы не знали и защищались против насилия. Как случилось, что тех убили, а иных покалечили... Простите!

Комиссар кивнул солдатам. Они окружили стоявших перед шеренгой крестьян и вывели их из деревни.

Злыми, мрачными глазами смотрели им вслед мужики, выли и причитали бабы, плакали перепуганные дети.

Через некоторое время раздался залп. Солдаты вернулись одни.

– Тех похороните после! – воскликнул комиссар. – А теперь запомните, что декреты издаются для того, чтобы их выполнять!

Мужики стояли перепуганные и подавленные.

Комиссар продолжал:

– Теперь вам надо избрать в деревне новый Совет. Правительство предлагает своих кандидатов.

Он развернул сверток бумаги и зачитал фамилии исключительно безземельных мужиков – ненавистных, презираемых «бедняков», бывших арестантов, бродяг и попрошаек.

– Кто против? – спросил комиссар, поднимая револьвер.

Никто не ответил.

– Избраны единогласно! – завершил церемонию «свободных и недобровольных» выборов комиссар и приказал подать коня.

Все время пребывания Георгия Болдырева в деревне Апраксино правили «бедняки». «Власти» разделили жителей на богатых, то есть «кулаков», и «середняков». Начали с раскулачивания богатых мужиков, а когда с ними было покончено, приступили к изъятию излишков скота и имущества «середняков».

Длилось это достаточно долго. Новые властители, ничего не стесняясь, с верой в помощь недалекого города отправляли отобранных у соседей коров и утварь в город, где добычу обме-

нивали на водку, новую одежду, лакированные сапоги или проигрывали в карты. Деревня быстро обеднела. Мужики со страхом ожидали прихода весны и начала полевых работ.

У них не было ни зерна для сева, ни хороших плугов, ни коней...

Суровая северная зима укрывала поля, улицы и деревенские хаты толстым слоем снега. Мужики не выходили из дому, опасаясь показаться на глаза распоясавшимся «беднякам», вечно пьяным, вызывающим, наглым. Они с отчаянием смотрели на пустые полки, размещенные в правом углу комнат под потолком, и вздыхали.

Когда-то там стояли иконы Спасителя, Богородицы, святого Николая Чудотворца, яркие образа, оправленные блестящим металлом, на которых вспыхивали и гасли искорки от горевших перед ними масляных лампад и восковых свечей. Преследуемые властями за веру в Бога крестьяне спрятали их в погребах, где хранилась картошка и квашеная капуста. Под бременем тревоги и несчастий по ночам они вынимали святые образа и ставили на прежнем, принадлежавшем им месте, зажигали свечи и, отбивая поклоны, молили о прощении и милосердии.

Молитвы были короткими — ничего не значащие, упрямые, рабские мольбы:

— Господи, помилуй! Господи, помилуй!

И так без конца — десятки, сотни страстных, монотонных стонов, прерываемых глухими ударами колен и голов об пол, тяжелыми вздохами и шелестом рук, очерчивающих крестное знамение, при котором отчаянно прижимались пальцы ко лбу, плечам и груди.

Образа со святым Николаем оживляли в памяти царя, который, всеми покинутый, погиб от рук правительства рабочих и крестьян.

Для народа он был помазанником Божьим, земным Богом, ненавистным, но полным извечного очарования.

— Это кара Божья за него, за царя-батюшку! — шептали со страхом мужики и вытягивали спрятанный между стенными балками закопченный, пожелтевший портрет Николая II, ставили его между иконами и опять отбивали поклоны, вздыхали и жалобно стонали:

— Господи, помилуй нас, рабов твоих! Господи, помилуй! Господи, помилуй!

Едва с улицы доносился лай собаки или отзвуки далеких шагов, с полок в панике убирали святые образа и портрет царя и засовывали в картошку, в свертки льняной пряжи, под балки домов или под пустые кадушки и камни, задували свечи и с тревогой ожидали пришельца.

Иногда, скрываясь в сорняках овощных грядок и в зарослях над яром, в деревню пробирался скитающийся нищий; избегая встречи с комиссарами, входил в первую попавшуюся хату, заводил беседу, изучал, прощупывал недоверчивым взглядом каждое лицо, каждую пару глаз, задавал вопросы, вздыхал, вызывал тревогу, мучил ужасными рассказами, сталкивал в бездну отчаяния, намекал на что-то невыразительное, таинственное и, познав людей, прокрадывался дальше от дома к дому и, опасливо озираясь, быстро шептал, словно опасался, что не успеет.

Это были угрюмые, страшные рассказы. Обрывки, крохи правды тонули в тумане домыслов и таинственной, мистической фальши:

— Страшные знаки показались на небе... Крест, поверженный змеем... Огненный меч... Бледный наездник на рыжем коне... Ангел с дымящимся подсвечником... Антихрист пришел и устанавливает царствие свое на земле... Видел его во сне отшельник благословенный Аркадий из Атоса... Два тот Антихрист имеет обличья: одно — Ленина, второе — Троцкого...

— Господи, помилуй нас! — вздыхали крестьяне.

— Сперва Антихрист поднял руку на помазанников Божьих... Уже умер смертью мученической наш несчастный царь, покинутый неверными слугами, скоро в прах обратятся цесарь австрийский, цесарь немецкий, а за ними — другие... Царя-мученика убили... а голову его отправили в Москву... в Кремль... Ленин плевал на нее и Троцкий плевал, а потом спалили в печи... Когда они делали это, разыгралась страшная буря и всех охватил ужас... Девять дней после этого в Кремле появлялись призраки... Красные солдаты видели блуждавшие по ночам бледные, гневные, враждебные привидения... Патриарх Филарет... Первый царь Михаил Федорович... Иван — грозный царь... Уби-

тый татарином Годуновым — младенец Дмитрий... строгая царевна София... могущественный Петр Великий с тяжелой дубиной в руках... Потом кара Божья настигла Ленина... Умирает — подстреленный... У него кровавые видения... он мечется... срывается с постели и воет по ночам: «Спасите, захлебнусь кровью... она уже заливает весь Кремль!» Преданные солдаты спасли в Екатеринбурге молодого царевича и царевну Татьяну, ту, которая милосердна была к солдатам... Монах Флориан с Валаама вывез из Алапаевска останки убитой, милой Богу великой княгини, набожной монахини — Елизаветы Федоровны и похоронил ее недалеко от Иерусалима, в Святой Земле. Возле ее могилы чудеса происходят: больные выздоравливают, являются пророческие видения, отчаявшиеся обретают покой... Наследник трона царевич Алексей скрывается в Сибири и находится под защитой славного полководца Колчака, который скоро вытеснит большевиков за Урал и пойдет на Москву... Французы и англичане уже в Мурманске, Архангельске, Одессе и помогают нашим...

Он говорил и говорил, разнося тревожные запутанные вести по живущим в страхе и отчаянии угнетенным деревням.

По России передвигались какие-то страшные, прокаженные, полубезумные старухи без носов и губ.

Шелестя хриплыми, съеденными болезнями глотками и тряся руками над седыми растрепанными головами, они шипели как совы:

— В Киевской лавре большевики выбросили из гробниц мощи святых господних, черепа и кости умерших отшельников, осквернили и сожгли веками источающие пахучий елей чудесные образа. Латыши, финны, мадьяры и китайцы мучают, убивают епископов и попов, монахов вешают на придорожных деревьях, вбивают на кол, чинят безобразия над монахинями... На Пасху они стреляли в патриарха Тихона, а он, хотя и раненый, не прервал богослужения и, воскликнув голосом великим: «Христос Воскресе, Аллилуйя!», кровь свою жертвовал со слезами Богу-Отцу и Сыну его! Антихрист царствует, господин всякого бесправия и злобы сатанинской... Видимые знаки и таинственные голоса призывают: «Восстань, народ Божий, сбрось с себя племя антихристово и служи преданно Богу своему, ибо только в нем сила, надежда и искупление!»

Таинственные старухи исчезали, как серые, бледные мыши, бежали дальше, разнося тревожные, вызывающие угрюмый страх и подрывающие дух рассказы; прокрадывались как ночные видения, сеяли ужас от солнечных садов Крыма до пустынных, покрытых тундрой берегов Белого моря... Они сеяли мистическую дрожь.

— Антихрист пришел... — шептали невежественные мужики. — Погибель, смерть идет, конец рода человеческого. Кто же из нас воспротивится? Кто победит врага Христова? Горе нам! Горе!

Со стоном и вздохами они впадали в апатию, в отчаяние, отбирающее остатки сил и разума. Высматривали Архангела с огненным карающим мечом и золотой трубой, возвещающей о страшном суде перед концом света.

В деревне, где находился Георгий, ситуация ухудшалась.

Комиссары из «бедняков», видя страх и покорное безразличие, принялись издеваться над населением: тягать за бороды старцев, грубить старушкам. Они похищали молодых женщин и девушек, поили водкой, устраивали с ними дикие, развратные оргии, одаривая отрезами цветной ткани, пестрыми платками, лентами.

Подавленные монотонной, убогой и нищенской жизнью, женщины быстро поняли свое положение. Они пользовались спросом и могли этим воспользоваться. Лишенные твердых нравственных принципов, вскоре они телом и душой перешли на сторону победителей.

На деревню свалилось новое бедствие. Рассеивались, как туман над лугом, семейные традиции, старые, добрые обычаи.

Рядом с хатой, в которой жил Георгий Болдырев, стоял дом некогда богатого крестьянина Филиппа Куклина.

Совершенно ограбленный комиссарами, он впал в отчаяние. Единственной его опорой стала жена, молодая, решительная Дарья. Никого не боясь, она ругала власти, осыпая их обидными словами, словно из рога изобилия.

На красивую бабу со смелыми глазами и белыми, ровными зубами положил глаз секретарь сельского Совета. Под каким-то вымышленным предлогом он завлек ее к себе и оставил на гулянке с музыкой, водкой, танцами. Дарья вернулась домой пьяная и веселая.

На упреки и замечания мужа только махала рукой и повторяла:

— Плевать я хотела на тебя и на нашу убогую жизнь! Хоть ненадолго, а попользуюсь! Я хочу жить для себя...

Расстроенный муж побил ее.

В ту же ночь Дарья убежала из дома. Зря искал ее обеспокоенный мужик. Она явилась спустя три дня и принесла с собой бумажку о разводе, произведенном по ее требованию.

Куклин пошел жаловаться в сельский Совет.

— Такой закон! — со смехом воскликнули комиссары. — Любой может разводиться и жениться, даже в течение одного дня. Нет у тебя теперь никакой власти над женой! Если сделаешь что-нибудь нехорошее, мы тебя в тюрьму посадим. Теперь с рабством женщин покончено! Они свободны и имеют такие же права, как и мы!

Мужик убеждал, уговаривал, умолял Дарью, чтобы вернулась домой.

— Я свободна! — ответила она, сверкая зубами. — Мне нравится наш новый секретарь. За него пойду!

— Выходи лучше за меня! — буркнул муж.

— Второй раз?! — воскликнула она. — Нет дурных!

Куклин ходил угрюмый и молчаливый. Он пережевывал какие-то тяжелые мысли. Наконец они переродились во взрыв дикого, неукротимого бешенства. Он подстерег неверную, легкомысленную жену, связал ее и долго, методично избивал, в соответствии с народной «мудростью»: «бей и слушай, дышит ли; когда перестанет, полей водой и бей снова, чтобы чувствовала и понимала!»

Он пытал Дарью два дня, а когда освободил от пут, погрозил пальцем и, хмуря лоб, проворчал:

— Теперь мое сердце спокойно. Можешь идти... Но помни, если пожалуешься, забью насмерть, и никакой комиссар, и даже сам Ленин тебя не защитит! Помни!

Баба и не думала жаловаться. Она поквиталась с мужем сама. Раздобыв где-то бутылку водки, домешала в нее яд и, ластясь к мужу, обрадованному возвращению жены, заставила его выпить.

Куклин умер.

Дарья, представ перед судом, ничего не скрывала, рассказав во всех подробностях о своем преступлении.

Ее оправдали на основании объявленного Лениным принципа, что пролетарская «справедливость» изменчива и зависит от обстоятельств. Одно и то же преступление может наказываться смертью и быть расценено как заслуга перед трудящимися.

Убит «кулак», богатый мужик, мелкий буржуй, а сделала это свободная, преданная коммунизму женщина. Ей это было зачтено как заслуга, и она вышла на свободу.

Георгий с ужасом наблюдал за открыто охватившим деревню развратом. Комиссары и приезжие агитаторы умело сеяли его среди деревенских, невежественных, стосковавшихся по развлечениям и падких на наряды, вино и сладости женщин.

— Они дрессируют их мягкими способами, как зверей, — думал молодой инженер, понимая, что зараза была ловко подброшена в благодатную среду.

Он с искренней радостью покидал деревню, возвращаясь в свою коммуну в Толкачево.

Здесь он застал опасные перемены.

Из Москвы пришел декрет о введении обязательного образования.

Старые безграмотные мужики и седые старухи, считающие алфавит дьявольским вымыслом, обязаны были ходить в школу вместе с детьми и внуками.

Присланный из города учитель-коммунист насмехался над взрослыми, подрывая их авторитет в глазах молодежи, обзывал их отвратительными словами и до небес расхваливал способности молодых учеников.

Взрослым крестьянам учеба давалась с трудом, и вскоре мысль о немедленном, по приказу Кремля, искоренении безграмотности была заброшена. Все свое внимание и усилия учитель направил на просвещение молодого поколения в коммунистическом духе.

Дети глубоко, наизусть изучали несложный, в общем-то, коммунистический «катехизис», являющийся базой науки; очень медленно и нехотя давалось им искусство письма и чтения, а так-

же — сложения и вычитания, уроки по которым приходилось делать мелом по стене из-за отсутствия досок. Так как в Толкачево не нашлось свободного строения для школы, ее организовали в старом, разрушающемся сарае.

Из-за отсутствия скамеек ученики сидели на полу в кожухах и дырявых валенках, замерзая и теряя здоровье.

На остальные научные дисциплины пролетарское правительство не обращало никакого внимания. Во-первых, потому что они относились к сфере буржуазных знаний, во-вторых, потому что не имевший о них понятия профессор пренебрегал ими, как убогими предрассудками капиталистического мира.

Плохо оплачиваемый деревенский учитель, окруженный недоверием и ненавистью мужиков, знал, что кто-то, кто был умнее его, думал точно так же и таким же образом приказал думать остальным.

Был им председатель Совета народных комиссаров Владимир Ильич Ленин. В свое время диктатор пришел к выводу, что все науки, в том числе — естественные, следует подвергнуть пролетарскому контролю с точки зрения материалистической философии.

Его помощник, высокообразованный комиссар просвещения Луначарский, историк Покровский и генеральская дочь Александра Коллонтай — работали над переписыванием истории, исключением из литературы произведений и буржуазных идей, а основанные на неизменных законах химия и физика считались науками для пролетариата вредными, почти средневековыми предрассудками, потому что Ленин не признавал ничего постоянного и основанного на неизменных принципах.

Школьный учитель выполнял в деревне Толкачево также иные функции.

Он должен был прививать своим воспитанникам мысль, что церковь и Бог, о котором он имел слабое понятие, так как никогда его в глаза не видел, являются для народа одурманивающим и отравляющим опиумом.

Он ввел в школу также новую организацию «Коммунистической крестьянской молодежи», то есть так называемый комсомол. Школьная детвора должна была иметь одинаковые со взрослыми

привилегии, быть независимой от семьи, иметь право осуждать проступки коллег, контролировать учителя, и только одну обязанность — шпионить и доносить властям о словах и поступках родителей и жителей деревни.

Этот педагогический метод сразу же принес грустные плоды: троих мужиков и двух баб бросили в ближайшую городскую тюрьму за ворчание в адрес рабоче-крестьянского правительства.

Госпожа Болдырева, узнав об этом, вызвала усердного, хотя и не слишком умного учителя на разговор о системе воспитания и убедилась в существовании, глубоко продуманной идеи.

— Революционно настроенные дети, имеющие враждебное отношение к взрослым, являются лучшим способом провести революционные изменения и даже разрушить не только семью, но и общество, писал товарищ Ленин! — кричал с восхищением в голосе учитель.

План был достаточно четким и вызвал в сердце госпожи Болдыревой тревогу. В невежественной, ничем не ограниченной, безыдейной крестьянской массе мысль, видимо брошенная Лениным неосторожно, под воздействием демагогической тактики, подобно памятному окупленному невинной кровью и уничтожением достояния поколений лозунгу: «Грабь награбленное!», могла привести к непредвиденным и опасным последствиям.

Создание организации коммунистической молодежи закончилось быстро.

Данная организация должна была подготовить кадры убежденных коммунистов, подготовленных для пропаганды ленинских идей и имеющих привилегии в каждом проявлении жизни пролетарского государства.

Учитель служил своим ученикам примером. Как человек молодой и веселый, он нуждался в забавах и развлечениях.

Он не мог спокойно смотреть на развитых, дородных деревенских девок, окружавших его во время школьных посиделок.

Особенно ему нравилась одна их них — пухленькая, румяная Катя Филимонова. Он принялся ухаживать за ней и вскоре уговорил прийти к себе в гости. С того момента она бегала к нему по ночам.

Родители смотрели на это с неодобрением, делали дочери горькие замечания, но она со смехом отвечала:

— Теперь все женщины свободны и могут сами собой распоряжаться!

Так она и делала, пока не убедилась, что забеременела.

Учитель отторг ее от себя и обратил свое внимание на другую девушку.

Катя родила сына. Власти немедленно забрали его вместе с матерью и отправили в город. В приюте, где она его кормила, он должен был остаться навсегда.

Ребенок должен был принадлежать государству, так как домашнее воспитание, материнская ласка, семейное тепло делало его неспособным думать так, как следовало думать пролетарию.

Тихую до сих пор деревню Толкачево внезапно потрясли события, которые обеспокоили Болдыревых еще больше, чем прежде.

Деревня, в которой находилась так необходимая властям промышленная коммуна, долгое время не сталкивалась с активностью комиссаров, обычно обдиравших людей на основании декретов и без декретов вовсе.

Толкачево честно исполняло все законные предписания и не имело никаких конфликтов с властями.

Однако через некоторое время в деревню прибыли какие-то агитаторы из Москвы. Они богохульствовали, сбросили крест с церковки, издевались над попом, призывали молодежь к разврату, устраивали дни свободной любви, жертвами которых становились истосковавшиеся по подаркам и развлечениям молодые женщины и девчата.

Толкачево постигла судьба деревни Апраксино.

Начались ссоры, распадались семьи; по улицам и в окрестностях сновали толпы убегавших из дома детей, которые, путешествуя из деревни в деревню, попадали в город. Никто о них не заботился, так как занятым домашними дрязгами, разводами, ссорами, драками и жалобами, родителям не хватало времени на поиски пропавших.

Однажды госпожа Болдырева, разговаривая со знакомой крестьянкой, заметила проходившую мимо дома молодую девушку.

Это была дочь деревенского комиссара – Маня Шульгина.

– Как дела? – спросила ее госпожа Болдырева. – Говорят, замуж выходишь. За кого?

– За Степана Лютова, – ответила та, краснея. – Мы как раз должны встретиться, чтобы договориться о дне свадьбы.

– Дай вам Бог счастья! – пожелала госпожа Болдырева.

– Спасибо! – воскликнула девушка и побежала дальше.

Она направлялась к дому Лютовых.

Степан, восемнадцатилетний юноша, уже ждал ее у ворот.

Он обнял ее одной рукой и повел в сторону стоявшего за домом сарая.

– Куда мы идем? – удивившись, спросила она.

– Мне надо туда заглянуть... – уклончиво ответил он.

Открыв двери сарая, он вошел в него и потянул за собой девушку.

– Слушай, Манька, – сказал он, закрыв двери. – Ты состоишь в «Коммунистической молодежи», поэтому должна выполнять требования товарищей. Я хочу, чтобы ты немедленно отдалась мне! Брак – это глупый буржуазный предрассудок!

Скромная, честная девушка молчала, с ужасом глядя в угрюмые глаза парня.

– Что же ты молчишь? – спросил он, обнял ее и принялся целовать в шею и громко дышать. Его лицо было бледным, а глаза покрыты пеленой.

– Отпусти меня! – крикнула девушка и попыталась вырваться из его рук.

– Так вот ты какая? – рявкнул Степан. – Эй, товарищи, идите сюда!

Из-за поваленных скирд ржаной соломы появилось несколько подростков. Они заткнули девушке рот и сорвали одежду.

Степан, повалив ее на землю, упал сверху. Боролись долго. Девушка была сильной и ловкой. Однако товарищи помогли сковать ее по рукам и ногам.

Парень, держа Маню за горло и выкрикивая короткие, рваные слова, принялся ее насиловать. Подростки, тяжело дыша, хищно следили за движениями мечущихся тел.

Наконец Степан поднялся и сладострастно потянулся.

— Хорошая девка! — буркнул он. — Но и я — хороший товарищ! Берите ее, кто хочет!

Обморочная девушка и развратные подростки оставались в пахнущем зерном, плесенью и мышами сарае до ночи.

Мальчишки выбрались из него украдкой и незаметно разошлись по домам.

Маню нашли только через неделю.

Она лежала голая, покрытая синяками, окровавленная и замерзшая.

Суд без труда разобрался в преступлении, а подростков доставили в город. Там они провели два дня. Вернувшись, мальчишки вели себя вызывающе, дерзко и хвастались тем, что их оправдали и даже — похвалили за то, что они наказали девушку, отказавшуюся выполнять обязанности свободной пролетарской женщины, равной мужчине. Она не имела права отказывать возжелавшим ее коммунистам.

Ничем не помогли жалобы отца Мани, поэтому он пришел к Болдыревым, чтобы поплакать и рассказать о своей обиде.

Серьезный, степенный Шульгин, заметив, что Болдыревы, опасаясь всевидящих и всеслышащих стен, молчат, глядя на него с сочувствием, сказал, поднимая два пальца вверх:

— Клянусь перед вами, как перед Богом, что отомщу!..

Он исполнил клятву.

Внезапно пропал Степан Лютов. Никто никогда его больше не видел.

Какая-то старуха рассказывала потом на ухо госпоже Болдыревой, что собственными глазами видела, как Шульгин в лунную ночь нес что-то тяжелое к проруби и, привязав тяжелый мельничный жернов, бросил это что-то в реку.

После этого случая произошел еще один инцидент, возмутивший всю деревню.

Старая Василиса Леонтьева прибежала к Болдыревым и, громко рыдая, отчаянным голосом застонала:

— Спасите, посоветуйте, люди добрые! Сегодня я узнала страшную правду! У моей дочери будет ребенок от моего мужа... от ее отца! Грех это великий... преступление перед людьми и Богом! Посоветуйте, что делать? Ох! О-о!

Болдыревы долго раздумывали, не зная, что и сказать.

Наконец старый Болдырев произнес:

— Мы не знаем, является ли это сейчас преступлением... Новые законы смотрят на эти вещи по-другому. Посоветуйся с комиссаром, соседка!

Старуха поехала с жалобой в город.

Ее отправили ни с чем.

Судьи насмехались над ней и громко смеялись:

— Эй, старая! Неужели ты думала, что у твоего мужа нет глаз? Он предпочел молодую дочку такой старой кляче! Мы не видим в этом никакого преступления. Это старые глупые предрассудки! Возвращайся домой и смотри, как любят друг друга отец и дочь. Что же ты, Ветхого Завета не знаешь? В нем такие случаи описаны. Чем же твой старик хуже каких-то пророков? Он еще горячий и имеет желание! Поклонись ему от нас, женщина, и не морочь голову глупостями. Подумаешь — дочка! Баба, как любая другая...

Старуха строго смотрела на судей сухими, злыми глазами и спокойно сказала:

— Вы меня еще вспомните... Ой, вспомните, безбожники!

В эту же ночь сгорело деревянное здание суда, подожженное неизвестной, мстительной рукой.

Вину свалили на нескольких контрреволюционеров, бывших чиновников, которых сразу же расстреляли, потому что наказание для того и существует, чтобы его кто-то заслуживал.

Василиса тем временем вернулась в деревню.

Ночью, бесшумно ступая, она облила керосином и подожгла сложенные в сенях лучины, вышла из хаты, заперла на засов двери и засунула под соломенную стреху горящую щепку. Дом горел как стог сухого сена, а в треске балок и шипении огня тонули крики погибающих, напрасно ищущих спасения людей.

Два дня Василиса скиталась по деревне с окутанным шалью свертком.

Соседки с удивлением смотрели на кусок завернутого в тряпки дерева.

Старуха баюкала сверток, целовала, прижимала к груди и ласковым голосом напевала:

— Ай-люли, ай-люли, спи, внучек, спи, сиротка!

Придя в закрытую церковь, она долго смотрела на зеленый купол без креста и вдруг принялась подпрыгивать и пронзительно кричать:

— Эй-ха! Эй-ха! Красное пламя сожрало грешников; красное пламя сожрало судей. Эй-ха! Хорошее, горячее пламя я выпустила... Эй-ха!

Услышав это, начальник милиции приказал отвезти сумасшедшую в город и сообщил властям о хвастовстве старухи.

Василиса из города уже не вернулась.

— Ее наверняка расстреляли? — прошептала, узнав об этом, госпожа Болдырева.

Муж ничего не ответил. Он просматривал присланную из города газету.

Вдруг он поднял голову и, посмотрев на жену удивленным взглядом, прочитал:

— Пролетариат отметает старую мораль враждебных ему классов. Ему не нужна никакая мораль. Он живет практическим умом, который во сто крат выше и чище, чем лицемерная буржуазная мораль. Мы оздоровим мир и сделаем его благороднее; если бы у меня не было отвращения к глупым буржуазным словам, я сказал бы, что пролетариат свят, мудр и безгрешен!

Они посмотрели друг на друга с ужасом, тоской и болью.

— Так пишет товарищ Лев Троцкий... — прошептал Болдырев.

Они тяжело вздохнули и опустили головы.

За окнами под командованием учителя маршировали молодые коммунисты и орали во всю глотку:

Брезжит на востоке заря.
Мир новый построим мы
И жизнь проживем не зря,
Как братья, друг другу равны...

ГЛАВА XXX

Гражданская война бушевала на нескольких фронтах. Все новые и новые большие и маленькие армии восставали против кремлевских диктаторов. Комиссары, отрезанные от всего мира блокирующими Россию союзниками и поддерживаемыми ими белыми войсками, как моряки на тонущих кораблях, высылали в пространство сигналы SOS. Но это не был отчаянный крик о помощи, а грозное предупреждение, направленное «всем, всем», всему миру, что пролетариат только ждет удобного момента, чтобы вывесить на Эйфелевой башне, на Вестминстерском дворце, на вашингтонском Капитолии, над Веной, Римом и Берлином красное знамя революции.

Красноармейцы издевались над взятыми в плен белыми офицерами, вырезали им на плечах погоны и сдирали с бедер полоски кожи, поджаривали на огне, выкалывали глаза; рубили топорами; обливали водой на морозе, превращая людей в ледяные глыбы; в проруби топили сотни связанных веревками «врагов пролетариата».

Белые платили коммунистам жестокостью за жестокость. Комиссарам на груди вырезали пятиконечные звезды; отрубали уши, носы и ладони; коптили над кострами; на пленных испытывали острие казацких сабель, стреляли по ним как по живым мишеням; повешенными красноармейцами украшали придорожные деревья, аллеи парков и лесные тропы.

Коммунисты — мужики с Волги, — найдя раненого офицера «белой» армии, распороли ему живот и, достав кишки, прибили их гвоздем к телеграфному столбу. Избивая пленного палками и толкая, они заставили его бегать вокруг под рев смеха, пока тот не упал, вытянув из себя все внутренности, обмотав ими столб.

Уральские мужики, поддерживающие «белых» генералов, издевались над комиссарами очень изобретательно. Сорвав с них

одежду, они произвели легкую операцию по введению в прямую кишку патронов с динамитом и, поджигая бикфордов шнур, вызвали взрыв живой бомбы. В другом месте коммунисты, подражая уральским крестьянам, набивали рты пленных порохом, обвязывали тряпками и проволокой, после чего взрывали живую гранату, сопровождая зрелище угрюмым смехом и шутками.

Гражданская война охватила всю Россию и становилась все более упорной, жестокой и дикой.

В своей стране русский человек не жалел никого и ничего. Людей было повсюду много, как тараканов и клопов в грязных, курных, вонючих хатах; деревни без сожаления отдавали во власть огня, не все ли равно — поджигать их или нет, если и так пожары ежегодно поглощали убогие соломенные деревни и деревянные, хаотично построенные города?

Перепуганные, грабленные как красными, так и белыми жители деревень ежедневно встречали новых властителей и угнетателей, пели по очереди то «Интернационал», то «Боже, царя храни», утрачивая понятие о законе, нравственности и человечности.

У иностранных войск не было поводов снисходительно относиться к русским, они или помнили предательство союзников или тяжкую неволю в глубине огромной страны.

Французы, англичане, японцы, немцы, австрийцы, мадьяры, чехи, поляки, латыши изрыгали из своих пушек снаряды, кололи штыками, вешали и расстреливали этих «восточных дикарей» этих «безумных и жестоких татар».

Россия ужасно кровоточила.

Вместе с ней, не подозревая ни о чем, кровоточил тот, кто хотел выковать для нее лучшую, светлую жизнь.

Владимир Ленин лежал в темной комнате боковой пристройки Кремля, долгие месяцы сражаясь со смертью.

Фанни Каплан целилась хорошо. Казалось, что она специально обрекла диктатора на мучения за те муки, которые он принес народу.

Пуля, застряв в кости, пробила важные нервные узлы. Окружавшие раненого врачи всю надежду возлагали на силу этого коренастого плечистого человека с куполообразным черепом,

монгольскими скулами и раскосыми, теперь постоянно прикрытыми синими веками глазами.

Сознание возвращалось к больному редко и ненадолго.

Сутки тянулись в страданиях, горячке, безумных и ужасных криках. Ленин метался, скрежетал зубами и бредил целыми часами. Он провозглашал речи, а левая рука со скрюченными пальцами двигалась, словно чертила большие буквы на огромном листе бумаги.

Наступали мгновения, когда он лежал неподвижно с холодными парализованными руками и ногами.

– Паралич? – спрашивали, глядя друг на друга, врачи.

Но раненый внезапно поднимал руку и вновь начинал писать на невидимой бумаге и отрывисто бормотать:

– Жизнь... счастье... Елена... все для революции, товарищи!...

Потом он боролся с наблюдавшими за ним санитарами, пытался поднять тяжелые опухшие веки и кричал:

– Дзержинский... Торквемада... жандарм Федоренко – пес поганый... бешеный... К стенке их!.. Скажи мне... Феликс Эдмундович... это китайцы задушили... Петеньку... Дора... Дора... ах-ах! Дора Фрумкин... Где Дора? Товарищи... скажите Плеханову, что... трудно убивать...

Он стонал долго, жалобно, а из-под синих век выкатывалась слеза и замирала внезапно, будто замерзая на выступающей, костистой, обтянутой желтой кожей скуле.

Он скрежетал зубами и шевелил бледными, распухшими губами, невыразительно шепча:

– Социализм, всеобщее равенство... ерунда!.. миражи!.. Для начала долой свободу... это не для пролетариата... потом террор.... такой, чтобы Иван Грозный... содрогался в гробу... и так полвека, а может, и целое столетие... Тогда... родится единственная добродетель... единственная опора социализма... жертвенность... Ужасом высвободить тела... преобразовать души... Не сердись, не смотри строго, Елена!.. Таков наказ.... ужасный... Это не я!..

Он снова впадал в небытие. Блуждающие в мозгу мысли улетали в темноту; он чувствовал, что скатывается в бездну... оказывается в круговороте обломков миров, растерзанных человеческих тел, увлекаемый могучим потоком...

Он хрипел, издавая безумные слова без связи и смысла, ослабевал, погружаясь в молчание, неподвижный, почти мертвый. Тогда врачи склонялись над ним, щупали пульс, прислушивались, бьется ли еще сердце Ленина – сердце никому неизвестное, таинственное, как Россия, – увлекательная и безразличная, преступная и святая, мрачная и просветленная, ненавидящая и любящая, склоняющая голову, как крылатый Божий серафим, и поднимающая дерзкое обличье Люцифера; стонущая, как сирота на перепутье дорог, и пугающая диким свистом и окриком жестокого вожака Стеньки Разина; плачущая кровавыми слезами Христа и окунающая в братскую кровь, словно татарский захватчик.

Так думал преданный диктатору, обожающий его доктор Крамер, подавленный и угнетенный тревогой за жизнь друга.

Но сердце его еще билось слабым, едва слышным пульсом.

Только спустя три недели раскрылись черные раскосые глаза и с удивлением осмотрели полутемную комнату, маячившие во мраке заботливые, беспокойные лица Надежды Константиновны и врачей.

Он начал говорить слабым голосом.

Расспрашивал о происходящем и снова впадал в сон или обморок.

Однако сознание стало возвращаться все чаще. Только иногда у него цепенели правая рука и нога, он не мог сделать никакого движения и произнести ни слова.

Иногда он хотел что-то сказать или спросить, но язык отказывался его слушать, он бормотал, издавая отрывистое ворчание и брызжа слюной.

– Паралитический признак... – шептали врачи.

Однако Ленин справлялся с этими приступами. Он начинал говорить и снова свободно передвигался.

Надежда Константиновна заметила, что лицо больного все чаще искажается, он морщит лоб и щурит глаза.

Она наклонилась к нему и спросила:

– Может, ты хочешь чего-нибудь? Скажи мне!

Он показал знаком, чтобы она наклонилась ниже, и прошептал:

– Мой мозг начал работать... Я должен подумать над разными делами... Мне надо побыть одному...

Крупская обрадовалась. Было очевидно, что к Ленину возвращалось здоровье, потому что нуждался в одиночестве, во время которого его разум работал так мощно. Она договорилась с врачами, и раненый остался один в полутемной комнате.

Он лежал с открытыми глазами, глядя в потолок.

Долго оставаясь неподвижным, он, наконец, сморщил лоб и прошептал:

– Мария Эбнер Эшенбах... Да, несомненно, Эшенбах!.. Как это? «Страдание – великий учитель. Оно возвышает человеческие души...» Гм! Гм! Альфред де Вайги написал когда-то нечто подобное: «Возможно, что страдание есть ничто иное, как самое содержательное времяпрепровождение...»

Он умолк и потер лоб. А потом задумчиво забормотал:

– Кто сказал, что «для улучшения» человеческого вида полезна жестокость, насилие, убожество, опасность, душевные потрясения, погружение в собственное «я»... необходимо все скверное, страшное, тираническое, звериное и обманное в такой же степени, как и все противоположное этому? Кто это сказал? Ах, да! Ницше! Пока все в порядке!.. Страдания и жестокость... Страдания породили жестокость, жестокость порождает страдания... В конце – светлая цель, улучшенный «человеческий» вид... наивысшая форма его существования... Ради этого ни одна жертва не является чрезмерной! Ни одна... А Елена? Золотоволосая Елена в траурной фате?.. Голубые глаза... искаженные, кричащие губы!..

Он застонал и прикрыл глаза.

– А если вся жестокость и страдания закончатся возвращением к прежней жизни? Зачем столько жертв, столько слез, крови, стонов? Зачем погибли Елена и Дора – прекрасная, обнаженная Селами, любовница Соломона, и Софья Володимирова, и маленький Петенька, и этот бледный Селянинов, который нашел меня аж в Татрах?.. Зачем?

Мысли текли быстро, одна за другой, как будто кто-то очень быстрый и ловкий нанизывал бусинки на гладкий и скользкий шнурок.

— Я не уверен... Значит, эксперимент? Попытка? Безумная, жестокая попытка? Ха-ха! Никто на нее не решился: ни предводители французской коммуны, ни Бланки с Бакуниным, ни Маркс с Либкнехтом... Они мечтали... Я — сделал. Я? В деревнях верят, что я Антихрист... Антихрист...

Он замолчал и отчаянно сдавил челюсти.

Подняв глаза, он начал говорить почти во весь голос:

— Не верю, что Ты существуешь и правишь миром, Ты — Бог! Если ты находишься в таинственном крае, подай знак, прояви свою волю, хотя бы — гнев свой! Вот я — Антихрист, глумлюсь над Тобой; бросаю Тебе в лицо отвратительные насмешки и проклятия! Покарай меня или докажи, что Ты существуешь! Докажи! Заклинаю Тебя!

Он долго ждал, прислушивался, водя горящими глазами по потолку и стенам.

— Начерти на стене огненное: «Mane, Tekel, Fares»! Умоляю! Заклинаю!

В комнате царила абсолютная тишина.

Ленин слышал только пульс крови в висках и свое шипящее дыхание.

— Молчишь? — сказал он, сжимая кулаки. — Значит я не Антихрист, но, может, и Тебя не существует? Ты старая, ветхая легенда, обломки бывшей святыни с привидениями?.. Если бы я был обычным смертным и крикнул на весь мир: «Я презираю Тебя, потому...»

Вбежали врачи.

Ленин бормотал разорванные в клочья, перепутанные слова; на губах его была пена; он лежал, свесившись с кровати, неподвижный, холодный.

Недели вновь протекали в борьбе со смертью.

В короткие периоды сознания Ленин с ужасом смотрел в правый угол комнаты, где остались бронзовые крюки от висевших на них когда-то святых образов и широкую полосу, закопченную дымом лампады.

Он что-то шептал. Врачи старались понять упорно повторяемые больным звуки, но это были ничего не значащие и необычные для уст Владимира Ленина слова.

Дрожа и посматривая с опаской в угол, он повторял:

— Видение... видение... видение...

Горячка, несомненно, отравляла мозг, скрытый под замечательным, как купол, лбом, возвышающимся над проницательными, горящими глазами.

Ночью, когда медсестра и Надежда Константиновна засыпали, Ленин открывал глаза и ждал, стуча зубами и тяжело дыша.

Пред ним плыла легкая дымка, сотканная из прозрачных нитей, словно вуаль Елены Ремизовой...

Она приходила, бледная, с искаженным лицом, с глазами, источающими ужас и отчаяние, становилась у изголовья и вынимала красный обрывок бумаги с горящим на нем словом: «Смерть»! Она стояла долго, потрясая головой и угрожая лежавшему, или проклинала, поднимая вверх руки...

Потом она медленно уходила, а за ней появлялась обнаженная, укрытая волной черных волос фигура Доры. Она приближалась к постели, наклонялась над ним и роняла на грудь Ленина кровавые слезы...

В воздухе дрожала и билась в углах надрывная, жалостливая нота:

— О-о-о-ой! О-о-о-ой!

«Что это, бурлаки тянут тяжелую баржу и стонут под гнетущим их к земле, режущим плечи мокрым канатом?» — мечется досадная, неуловимая, стремящаяся обмануть мысль.

Из нависающего тумана ползет на коленях седая, грозная Мина Фрумкин, жалуется, плачет без слез и между стонами и всхлипываниями бросает короткое, тяжелое, как камень, проклятие на древнееврейском языке.

За ней идет высокий, бледный, с пламенными глазами Селянинов... а сразу за ним царь без головы... царица, вырывающая из себя вонзенный в живот штык; царевич с залитым кровью лицом; целый хоровод мечущихся, ужасных призраков... Стоны... скрежет зубов... шипение прерываемого дыхания... дерганье... вздохи.

Нет! Это его зубы издают резкий скрежет, его горло завывает и стонет, его грудь дышит с шипением... это он, Владимир Ленин, хочет сорваться с постели и ослабленными, забинтованны-

ми руками борется с Надеждой Константиновной, санитаркой и дежурным врачом.

— Ох! — вздыхает он с облегчением и проваливается в глухой и слепой сон.

Утром он просыпается больной и снова думает.

Через щели занавесок просачивается бледный рассвет; призраки, напуганные долетающими сюда с площади и из коридоров голосами, не приходят. Они попрятались где-то по углам и ждут, но не смеют выглянуть из своих укрытий... проклятые ночные духи, приставучие призраки!..

Пополудни он распорядился привести к себе агента «чека» Апанасевича и остался с ним один на один.

В раскосые глаза диктатора смотрит незнакомый Ленину человек, какой-то удивительный, таинственный, как змей. Неизвестно, только ли он смотрит неподвижным взглядом или отмеряет расстояние для прыжка.

Ленин шепчет, едва шевеля губами:

— Призраки... замученных приходят ко мне... угрожают... проклинают... Это не я убил! Это — Дзержинский!... Ненавижу его!.. Торквемада... палач... кровавый безумец! Убей его! Убей его!

Он хочет протянуть руку к стоящему перед ним человеку. И не может. Его холодные руки тяжелы, словно налиты оловом... Губы начинают трястись, язык замирает, из уст появляется пена и плывет по бороде, шее и груди...

— За... тов... бра... Еле... золот... — беспорядочно шелестят и разлетаются стоны, урчание, бормотание...

Врач выпроваживает агента. Апанасевич уходит, кивая головой и преданно шепча:

— Тяжело болен! Такой удар... вождь народа... единственный... незаменимый...

Вновь ползли монотонные, долгие дни горячки и коротких вспышек буйства, бесконечно тянулись тяжелые часы обморока, бессознательного шепота, невысказанных, беспомощных жалоб, глухих стонов, хриплых криков.

Ленин метался и боролся с невидимыми фигурами, которые толпились возле его постели, заглядывали ему под веки, плакали над ним кровью, угрюмо стонали, шипели, как змеи...

Он не знал, что вспыхнула предсказываемая им в многочисленных выступлениях и статьях революция в Кельне и молниеносно пронеслась по всей Германии, принуждая Гогенцоллернов к отречению от престола, а немецкую армию — к отступлению за Рейн и перемирию; он не чувствовал, что уже распалась на части гордая империя Габсбургов и что во всех странах среди хаоса случайностей поднимал голову провозглашаемый из Кремля коммунизм. Он уже смело звучал из уст Либкнехта и Розы Люксембург в Берлине; уже призывали к диктатуре пролетариата Лео Иогихес-Тышка в Мюнхене, Бела Кун — в Будапеште, Майша и Миллер — в Праге, но их голосов не слышал создатель и пророк воинствующего коммунизма. Он боролся со смертью.

В редкие минуты сознания он боялся остаться один, а ночью, видя, что медсестру сморил сон, будил ее и умоляюще смотрел на нее, говоря только глазами, полными горячего, беспокойного блеска:

— Я боюсь... не спите, товарищ!

Внезапно приходя в сознание, но, не умея ничего сказать и пошевелить рукой, он дрожал и с безмерным страхом ожидал докучавших ему призраков.

Они приходили к нему и становились по обеим сторонам кровати.

Другие призраки выглядывали отовсюду, тряслись от злобного смеха, и украдкой исчезали бесследно в бездне бескрайней пустоты, начинающейся сразу же перед его зрачками и уходящей в космическую даль.

Это были страшные призраки, самые страшные и жестокие.

Красно-синий брат Александр с выпавшим распухшим и черным языком, с петлей, сжимающей его шею, маячил перед ним, как будто болтался на виселице, и бросал непонятные, тяжелые и немилосердные слова. Он хрипел, с усилием шевеля опухшими губами и длинным жестким языком:

— Мы погибали на виселицах... в подземельях Шлиссельбурга, в шахтах Сибири... Пестель, Каховский, Рылеев, Бестужев... Желябов... Халтурин... Перовская... Кибальчич... я — брат твой... и сотни... тысячи мучеников — мы умирали с радостной, гордой

мыслью, что прокладываем нашему народу путь к счастью... Но вот пришел ты... и превратил нашу жертву в пыль, в ничто... Ты убил в нас радость и покой... Мы приготовили путь для тебя... предателя... палача... тирана... Будь ты проклят на веки вечные!.. Проклят!..

Грозным болезненным голосом ему вторила другая, стоявшая возле кровати, фигура... Ее седая голова тряслась, а впавшие глаза угрюмо блестели... ладонь ее со скрюченными, как когти, пальцами высоко поднималась.

«Опять старая еврейка Мина Фрумкин...» — бьется под черепом мысль и парит бесшумно, как летучая мышь.

Но призрак начинает говорить горячо и гневно:

— Тебя не обманешь! Напрасно!.. Ты должен узнать меня... Я мать твоя!.. Я учила тебя любви к народу... подвигла тебя к тому, чтобы ты дал ему луч надежды... я воспитывала в тебе веру в абсолютную мощь, которая является всем и вне которой нет ничего... Ты пролил море крови... разбудил дикую похоть темного народа... отправил его на преступления... поднял свою преступную руку на Бога... Безумец, не знаешь, что предначертаны судьбы людей и народов! Ничего не добьешься вопреки этому!.. Любое усилие гордыни сгинет в глубине веков, как песчинка в пустыне... После него останется черное воспоминание, а имя твое возненавидят и проклинать будут через поколения, пока ты не превратишься в безумное видение и не утонешь в небытие на веки веков... Будь проклят!..

Он собирал всю волю, все силы, слабой оцепеневшей рукой сбрасывал со стола пузырьки и стаканы, будил дежуривших возле него людей и шипел:

— Не спите!.. Не спите!.. Они меня убьют... Брат... Мать... Елена... Дора... Селянинов... все, все поджидают меня!.. Не спите!.. Умоляю... приказываю!..

Медленно, ослабевая, горячка прошла. Вместе с ней исчезли и ночные видения, жестокие, безжалостные призраки.

Ленин уже садился на кровати и просматривал газеты.

Он узнал обо всем.

Война окончена! По миру бушует революция! Коммунизм усиливается и набирает мощь. Его мозг — отважная Роза Люк-

сембург, его сердце — Карл Либкнехт и железная рука — Лео Иогихес действуют, разбивая ряды социалистических соглашателей и нанося удары перепуганным империалистам!

Что по сравнению с этими радостными событиями значили усилия Англии и Франции по поддержке контрреволюционных сил России запоздавшим и ненужным на фронте военным материалом? Европейский пролетариат восстанет и победит, а тогда...

— Прочь, глупые, беспомощные призраки — продукты измученного горячкой мозга! — думал Ленин. — Как убого звучат ваши голоса, насколько беспомощны, бесплодны ваши угрозы и смешны проклятия, страшилки для малых неразумных детей!

Ленин забыл обо всем; он весь окунулся в события. Жил в них и для них. Собирал приятелей-комиссаров, советовал, наставлял, сомневающихся убеждал в необходимости новых действий, писал для них речи, планировал митинги, конгрессы, руководил всем.

Он видел и понимал, что работа кипела, был уверен, что успехи белых армий должны вскоре закончиться. В них уже появлялись случаи предательства, бунтов и разложения. Кое-где контрреволюционные генералы уже опрометчиво поговаривали о возвращении к старому монархическому строю, пугая и настраивая против себя крестьян, рабочих, солдат и увеличивая трения между различными существовавшими в России территориальными правительствами.

Ленин тихо посмеивался, щурил глаза и потирал руки.

Вскоре он начал ходить, еще неуверенно, шатаясь, спотыкаясь через шаг и останавливаясь, чтобы передохнуть, собрать едва тлеющие в его плечистом теле силы.

К нему прибывали делегации, иногда — из удаленных населенных пунктов, чтобы собственными глазами посмотреть на диктатора, убедиться, что он жив, готов к борьбе и обороне замечательных завоеваний революции.

Его навещали группы рабочих, пробиравшихся украдкой от белых с юга, из угольных шахт и рудников, с металлургических заводов на Урале, из ткацких мастерских, расположенных в Московской области; приходили серьезные, обеспокоенные и сосредоточенные крестьяне из близких и далеких деревень.

Ленин разговаривал со всеми по-дружески, как равный с равными. Он понимал каждую мысль и самое маленькое душевное волнение, внимательно расспрашивал, задавал неожиданные вопросы, объяснявшие то, чего делегаты не договаривали или в чем не хотели признаться.

Рабочие жаловались на изнуряющие принудительные работы, на плохое питание, отсутствие необходимых инструментов и строгие наказания.

— Даже раньше такого не было! — возмущенным голосом жаловался Ленину старый рабочий. — Мы работали десять часов, ели досыта, могли купить, что хотели, а из-за плохого обращения — устраивали скандалы, забастовки, бунты. А теперь? Мы имеем только гнилой хлеб с отрубями, сухую вонючую рыбу; никаких товаров; мы с женами ходим, как нищие, у детей ничего нет; наполовину голые, босые, они не могут выйти из дома, ни в школу, ни во двор... Мы работаем по 12 часов, не считая дополнительной, общественной работы для государства в праздничные дни! Если все посчитать, то выйдет по 14 часов в сутки!.. Если опоздаешь — комиссары оставят без хлеба, потянут в суд, а за повторное опоздание — могут поставить к стенке...

Ленин слушал и щурил глаза, размышляя:

— Так можно руководить, пока идет война... А что будет, когда она закончится? Как мы поступим тогда?

Рабочим он отвечал с доброжелательной улыбкой:

— Что поделать, товарищи! Ваше государство, ваше правительство... Вы должны победить контрреволюцию, и тогда все будет иначе... Вскоре мы воссоединимся с западными товарищами. У вас будет все что захотите, когда мы заглянем в карманы европейских буржуев! Они насобирали для нас несметные богатства! Потерпите! А пока — все для победы пролетариата! Не жалуйтесь, не теряйте желания, работайте изо всех сил, потому что конец уже близко! Верьте мне!

Они уходили с искрой надежды в сердцах, восхищенные простотой, откровенностью и пониманием «их Ильичом» переживаемых ими обид.

После их ухода Ленин записывал фамилии делегатов, а секретарь отправлял председателям Советов и в «чека» конфиден-

ЗАКОНЧИЛАСЬ ОЧЕРЕДНАЯ ВСТРЕЧА С НАРОДОМ

циальные письма, чтобы те обратили на недовольных рабочих пристальное внимание и решительно пресекали нарастающие протесты.

Крестьяне глухими голосами жаловались от «земли»:

– Мы не можем стерпеть распоясавшейся «бедноты», этих негодяев, портящих землю, обижающих настоящих землепашцев! Мы не узнаем деревню; нас преследует бесправие и городская мерзость! Это непорядок! Нельзя так поступать с крестьянством! Мы в поте лица гнем спины, работая, разбиваем в кровь руки и ноги, а тут приезжают бездельники в кожаных куртках и все забирают! Зачем же мы тогда работаем?! Это не по закону! Нет! Дать – дадим, но только чтобы по справедливости. Видишь, Владимир Ильич, что творится! Крестьяне из Тамбовской губернии начали производить только столько, чтобы хватило прокормить семью! Но куда там! Приехали комиссары, набрали заложников и пригрозили, что расстреляют их, если мужики не будут обрабатывать всю землю. «Земля» думала, что это только запугивание, а они пять-десять мужиков поставили к стенке, ну и покончили с ними! Не играйте так с нами, потому что это плохо закончится! Мы бы уже давно взялись за ружья и топоры, только нам война надоела, но и кровопускания нам хватило по горло! Мы еще терпим, но всему, Ильич, приходит конец! Всему! Скажи своим комиссарам, чтобы руководили по справедливости, забрали от нас негодяев и нищих, не то мы их вырежем, как сорняки в поле...

Ленин превратился в слух, кивал головой, выражал сочувствие, обещал сделать комиссарам замечание, чтобы те не обижали «землю».

В душе он думал:

– Ага! Вылез буржуй... Мощный, с миллионами голов... упрямый, бесконечно терпеливый, но и опасный, как апокалиптическое чудовище!

Он не осмеливался им угрожать и не доносил властям об отважных словах и бунтарских мыслях крестьян. Он хотел, чтобы они ему верили и безгранично доверяли – такому доступному в разговоре, с такими хитрыми, крестьянскими глазами и веселым лицом человеку, который как будто вчера отошел от плуга, понимает все потребности, проблемы и обиды «земли».

С одной из крестьянских делегаций с Волги прибыл маленький, седой, невзрачный человечек, одетый как-то странно, смотрящий на Ленина загадочными, добрыми и проницательными глазами.

— Наверное, какой-то сектант — подумал диктатор.

Мужики приходили с обычными жалобами. Эксплуатация, грабеж, бесправие, комиссары... эти слова они повторяли бесконечно, все время к ним возвращаясь.

Маленький человечек слушал нарекания крестьян, хитро улыбался и шептал:

— Гордыня все это!.. Все идет хорошо и по справедливости. Все образуется, соседи! Не грустите, не сейте печаль в сердце Владимира Ильича... Пускай к нему побыстрее здоровье возвращается!.. Ему еще большая работа предстоит... незаконченная... большая, ой большая!

Когда делегация прощалась с Лениным и выходила из комнаты, седой человечек подошел к диктатору и, пронзая его взглядом, шепнул:

— Разреши, Владимир Ильич, остаться и рассказать тебе с глазу на глаз о том, с чем пришел к тебе.

— Останьтесь, товарищ! — сразу же согласился снисходительный к крестьянам Ленин, никогда не забывающий о «чудовище с миллионом голов», которые срубить не смогли бы все «чека» пролетарского государства.

Они остались вдвоем.

Хитрая улыбка вдруг исчезла с лица гостя. Он выпрямился и сказал торжественным голосом:

— Давно не виделись, Владимир Ильич!

Ленин посмотрел на него вопрошающе.

— Давно! — продолжал человечек. — Мы встретились только однажды... В Кукушкино над Волгой... Я чай у вас пил... Меня твои родители пригласили... Порядочные были люди, добрые...

— Ах! — воскликнул Ленин и хлопнул в ладони. — Я вспомнил! Маленький, худой попик, который прибыл на похороны деревенской девушки...

— Да, да! Отец Виссарион Чернявин... — кивнул головой гость. — Я знал вашего брата... упокой, Господи, душу его...

– Чем теперь занимаетесь? – спросил Ленин, хмуря брови.

Чернявин улыбнулся:

– На старости пришлось заняться землепашеством, попыто у вас не в чести.

Он тихо и таинственно рассмеялся.

Они долго молчали, меряясь взглядом, замечая каждый блеск глаз, каждую рождающуюся мысль.

Первым прервал молчание поп:

– Я пришел выразить вам благодарность, Владимир Ильич! Благодарность от чистого сердца, познавшего любовь и носящего в себе глубокое понимание.

Сказав это, он внезапно встал на колени и низко поклонился, касаясь лбом пола.

– Благодарность мне? – разразился смехом Ленин. – Мы ваших епископов, попов и монахов-дармоедов потрепали и разогнали на все четыре стороны. Ха! Ха! Все, конец! Аминь! Вставайте с колен, я не икона...

Виссарион Чернявин встал, хитро улыбнулся и прошептал:

– Ой, не конец! Ой, не конец! Это только начало... Как раз за него я хотел тебя поблагодарить и до земли поклониться...

– Бредишь, друг мой! – махнул рукой Ленин.

– Ты думаешь, что убил веру? – начал шептать поп. – Э-э, нет! Ты разрушил церковь греческую, которая была ползущим по земле, не имеющим орлиных крыльев и не могущим воспарить в небеса земноводным. Так, как говорит наш Максим Горький: «Рожденный ползать – летать не может!» Ты понял позор и унижение настоящей веры и заставил ее начать жизнь сначала: от Христовых апостолов, от тайных собраний, мученичества и лампад первых христиан! Ты высвободил веру горячую, несгибаемую из пут услужливой церкви. За это приношу я тебе благодарность от себя и своей преданной паствы!

Ленин побледнел и напрасно силился что-то произнести дрожащими губами.

Поп, не замечая его возбуждения, говорил дальше:

– Ты думаешь, что переделал мужиков на тех, которые ходят покорным и немым стадом от самого рождения? Э-э, нет! Они поняли все-все! Они знают, как растет трава, слышат, о чем шеп-

чет река! Они разговаривают теперь осмотрительно, осторожно, с подозрением, неспешно собирая силы... Когда они заговорят все вместе, одновременно, гром будет такой, что его услышит весь мир! Они заставят склонить перед ними головы, бунтом охваченных, ничего не ценящих, чужих по духу и крови рабочих и комиссаров! Темные мужики, которых ты просветил, возродил, возьмут жесткой, натруженной рукой жизнь родины и поведут ее по прямой дороге. За это благодарю тебя, Владимир Ильич, от себя – слуги Божьего, от «земли» и от души замученного за народ брата твоего Александра Ульянова. Прими его, всемогущий, милосердный Господь, в пристанище святых Твоих!

Ленин, делая страшное усилие, встал и оперся руками о стол. Его глаза были широко раскрыты, а в них метался дикий, безумный ужас.

Старый поп поднял глаза кверху и прошептал со страстным волнением:

– Мы умираем, преследуемые, гонимые, замученные! Ах! Хорошо это, благородно и сладостно подвергаться ради суровой правды ненависти бесстыжих деспотов, угнетающих свободу во имя свободы, истязающих душу, чтобы познала она извечную мудрость!

– Прочь! – крикнул Ленин и покачнулся, словно был пьяный.

– Прочь! – хрипло повторил еще раз и вдруг, скрежеща зубами, охваченный судорогами упал в кресло.

Что-то протяжно зазвенело, прошипело, лопнуло... Весь мир закружился по безумной спирали и устремился в возмущенную, кипящую бездну, по которой сновали и ползали, словно бледные змеи, черные струи дыма, блуждали в тумане и чертили в мраке запутанные, тайные зигзаги...

Маленький, седой человечек выскользнул из комнаты и, увидев медсестру, доброжелательно сказал ей:

– Идите к нему, сестра, знать, не совсем еще здоров наш Владимир Ильич...

Он вышел спокойный и улыбающийся.

Тяжелый и долгий приступ вновь лишил Ленина сил и сознания.

Справившись с ним, он долго пребывал в задумчивости, никого не замечая и не отвечая на вопросы присутствующих.

Одна и та же неотступная мысль буравила, мучила мозг:

– Неужели мои усилия привели народ к противоположному полюсу? Это было бы насмешкой судьбы... страшнейшим проклятием... Какие же тяжкие сомнения посеял в душе моей этот безумный поп! Нет! Никогда!

Он позвонил резко, нетерпеливо три раза.

Вбежал секретарь.

– Товарищ, пишите! – возбужденным, хриплым голосом воскликнул Ленин. – В Москве находится поп Виссарион Чернявин. Схватить и расстрелять... сегодня же!..

ГЛАВА XXXI

Глядя на Ленина, врачи не верили собственным глазам. Они готовы были поверить в чудо. Этот безнадежно больной, наполовину парализованный, впадающий в безумие человек внезапно поднялся, распрямил плечи, хитро и весело улыбнулся, как будто хотел сказать:

– Только мне известна тайна, которую я никому не доверю!

Почти с постели он пришел в зал Совета народных комиссаров.

Для этого было самое время!

Комиссары, кроме мечущегося по всем фронтам Троцкого и угрюмого, упрямого Сталина, потеряли головы.

Белые армии Колчака и Деникина одерживали победы над коммунистами. Все обещания Ленина, объявленные на весь мир, не сбывались.

Сначала росла надежда на постоянный мир и утверждение социализма в течение двух месяцев; не сбылось предсказание о победе революции в Германии. Пролетарское восстание, которое действительно вспыхнуло в Мюнхене и Берлине, провалилось. Любящие свою страну и культуру немцы, независимо от того, были ли это преданные Гогенцоллернам империалисты, либералы или руководимые Шейдеманном, Адольфом Гитлером и Носке социалисты, задушили коммунизм в зародыше. Спартаковцы были повержены, а взбешенная толпа рабочих, солдат и офицеров издевалась на улицах над Либкнехтом, Люксембург и Иогихесом, которых перевозили в тюрьму, где вожди коммунизма были убиты.

Германская республика перешла в лагерь самых опасных, идейно организованных врагов диктатуры пролетариата.

После нее сбросили большевистский гнет Венгрия, Чехия и балканские государства; в Италии коммунисты не осмелились даже объявить восстание, хотя в больших и малых городах

уличная чернь, ослепленная размахом российской революции, весело выкрикивала:

– *Viva Lenin! Viva il bolcevismo!*

Ленин знал об этом уже во время своей болезни, читая газеты и советуясь с коллегами. Ему представили текущее положение дел еще раз сразу же после его прибытия в зал Совета комиссаров.

Все присутствующие смотрели на него с упреком, ожидая, затаив дыхание, что скажет диктатор. Он немного задумался. Поднял голову и, щуря глаза, сказал:

– Теперь мы сами должны установить коммунизм в Германии... Следует немедленно наладить дипломатические отношения с капиталистическими странами, выражая наше искреннее стремление к мирному с ними сосуществованию...

– Это измена идее!.. Компромисс!.. Смерть коммунизма! – крикнули Зиновьев и Каменев, стуча кулаками по столу. – Преступный оппортунизм!

– Формально мы должны жить с соседями в хороших отношениях, – спокойно продолжал Ленин, – нам от них нужны товары, которых у нас не хватает, деньги и специалисты для восстановления нашей уничтоженной промышленности. Мы впустим зарубежных капиталистов, чтобы они оживили торговлю и облегчили нашим экономическим и дипломатическим миссиям свободный доступ в свои страны, в которых мы будем распространять нашу агитацию. В то же время социалисты расцветок Циммервальда и Кинталя должны провести работу по разложению внутри этих государств. Российский пролетариат должен любой ценой закончить победой гражданскую войну и немного передохнуть. За это время мы усилим наши плацдармы в Польше, Германии, Чехии и начнем сначала...

– В Германии у нас нет никаких сил. Там все подавили империалисты и товарищи, соглашатели... – заметил Чичерин.

– Вы не даете мне закончить! – взорвался Ленин. – В Германии у нас есть огромная армия, состоящая из нескольких тысяч русских военнопленных. Они должны быть организованы и расположены вдоль линии Эльбы. Товарищи Буш и Корк писали мне об этом. Пленные ударят. Мы пойдем через Польшу.

Молодое, слабое, разрушенное государство не сможет сопротивляться...

Дзержинский вздрогнул и вонзил в Ленина неподвижный взгляд.

Слово взял Троцкий. Он говорил насмешливым голосом:

— Такой план требует много золота... В нашей стране, товарищ председатель Совета народных комиссаров, стоят заводы, растет голод, эпидемии, недовольство! Пока что мы взбунтовавшиеся нищие...

Ленин посмотрел на него с презрением. Улыбнулся и твердо сказал:

— У нас есть бриллианты Романовых, неизведанные сокровища Эрмитажа и других музеев. Все продать!..

Он тихо рассмеялся.

— Фабрика государственных бумаг должна начать печатать зарубежную валюту! — хриплым голосом выкрикнул он. — По истечении двух месяцев у нас будет полмиллиона вооруженных людей на неприятельской территории. Мы должны помнить, что нас окружают недовольные, угнетенные, стосковавшиеся по миру народы. Начнем с Чехословакии и Польши, после них наступит черед Румынии и Югославии. После первых успехов к нам присоединится Италия. Сегодня я получил точные сведения, что, несмотря на поражение, немецкий пролетариат встанет под наши знамена. Долго ли после этого продержится Франция? Она падет, а за ней рухнет Англия! Для реализации этого плана у нас должно быть готово все, вплоть до последнего обрывка бумаги. Никто не выдержит нашего вооруженного натиска изнутри и снаружи!.. Мы не имеем права впадать в отчаяние и сомнения, товарищи! Долой панику! Нам необходимо немного отдохнуть, собраться с силами и — за работу!

Под воздействием кипучей энергии, спокойствия и неугасающей ни на мгновение ленинской веры началась новая работа.

Формировалась и обучалась огромная армия, печатались фальшивые фунты и доллары, на улицах столиц почти всего мира продавались бриллианты, жемчуг, золотые сервизы, принадлежавшие царской семье и русской церкви; за границу вывозились картины, скульптуры; торговали старыми иконами, музейными

ценностями, книжными собраниями; из святынь выносились все ценности; все силы были брошены на свержение сибирского правительства, имевшего почти весь золотой запас страны.

Ленин думал обо всем.

Через невидимые щели сочилась его коммунистическая пропаганда и стекались деньги на мировую революцию; он созывал совещания профессионалов, планируя электрификацию страны и подведение к каждой деревенской хате электрического света; для приведения в действие динамо-машин он устанавливал воздушные моторы; строил самолеты; основывал новые университеты и школы для воспитания специалистов с пролетарской психологией; поддерживал фантастические проекты новых фабрик; принимал крестьянские делегации; собственноручно выписывал для крестьян разрешения о перевозе по железной дороге большего количества товаров и продуктов; лично проверял, как исполнялись и рассылались его приказы; он засыпал все газеты статьями; издавал книги и брошюры; выступал с агитационными речами, усыплявшими бдительность народа, облегчавшими его страдания и пробуждающими надежду.

Он весь кипел и горел; напрягал силы в бешеной, непостижимой спешке.

Конторы не успевали за ним. Комиссары, подгоняемые его личными звонками и потоком маленьких записок с новыми идеями, теряли головы и падали от истощения. Зато он все делал вовремя и требовал точности и систематичности в исполнении поручений. Его поглотила идея о научной организации труда и создании «лиги рационального использования времени». Комиссии ломали головы над этой задачей и ежедневно отчитывались диктатору о результатах своих исследований, не скрывая, что все опыты очень затруднены из-за господствующей в рабочих массах деморализации.

Ленин спешил.

Только он один знал о причине такой спешки.

У него случались моменты оцепенения и мучительного, ужасного безразличия. Тогда он чувствовал невыносимую тяжесть в голове и пронизывающий холод. Мысль с трудом двигалась в мозгу, как будто с усилием просачивалась через щель в камне.

Он понимал, что под его черепом происходят вещи удивительные и неизбежные.

У него не было сомнений, что это были опасные симптомы.

Только однажды, глядя на навестивших его доктора Крамера и Максима Горького, в присутствии Надежды Константиновны он сказал, заставляя себя улыбнуться:

– Попомните мои слова, что я умру парализованным!..

– Вам нужен продолжительный отдых, – заметил доктор.

– Я не могу терять ни секунды! – с нажимом возразил Ленин.

Это было правдой. Он обдумал новый запутанный политический план, который подготовил в деталях, а значит – надо было приступать к его реализации.

Его беспокоило одно явление, вызванное лозунгами, выдвинутыми им в октябре 1917 года.

Он торжественно объявил, что все входящие в состав бывшей Российской империи народы могут самостоятельно определить свое отношение к пролетарскому государству и даже оторваться от него целиком.

Вся Россия покрылась самостоятельными республиками. Это ослабляло страну и не позволяло Совету комиссаров требовать у отколовшихся частей продовольствия и людей для армии.

Ленин принялся разлагать эти мелкие образования, воспользовавшись господствующими в них идейными раздорами, присоединял к союзу федеральных республик, захватывал непокорные народы, ведя борьбу с Кавказом, казаками и Украиной, наконец он перечеркнул обещание первого декрета и сосредоточил «освобожденные» пролетариатом и захваченные некогда царем народы в руке Кремля.

Наполовину монгольская и наполовину славянская душа со всей силой и решительностью разразилась извечной российской тягой к экспансии, презрением к слабым народам, что соответствовало хищной природе нации. Он придушил ногой поверженных и сдавил им горло. Народы и племена стали рабами московского правительства, ужасавшего присланными агентами кровавой «чека» и карательными отрядами.

С той поры порабощенные вынуждены были разделить судьбу поработителей и вместе с ними идти к неизвестной цели, исчезавшей среди наступавших отовсюду грозных туч.

Захват богатой Украины и Кавказа придал сил боровшемуся с противоречиями Совету народных комиссаров. Красная армия победила страшнейшего врага – сибирское правительство. Это был грозный противник, приближавшийся к Перми и уже объявлявший день взятия Москвы. Он пал внезапно, в тот момент, когда командование громко мечтало о царе и Национальном собрании, чем и воспользовались бдительные предводители коммунизма, умело и хитро настраивая против них русское и монгольское население.

Богатая Сибирь значительно пополнила запасы хлеба, мяса, золота и людей.

Тогда Ленин собрал чрезвычайное заседание Совета и заявил:

– Теперь нам остался только один южный фронт. Но и он долго не продержится, потому что уже прогнил... Пора начинать войну с «капиталистическим интернационалом» – с Западом. Первый удар должен обрушиться на Польшу. По ее трупу мы пройдем в Германию и поднимем там восстание пролетариата. Когда у нас будет свое правительство в Берлине, Европе придет конец! Война с Польшей, товарищи! Председателем будущего польского коммунистического правительства я назначаю товарища Ворошилова, который подберет себе сотрудников по собственному усмотрению. Во главе армии в качестве политического руководителя после согласования с отсутствующим товарищем Троцким станет Каменев, имея при себе в качестве ответственных профессиональных командиров – Тухачевского, Сергеева, Буденного и Гай-хана. Военно-революционный комитет принимает план, разработанный товарищами Шапошниковым, Гиттисом, Корком и Куком. Наша железная пехота и героическая кавалерия должны утопить преступное правительство Пилсудского в крови разбитой польской армии! На Вильно – Минск – Варшаву – марш!

Комиссары были удивлены, столь решительным и воинственным тоном Ленин не выступал никогда. Громкие фразы он предпочитал оставить другим.

Однако делал он это совершенно сознательно.

В мозгу российского мужика и даже интеллигента жила непреодолимая жажда великой неделимой России. Польша, насилием и хитростью присоединенная к бывшей империи, давно превратилась в одну из западных провинций. Глашатаи идеи свободы народов не могли об этой «провинции» забыть. Повторное преступное попрание права Польши на свободу и независимость не вызвало бы возмущения российского народа. Ленину это было хорошо известно, и он ковал новые кандалы, намереваясь утопить Польшу в крови, запугать террором и присоединить к республике коммунистических советов.

Он ничем не рисковал. Нравственность диктатора стала нравственностью всего народа.

Комиссары расходились, обсуждая развитие предстоящих событий и нахваливая мудрый план своего вождя.

После совещания Ленин распорядился, чтобы к нему доставили царского генерала Брусилова.

— Товарищ генерал! — сказал, не здороваясь, диктатор. — Приказываю вам написать воззвание к народу о войне с Польшей и принять участие в финальной части штабных приготовлений. Если я замечу сомнения или предательство, вы в тот же день погибнете в застенках «чека»! У меня все.

Генерал-службист, еще недавно — любимец царя, покорно поклонился и вышел.

Ленин остался один. Он сел в кресло и закрыл глаза. В голове ощущалась тяжесть и непрерывно кипящая в ней работа неизвестных сил. Она напоминала жужжание роя пчел или никогда не прекращающееся движение в муравейнике.

Он тяжело дышал и сжимал пальцы, впивающиеся в кожу кресла.

Вдруг почувствовал на себе упрямый взгляд, пронзающий опущенные веки и проникающий в мозг.

Он посмотрел и вздрогнул.

Возле стола стоял Дзержинский. Его лицо ужасно дергалось, губы искривлялись, а бледные глаза буравили зрачки диктатора.

— Феликс Эдмундович... — шепнул Ленин.

Дзержинский сделал шаг вперед и быстрым хищным движением склонил голову.

– Я пришел... – прошипел он, – чтобы напомнить вам нашу первую беседу в Таврическом дворце в день восстания... Вы, товарищ, поклялись поставить меня во главе польского правительства...

– Я назначил Ворошилова, – ответил Ленин. – Это должен быть русский, потому что войну с Польшей будет вести Россия.

– Товарищ... – повысил голос Дзержинский, угрожающе вращая глазами, – товарищ, вы дали слово... Можете обманывать ваших темных мужиков, взбесившихся, буянящих и ленивых рабочих, но не меня!.. Я знаю, чего требую!... Вы не понимаете, на что идете! Вы не знаете польский народ! Это не русские! Поляки сердцем любят каждую пядь земли, каждое дерево, каждый кирпич костела... Они могут ругаться и драться за грудки, но когда речь заходит о стране, горе тому смельчаку, который в нее вторгнется!.. Там только я смогу обмануть, обхитрить, усыпить бдительность и тревогу! Только я! За мою верную службу, за море пролитой крови, за окружающее мое имя презрение и ненависть я требую этого!

Он выпрямился, не спуская с Ленина глаз, тяжело дыша и зажимая рукой дергающееся лицо. Моментами оно сжималось настолько, что обнажались, словно в ужасном крике, зубы и десны, потом губы раздвигались и в страшной маске смеха сужались зрачки.

Ленин смотрел на него. В голове кружились ненужные, отовсюду врывающиеся осколки и обрывки мыслей:

– Расстрелял Елену... убил Дору... Ах, Апанасевич?!

Молчание длилось долго.

Дзержинский ударил кулаком по столу и прошептал:

– Требую! Слышишь ты, искуситель, захватчик татарский? Я выйду отсюда или с подписанным тобой документом, или затем, чтобы объявить о твоей смерти... Знай, что везде здесь мои люди... Если захочу, то прикажу убить всех в Кремле... Требую!

Он еще раз ударил кулаком стол и замолчал.

Ленин протянул руку к электрическому звонку.

— Не трудись... звонок не работает, — прошипел, насмешливо глядя на диктатора, Дзержинский. — Впрочем, сегодня везде в Кремле стоят мои люди...

Ленин внезапно рассмеялся. Его желтое лицо стало любезным и веселым.

— Мне нужна бумага! — воскликнул он. — Только бумага, ха-ха!

— У меня с собой написанный декрет, — заявил Дзержинский. — Подпишите его, товарищ...

Он положил перед ним отпечатанный на машинке лист бумаги.

Ленин пробежался по нему глазами и подписал.

— Хорошо вы это продумали, Феликс Эдмундович, — прошептал диктатор. — Игрок!

— В Москве, кроме вас, есть и другие, думающие о томсем, — ответил Дзержинский, пряча документ. Он глубоко заглянул в прищуренные глаза Ленина и сказал:

— Но помните, если отмените декрет или станете охотиться на мою жизнь, — погибнете, Владимир Ильич!

Ленин ничего не ответил. Он погрузился в кресло и спокойно смотрел на дергающееся лицо Дзержинского, на его опухшие веки и безумные глаза. Он снова доброжелательно улыбнулся и спросил:

— Может, попьете чайку, Феликс Эдмундович? Сейчас придет Горький, будет объяснять, почему в нашем мужике столько жестокости... Ха-ха!

Дзержинский небрежно махнул рукой.

— Спасибо! — проворчал он. — Я не очень верю в ум этого вашего гения. Говорит он, что мужик жесток, потому пьет водку и читает «Жития святых»! Это хорошее объяснение для детей... Если бы водка и «Жития святых» имели такое влияние, то все человечество превратилось бы в банду разбойников. Тем временем это происходит только в России...

— Ну, что касается жестокости, то вы, хоть и не русский, кажется, обошли всех, — тихо смеясь и подмигивая, прошептал Ленин.

Дзержинский понял насмешку. По его лицу прошла судорога. Сжимая виски, он сказал:

— Я не торгуюсь... Но я не мог бы убить человека на улице... Мне для этого нужен подвал и дворик «чека», потому что в ней живет идея... страхом заставить людей проявлять наивысшее мужество...

— Гм... гм, — с откровенной издевкой пробормотал Ленин.

— Это мужество заключается в том, что люди забывают о себе, принося себя в жертву ради других... — закончил Дзержинский.

Ленин ничего не ответил. Подумал только: «Предатель, как Конрад Валленрод, или обыкновенный безумец, садист?»

Дзержинский вышел тихо, без шороха.

Ленин был зол, взбешен и ворчал себе под нос:

— Покушение, первое покушение на мою свободу! Никто никогда не осмелился это сделать, а этот безумец... Как поступить?

Он не видел выхода из неожиданной ситуации. Не вызывало сомнений, что Дзержинский готов был исполнить свои угрозы.

— Я не вправе рисковать жизнью своей и товарищей... Пускай время решит эту проблему... Когда Дзержинский будет в Польше, я против него что-нибудь придумаю... В любом случае в «чека», в это государство в государстве, он больше не вернется!

Настали тяжелые времена. Год сражений огромной России с маленькой, истощенной и разграбленной во время мировой войны Польшей.

Первые успехи опьянили Красную Армию.

Каменев, Ворошилов и Тухачевский уже точно вычислили день входа в Варшаву и доложили об этом в Москву.

Они неслись сломя голову, упоенные победами, пролитой кровью, смертными приговорами, издевательствами над офицерами и умными солдатами «шляхетской» Польши.

Польские генералы — Пилсудский, Халлер, Желиговский, Шептыцкий, Соснковский и Сикорский — умели подбирать людей. Появлялись молодые, способные, несгибаемые офицеры. Легионы, сражавшиеся недавно с армией царя, теперь с таким же задором бились с Красной армией, собиралась и сразу же вступала в бой добровольческая армия, возникали партизанские отряды, которыми командовали люди безумной

отваги. Воззвания Пилсудского и Халлера зажгли сердца польской молодежи и женщин.

В рядах защитников сражались тысячи студентов, бывших еще почти детьми гимназистов, девушек и молодых женщин. Аристократ – рядом с крестьянином, ксендз – рядом с рабочим-социалистом. Одиннадцатилетний мальчишка – рядом с повстанцем 1863 года. Любовь к отчизне разгорелась в огромное пламя. Она была как буря, перед которой ничто не могло устоять.

Польский штаб перенес бои на Вислу. В момент, когда красные патрули уже входили в предместья Варшавы, армия дикого российского пролетариата была разгромлена. Она отступала в панике, теряя тысячи людей, артиллерию, разбегалась за границу и складывала оружие. Только недобитки добрались до России, в которой, так же, как и во время немецкого наступления после прерванных переговоров в Бресте, теперь видели спасение в поляках.

Еще одна карта Ленина была бита.

Собравшийся на заседание Совет народных комиссаров с нескрываемым скептицизмом смотрел на Ленина, спокойно, невозмутимо слушавшего объяснения Каменева и Тухачевского о ходе неудавшейся войны.

Когда они закончили, Ленин щелкнул пальцами и глухим голосом сказал:

– Мы проиграли! Ха! Сражаться без любви в сердце с теми, кто любит землю, народ, традиции, не легко, товарищи! Это нам наука на будущее. Мы должны привить армии и крестьянству любовь к коммунистической отчизне и сознание, обратное имеющемуся у поляков. Они считают своей обязанностью защиту Запада от экспансии Востока. Мы же должны чувствовать ответственность за распространение коммунизма от океана до океана!..

– Это какая-то очень запутанная софистика! – презрительно заметил Зиновьев, глядя на товарищей.

Ленин не обратил на него никакого внимания.

– Перед нами стоит задача – покончить с гражданской войной, – продолжал он. – Направить на Деникина и Врангеля все силы и навсегда подавить контрреволюцию! Взяв в свои руки безраздельную власть над всей Россией, мы начнем новую игру.

Я думал, что дойдет до того, когда Красная армия сможет воевать не только «семеро на одного», но и с равными силами противника. Теперь я вижу, что вы не воспитали в ней духа сопротивления и необходимого для победы спокойствия. Вы должны это исправить! Мы начнем новую игру!

Он внезапно на мгновение замолчал. Но этого неуловимого мгновения хватило, чтобы мысль Ленина молниеносно обежала и опутала весь мир. Он увидел зарево над Индией, а шум и грохот битвы перекликался с отголосками бушующей над Гималаями бури. Миллионы желтых бойцов, словно ужасные волны, двигались на Запад. С юга в Европу врывались черные орды негров, оставлявшие за своей спиной пепелища и следы сражений.

— Мы начнем новую игру! — повторил Ленин, ударяя кулаком по столу. — Ее предвидел философ-мечтатель Владимир Соловьев. Мы поднимем Азию против Европы! Мы поднимем индусов, негров и арабов против Англии, Франции и Испании! Мы раздуем революцию цветных против белых людей. Мы встанем во главе этого движения и руками желтых, черных и коричневых товарищей свергнем старый мир! С востока мы должны черпать силы для нашего дела! Необходимо начать работу по созыву Азиатского конгресса! Мы объявим «священную войну» Англии, этой крепости капитализма и старого порядка. Миллиард угнетенных людей встанет в наши ряды!

Ленин опять, как всегда, сумел бросить ослепляющий лозунг, открыл широкие горизонты, вдохновил верой и надеждой.

Красная армия вскоре ураганом свалилась на фронт генерала Врангеля, разгромила его войска, заставила отступить за границы России; иностранцы в панике оставили Крым, Кавказ и Одессу; на Европу выплеснулась волна российских беженцев, которые были обречены на долгие, тяжкие скитания.

Над Россией развевалось красное знамя коммунизма, а его тень распространялась на западе до польской, латвийской и румынской границ, а на востоке — до Тихого океана.

В разных российских городах проходили конгрессы представителей азиатских народов. Хитрые комиссары подбрасывали им идею борьбы с Англией и Францией, чертили границы ог-

ромного государства с лозунгом: «Азия для азиатов» и нашептывали им:

— Мы поведем вас к великому завоеванию мира!

Здесь никто не говорил о коммунизме, об отмене частной собственности, о законе силы и борьбе с Богом.

Здесь звучали другие речи — хитрые, фальшивые, но зато действующие на воображение мечтающих о свободе рас, которых тяготило тяжелое бремя белых захватчиков, забывших о науке Иисуса из Назарета.

Комиссары, подогревая в цветных людях ненависть к Англии и отравляя их разум возможностью скорой мести, потирали руки и уже видели своим хищным воображением новые горы мяса, брошенного под пушки и пулеметы во имя ужасавшего Европу лозунга.

Наконец агитационная работа была закончена.

В Москве был созван конгресс третьего Интернационала, чтобы утвердить совместный план действий.

Заседания Интернационала проходили в большом тронном зале Кремля. Среди российских и западноевропейских делегатов виднелись тюрбаны индусов, чалмы афганцев, арабов и берберов, красные и черные фески турок и персов, шелковые шапочки китайцев и аннамитов, круглые головы японцев и блестящие, эбеновые лица негров из Соединенных Штатов, Судана и земли зулусов.

На тронном кресле с царским двуглавым орлом на спинке сидел огромный негр с бычьей шеей и широким, рассеченным линией белых зубов лицом.

Он председательствовал на собрании с высоты трона Рюриковичей, имея в качестве помощников в руководстве заседанием товарища Карахана и «индийского профессора» Майавлеви Мухамеда Барантуллу.

Конгресс единогласно принял постановление о «священной войне» против Англии. К этому решению присоединился посол жестокого Аманулла хаха, эмира Афганистана. Это имело огромное значение в глазах мусульман, так как ученые под влиянием «улема» намеревались признать эмира в качестве «магди» — «меча Аллаха» и вручить ему хранящееся в Мекке зеленое знамя кровавого Пророка.

Все шло согласно идее Ленина и находящихся под его влиянием комиссаров из политического бюро.

Восточных делегатов принимали сердечно и с размахом. Им, как и другим приезжающим в Москву, показывали вещи, демонстрирующие высокий уровень жизни в России. Это были: ткацкая фабрика, типография, образцовый рабочий дом, современная деревенская хата, школа, детский приют, читальня, которые были обустроены так, чтобы понравиться и сбить с толку наивных гостей, которые даже не подозревали, что остальные фабрики остаются закрытыми, что в одной комнате реквизированных квартир и дворцов гнездится по три рабочие семьи, что в деревне не изменилось ничего, кроме того, что пропали керосин, свечи, мыло и ткани для одежды, что школы, приюты и читальни не имеют средств даже на дрова, что они превратились в очаги разврата и болезней.

Ленин приглашал делегатов к себе и вел с ними беседы характерным, вызывающим симпатию и склоняющим к искренности способом.

Болтливые негры из Америки и Судана кричали, размахивая длинными обезьяньими руками, скалили могучие клыки и все как один обещали поднять восстание, чтобы уничтожить белых угнетателей.

Только зулус молчал и угрюмо посматривал на черных сородичей. Когда они немного успокоились, он презрительно проворчал:

— Мудрость говорит: «Благодари за каждый совет, но живи своим умом и рассчитывай на собственные силы». Не руки принесут нам свободу, даже если будут очень сильными. Только ум! Только ум принесет нам счастье...

Он замолк и отошел от разговаривающих с Лениным товарищей.

— Вы голосовали за войну с Англией? — спросил его комиссар Карахан.

— Да! — ответил зулус. — Но война бывает разной. Не только мечи звенят и повергают людей. Не только кулак влияет на разум....

Всегда сосредоточенные, бдительные и мнительные азиаты смотрели на суетившихся комиссаров невозмутимым взглядом

черных, спрятанных за дымкой таинственности глаз. Они внимательно слушали и хранили молчание.

Японец Комура, выслушав зажигательную речь Ленина, пожал плечами и проворчал, втягивая воздух:

— Вы не можете руководить нами. Ваш народ невежественен, слаб духом и жесток. Мы знаем его по войне 1905 года. Мы, люди из Ниппон, поведем за собой Азию!...

Ленина не обрадовал также разговор с Ван-Ху-Коо, которого он пригласил на длинную беседу в свой кабинет.

Потирая руки и загадочно улыбаясь, китаец с полным уважения поклоном сказал:

— Мудрый господин, который не запрещаешь мне, недостойному, называть себя «товарищем», позволь высказать недоумение непросвещенного и убогого человека! Ты хочешь ликвидировать сто лет человеческого труда, который отделяет Россию от Запада?.. Это не удастся... Мы, китайцы, имеющие 500 лет отставания, должны достичь всего того, что подняло Европу над остальным миром. Мы хотим иметь капиталистическую экономику, демократию и парламент, но такой, в который попадут лучшие, самые честные и мудрые люди. Пускай там будут потомки цесаря, мандарины, банкиры, крестьяне, кули. Но это должны быть лучшие из лучших. Они должны работать не для себя, не для своих друзей, а для всего народа! Так мы думаем, уважаемый, мудрый товарищ, достойный господин!

Особенно обеспокоила Ленина беседа с индусом.

Это был образованный Ауробиндо Чендарвакар, высланный Махатмой Ганди. Кремль очень нуждался в индусах, потому что они первыми могли нанести удар Англии, вставшей на пути коммунизма. Он хотел обсудить с Чендарвакаром совместную акцию и немедленное выступление горцев северо-западных провинций.

Этого, однако, не произошло, потому что беседа прекратилась внезапно и фатально.

Выслушав объяснения коммунистической программы, индус воскликнул:

— Теперь мне понятно! Коммунизм является результатом материалистической цивилизации, и его сторонники в поклонении

мертвой материи утратили контакт с реальной жизнью, превратившись в машину. Мы боимся ее! Колеса машины втянут нас в свои трансмиссии и зубья, пока не превратят в пассивные, безразличные, бездушные составляющие части этой самой машины. Она является делом темных сил и несет погибель! Обратитесь к духу и в нем ищите Бога! Бог есть любовь, творящая добрые дела. Вы сеете ненависть, которая оставляет после себя руины, трупы и месть... Мы относимся к вам хорошо, потому что вы, как и мы, боретесь с Англией... Но наши дороги – разные... Вам не предначертано стать нашими вождями... Почему вы должны быть нашими вождями? Кто призвал вас к этому?

Ленин должен был немедленно прекратить этот разговор, потому что в его кабинет входили делегаты: болгарский – Коларов, итальянский – Террацини, английский – Стюарт, американский – Амтер, южно-африканский – Стирнер, финляндский – Куусинен, которых вводили Радек и Иоффе.

В тот же вечер диктатор вызвал к себе Чичерина, Карахана, Литвинова, Радека и долго с ними беседовал. Решено было потратить значительные суммы на подкуп делегатов, на отправку самых способных агитаторов в Индию и Китай, чтобы они боролись с предрассудками «диких чудовищ», уже отравленных ядом цивилизации загнивающего Запада.

– Обработка азиатов не будет делом простым... – вздохнул Карахан.

Как будто в ответ на это вошел секретарь и передал телеграмму.

– Товарищи, – прошипел Ленин, – афганский эмир, поднимающий восстание против Англии, был разбит на пути в Кабул. Махатма Ганди высказался против тактики воинствующего коммунизма и решил перейти к «пассивному сопротивлению». Безумец!

Товарищи молчали.

Ленин чувствовал, что вера в него улетучивается, как утренний туман от дуновения ветерка.

Он должен был бросить на стол новую карту, чтобы сейчас же увлечь воображение комиссаров, отвести их от окончательного разочарования.

Такой карты у него не было.

Его внезапно охватило ужасное безразличие. Он почувствовал желание отдохнуть, остаться в одиночестве и молчании. Холодно попрощавшись с товарищами, он пошел домой.

Лежа на диване и будучи страшно изможденным, он ни о чем не думал.

Кто-то постучал в дверь и вошел в комнату.

Это был дежурный охранник с телеграммой.

– Председателю Совета народных комиссаров конфиденциально! – доложил он.

Ленин разорвал конверт и взглянул на подпись.

Телеграфировал председатель Совета украинских комиссаров, докладывая, что мужики нескольких областей вырезали «бедняков», поубивали комиссаров, учителей-коммунистов и разграбили продовольственные склады.

– Я направил карательные отряды, чтобы заставить мужиков повиноваться и конфисковать у них пшеницу. Три деревни сровняли с землей, – закончил доклад высокий чиновник нового правительства.

Произошла ужаснейшая вещь. Совет народных комиссаров открыто выступил против крестьян. Привлекательность Кремля и личное обаяние Ленина испарились безвозвратно.

– Что делать? – прошептал Ленин. – Крестьянам не нужны ни западные, ни восточные товарищи! Им безразлична электрификация и коммунистический прогресс! Они требуют мира, нормального труда, хлеба, товаров... Этого я им дать не могу! Для этого надо было бы бросить крестьянству сто тысяч тракторов, запустить фабрики... Ха! Мистер Кинг... рассказывал о могучих машинах, но потом отошел от меня и даже не оглянулся! Мистер Кинг!..

Он осмотрелся. Возле дверей стоял по стойке смирно ожидающий приказов офицер.

Ленин вскочил и разъяренно крикнул:

– Уйди!

Офицер выскочил в испуге.

Ленин бегал по комнате и, прикладывая кулаки ко лбу, хрипло кричал:

– Дайте мне сто тысяч тракторов, оборудование для фабрик, трудолюбивых рабочих, профессиональных, гениальных инженеров, и я переверну мир!

Вошел сторож, который обычно топил печи и, смеясь в кулак, буркнул хриплым голосом:

– Сегодня вам будет холодно спать, товарищ! В Москву не доставили уголь... Людишки говорят, что где-то под Харьковом бастуют голодные железнодорожники и не пропускают поезда. Ха, впавший живот на разные дерзости может толкнуть человека. Холодно вам будет, товарищ, потому что мороз надвигается!

Ленин подошел и заглянул ему в глаза.

– Если не будешь топить, то не шатайся по дому... «товарищ»!

Он вытолкнул его и захлопнул дверь.

С улицы доносились угрюмые звуки и пылающие завистью и угрозой слова международного пролетарского гимна:

Презренны вы в своем богатстве,
Угля и стали короли!
Вы ваши троны, тунеядцы,
На наших спинах возвели.
Заводы, фабрики, палаты –
Все нашим создано трудом.
Пора! Мы требуем возврата
Того, что взято грабежом.

Ленин долго прислушивался; наконец выругался, заткнул уши пальцами и начал бегать по комнате, завывая:

– О-о-о! Мистер Кинг! Мистер Кинг!..

ГЛАВА XXXII

Месяцы тянулись и проходили как дурной сон. Из тяжелой мглы, повисшей над Россией, выходили ужасные, апокалиптичные фигуры и оставляли за собой кровавый след.

– Ленин не видел этого, сидя в тишине Кремля.

Но не только над населением повисла невыносимая, ядовитая мгла.

Всемогущий диктатор, опираясь на безоглядно преданную ему коммунистическую партию, окруженный преданной гвардией, чувствовал ее, быть может, во сто крат больнее.

Сто двадцать миллионов россиян с течением времени охватило страшное, хотя и естественное безразличие. Их уже ничто не могло напугать. Смертная казнь уже не приносила никакого эффекта, она перестала быть кнутом, заставлявшим выполнять приказы пролетарского правительства. Одни умирали, другие, с полным спокойствием ожидая смерти, пассивно сопротивлялись воле правящей партии, которая угнетала их все более беспощадно. Россия еще не набрала сил для нового восстания, она была ужасно истощена; крестьянин, рабочий, интеллигент знали, что нет никого, кто мог бы мощной рукой взять бразды управления государством после народных комиссаров, если бы отчаянная толпа разорвала их на улицах Москвы и Петрограда. Те, кто жил, сжимали зубы и ждали чуда и невозмутимо шли под стенку, видя смерть близких и не имея слез, чтобы их оплакивать.

Ленин переживал иные муки, быть может, более страшные, длящиеся непрерывно.

Он видел крушение своего дерзкого плана. Спасал его как мог, ценой революционной совести, очарования и личного авторитета.

Он вынужден был впустить иностранный капитал; террором принуждать рабочих к труду; почти ежедневно капитулировать перед крестьянством, которое, победив «бедняков», все быстрее

и явственнее создавало новую, численно могущественную буржуазию. «Земля» породила из своего муравейника людей рассудительных, ловких и решительных. Они умели оказывать давление на все большевистские учреждения и даже реформировать их.

Вспыхивали восстания на Кавказе, в Туркменистане и среди киргизов. Они, правда, подавлялись со всей жестокостью, но производили плохое впечатление о России за границей и будили надежду в других угнетенных московским правительством народах.

Города, промышленность и сами комиссары оставались в зависимости от крестьян, которые кормили их неохотно, вынужденно и под угрозой.

Кровавая работа «чека» после убийства католического ксендза, прелата Будкевича, вызвала возмущение всего цивилизованного мира. Ленин вынужден был реформировать это учреждение, присваивая ему для видимости другой облик и название.

Диктатор предчувствовал, что в недрах партии растет сомнение в его безошибочности, что группа товарищей со Сталиным и Мдивани во главе выступает с острой критикой неуверенной политики Совета народных комиссаров.

Ленин мечтал о возможности начать новую войну, во время которой любые методы управления государством находили легкое обоснование и оправдание.

Причин для войны, несмотря на никогда не прекращающиеся угрозы, преступления и интриги Кремля, не было.

Европа поняла, что большевизм запутался в собственных сетях и спокойно ждала окончательной развязки.

К погруженному в невеселых мыслях Ленину вошла личная секретарша диктатора — Фотиева.

— Владимир Ильич! — воскликнула она с веселым смехом. — Во двор прибыла детвора из детского приюта вашего имени. Дети просят, чтобы вы к ним вышли!

Ленин тяжело встал с кресла и открыл дверь на балкон.

На внутренней площадке стояла ватага детей.

Они выглядели как самые последние нищие в своих разноцветных, потрепанных лохмотьях: девочки с дырявыми шалями на плечах, мальчики — в шапках, из которых торчали клоки ваты;

дети были босые, с серыми, озлобленными лицами, угрюмыми глазами, подчеркнутыми синими тенями, и держали в руках красные флажки с коммунистическими надписями и портретами Ленина.

Увидев его, они начали махать красными обрезками бумаги и скандировать:

– Да здравствует Ильич!

Донеслось пение «Интернационала».

Ленин выступил с речью, глядя на эту ватагу утомленных, ленивых и больных детей:

– Молодые товарищи! Вам предстоит закончить то, что начали строить мы: строить счастье для всего человечества. Помните об этом всегда, не тратьте усилий на привязанность к родителям, братьям, друзьям. Забудьте о любви к Богу, которого придумали обманщики-попы. Все сердце, всю душу отдайте борьбе за счастливый мир!

– Да здравствует Ленин! Ленин – наш вождь и отец! – изо всех сил крикнули воспитатель и учительница.

Дети выкрикивали что-то непонятное, злобно смеялись и толкались локтями.

Ленину показалось, что он услышал тонкий голос девочки:

– Отец, а не кормит!.. Все картошка и картошка... Черт ее побери!

Делегация с криками покинула дворик Кремля, не оглядываясь на стоявшего на балконе Ленина.

Дети шли через весь город.

По дороге они воровали с лотков яблоки, огурцы и хлеб; выкрикивали непристойные слова и постоянно разбегались в разные стороны. Один из мальчишек запустил камнем в витрину магазина. Девочка лет тринадцати, заметив проходившего рядом красного офицера, потянула его за рукав и прошептала, бессовестно глядя ему в глаза:

– Дай рубль, тогда пойду с тобой...

Наконец они пришли в приют.

Это был небольшой дворец, покинутый владельцем и реквизированный властями. Над фронтоном, опирающимся на четыре колонны, висел белый транспарант с надписью: «Детский приют имени Владимира Ильича Ленина».

За деревья парка и высокие дома садилось солнце.

Дети шумно вошли в прекрасный некогда зал. Теперь в нем царили разруха, духота и грязь. Выщербленные пулями стены лоснились от жира и пестрели коммунистическими лозунгами, которые были перемешаны с мерзкими надписями; вокруг тянулись широкие, ничем не застеленные, пыльные, заваленные мусором, со следами грязных ног нары.

Воспитатель зажег керосиновую лампу, а один из мальчиков поставил на стол миску отварной картошки.

— Сволочи! — проворчал сидящий на нарах подросток. — Их только на картошку хватает! Чтобы их черная смерть задушила!

После ужина мальчики и девочки полезли на нары, подстилали под голову свернутые лохмотья, проклиная и ругаясь при этом.

В комнату бесшумно проскользнула девочка лет четырнадцати. Она была одета лучше, чем остальные дети.

Она молчала, глядя строго и внимательно карими глазами.

— Где же ты, Любка, шлялась? — крикнул ей почти голый, бессовестно развалившийся на нарах подросток. — Если будешь мне изменять, зубы повыбиваю!

Он сплюнул и омерзительно выругался.

Любка, не отвечая, разделась и тихо втиснула свое ловкое тело между подростком и лежавшей калачиком девочкой.

В зале повисло молчание.

Доносилось только громкое дыхание засыпавших и уже спящих детей.

За печкой скрипел сверчок.

Где-то недалеко, жалобно и тонко поскуливая, завыла собачка.

Тишину прорезал свистящий, прерывистый шепот:

— Ну, ну, Любка...

— Отстань от меня! — просила девочка.

— Я истосковался по тебе... ну, не сопротивляйся... чай не первый раз... Любка, ты самая любимая... Поцелуй... не сопротивляйся!

— Отстань от меня, — горячо прошептала она. — Не могу я сегодня, Колька!... Я с мамой в церкви была... Мессу епископ служил... все пели... Я расплакалась...

— Глупые бредни!.. — рассмеялся Колька. — Вера — это опиум для людей... отрава. Ну, иди же... иди...

— Не хочу! Ты что не понимаешь, что сегодня я не могу? — грозно воскликнула она.

Они принялись бороться, тяжело дышать и метать проклятия.

Недовольно ругаясь, начали просыпаться дети.

— Не дадут поспать псы поганые!

Колька впал в бешенство.

— Ага! Вот ты какая? — крикнул он. — Да плевать я на тебя хотел, плюгавую! Нос она задирает... Обойдусь без тебя, но ты, падла, еще меня вспомнишь! Манька, ко мне!

Какая-то голая фигура, схватив грязные лохмотья, перепрыгнула через лежащих детей и со смехом упала на нары рядом с подростком.

— Пускай эта потаскуха смотрит, как любят друг друга честные коммунисты! — крикнул Колька, обнимая девчонку.

Дети поднялись со своих мест и окружили мечущиеся тела товарищей. Их глаза блестели, они сжимали зубы и громко дышали.

Только после полуночи в «детском приюте имени Владимира Ильича Ленина» наступила тишина. Спали все.

Только одна свернувшаяся под дырявым грязным одеялом фигура тихонько плакала, вздымая плечи и жалобно вздыхая.

Это была Любка.

Она предчувствовала что-то нехорошее и была оскорблена в чувствах, которые охватили ее в церкви, где таинственно горели желтые языки восковых свечей, звучали голоса хора, а добрый седой епископ распевно и трогательно говорил:

— Минут дни мучений и бедствий, придет Христос Спаситель и скажет: «Блаженны униженные, ибо им принадлежит царствие небесное Отца моего!»

Она заснула в слезах и вздохах.

Разбудил ее шум. Дети вставали, ругаясь и сварливо крича.

Бесстыжий голый Колька обнимал и щупал Маньку.

Никто не мылся и не причесывался. Только один мальчишка, запачканный грязью с ног до макушки бесцветной головы, налил воды в оставшуюся после картошки миску и мыл ноги.

Принесли чайник с чаем, жестяные кружки и разрезанный на ровные части хлеб. Дети принялись есть.

Увидев входящего воспитателя, Колька крикнул:

– Товарищ! Любка Шанина была вчера в церкви. Я требую осудить ее за то, что она предала принципы коммунистической молодежи!

Суд состоялся тут же, за столом, на котором стоял кривой чайник и ржавые, грязные кружки.

Любку лишили права пользоваться благами «приюта имени Ленина».

Через минуту она уже стояла на улице и беспомощно оглядывалась.

Она не знала, что с собой поделать. Идти к матери, которая сама едва не умирала с голоду, она не посмела.

Девочка инстинктивно направилась в город.

На площади, куда каждое утро приезжали крестьяне с капустой, картошкой и хлебом, менявшие продукты на разные предметы и одежду, Любке удалось незаметно украсть огурец. Она побежала с ним в сторону людных улиц.

На Дмитровке ей повстречалась банда детей и подростков.

Они зацепили ее и стали расспрашивать о Москве.

Шли они из деревень и небольших местечек. Беспризорные и голодные прибыли они в столицу, в которой легче было найти пропитание.

– Я буду заботиться о тебе! – сказал черный, как цыган, подросток, щипнув Любку за бедро.

– Хорошо! – ответила она, кривясь от боли. – Я покажу вам Москву.

Жизнь уже научила ее, что без опеки нельзя прожить даже одного дня и что опеку надо отрабатывать.

– Будем жить вместе, – добавил подросток. – Имя мое Семен, называй меня Сенька... Но помни, если изменишь мне – забью!

– Хорошо, – сразу же согласилась она.

Мальчишка расспрашивал о ее судьбе, но услышав короткий обычный рассказ, громко рассмеялся и воскликнул:

– А я сбежал от родителей, чтоб на них проказа напала, потому что решил, что пора удирать! Дома был такой го-

лод, что страшно вспоминать! Высохла и умерла бабка, а после нее – младшая сестра... Однажды ночью вижу – отец берет топор и трах моего брата по лбу. Потом мы целую неделю ходили сытые... Но я своей очереди уже не ждал... Пускай они там сожрут друг друга, я так не хочу...

Дети шумной толпой перебегали через улицы, глазели на Кремль и Казанские ворота, где под самой большой святыней России – чудесной иконой Пресвятой Богородицы виднелась черная надпись: «Вера и Бог – опиум для народа!»

Банда побиралась, всей толпой окружая прохожих и, скуля, простаивала целыми часами возле столовой, дерясь за брошенные кости и куски хлеба; наблюдала за хозяевами лотков и воровала что ни попадя; мальчишки запускали ловкие, маленькие ладони в карманы садившихся в трамваи людей; девочки преследовали молодых мужчин и исчезали с ними в арках домов. Возвращались они тяжелым шагом и со звоном монет.

– Слушай, Любка! – шепнул черный подросток. – Видишь этого старого пня? Он уже два раза на тебя оглянулся... О! Еще раз... Видишь? Глаз прищурил... Пройдись возле него... Может, заработаешь...

Девчонка пружинистым шагом догнала старого человека с красным лицом и многозначительно посмотрела на него.

Она свернула в арку. Он пошел за ней. Вскоре они уже шли вместе. Любка крикнула:

– Сенька, где мне ждать тебя?

– На Красной площади! – ответил он и махнул рукой.

Так прошли лето и осень.

Дети проводили ночи на стоящих вдоль бульваров скамейках, под мостами, в парках или за городом, там, куда когда-то свозили городской мусор.

Наступили морозы и холодные ветры.

Снег накрыл толстым слоем дырявые крыши, ухабистые мостовые и тротуары столицы.

Дети каждый вечер бегали на Красную площадь, Тверскую, Кузнецкий мост и Арбат – единственные улицы, которые содержались в порядке, специально для иностранцев.

Сюда стекались толпы бездомных людей. Они до крови боролись за место возле погасших, но еще теплых асфальтовых печей, возле костров для обогрева прохожих.

Черный Сенька, которого звали «атаманом» за ужас, который он сеял среди чужаков, почти всегда отвоевывал для себя и Любки самое лучшее место. Однако не раз им приходилось проводить ночи, дрожа от холода и стуча зубами, в общественных туалетах, в ящиках для мусора, в подвалах покинутых, разрушающихся домов, в канализационных колодцах.

Постоянно голодные и недовольные мальчишки под предводительством Сеньки нападали на прохожих, взламывали магазины и вступали в бои с другими бандами, применяя ножи и кастеты.

Во время ночных нападений патрули убили и ранили нескольких мальчишек из банды «атамана».

Накануне Рождества наступили большие морозы, а с ними — неотступный товарищ голод.

Улицы были пусты; едва прикрытые лохмотьями дети боялись выглянуть из своих укрытий.

Сенька нашел на свалке место, куда свозили конский навоз. В нем выкопали ямы и устроили теплые убежища.

Однажды вечером Сенька вернулся с разведки.

— Эй, шпана! — крикнул он. — Сегодня обожретесь. На свалку выбросили конскую падаль. Пошли на ужин!

Дети с веселыми криками выскочили из своих ям, над которыми поднимался остро пахнущий пар, и окружили конский труп.

Они втыкали и резали ножами замерзший корпус, вгрызались зубами и отрывали темные куски падали. В течение нескольких дней банда была сытой и счастливой.

Однако продолжалось это не долго. Дети начали болеть.

Их тела покрылись язвами, которые лопали, источая кровь, опухали и чесались ноги, руки и шеи, раны появились на губах и языке; больные горели от температуры, их била дрожь.

Сенька понял, что происходит что-то плохое. Он с трудом выбрался из своей норы и поплелся в город, спотыкаясь и громко стеная.

Увидев милиционера, он подошел к нему и принялся скулить и завывать:

— Спасайте!... Какой-то мор напал на нас... Уже две девчонки умерли и лежат непохороненные...

Милиционер завел мальчишку в отдел, где Сенька, еле-еле шевеля опухшим языком, рассказал обо всем.

Свалку окружили солдаты.

Врачи осмотрели больных и со страхом отпрянули.

— Сап! Сап! — кричали они в ужасе.

Час спустя за кучами мусора были установлены три пулемета.

Толпа направленных из тюрьмы политических заключенных заглядывала в укрытия беспризорных детей, вытягивала их из нор и ям, а когда крики утихли — грянули пулеметы.

На присыпанном помятым, тающим снегом и взрывающемся паром навозе, остались лежать неподвижные тела больных детей и заключенных. Их потом долго вытаскивали крюками, бросали в ящики с хлоркой и известью и хоронили в глубоких ямах, выкопанных здесь же на свалке.

Случай эпидемии сапа и других болезней, распространявшихся по Москве и всей стране беспризорными, перемещающимися из города в город детьми, обратил на себя внимание властей как опасное явление.

Целую неделю милиция и военные патрули устраивали облавы. Были собраны тысячи ободранных, истощенных, голодных и больных детей.

Ленин прочитал об этом в газете «Правда», в которой работала Мария Ульянова.

Он немедленно распорядился вызвать к нему руководительницу комиссариата опеки над детьми товарища Лилину.

Перед революцией она была плохой актрисой, но потом сделала головокружительную карьеру.

Она стала женой диктатора Петрограда Зиновьева и комиссаром по воспитанию молодых коммунистов.

— Чем вы занимаетесь в вашем комиссариате? — брезгливо спросил Ленин.

Она подняла в театральном жесте руки и принялась декламировать:

— Наши дети принадлежат обществу, а значит — коммунистической партии! Мы предохранили их от вредной родительской

любви, потому что воспитанные в семье дети становятся антисоциальными элементами. Мы же воспитываем пролетарских детей, которые враждебно настроены к буржуазным щенкам!

– Достаточно этих глупых фраз! – прошипел Ленин. – Вот передо мной лежат газеты «Коммунист» и «Правда», а также рапорт товарища Калининой. Семь миллионов беспризорных детей и из них только 80 000 в приютах? Они погибают морально и нравственно! Болеют проказой, сапом, сифилисом! В угрожающем темпе ширится проституция малолетних... Стыд! Позор! Вы, товарищ, должны справиться с этим злом и помнить, что это бедствие необходимо любыми способами скрыть от иностранцев. К нам вскоре должны прибыть товарищи из английской «Labour Party»!

Лилина приняла к сердцу гневные слова диктатора.

Облавы продолжались непрестанно. Бездомных девушек, почти детей, выживавших за счет проституции, вылавливали повсеместно. Их находили в отделениях милиции, которая торговала ими, в казармах, в рабочих бараках и даже в тюрьмах. На мальчишек охотились на свалках, в подвалах разрушенных домов, на кладбищах, где они прятались от мороза и погони. В редко посещаемых местах клали приманку – трупы коней, собак, мешок гнилой картошки и устраивали засады, как на диких зверей.

Больных сапом и проказой выводили за город, приказывали копать ямы и расстреливали. Вместе с ними гибли больные цингой и сифилисом.

У пролетарского государства не было для них ни питания, ни лекарств, ни больниц.

Они сами копали для себя ямы, а извести и хлора было достаточно.

Остальных запихивали в товарные вагоны, пломбировали и отправляли на откорм в другие, более благополучные города.

Москва была очищена от толп беспризорных детей, которые, словно голодные псы, шатались по улицам, выли и скулили под окнами столовых, кондитерских учреждений и прекрасных ресторанов, в которых пировали иностранные социалисты, комиссары и жадные заграничные торговцы.

Английские и французские товарищи с восхищением смотрели на одну площадь и три чистые улицы столицы, на отреставрированные дома на Тверской и Кузнецком мосту, на отличные магазины с переполненными заграничными товарами витринами, на прекрасный Кремль и декоративные фабрики, демонстрируемые наивным говорливыми комиссарами.

Они не могли побороть изумления, слушая в ярко освещенном Большом театре оперу с гениальным, поющим главную партию Шаляпиным или закусывая в замечательных ресторанах икрой, невиданной рыбой, рябчиками и запивая шампанским.

– *My God!* – возмущались приглашенные Лениным на банкет англичане. – Какую клевету распускают буржуи о коммунистах, которые в течение нескольких лет создали в стране такое небывалое благополучие и порядок! Эти сэндвичи с рябчиком и икрой просто чудесные! *I am fed up,* но я съем еще один!

Французы сочувственно кивали головами и, энергично жестикулируя, восклицали:

Oh, oui! C'est merveilleux, vous savez!

В то время, когда в бокалы дорогих гостей с Сены и Темзы щедро доливали шампанское *Moet et Chandon* из дворцовых подвалов, один из вагонов, везущих беспризорных детей в Харьков, приближался к Курску.

Морозная лунная ночь накрыла таинственной мглой растянувшиеся вдоль железнодорожного полотна прикрытые снегом поля.

Стучали колеса вагона и скрежетали цепи.

Бледное небесное светило пробивалось сквозь щели стен и откинутую железную ставню, расположенного под крышей окна.

В вагоне было тихо...

На полу вагона во мраке лежали неподвижные, укрытые одно другим тела. Они прижимались друг к другу, оплетаясь ногами и руками, засовывали головы под лохмотья, поджимали колени к подбородкам, засовывали в рот пальцы...

Никто не шевелился, ничего не говорил, не вздыхал, не жаловался, не плакал и не стонал.

За эти пять дней в холодном, скрипящем и скрежещущем вагоне все слова были уже сказаны, прозвучали все вздохи и улетели в небо содержащиеся в отчаянных рыданиях и безумных

стонах жалобы, которые заглушались стуком колес и звоном цепей, слетели с замерзающих, трескающихся на морозе губ и застыли вместе с телами.

Локомотив долго и тревожно рычал и остановился.

Какие-то люди с фонарями подбежали к темному вагону.

Они сорвали пломбу и отодвинули дверь.

– Эй, выходите! – воскликнул старший железнодорожник с усами, покрытыми инеем и сосульками. – Вагон почти развалился. Дадим другой...

Никто не ответил и не пошевелился.

Железнодорожники посветили фонариками и начали тянуть лежавших за ноги и руки.

Пассажиры красного вагона были неподвижными, закоченевшими и молчаливыми.

– Замерзли?.. – прошептал железнодорожник с сосульками на усах.

– Замерзли... – повторили остальные и принялись со страхом креститься, шепча: – Упокой, Господи, их души!

В этот момент в белом зале Кремля поднялся французский социалист и, держа над головой бокал с шампанским, воскликнул звонким, высоким голосом:

– Да здравствует диктатура пролетариата! Да здравствует товарищ Ленин и его отважные соратники! Они – апостолы новой справедливости и лучезарного счастья всего человечества. Да здравствует Совет народных комиссаров!

Веселый и любезный Ленин раскланивался во все стороны. Товарищ Лилина соблазнительно смотрела на оратора.

Все были тронуты и счастливы, чувствуя, что прекрасная страница истории будет написана мудрой, исполненной любви ко всему миру рукой.

Встали даже чопорные англичане и все вместе с чувством крикнули:

– Ура! Ура! Ура!

Железнодорожники на вокзале в Курске вытаскивали из вагона замерзшие трупы детей и бросали их на перрон.

Головы глухо ударялись о доски и камни.

ГЛАВА XXXIII

Семья Болдыревых вела трудолюбивую, окруженную уважением крестьян и комиссаров жизнь

Несмотря на то, что инженеры и госпожа Болдырева не вмешивались в деревенскую жизнь, но им также угрожали разные, неожиданные опасности.

Деревня начала функционировать, сначала пассивно, потом активно сопротивляясь распоряжениям и декретам властей, разрушающим остатки благополучия и порядка.

Если прежде в деревни и небольшие поселения наведывались, неизвестные, путешествующие бродяги и старые нищенки, которые распространяли угрюмые и тревожные вести, то теперь прибывали серьезные хозяева или крестьянская молодежь.

Они останавливались у мужиков под видом обмена скота на хлеб или посещения знакомых по дороге в Москву, куда направлялись на съезды или по другим делам.

При этом они тайно собирали хозяев и шептали им на ухо секретные, убедительные, вызывающие возмущение и упорство слова. Все чаще можно было услышать восклицания:

– Хватит этого! Пора взять власть в свои руки, тихо, без шума и крови...

Уезжавшие оставляли после себя какие-то брошюрки, листовки, написанные простым, понятным, но решительным языком.

Мечтавший о моментальном истреблении безграмотности, хотя и не достиг этого в полной мере, но нанес людскому невежеству и рабскому безразличию смертельный удар. Уже никто не смел думать о том, чтобы сдавить крестьянство железной рукой царизма или «чека», опиравшейся на преданных революции латышей и финнов. Ленин научил несколько миллионов крестьян искусству чтения, пробивая канал, ведущий к мозгу «земли». По нему текли не только коммунистические газеты, брошюры

и прокламации, но и другое печатное слово, рожденное в неизведанных тайниках крестьянского муравейника. Оно родило практические и решительные умы. Прислушивалось к их советам, читало их воззвания к «земле».

Мужики уже не хотели выбирать в свои советы правительственных кандидатов даже под дулом пистолета; они выдвигали заложников, говоря, что отправляют их на смерть; устанавливали собственные нормы налогов; тайно уничтожали хозяйничающих «бедняков», пока они не убрались из деревни; вытеснили учителей-коммунистов; агитаторов встречали в грозных позах, отнимающих у приезжавших красноречие и наглость; распутные бабы и девушки, искушенные комиссарами, исчезли бесследно; может, они уехали в города, а может, лежали в неизвестных могилах на дне рек и прудов или в лесах, заваленных камнями ярах; коммунистическая молодежь или вернулась в семью, или разбежалась по свету, и никто о ней не вспоминал, как о погибавших в лесу больных котах и собаках.

Затих таинственный шепот об Антихристе и видимых знаках, предрекающих его приход на землю, зато появились неизвестные до сих пор молодые люди со светлыми, воодушевленными лицами. Они собирали вокруг себя мужиков, деревенских баб и детвору, говорили слова из Библии, советовали озабоченным, угрюмым мужикам и женщинам обращать глаза к небу и в нем черпать надежду и силы. Молебны проходили тайно, но это уже не были рабские стенания о милости, а просьбы о совете и руководстве действиями, чтобы они соответствовали извечной правде.

Центральные власти знали об этом и боролись с сопротивлением «земли» и возрождающейся религиозностью.

Прибывали следственные комиссии, наезжали карательные отряды, скрывающихся священников и заложников ставили под стенку и расстреливали, но сосредоточенное, грозное обличье крестьян сеяло тревогу и сдерживало коммунистов перед чрезмерными издевательствами.

Суды пытались свалить вину на Болдыревых как на буржуев, но не было никаких доказательств, а комиссариат промышленности защищал создателей полезной, все лучше развивающейся коммуны.

Обеспокоенное исчезновением промышленности правительство созвало на совещание в Москве всеобщий съезд специалистов.

Власти делегировали молодых Болдыревых.

Братья вынуждены были немедленно отправляться в столицу.

Сначала они выслушали длинные речи Ленина, Троцкого и других создателей и руководителей коммунизма и диктатуры пролетариата.

Эти выступления были нашпигованы звучными, пустыми, беспомощными и давно повторяющимися фразами. Даже делегаты привилегированного рабочего класса слушали ораторов с безразличием. В свое время они слышали более смелые и оглушительные слова. Бесследно прошло обещанное наступление социалистического рая в декабре 1917 года, то есть два месяца спустя после Октябрьской революции.

Тем временем до сих пор были голодные, работали на испорченных машинах, изношенными инструментами, слишком долго, расстреливаемые за неисполнение работ, протесты и забастовки китайскими солдатами или красной гвардией; не было ни одежды, ни удобных и теплых квартир, ни медицинской помощи.

Ленин и Троцкий теперь говорили по-другому.

Они указывали на то, что в России нет современных машин, что рабочий невежественен, ему не хватает профессиональных навыков и что установления социализма следует ожидать только в 1927 году.

Старые рабочие улыбались и с сомнением ворчали:

— До этого времени пил и молотков не хватит, не только социализма.

Крестьяне, когда им рассказывали о социализации земли при помощи мощных, принадлежащих государству тракторов, движимых электричеством машин для сбора урожая, смотрели угрюмо и молчали.

«Земля» не стремилась к этому. Ее мысль занята была другим вопросом:

— Когда же придет жесткое правительство, которое установит настоящее спокойствие и мир?

Об этом ни Ленин, ни Троцкий не вспоминали. Их слова не находили отклика в умах и сердцах мужиков.

Петр и Георгий Болдыревы внимательно следили за мыслительным процессом диктаторов и поняли все.

По дороге домой Георгий говорил брату:

– Диктатура пролетариата тонет в завалах нелепостей. Она мечется, не находя выхода и еще глубже погрязая в невыполнимых обещаниях! Это ужасно!

– Это сумасшествие, безумие! – воскликнул Петр Болдырев. – Фабрики разрушены; довоенная промышленность была и так слабой, а теперь и вовсе исчезла. Трудящиеся массы находятся на самой низшей ступени производительности труда и профессионального образования, а они бредят о немедленном социализме! Мы несемся, как сумасшедшие, в поезде, не зная, что в кабине машиниста сидит слепой, глухой безумец! Бедствие!

Они собираются социализировать мужиков, превратить их в земельных рабочих! Государственные машины будут пахать землю, косить, жать и вязать снопы, складывать скирды, молотить и молоть!... Ты видел, как крестьяне смотрели на Ленина?

– Наш мужик бесконечно терпелив, но этому терпению придет конец, страшный конец!.. – ответил Петр. – Пускай только деревня отважно выступит со своими лозунгами, тогда посмотрим, как запоет Красная армия?! Кремлевская гвардия, все эти латышские, финские, китайские и венгерские бандиты и часа не продержатся! Ой, погуляют наши мужички! Это будет выглядеть уже не так, как уничтожение дворянства и крестьянские «иллюминации» в усадьбах!... Меня охватывает ужас от самой мысли!

– А ведь такой день должен наступить!

– Наступит! Только его невозможно угадать, потому что, я же говорю, наш мужик обладает поразительным терпением!

Инженеры работали две недели в разных комиссиях съезда, выслушивая бесконечные выступления, пожелания, планы и новые, все более фантастические проекты.

Это была работа непродуктивная, бесцельная, напрасная, основанная на обмане и постоянном введении в заблуждение прислушивавшихся толп рабочих и крестьян. Их свезли отовсюду, чтобы показать заботу правительства о нуждах деревни и судьбе пролетарской революции.

— Я больше этого не вынесу! — крикнул брату Петр. — Я принимаюсь за подсчеты проекта обеспечения техникой только одной Московской области согласно плану комиссаров.

Молодой инженер несколько дней работал, разрабатывая проект районной фабрики тракторов, косилок и молотилок.

Получилась настолько огромная сумма, что наверняка казна страны Советов, стонущей под ярмом диктатуры пролетариата России, не имела даже половины.

Петр Болдырев выступил с речью в комиссии специалистов.

Опыт научил его, как следует выступать! Начал он с похвал гениального плана социализации сельского хозяйства и с констатации возможности его постепенной реализации. Он развил свой план с профессиональной точки зрения.

Слушали его внимательно, и проект, как обычно, был принят единогласно.

Вернувшись с братом домой, Петр бегал по комнате и с бешенством кричал:

— Глупые, жестокие чудовища! Ничего удивительного, что их обманули?! Они слушали меня затаив дыхание, ревели от восхищения и хлопали в ладоши! А ведь я хотел доказать, что все планы социализации сельского хозяйства являются мечтами идиотов! Для начала — нет никакой надежды на постройку запроектированной мною фабрики, а если бы ее даже построили, нужно будет еще 20 лет, чтобы обеспечить только одну Московскую губернию. Для пятидесяти областей необходимо будет не знаю сколько лет: как минимум сто, а может, тысяча?! Тем временем уже завтра в газетах начнут кричать, что правительство приступает к немедленной социализации сельского хозяйства в столичном округе! Новый, рассчитанный на глупцов метод пропаганды и бессовестного обмана!

— Да! Да! — кивал головой Георгий. — Ничего из твоего проекта не выйдет, кроме крика и похвальбы комиссаров, но и казна от этого не пострадает. Случалось и по-другому! Помнишь моего коллегу, химика Стукова? Недавно я прочитал в газетах, что комиссары требуют от Швеции его выдачи, потому что он успешно сбежал к скандинавам.

— А что это Стуков натворил? — со смехом спросил Петр.

— О, это ловкая бестия! — ответил брат. — Знаешь, в Сибири правит «сибирский Ленин» — Смирнов. Говорят, страшно амбициозный, но глупый и тупой тип. Он хочет затмить Ленина. Отозвался извечный сепаратизм Сибири, презирающей «Россию»! Так вот, Стуков поехал к Смирнову с проектом сказочного химического завода, исходя из правильного в общем-то предположения, что если есть в достаточном количестве уголь и дерево, почему не может быть химической промышленности? Смирнов отвалил ему на приобретение машин пять миллионов рублей. Стуков уехал, и никто его больше не видел. Ни Стукова, ни машин, ни миллионов!

Братья долго смеялись.

— Свинья, ой свинья этот твой Стуков, но ловкий, ничего не скажешь! — воскликнул Петр. — Воспользовался психологией невежи и обманул его. Я за свой проект не взял ничего, но комиссары поломают себе головы, пока поймут, что либо безумцем являюсь я, либо весь конгресс состоял из глупцов.

Они вышли в город.

На Красной площади, на Тверской, Арбате и Кузнецком мосту царили порядок и чистота. Когда они свернули в боковую улицу, их остановил милиционер.

— Вы, товарищи, иностранцы? — спросил он.

— Нет! — ответили инженеры, показав удостоверения.

— Тогда можете идти, мы только иностранцам не разрешаем смотреть на боковые улицы! — со смехом сказал милиционер. — Бедность и нищета! Нечем похвастаться!

Действительно, это было точное определение.

Вырванные из мостовой деревянные бруски использовались зимой в качестве дров. Были разбиты тротуарные плиты, дома стояли с осыпающейся штукатуркой и оторванными железными листами на крышах; окна были выбиты и заложены тряпками или забиты досками; на стенах виднелись следы пуль и пушечных снарядов; бродили истощенные жители, несущие на плечах какие-то мешки; босые, покрытые струпьями ноги; нечесаные головы; ватаги бледных детей с голодными и злыми глазами; повсюду кучи мусора, невыносимая вонь, поднимающаяся из никогда не чищеных подземных каналов; молчание и зловещая, угрюмая, безнадежная тишина.

Тут не раздавались никакие громкие голоса, не звучал смех. Люди двигались как машины; их лица имели безразличное, смертельно угнетенное выражение. Синие сжатые губы, казалось, были не в силах издать крик ненависти и отчаяния, а в глазах навсегда погасли веселые искорки и даже слезы боли высохли бесследно.

Едва прикрытые лохмотьями, босые мужчины и женщины с взъерошенными волосами шли сгорбившись, прижавшись к земле, сгибаясь под тяжестью маленьких мешков с картошкой или ведер с водой из ближайшего колодца.

Болдыревы шли на Малую Дмитровку, где жила знакомая семья Сергеевых.

Они всех застали дома, так как было обеденное время.

Старые друзья радостно встретили молодых людей.

Петр, пожимая руки знакомых, воскликнул:

– Сначала, как правоверный коммунист, я заявляю: не стесняйтесь господа, ешьте и нас не угощайте, потому что мы уже после завтрака!

– Мы вместе попьем чаю, – сказала госпожа Сергеева. – А теперь расскажите о родителях, о себе. Мы давно не виделись... прошло уже, наверное, сто лет...

Болдыревы рассказывали о своей жизни и развитии основанной ими коммуны, а затем принялись расспрашивать о судьбах семьи Сергеевых и общих друзей.

Слово взял пожилой господин Сергеев, некогда известный в Петрограде адвокат:

– Петроград покинуло почти все общество, в котором мы вращались. Там на правах диктатора правит Зиновьев, опираясь на «чека», в котором зверствуют латыши. После того как уехал Совет народных комиссаров, город опустел и замер. Говорят, что уже рушатся дома, и прекрасные здания, улицы никто не подметает, водопровод и канализация безнадежно испорчены... Мы переехали в Москву. Кто мог, тот бежал на юг, а оттуда – скитаться за границу... Много общих знакомых за это время погибло в «чека» и по приговорам судов, особенно во время гражданской войны. Слабые духом и не имевшие убеждений опустились и продались. Мы могли бы назвать несколько фа-

милий хорошо известных людей, которые помогают сейчас коммунистам в ограблении России или стали их агентами за границей, где распродают царскую казну и шпионят за эмигрантами. Остальные кое-как существуют... приспособились к обстоятельствам... как, например, мы.

— И как мы, — вставил Георгий.

— Вы — это совсем другое! — возразил Сергеев. — Вам удалось придумать гениальную вещь! Когда я прочитал об этом в газете, то был восхищен вашим умом! Тогда-то я и написал вашему отцу. Те, о которых я говорил, не придумали ничего особенного. Они сумели только спокойно существовать среди бушующей бури. Знаю, это нелегкая и немалая вещь! Но это и не наша заслуга, без помощи Божьей мы ничего не могли бы поделать!

— Божья помощь — это хорошо, но... — начал Петр.

Его перебила госпожа Сергеева, сказав:

— Муж представил это не совсем точно! Божья помощь выразилась в понимании некоторых вещей, остающихся пока в тени. Мы верили в Бога, считали себя христианами, но не поступали согласно Христовой науке, а часто — совсем наоборот, что в свое время заметил Толстой. Теперь мы почерпнули из Евангелия жизненные уроки и поступаем теперь так, как говорил Спаситель! Появилась чистота отношений, любовь и сила в семье, настоящая добросовестность, которую уважает даже враг, и — спокойствие духа, без ежедневной суеты и компромиссов. Мы знаем, как должны поступить в каждом случае, не сомневаемся, нам не известны паника и отчаяние. Именно это хотел сказать муж!

Георгий слушал задумавшись. Он давно понял эту перемену в своей жизни и только этим объяснял успехи своей семьи, коммуны и уважение, которым они были окружены.

Энергичный, веселый Петр спросил:

— Но вы наверняка наработались за это время столько, сколько не работали за всю предыдущую жизнь?

— Наверняка... — ответил Сергеев. — Каждый из нас делает то, что может и умеет. Мы нашли для себя занятие, которое не противоречит нашим принципам. Мои жена и дочь шьют платья и шляпы для новой пролетарской аристократии. Я работаю в Комиссариате внешней торговли. Я знаю международное

право и иностранные языки, поэтому во мне нуждаются и ценят. Сыновья работают в театре: один рисует декорации, другой переводит на русский язык иностранные пьесы, дочка помогает матери... Так и живем... Тихо, но спокойно. Остальные тоже, если не погибли, как-то справляются. Никто не пытался сделать карьеру или обогатиться. Все хотят только существовать, сохранить человеческую душу.

После обеда мужчины пошли на работу, а дамы принимали в соседней комнате шумных, требовательных клиенток, которые, однако, замолкали перед двумя тихими и понимающими женщинами и уже спокойно с ними советовались.

Когда Петр обратил на это внимание госпожи Сергеевой, она ответила:

— Среди наших клиенток есть уже даже жены значительных комиссаров, настоящие, дружественные души. Они рассказывают нам, что их огорчает и беспокоит. Особенно они опасаются постоянной слежки правительства за убеждениями супругов. Уже бывали случаи принудительных разводов. На этом фоне разыгрывались тяжелые драмы, даже самоубийства. Так случилось, например, с женой взявшего Петроград Антонова-Овсеенко. Когда ее развели за вредные убеждения, она убила двоих детей и подожгла себя... Коммунисты — тоже люди и иногда страдают даже больше, чем мы, от гнета правящей группы. Они бедные и очень несчастные, потому что не хлебом единым жив человек, а они по-другому не умеют...

Инженеры попрощались с приятелями и пошли домой.

Они шли по узкой улочке, которая бежала среди почерневших деревянных домов, словно узкое русло сточной канавы.

Из-за угла вышла погребальная процессия.

Белая, ужасно худая кляча, отчаянно тряся головой и тяжело дыша, с трудом тянула повозку со стоявшим на ней неловко сбитым из нетесаных досок гробом. Из его щелей торчала солома и какие-то белые тряпки.

Рядом с лошадью шел бородатый человек и постоянно хлестал ее кнутом.

За повозкой шло несколько удрученных фигур. Кто-то громко рыдал.

Внезапно конь пошатнулся и упал на землю, брыкал ногами и, напрягая длинную, худую шею, пытался поднять тяжелую голову. Напрасно бородатый человек, размахивая кнутом, хлестал клячу, напрасно пинал ее толстыми ботинками в распухший живот; не помогли и усилия провожавших покойника людей. Это была уже агония белой клячи. Она несколько раз вздрогнула, заржала, издала свистящий хрип и, вытянув внезапно шею и ноги, окоченела.

— Ах, падаль проклятая! — выругался бородач и в отчаянии бросил кнут на камни.

Люди недолго посовещались.

Они сняли гроб с повозки, поставили на плечи и, сгорбившись, пошли к месту последнего пристанища дорогого или дружеского существа.

Прекратились рыдания. Тяжело дыша и спотыкаясь на ухабистой мостовой, люди исчезли за темным поворотом улицы.

Бородатый человек постоял некоторое время, ругаясь и почесывая голову, после чего опустил, наконец, кнут и ушел.

Молодые инженеры шли за ним на расстоянии, направляясь в центр. Вдруг они услышали приглушенные голоса.

Они оглянулись и остановились в недоумении.

Из черных убогих домиков начали выходить жители.

Как стая голодных псов, они окружили труп лошади и набросились на него. Блеснули топоры и ножи, раздались крики и проклятия. Одни уже убегали, унося с собой куски конской падали. Остальные боролись между собой, вырывая из лежавшего корпуса внутренности. Маленькая девочка прыгала на одной ножке и, хищно пища, грызла дымящийся кусок мяса.

— Бог создал человека по своему образу и подобию и вдохнул в него дух свой! — прошептал Георгий и вздрогнул.

Петр ничего не ответил. Только заскрежетал зубами и побежал не оглядываясь.

В комнате гостиницы, где расположились делегаты-специалисты, они обнаружили доставленные им материалы заседаний. Просматривать их они начали после ужина, но вдруг кто-то постучал в дверь.

Вошел сотрудник милиции.

Как правило такой визит не был чем-то приятным, поэтому Болдыревы смотрели на него холодным, пронзительным взглядом.

Милиционер внезапно громко рассмеялся.

– Вы не узнали меня? – воскликнул он. – Это я, инженер Буров.

– Буров! Степан Буров! – воскликнули Болдыревы, приветствуя бывшего коллегу. – Откуда ты здесь взялся и к тому же в таком замечательном качестве,

– А что мне оставалось делать, дорогие мои? – рассмеялся милиционер. – Фабрики сдохли, а я не собирался брать с них пример, поэтому нырнул в милицию как инспектор по зданиям и городским коммуникациям. У меня, правда, не так много работы! Я каждый день пишу два или три протокола о том, что тот или иной дом готов рухнуть, что не работает канализация, потому что ее засорили покойники... Зимой людишки прятались в этих каналах и умирали себе в одиночестве.

Коллеги болтали долго. Буров, наконец, встал и сказал:

– Я должен идти. Сегодня мне предписано навестить разные подозрительные места. Власти опасаются, не упадут ли крыши на голову гостей столь полезных заведений. Может, хотите пойти со мной? На это стоит посмотреть!...

Георгий отказался, а Петр сразу же согласился.

Они вышли в город и заглянули в милицейское отделение.

Буров кивнул на троих верзил, игравших на скамье в карты.

– Мои подчиненные! – прошептал он, подмигнув одним глазом. – Мужики что надо, скажу я тебе! Жизнь их побила и помяла, как повар тесто. Кажется, до войны они прозябали на каторге. Преступники, ну а теперь – агенты общественной безопасности!

Верзилы тем временем одевались, затягивая ремни с висящими на них револьверами и пристегивали сабли.

Рядом с Кузнецким мостом Буров остановился перед темным трехэтажным домом и постучал в дверь.

Долго никто не отвечал. После третьего звонка раздался топот босых ног по лестнице. Двери, застегнутые на цепочку, приоткрылись, и через щель выглянуло испуганное лицо.

– Открывай, а не то – выстрелю! – буркнул один из милиционеров, придержав дверь ногой.

Они вошли по лестнице на третий этаж и позвонили снова.

Кто-то повернул в дверях латунный глазок, и раздался голос:

– Ах, товарищ Буров!

Они вошли в сени, а оттуда в большой зал, ярко освещенный ацетиленовыми лампами.

Окна были плотно задрапированы толстыми шторами, на полу лежал прекрасный пушистый ковер, который заглушал звук шагов.

В зале было около ста гостей.

Они играли в карты, рулетку, домино. Кучи золотых монет, целые горсти бриллиантов и драгоценных камней, колец, брошей, браслетов, пачки долларов и английских фунтов переходили из рук в руки.

Нарядные, обвешанные драгоценностями, полунагие женщины сидели и лежали на диванах и в креслах в соблазнительных, вызывающих позах. Голые девочки разносили шампанское, ликеры, кофе...

Время от времени тот или иной гость подавал знак взглядом и исчезал с одной из женщин в глубине коридора; другие что-то шептали на ухо прислуживавшим девочкам и проходили с ними в боковые комнаты.

В маленьком зале играла пианола и танцевали какие-то пары, развратно, похотливо трясясь и подпрыгивая под взрывы смеха и окрики хмельных зрителей.

– Что это такое? – прошептал Петр, коснувшись плеча Бурова.

– Для тебя – что угодно, для меня – «золотая корова»! – ответил он со смехом. – Но как друга предупреждаю тебя: не играй, потому что здесь шулер сидит на шулере и шулером погоняет; с любовью тоже следует быть осторожным... Вот, например, видишь эту прекрасную, строгую брюнетку? Это княжна, настоящая княжна из очень старого рода... Она пользовалась необычайным успехом при царском дворе. Но не успела сбежать за границу, прошла через «чека» и все, что из этого следует... Она попробовала улицу... а потом нашла это пристанище, кото-

рое содержит иностранец, очень нужный правительству... Княжна больна... ну, знаешь чем она может болеть в таком заведении... Не лечится и, если придет сюда какой-нибудь комиссар, соблазнит беднягу и... заразит. Она со мной когда-то откровенничала по пьяни, что только таким образом может теперь мстить за Россию... Патриотка! Ха! Ха!

– Эти женщины тут живут? – спросил Петр.

– Нет! – возразил милиционер, – ты находишься на банкете или рауте у армянского богача из Турции Аванеса Кустанджи, среди его друзей и гостей. Видишь тот столик у окна? Там шулеры проигрывают в настоящий момент тысячи долларов этому красному вепрю... Это немецкий фабрикант... Он много выиграл, но еще не знает, бедняга, что проиграет все, что заработал в России, потому что продал большую партию аспирина, сальварсана, опиума и кокаина... В этом заключается политическая идея, дорогой мой! У нас теперь НЭП, то есть новая экономическая политика. Мы впускаем иностранный капитал, но его доходы, не имея возможности конфисковать, «частным» образом реквизируют шулеры или эти прекрасные, но опасные создания, пока, наконец, уважаемый Кустанджи не соберет свою дань.

Петр Болдырев осмотрел зал.

Возле входа милиционеры Бурова пили коньяк и закусывали хлебом с колбасой.

За столиками шла игра, кружили деньги, бриллианты и бокалы с вином; маленькие голые девочки сидели на коленях гостей и бесстыже прижимались к ним, напевая детскими голосами неприличные песенки и рассказывая омерзительные анекдоты.

По залу прохаживался улыбающийся, огромный, похожий на слона армянин Кустанджи.

На его лоснящемся лице, покрытом красными пятнами и угрями, свисал толстый, фиолетовый нос, заслонявший верхнюю губу. Маленькие черные глаза хищно поблескивали, видя и контролируя все.

Он подошел к Бурову и пропищал:

– Сегодня плохой день... Никакого заработка!

– Вижу! – весело ответил милиционер. – Сегодня, товарищ, не буду вас тревожить! Только заплатите триста долларов. Это

СОЛДАТ СПЕЦИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЧК

ВЕТЕРАН КРАСНОЙ АРМИИ

ерунда по сравнению с теми двадцатью пятью тысячами, которые оставит у вас немец Брандт, а этот прекрасно танцующий и насвистывающий молодой американец Савей – как минимум пятьдесят тысяч. А остальные? А то, что пройдет через кабинки и черный будуар прекрасной госпожи Кустанджи?.. Нет! Триста долларов – это мелочь...

– Ай-ай-ай! – пропищал армянин. – Товарищ скоро станет миллионером, как Ротшильд!

– Тогда я не приду к вам на банкет или раут! – ответил Буров, хлопая хозяина по плечу.

Кустанджи засунул в карман милицейской куртки пачку банкнот.

– Я напишу протокол, что в результате проверки не обнаружено ничего предосудительного, – сказал Буров. – Мне хочется показать моему приятелю ваш небольшой дворец, товарищ Кустанджи!

– Пожалуйста! Может, винца, коньячка? – предложил армянин.

– Нет, спасибо... мы – строгие абстиненты! – рассмеялся Буров.

– Ай-ай-ай! Напрасно! – громко чмокая, промурлыкал Кустанджи. – Быть может, завтра жизнь закончится, зачем стесняться... Ай-ай-ай!

Армянин побежал встречать новых гостей.

Это были какие-то совсем простые люди, но их грозные, хищные лица и смелые глаза обращали на себя внимание.

– Хи-хи! – тихо рассмеялся Буров. – Сегодня тут будет весело! Пришли бандиты, а с ними сам главарь Челкан. Не бойся! Эти джентльмены не будут никого грабить. Вчера им удалось провернуть одно доходное мероприятие... Они пришли сюда развлечься, поиграть в карты, расслабиться, а что им еще делать с деньгами? И так завтра они попадут в руки «чека»; сами встанут к стенке, а деньги, если от них что-то останется, – попадут в карманы товарища Гузмана, шефа этого глубокоуважаемого учреждения!

– Насколько я понял, Кустанджи дал тебе... взятку? – шепотом спросил Болдырев.

– Фи, какое буржуазное слово! – со смехом возразил Буров. – Он заплатил мне дань. А что ты думал, что я всю жизнь собираюсь провести в этом коммунистическом болоте? Скоплю себе несколько тысяч долларов и драпану за границу. Эти преступники и обманщики мне уже надоели по горло!

Петр с удивлением посмотрел на приятеля. Жизнь и его помяла и переделала на свой манер, – совсем по-другому, нежели его самого, брата Георгия и семью Сергеевых.

Он взглянул на Бурова с неприязнью, но в тот же момент у него в памяти всплыли слова Евангелия:

– Не судите, да не судимы будете...

Уже спокойным голосом он спросил приятеля:

– Как это возможно, что бандиты входят в заведение, где находится милиция?

– Ха-ха! Они знают, что Кустанджи решит эту проблему спокойно! – рассмеялся Буров. – Но пойдем! Покажу тебе это заведение. Здесь есть на что посмотреть! Уверен, что такого нет нигде в мире... Разве что в Буэнос-Айресе, потому что Кустанджи убеждал, что подражал лучшим аргентинским образцам. Но я думаю, что он лжет...

Они шли по длинному коридору. По обеим его сторонам тянулись прекрасно оформленные коврами, восточными тканями, узорными подушками и зеркалами комнаты. Прикрытые прозрачной драпировкой двери позволяли видеть все, что происходило в полутемных пристанищах разврата.

Сюда приходили гости из игрального и танцевального залов, наблюдали с интересом и возбуждением в глазах, делали громкие замечания, шутили и смеялись.

Страна, в котором так бессовестно процветает разврат, обречена на исчезновение! – удивительно серьезным голосом произнес Буров.

Петр недоуменно поднял на него глаза.

Милиционер, не меняя тона и угрюмо глядя, сказал:

– Искоренили веру, закрыли и осквернили церкви, святые иконы продали в заграничные музеи. Своей религией сделали насилие и разврат. Это не должно пройти безнаказанно! Тем более что Ленин совершенно искренне, как фанатичный аскет,

ведет нормальный, скромный и простой образ жизни, веря невозмутимо, почти безумно, что ведет человечество к счастью... Есть во всем этом дьявольская фальшь, одурманивающая людей ядом, отуманивающая мозги и парализующая волю. Если бы Ленин пришел к Кустанджи, я не сомневаюсь, что выстрелил бы в голову, сначала ему, а потом — себе!

Они прошли в «черный будуар». Это был просторный зал с огромным зеркалом на потолке. Стены, драпировка, ковер — все было черным; на этом угрюмом фоне в белых рамках висели темные гравюры, представляющие страшные, изобретательные, вызывающие содрогание порнографические сцены.

На низких софах, горах подушек и прямо на ковре лежали гости, державшие в руках голые, извивающиеся тела девочек.

Их белые, узкие плечи, словно японские, шелковые кружева маячили на черном фоне. Гости лениво, тяжело склонялись над столиками и бросали в высокие бокалы с ликерами маленькие пилюли с кокаином или передавали друг другу серебряные табакерки с дурманящим нюхательным порошком.

Постепенно посетители впадали в благостное, полусознательное состояние. Сжимая маленьких, развратных девчонок, они лежали с мечтательными лицами и широко открытыми, видящими перед собой белый призрак смерти глазами.

Некоторых охватывало бешеное безумие и заставляло кричать, смеяться, по-зверски рычать. Такие клиенты набрасывались на служанок. Царапали их белые тела, кусали тонкие шеи и сжимали в похотливых объятьях, возбуждаясь от стонов боли.

— Пойдем отсюда, пойдем! — прошептал Петр и побежал по коридору, как будто за ним гнались злые, больные призраки.

В танцевальном зале танцевали возбуждающее танго. Молодой американец, заглушая пианолу, высвистывал мелодию, полусознательно глядя на выскальзывающую из его рук танцорку.

Еще один иностранец, беспомощно крича, искал себе пару. Убедившись, что все женщины уже заняты, он перешел в игровой зал, приблизился к княжне и обнял ее.

Она оттолкнула потные руки мужчины и с достоинством посмотрела на надоедливого ухажера.

– Я приглашаю госпожу «товарища» на танго – пробормотал он на ломаном русском, протирая свои пьяные глаза.

Женщина медленно встала.

– Эй, Тамара! – донесся громкий окрик, после которого последовал пронзительный свист. – Плюнь на это буржуйское чучело и иди сюда!

К ней от столика бандитов шел Челкан.

Рослый, хищный, ловкий в каждом движении, уверенный в своей силе, он смотрел на женщину похотливо и властно.

– Н-ну, беги сюда, девка, и поспеши! – крикнул он снова, да так громко, что из глубины заведения, тяжело дыша, прибежал обеспокоенный Кустанджи.

Женщина гордо выпрямилась и, щуря глаза, вызывающе бросила:

– На колени, хам, бей три раза своим глупым лбом в пол и проси, тогда, может...

Челкан разразился смехом.

– Ты что, Тамарка, с ума сошла? – воскликнул он. – Забыла уже, сколько раз была со мной? Опять начинаешь бунтовать? Подлая княжеская кровь начинает бурлить? Я выбью это из твоей головы! Н-ну, не дразни меня, и бегом... благородная княжна, к Челкану!...

Он несколько раз свистнул, глядя на Тамару с презрением, как на собаку.

– Не хочешь просить покорно, на коленях, с поклоном до земли? – угрожающе спросила она.

Он ответил омерзительным, гнилым матом.

Тамара подняла вдруг голову. Ее лицо ужасно исказилось, губы широко раскрылись и выплеснули желчные, злые слова:

– Вы думаете, хамы, рабы, которых отец мой сек нагайкой, что я здесь буду всю жизнь с вами прозябать, как голодная, бездомная собака? Помню я тебя, Челкан, когда ты был сторожем и привел меня с улицы в свою берлогу. Я умирала тогда с голоду, а ты мной торговал, бил, издевался надо мной, когда я, больная, истощенная, одетая в лохмотья ничего не могла заработать. Тогда сквозь грязные лохмотья никто, не мог рассмотреть мое тело... Надоели вы мне, грязные псы, отбросы! Я свое

дело сделала... Сотни из вас уже гниют... На всю жизнь запомните вы княжну Тамару!

Она принялась смеяться и топать ногами.

– Ты пьяна! – крикнул Челкан и прыгнул к ней.

Тамара засунула руку в сумочку.

Через мгновение раздались три выстрела.

Бандит пошатнулся и рухнул со смертельными ранами в животе и голове. Женщина лежала неподвижно, а из уголка ее губ вытекала струйка крови.

Петр Болдырев быстро, не дожидаясь Бурова, покинул заведение Аванеса Кустанджи.

Он вернулся домой, разбудил брата и до утра рассказывал дрожащим голосом о том, что увидел в логове старого армянина.

Назавтра в утренних газетах он прочитал, что отважный комиссар милиции Буров выследил грозного бандита Челкана, который вместе со своей любовницей Тамарой прокрался в частную квартиру иностранца, турецкого торговца Кустанджи, с целью грабежа. После кровавой схватки Буров прикончил бандитов.

– Этот Буров далеко пойдет! – улыбнулся Петр. – Он всем умеет воспользоваться. Правда, на такой скользкой дороге легко поскользнуться...

– Кто мечом воюет, тот от меча и гибнет! – ответил, пожимая плечами, Георгий.

За стенкой кто-то начал насвистывать и запел высоким тенором:

Купите бублики,
Товарищ, бублики,
За три копеечки хорош товар!

ГЛАВА XXXIV

Красная площадь была освещена рефлекторами. Стены Кремля, вознесенные, словно изо льда, изогнутые, зубчатые, будто грива волны в замерзшем море. На звездном небе, пропитанном светом уличных фонарей, замерли, разбухли в постоянном ожидании купола собора Василия Блаженного. Большие и малые купола застыли, словно мертвые головы, воткнутые на жерди и смотрящие вниз с мертвым безразличием. Вниз, где в слабых лучах фонарей клокотала крикливая, неудержимая, дикая толпа.

Разрывались незнакомые, глумливые, чуждые это теплой, весенней, ночи голоса. Широкой струей плыла, зависая над городом, громкая музыка, вырывающаяся из освещенных театров, кинематографов и ресторанов.

Приближалась полночь.

Таинственное время, в которое русский народ веками, забывая о никогда не заканчивающихся бедствиях и муках, возносил молитвы к Спасителю Мира. Замученный людьми, Он воскрес когда-то в это же время и вошел в лучезарное царство своего небесного Отца.

Тихая, задумчивая, пронизанная прелестью воспоминаний, ощущающая божественное благословение ночь...

Что же смущало ее теперь? Кто наполнял ее шумом, скрежетом, громким клекотом, вихрем срывающихся, богохульствующих, омерзительных человеческих окриков, резвой музыкой, диким смехом, безумным проклятием?

Сквозь толпу продвигалась процессия безбожников, направленная красным Кремлем.

Во главе ее шли люди, несущие огромный портрет Владимира Ленина, окруженный пурпурными знаменами, а за ним вытянулась поющая «Интернационал» и веселые, неприличные песни,

змейка людей с наглыми, угрюмыми и обреченными, несмотря на дерзкие, веселые слова, лицами. Лицами людей, приближавшихся к месту своей казни.

Они не видели в эту ночь воскресения Сына Божьего и делали очередной шаг к Голгофе позора.

В толпе, подпрыгивая и безумствуя, кружились фигуры, переодетые в Бога, в белых одеждах, с седыми и длинными волосами и бородами; в Христа, сидящего задом наперед на осле; в апостолов, несущих в руках большие бутылки с надписями: «святой опиум», «благословенная водка», «чудесный яд», а за ними бесстыже подергиваясь, обнимаясь и танцуя, метались в цветных одеждах мужчины и женщины, с надписями на груди: «святой Николай»; «Алексий — человек Божий», «святой Александр», «святой Григорий Распутин», «святая Мария», «святая Екатерина»...

Верхом на покрытых отвратительными надписями крестах ехали подростки; обнажались бесстыжие, разнузданные уличные девки, пронзительно вереща и выкрикивая ужасные богохульства.

Процессия окружила собор и направилась к Казанским воротам.

Толпа шла, не снимая шапок и все громче крича, пока крик этот не перерос в стонущий вой, может, грешный, оскорбительный, а может — ужасный, отчаянный...

Какая-то женщина вознесла руки к чудесному образу Богородицы и принялась рыдать срывающимся от бешенства или страха голосом:

— Если можешь, если существуешь, покарай нас, покарай!

— Хо! Хо! Хо! — выла угрюмо и жалобно толпа.

На предместьях, куда не дошла бушующая толпа безбожников, происходили другие вещи.

Братья Болдыревы шли в направлении стоявшей на старом кладбище церкви. В мраке неосвещенных улиц и убогих переулков передвигались темные фигуры, устремившиеся к далекому кварталу, где стояла древняя, уцелевшая в революционных боях церковь. Верующие протискивались в главный неф просторной святыни, другие спускались по каменным ступеням в нижнюю церковь, находившуюся в подземельях храма.

Рабочие с женами и детьми, крестьяне, которых праздник застал в столице, бездомные нищие, побирающиеся старухи, интеллигенты в потрепанной одежде, иногда босиком, толпились голова к голове. Радостные, оживленные, просветленные лица; глаза, всматривающиеся в святые образа, в сверкающую бронзу и позолоту, скрывающих алтарь ворот; дрожащие губы, нашептывающие слова молитвы; руки, совершающие крестное знамение и держащие горящие восковые свечи; над морем голов проплывал голубой, пахнущий дымок кадила, а вверху, под куполом, таилась непроглядная тьма.

Собравшиеся в Божьем храме люди забыли в этот час молитвы о суровой, мучительной жизни. Они не чувствовали боли ран, нанесенных немилосердной судьбой; исчезло не раз хватавшее холодными пальцами за горло отчаяние; улетучились, подобные ядовитой мгле, жалобы и сожаления; прояснились до сих пор запутанные, перекрещенные, опасные распутья; бесследно исчезла трясина, по которой уже несколько лет, увязая и погибая, передвигался измученный народ; глубоко спрятались переполняющие сердца слезы; мысль вырывалась из-под тяжелого мрака смерти и бежала по освещенному пути туда, где находилась извечная Правда, очерчивающая судьбу человечества и ведущая его к цели, необъятную для разума живущих; где-то на дне души зарождалась надежда, что это никчемное, убогое существование — всего лишь проходящее мгновение, необходимое и обязательное для исполнения приговора и исполнения Слова. В эти минуты все наполнялось значением, красками и божественным светом. Каждый из молившихся под этим темным куполом церкви чувствовал себя борцом за великое дело, одним из тех, кто высоко поднимает знамя спасения и закрепляет окончательную победу.

Стоящий перед алтарем дьякон читал звучным голосом:

— В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. Мария стояла у гроба и плакала. И, когда плакала, наклонилась во гроб и увидела двух ангелов, в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: жена! что ты плачешь? Говорит им:

унесли Господа моего и не знаю, где положили Его. Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего; но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: жена! что ты плачешь? кого ищешь? Она, думая, что это садовник, говорит Ему: господин! если ты вынес Его, скажи мне, где ты положил Его, и я возьму Его. Иисус говорит ей: Мария! Она, обратившись, говорит Ему: Раввуни! — что значит: Учитель! Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему*).

Дьякон закончил на высокой триумфальной ноте.

От алтаря вышел священник с крестом и горящей свечой в руках.

Голосом, в котором дрожали слезы, он воскликнул:

— Братья и сестры! Христос воскрес, Аллилуйя! Осанна, Господу на небесах!

Толпа шевельнулась, падая на колени, и радостно ответила:

— Воистину воскрес Господь! Аллилуйя! Аллилуйя!

Хор и молящиеся толпы верующих пели трогательный гимн:

Христос воскрес из мертвых,
Смертью своей победив смерть,
И людям доброй воли
Дал жизнь вечную на небесах.

Пение прекратилось. Молодой священник, благословив собравшихся крестом и святой водой, сказал:

— Словами соборного послания святого Апостола Иакова заклинаю вас, братья мои и сестры! Ибо сказал Апостол Христа Господа, Спасителя и Учителя нашего: «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале: он посмотрел на себя, отошел и тотчас

*) Евангелие от Иоанна, XX, 1, 11–17.

забыл, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии»*).

Он на мгновение замолчал и, вытирая слезы, сказал тихо:

— Настигла нас тяжкая кара Божия, братья и сестры, но благословите ее, ибо стали мы исполнителями Слова, а поступки наши стали воплощением Слова. Ничто не может вас уничтожить, и несправедливости адские орды не достигнут врат души нашей! Вознесите сердца ваши к Небу, и тогда сойдет к нам Учитель и благословит детей своих...

В этот момент шелест пробежал по святыне, и все взгляды поднялись над головой стоящего перед открытыми вратами священника; горящие блеском восхищения глаза смотрели куда-то выше.

Удивленный поп оглянулся и с тихим вскриком упал на колени.

На самой высокой ступени алтаря стоял высокий худой человек и возносил руку в знаке благословения.

Светлые, мягкие волосы волнами опадали на плечи, борода ниспадала на выцветшую сутану с простым железным крестом на груди; огненные глаза обозревали толпу; бледная ладонь очерчивала в воздухе знамение жертвы и победы Христовой.

— Епископ Никодим, упрятанный и истязаемый большевиками в подземельях Соловецкого монастыря... вернулся! — пробежал радостный шепот.

От алтаря донеслись тихие, проникновенные слова, полные горячей веры и силы несломленной:

— Мир вам!

С площади, на которой стояла толпа верующих, в этот момент ворвался в святыню женский голос:

— Солдаты приближаются! Спасайтесь!

Епископ Никодим звонким и сильным, звучавшим, как страстный приказ, голосом, повторил:

— Мир вам!

Он сошел со ступеней алтаря, держа в руке железный крест, и пошел сквозь толпу; за ним шел поп с дьяконом и множество верующих.

*) Послание святого Иакова, I, 19—25.

Человеческое море, с пением гимна Воскресения, выплеснулось на крыльцо и на площадь.

Толпа шла плотной толчеей. Рядом с епископом шагали Петр и Георгий Болдыревы, сосредоточенные, взволнованные, ничего не помнящие.

Они ни о чем не думали. Кто-то другой, несравнимо более могущественный, зажал в своей ладони их волю и все порывы чувств. Разум отзывался слабым голосом. Опасность... смерть! Но они не слушали предупреждений... Они звучали для них как влетавшие в святыню звуки улицы. Слабые, убогие, чуждые, надоедливые. Надо было идти, и они шли. Должны были идти!.. В этот момент они были маленькими атомами, кружившимися в вихре урагана, вырвавшегося из бескрайней бездны вселенной. Они не могли, не смели вырваться за пределы круговорота, вместе с ним должны были они пройти до конца неведомый путь, исполнить таинственное предназначение.

Все мысли и чувства утонули в осознании обязательного, общего движения, безымянного героизма не требующей вознаграждения жертвы.

С другого конца улицы шагали два армейских отряда.

Они развернулись в шеренги и остановились.

Донеслись слова команды. Щелкнули вскинутые на плечо винтовки.

— Разойтись, не то будем стрелять! — крикнул, шепелявя, офицер-латыш, командующий отрядами красной гвардии.

Сплоченная в одно целое, молящаяся толпа не дрогнула, не пошатнулась, не остановилась ни на мгновение. Плотной, невозмутимой стеной надвигалась она прямо на латышей.

— Раз!... два!... — пронзительно крикнул офицер.

Проскрежетали винтовочные затворы. Головы уже прижались к прикладам, офицер уже поднял саблю, чтобы отдать команду, как вдруг из шеренги второго отряда донесся отчаянный крик:

— Товарищи, защитим наших братьев от латышей! Мы здесь на своей земле, а не какие-то приблудыши!

Винтовки щелкнули снова, проскрежетали затворы и заблестели направленные в красногвардейцев стволы.

— Опустить винтовки! — скомандовал офицер-латыш. — Налево, марш!

Латыши, чеканя шаг, быстро удалились.

Русские солдаты сняли шапки и, закинув винтовки на плечо, пошли впереди процессии. Их голоса слились с хором верующих, которые пели:

Христос воскрес из мертвых,
Смертью своей победив смерть,
И людям доброй воли
Дал жизнь вечную на небесах...

Процессия плыла по улицам измученной Москвы, пересекала площади, поглощала новые толпы тронутых торжественностью момента людей, соединялась с другими процессиями, стекавшимися из далеких и близких церквей, и шагала, ведомая четко и размеренно ступающими солдатами к вратам, с которых, утопая в глубокой фрамуге, смотрело темное обличье Казанской Божьей Матери.

Толпа молча упала на колени. Вокруг повисла тишина.

Епископ Никодим, высокий, воодушевленный, поднялся, благословил погруженных в молитву людей и сказал:

— Мир вам!

Толпа начала расходиться, исчезая в боковых улицах.

Через несколько минут площадь опустела.

С нее доносились только звуки шагов караульных.

Двое часовых подошли друг к другу.

— Отважный у нас народ, когда речь о вере зайдет!.. — буркнул один. — Ведь латыши, финны и китайцы могли встретить и пулеметами по приказу комиссаров...

Второй загадочно улыбнулся и ответил:

— Побоялись... струсили...

Первый солдат задумался, внимательно глядя в глаза товарища.

— Христос воскрес, брат... — прошептал он спустя некоторое время и снял шапку.

— Воистину воскрес! — ответил второй.

Они пожали друг другу руки и трижды расцеловались так, как их в детстве научила мать.

ГЛАВА XXXV

Ленин только что выслушал рапорт профессора ветеринарного института.

Он думал об этом и шептал:

– Это ужасно! Перчатка, брошенная всему цивилизованному миру! Природа выдает на свет страшных чудовищ!

Он стал припоминать рассказ профессора:

– Открыл новые бактерии. Вырастил их... «Чека» обеспечила его «живым материалом»... восьмьюдесятью политическими заключенными. Он проверил на них свои бактерии. Оказалось, что они вызывают паралич и убивают в течение нескольких минут. Он собирается применить их в сбрасываемых с самолетов бомбах. Безотказное, эффективное оружие! Восемьдесят людей уже умерщвлены. Чудовище науки! Палач, как Дзержинский...

– Как ты сам... – раздался неуловимый для уха шепот.

Он упал в кресло.

Лицо его исказилось от страдания. Раскосые монгольские глаза вышли из орбит.

Его охватила все чаще мучившая головная боль. Казалось, что голова была высечена из тяжелого камня, и только в одном месте вырывались из нее пламенным потоком беспорядочные, помятые, мучительные мысли.

– Сталин, мечтающий о том, чтобы Россия пребывала в революционном хаосе, несмотря на окончательную погибель... Рыков, постоянно пьяный, критикующий диктатуру пролетариата... Упрямые, все более сплоченные крестьяне... Профессор с бактериями, зубами вырывающий сердца восьмидесяти политическим заключенным... Бунт в тюрьме Соловецкого монастыря и убийство заключенных в нем людей... Неработающие фабрики... Голод... Социализм через два месяца!...

Он крикнул и рухнул на пол.

Его нашли неподвижно лежавшим...

Перенесли на кровать.

Врачи долго осматривали и изучали его.

– Паралич правой стороны тела...

Долгие, безнадежно монотонные, скучные месяцы болезни. Смертельная усталость и безразличие, прерываемые приступами головной боли, не прекращались и парализовали душу.

Несмотря на это, он начал потихоньку ходить, вызывал к себе комиссаров, разговаривал с ними, советовал, диктовал декреты, статьи, просматривал заграничную корреспонденцию, читал газеты.

Слабое тело не могло победить дух.

Он пылал, как догорающий костер, поддерживаемый поднявшимся вихрем; из-под куполообразного черепа чередой, словно покидающие корабль крысы, выскакивали мысли.

Он еще раз взял себя в руки, и никто из противников, к которым он обращался глухим голосом несгибаемой убежденности, не мог не признать, что и теперь Ленин «управляет Россией парализованной рукой».

Он ясно видел как пройденный путь, так и тот, который теперь все чаще исчезал от него впереди.

Все творческое, способное к полету мысли, к настоящей работе во имя счастья человечества, было им уничтожено; он принизил все остальные сердца, души, нравственность и разум до примитивного уровня самых плохих, самых невежественных существ, разбудил похоть, дикие инстинкты; с их помощью он разрушил дело творцов, а когда наступило время строить, остался один с неподвижной правой ногой и рукой, с этой ужасной болью, которая давит и разрывает мозг, с этим мучительным сознанием близкой смерти.

Он отдал власть рабочему классу, выбрав из него самых дерзких, самых хищных, оперся на чужих по крови людей, чтобы они ни о чем не жалели и не имели ни к кому снисхождения.

Теперь Сталин...

Ах, Сталин, пламенный грузин, молчаливый, как таинственный камень.

Он идет по его, Ленина, следам.

Ленин разрушил Россию, убил династию, замучил миллионы людей, опираясь на несколько тысяч преданных ему коммунистов.

Сталин увидел пропасть, в которую скатывается партия, неспособная поднять и повести за собой истощенное тело России; он создал партию в партии, превратился в вождя пролетарских бюрократов, разрушил построенное Лениным здание коммунизма, опиравшегося, после бесплодных усилий, на всемогущей «земле», с которой никак не мог справиться дерзкий диктатор.

Сталина следует убрать...

Революция должна продолжаться, чтобы заражать Европу, в которой под влиянием коммунизма усиливался капитализм, а Россия гибнет... гибнет!... Ах, Азия...

Азия, быть может, взорвется, как могучий вулкан, а Россия направит потоки огненной лавы на Запад, на проклятый Запад, неприступный за стенами буржуазии и ничем не ограниченного творческого интеллекта.

На помощь! Голова, голова трещит и пылает!

Он садится и пишет.

Он обвиняет Сталина, советует, как его можно ослабить, парализовать, убрать... Революционную Россию должен повести за собой Троцкий. Он уступчивый, не упрямый; он склонен к серьезным компромиссам, но зато — обладает выдающимися способностями, впрочем, у него нет выхода.

Чужой для России, проклятый собственным народом, возненавиденный за рубежом, перед ним есть только один путь — революция, постоянная, никогда не угасающая, щадящая «землю» революция.

Ленин пишет, с трудом водя парализованной правой и направляемой левой рукой.

Он пишет завещание...

Кому?

Ему не известно...

Ведь у него нет никого, с кем тяжело и больно расставаться?

Он за всю жизнь не полюбил ни единого существа.

Всю мощь своего разума и воли, весь уничтожающий без остатка жар сердца, он отдал России, темной, угнетенной, звеня-

щей кандалами, непрерывно стонущей, как бурлаки на Волге:

— О-ей! О-ей!

К ней обращает он эти последние, выводимые слабеющей рукой слова, к ней! Пускай их услышит партия, удерживающая в своих руках штурвал жизни... последняя мысль останется на бумаге, как сотни, тысячи других, которые были подобны искрам в хвосте кометы; как пурпур зари... как тяжелые, разрушительные удары молота...

Он закончил и страшно уставший зовет секретаршу, но тут же его снова охватывают пылающие, полные разъедающей тревоги мысли.

Он не спокоен за судьбу своего дела!... Троцкий, Рыков, Чичерин, Сталин?.. Нет, это не прогоняет тревогу и беспокойство! Троцкий, Зиновьев, Каменев, Стеклов, а вместе с ними все революционные евреи... Ха! Ха! Он хорошо придумал, что к разрушению России и обветшалого мира привлек этот народ, лишенный родины, родного языка, пронизанный традицией борьбы за выживание и жаждой мести... Все больше евреев, осмелевших, глядя на Троцкого и Зиновьева, пополняет ряды... все больше! Это хорошо! Они вынуждены будут поддерживать, углублять революцию, иначе Россия напьется еврейской крови по самое горло... Теперь у них нет выбора и выхода... Они вынуждены жить и действовать в революционном море, раскачать, заминировать, перевернуть весь мир... О, как же болит голова!

Он зовет снова, кривя бледные, дрожащие губы.

Он не слышит собственного голоса...

Хочет крикнуть, но не может...

Как же страшно болит и пылает голова!

Наступил второй, еще более страшный приступ паралича и потеря речи.

Ленина перевезли в поместье в подмосковных Горках.

В Кремле, даже больной, не могущий сказать ни слова, он представлял для Сталина и Троцкого препятствие, потому что читал газеты, слушал отчеты своей секретарши Фотиевой и Надежды Константиновны, вызывал комиссаров, тряс над головой здоровой рукой и беспорядочно бормотал, слюнявя себе бороду.

В Горках он находился на расстоянии от сражавшихся противников.

Оба могли безнаказанно пользоваться очарованием догорающего фетиша, именем которого назвали Петроград.

Ленин понимал, что умирает. Он понимал, что остался один. Поток истории обогнул его и тек своим руслом.

Он стал лозунгом, открытой и пока еще живой книгой нового пророчества, нового евангелия призывающего к бунту рабов.

Под этим евангелием он уже написал страшное слово: «Конец».

Благодарные последователи назовут северную столицу его именем – Ленинград.

– Смерть...

Он не хотел исчезать из этого мира, над которым начертил широкую, кровавую дугу, словно неизвестная, зловещая комета.

Неисчерпаемая мощь таилась еще в мозгу и сердце Владимира Ленина.

Он начал ходить, учиться писать левой рукой, специалисты-врачи проводили с ним упражнения, облегчавшие возвращение речи.

Его навещали комиссары, он слушал их и все понимал.

Только не мог ответить, отчаянно размахивал рукой и глухо рычал.

Выезжая на прогулку, он смотрел на искрящиеся снежные сугробы, на белые, голые и грустные березы.

В нем просыпались воспоминания.

– Ах, да! Белое тело обнаженной Доры... А потом – кровавые слезы... две красные, горячие струи.

– Апанасевич, убей Дзержинского! – бормочет он.

Надежда Константиновна, слыша хрип, наклоняется к нему и спрашивает:

– Ты не чувствуешь холода?

Голова пылает, в куполообразном черепе мечутся мысли, каждая из них, как острая щепка, ранит, царапает, окровавленный мозг.

– На помощь! – кричит он, непонятно рыча, а из искривленных губ вытекает струя пены.

Вернувшись домой, он лег в постель.

Его давно мучила бессонница...

— Как Дзержинского... — думал Ленин с отчаянием.

Он целыми днями и ночами смотрел в потолок.

Белая плоскость расширялась, разливалась, убегала в безбрежную даль...

— Это уже не потолок! — думает Ленин. — Что же тогда передо мной?..

Он всматривается всем усилием воли, щуря левый глаз...

— Ах! Это Россия... Но какая бледная, без капли крови в истощенном теле... Вся в ранах... Нет! Это могилы... бесконечные могилы... безымянные, без крестов...

Вдруг огромное бледное тело начало двигаться.

Оно стало похоже на вздутый живот дохлой лошади, той, которая лежала когда-то в лесу за заборами Кукушкина над Волгой.

Он растет, набухает и — громко лопается...

Изнутри корпуса вываливаются страшные, посиневшие, разбухшие, с отслаивающейся кожей, трупы...

Елена Ремизова... Золотоволосая Елена... Селянинов... Виссарион Чернявин... Дора... Мина Фрумкин... Володимиров... Петенька...

За ними выходят Троцкий, Дзержинский, Федоренко, Халайнен и веселый, потирающий руки маленький профессор с бутылкой, полной парализующих бактерий...

Они остановились и хором, громко, пронзительно и со скрипом прокричали:

— Да здравствует революция! Да здравствует диктатура пролетариата! Да здравствует наш вождь — Владимир Ленин! Уррра-а-а!

Кто-то лучезарный встал между ним и товарищами.

Золотистые волосы, опадающие на плечи, блестят в лучах солнца, светлая борода ниспадает на белое одеяние, поднятая рука указывает на небо. Строго звучит тихий голос:

— Взаправду говорю вам, что учиненное во имя любви будет взвешено, осуждено и прощено на весах не нашей справедливости!

Ленин собирает силы, опирается на локоть и бормочет:

— Во имя любви, Хри...

Глаза лучезарной фигуры извергают молнию, которая ослепляет и поражает.

Ленин падает и хрипит, уже ничего не видя, не слыша, чувствуя только, что скатывается все быстрее и стремительнее; его окружает мрак и поглощает остатки мыслей, отголоски чувств...

Час спустя над Кремлем, рядом с красным знаменем, развевалось черное... — символ смерти.

Кровавая, огненная дуга погасла, а смертоносная глыба неизвестной кометы утонула в темной, бездонной, безбрежной бездне.

ГЛАВА XXXVI

На Красной площади напротив храма Василия Блаженного, утыканного круглыми куполами, поблескивающего разноцветной эмалью стен, сочетающего в себе византийскую пышность и варварскую самоуверенность, возник другой.

Деревянный, одноцветный, геометрически примитивный, темный, почти черный. Четко очерченные плоскости, тяжелые, монотонные, без полета творческого воображения, глыбы.

Так тысячи лет назад строили стонущие рабы в Ниневии и Вавилоне, так воздвигали святыню Соломона и дворцы властителей Египта. Тяжело и зловеще, так как среди воздвигаемых стен располагались ужасные божества с Тигра, Евфрата, из земли Ханаана и Кет или равные суровым богам короли четырех сторон света, потомки Ассура, Бела, Ра — уничтожающего солнца.

На фронтоне виднеется только одно слово — «Ленин».

Здесь положили забальзамированные останки диктатора пролетариата.

Ленин покоится в стеклянном гробу, в военной рубашке, со звездой ордена Красного знамени на груди.

Желтая, пергаментная кожа еще больше подчеркивает монгольские черты лица; зажатая правая рука, неуступчивая и всегда готовая нанести удар, не обмякла перед обличьем смерти и осталась подобной молоту кузнеца-разрушителя.

Могло показаться, что из сердца Азии гробницу грозного Тамерлана перенесли сюда, в Москву, в которой столетиями царствовали потомки монгола Чингисхана, наполовину татарские московские князья, и наконец в XX столетии — наполовину монгол, возвращавшийся мыслью в безмерные азиатские степи, дикие горные ущелья с гнездившимися в них ордами, которым знакомо было только разрушение.

Длинная, от берега реки, змейка людей тянулась к мавзолею Ленина.

Люди входят в темную пасть открытых, прямоугольных дверей, смотрят на стоящих неподвижно, словно статуи, часовых; идут в красноватом полумраке, сменяются, голова за головой, перед стеклянным гробом, подгоняемые строгими окриками:

— Не останавливаться! Проходить!

Солдаты, уличная толпа, приезжие крестьяне, делегаты из далеких провинций.

Тысячи глаз скользят по пергаментному лицу и сжатой в кулак ладони, высматривают что-то под крепко сомкнутыми веками вождя, оставляют невидимые следы своих мыслей в тени его глаз, на выпуклой лысой голове, в морщинах губ.

Молчаливый, сосредоточенный, встревоженный поток людей проплывает, движется подобно нескончаемому ряду муравьев, кочующих в поисках новых путей существования.

Другие охраняемые двумя солдатами прямоугольные двери, выбрасывают посетителей святыни нового пророка на Красную площадь, на которую смотрит в напряжении и неподвижности куполов красочное, удивительное творение Ивана Грозного.

Поток разбивается на мелкие ручейки, струйки и впитывается в коридоры улиц, еще серьезный, взволнованный, задумчивый.

Когда людей охватит вонь грязных улочек, когда им напомнит о себе выглядывающая отовсюду нищета, когда до них донесется со двора «чека» стрекот пулемета, убивающего крестьян и рабочих, исчезнет сосредоточенность, улетучится волнение, и задумчивость спрячется в тайниках души.

Крестьянка тянет за рукав мужа и шепчет ему:

— Люди говорят, что Ленин гниет и что врачи его починяют и красят!

Мужик долго смотрит на жену и сквозь зубы отвечает:

— Пускай гниет, из-за него вся Россия прогнила...

— Ох! — вздыхает женщина.

— Ни один царь не имел такой гробницы! — вскрикивает с гордостью проходящий мимо, одетый в черную рубаху, рабочий. — Похоронили мы Ильича с почетом! Он умер и не умер,

потому что каждый может на него посмотреть. Лежит как живой... Кажется, просто уснул уставший!

Слушающий его другой рабочий кивает головой и отвечает тихим, грустным голосом:

— Плохо, что мавзолей построили из дерева... Может сгореть...

Поблизости от храма остановилась группа людей, только что посетившая мавзолей.

Они остановились и долго в молчании смотрели на очертания прямоугольного, темного здания и белеющую на нем надпись «Ленин».

— Умер Антихрист... — прошептала какая-то женщина, со страхом глядя на высокого, худого человека со смелыми, горящими глазами.

— Раз умер и даже, несмотря на врачебное искусство, забальзамированный, потихоньку гниет, — не был он Антихристом! — заметил сгорбленный старец и посмотрел на высокого, разглядывающего мавзолей человека.

Воцарилась тишина.

Наконец тот, на которого были устремлены взгляды окружавших его людей, отряхнулся от задумчивости и прошептал:

— Он бессознательно исполнил волю Извечного... Был он бичом Божьим, которым справедливый Судья хлещет живущее во грехе человечество. Не проклинайте, не ругайте его, братья! Исполнил он кару, брошенную на нас с Неба, и заставил опомниться!

— Достойный епископ, отец Никодим!... — воскликнул кто-то из окружающих.

— Воистину говорю вам, что этот человек совершил великое дело! — ответил епископ воодушевленным голосом. — Он убил в нас рабский дух, разбудил совесть возомнивших и богатых, оживил в душе настоящую веру, отогнал от нас страх перед мученичеством и смертью, вывел на распутья, на бездорожье, чтобы поняли мы, что свобода и счастье на земле добывается только силой духа, а награда — перед троном Всевышнего. Господь руководил его кровавой рукой и безумными мыслями!

ВОЕННЫЙ ПАРАД НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ ПЕРЕД МОВЗОЛЕЕМ ЛЕНИНА В МОСКВЕ

— Он оставил после себя смертельный яд... Два поколения, отравленные прогнившими лозунгами! — сказала женщина. — Молодежь, дети...

— Воистину говорю вам, что они подобны цветению травы. Взойдет солнце — увянут и опадут они, слабые, убогие, недорогие никому... — прошептал Никодим.

Раздались тяжелые вздохи и тихие голоса:

— Дай-то Господи!...

— Остались Троцкий, Сталин, Зиновьев, Каменев и тысячи других, — сказал старец. — А с ними бесправие и насилие!

Епископ посмотрел на него горящими глазами и стал говорить воодушевленно:

— Святой Иоанн, любимый ученик Иисуса Спасителя, на острове Патмос имел откровение и точно записал, как Господь установил справедливость. Апостол Господа говорит:

— И сказал мне Господь: не запечатывай слов пророчества книги сей; ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний!

Он бросил спокойный взгляд на угрюмый мавзолей, на роящуюся от людей площадь и быстро пошел в ближайшую улицу. Остальные последовали за ним.

Они уже не видели, как милиция вытаскивала из мавзолея старого нищего. Он безумно кричал и вопил, уклоняясь от наносимых ему ударов.

Его хватали за отрывающиеся лохмотья, таскали за волосы и бороду, подгоняя кулаками и ножнами сабель.

Нищий вырывался, толкался и, напрягаясь, выкрикивал, жалобно завывая:

— Люди русские! Не поддавайтесь! У нас отобрали отчизну и веру, позор! Теперь у отца нищих — Ленина украли мозг, вырвали сердце и закрыли в золотой шкатулке за семью печатями! Он лежит в могиле... и не может уже думать о нас и возлюбить убогих, заблудших, обиженных!.. Люди добрые!

Его жалобы тонули в отголосках молитвы угнетенных, исполняемой с угрюмой торжественностью перед могилой вождя и пророка:

Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой идти готов!
Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим!
Кто был ничем, тот станет всем!

Пение внезапно прервалось.

На Красную площадь вывалила толпа и молча двигалась. Наконец она подошла к кремлевским воротам и принялась рыдать, скулить и завывать все громче и угрожающе:

— Мы умираем с голоду... Работы и хлеба!.. Работы и хлеба! Мы умираем...

На стене, окутываемой паром, застрочил пулемет.

Таков был ответ самым нищим, самым голодным...

КОНЕЦ

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА I 1
ГЛАВА II 12
ГЛАВА III 27
ГЛАВА IV 37
ГЛАВА V 53
ГЛАВА VI 67
ГЛАВА VII 76
ГЛАВА VIII 94
ГЛАВА IX 104
ГЛАВА X 112
ГЛАВА XI 127
ГЛАВА XII 139
ГЛАВА XIII 156
ГЛАВА XIV 161
ГЛАВА XV 177
ГЛАВА XVI 191
ГЛАВА XVII 200
ГЛАВА XVIII 211
ГЛАВА XIX 230
ГЛАВА XX 239
ГЛАВА XXI 248
ГЛАВА XXII 266
ГЛАВА XXIII 290
ГЛАВА XXIV 299
ГЛАВА XXV 316
ГЛАВА XXVI 325
ГЛАВА XXVII 337
ГЛАВА XXVIII 351
ГЛАВА XXIX 366
ГЛАВА XXX 389

ГЛАВА XXXI 406
ГЛАВА XXXII 424
ГЛАВА XXXIII 436
ГЛАВА XXXIV.....454
ГЛАВА XXXV.....461
ГЛАВА XXXVI 468

Литературно-публицистическое издание

Ф.Оссендовский
Ленин

Серия: «Шокирующая история»

Редактор Александр Люшкевич
Переводчик Анджей Писальник
Верстка Дмитрий Донской
Корректор Людмила Михайлова

Подписано в печать 14.11.06.
Формат 60×90/16. Печать офсетная.
Бумага офсетная. Печ. л. 32,0.
Доп. тираж 3000 экз. Заказ № 0604491.

ООО «Партизан»
124460, Москва, Зеленоград,
корп. 1131, н.п. 6, к. 1

По вопросам приобретения книг издательства
«Партизан» обращаться по электронному адресу
partizan.book@rambler.ru

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного электронного оригинал-макета
в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97

интернет-магазин
OZON.ru
24724038

Фердинанд Антоний Оссендовский

Родился 27 мая 1878 года в Витебске. Русский и польский революционер, писатель и общественный деятель. За активное участие в революции 1905 был осужден и находился в заключении до 1907 года. В 1909 выпустил книгу о царских тюрьмах «Людская пыль», первое издание которой уничтожено по приказу цензуры. После октябрьской революции 1917 года боролся против большевиков. Вернулся в Польшу в 1922 году. Стал всемирно знаменит благодаря своей книге о гражданской войне в Сибири и Монголии «И звери, и люди, и боги».

В 1930 году опубликовал в Польше книгу «Ленин», вызвавшую скандал в партии большевиков. Во время Второй мировой войны Фердинанд Оссендовский был активным участником польского антифашистского Сопротивления и умер в своем доме недалеко от Варшавы перед самым приходом Красной армии в январе 1945 года. По личному указанию Сталина могила Оссендовского была вскрыта для идентификации личности. Весь архив писателя изъяли.

Книга Фердинанда Оссендовского «Ленин» на русском языке публикуется впервые.

❖ Для Ленина существовала только цель. Чтобы достичь ее он добровольно отказался от личной жизни. Ему было не знакомо земное чувство, он не жаждал любви, не понимал счастья иметь работу во имя дела, идя к цели — он не чувствовал ни сомнений, ни искушений.

Перед ним была только борьба, в которой он должен был побеждать любой ценой.

Не было ничего, что могло бы его остановить. Преступление, низость, ложь не волновали его, не находили отзыва в его душе. Они были для него средствами, инструментами, камнями для обозначения пути.

Он существовал в действовал за границами нравственности.

Цель. Только цель — такая великая, что в ней никто из нас не смел даже мечтать! ❖

❖ Вы медленно держать наготове людей для уничтожения Николая Кровавого и его семьи, истребляют наемных террористов — из всякой случай.

Все внимательно слушали грозный, почти звериный голос Ленина.

— Значит, не будет суда над царем? — спросил Володарский. — Как поступили французские революционеры?

Ленин ответил не сразу.

Повременивши немалое время, он сверло произнес:

— Публичный суд над царем проиграли бы в лицемерии, потому, что мы не лицемеры, как он, помазанник божий. Народ не найдет в себе силы произнести слово, которое убьет царя! Или сможет умереть героической смертью? Мы не можем гнаться ниже, лучший уже и смотреть! Но мы также не можем оставить в живых, чтобы его не воспользовались немецкие или английские разведки или интервенты-генералы, которые делают бы из него с его семьей знамя фетиша. Понятно? ❖